6 1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

6 ИЮНЬ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ — Стихи *(Вступление Божидара Божилова. Перевод Лорины Дымовой)* 8

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ — Долго и счастливо *(Роман. Перевод Михаила Игнатова)* 9

Рассказы японских писателей

ЯСУНАРИ КАВАБАТА — Голос бамбука, цветок персика. КОБО АБЭ — Детская. УНО КОИТИРО — Бог китов 62

АНТАЛ ГИДАШ — Стихи *(Перевод Леонида Мартынова)* 99

ДЖОН УЭЙН — Зимой в горах *(Роман. Перевод Т. Кудрявцевой и Т. Озерской. Продолжение.)* 103

Критика

Н. ФЕДОРЕНКО — Ленин и восточные литературы 212

А. ПЕТРИКОВСКАЯ — Вивисекторы и аутсайдеры *(Заметки об австралийской литературе)* 219

АЛЕКСАНДР ОБРЕТЕНОВ — К правде жизни. К 90-летию со дня рождения Георгия Димитрова *(Перевод С. Пархомовской)* 228

Культура и современность

Заметки на полях

Андрей Нуйкин — О матрацах, яичке и священных принципах. В. Седельник — Почему они пишут... В. Феонова — Как повысить интерес к литературе? 234

Публицистика

М. ТУРОВСКАЯ — Телевидение и они 243

ЭРНЁ ГОНДОШ — Лицом к лицу с текстом *(Вступление и перевод Е. Малыхиной)* 251

Изобразительное искусство за рубежом

Н. ПОЛЯКОВА — Венгерское искусство в Москве 261

Наши гости

Александр Минеев — Вся жизнь — борьба (Нгуен Конг Хоан, Кхыонг Хыу Зунг, Нгуен Хай Чынг, Хыу Май — в «Иностранной литературе») 262

Среди книг

Издано в СССР

Б. Гиленсон — Не только информация. Л. Эйдлин — Печаль поэта 265

Издано за рубежом

Ф. Наркирьер — Пушка рабочего братства. Ида Радволина — Большая забота маленького человека. С. Ильинская — Во имя земли Кипра 268

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 287

На обложке: картина венгерского художника ВИЛЬМОША АБА НОВАКА «Ярмарка в Чисереде», 1935 г.

На цветной вкладке. венгерское искусство в Москве.

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

На страницах «Иностранной литературы» Александр Геров появляется впервые. Мне приятно представлять его, хотя многим советским читателям он, наверно, уже известен: Герова переводили такие поэты, как Ахматова, а в Болгарии на русском языке вышла целая книга стихов поэта, и ее знают в Советском Союзе.

Как выглядит Александр Геров, на кого он похож, если внешний вид все-таки может дать какое-то представление о внутреннем, о поэтическом мире? У него короткая стрижка, как у Брехта, глаза его внимательно и тихо смотрят через очки с каким-то брехтовским всепониманием. И таким я знаю Герова уже более тридцати лет. Его первая книга «Мы — люди» в тяжелые военные дни воодушевляла молодежь — он и сам тогда был молодым человеком. Вскоре после выхода книги поэт был арестован фашистами и просидел в тюрьме до освобождения Болгарии.

Несколько лет назад Герову исполнилось пятьдесят, а стихи его все так же дерзки и неожиданны, как его экзальтированные мечты в книге «Мы — люди». И в этом смысле Геров — поэт, который не меняется со временем. В первом его стихотворении то же мастерство, что и в последних произведениях. И в первой книге, и в книгах, написанных поэтом недавно, можно найти шедевры.

Вместе с тем стихи Герова настолько чужды всякой претенциозности, интонация так проста и естественна, что не хочется называть их таким претенциозным словом — шедевры. Все, что пишет Александр Геров, воспринимается в первую очередь как исповедь, а всякая исповедь неповторима.

В болгарской поэзии у Герова нет предшественников, как нет и последователей. Не потому, что он слишком необычный.

Наоборот — потому что он слишком обыкновенный.

А он сидит на лавочке — спокойный,
прекрасный и задумчивый, как бог.

Боги не сидят на скамейках. Еще с древнегреческих времен. И если геровский старик имеет что-то общее с богом, то не меньше общего у него с миллионами обыкновенных спокойных и задумчивых стариков, которые отдыхают в садиках всего мира.

Стихи, которые представлены в этой подборке, были написаны поэтом в последние годы: журнал «Иностранная литература» знакомит своих читателей прежде всего с сегодняшним днем поэзии.

Но, как я уже сказал, сегодняшний день в поэзии Герова во многом сходен со вчерашним и завтрашним. Не угрожает ли это ему монотонностью? Не будучи любителем парадоксов, я говорю: «Нет». В этом сходстве сегодняшних, вчерашних и завтрашних его раздумий есть постоянное внутреннее движение.

Геров — поэт-коммунист. Он не из тех, кто ест «питательно и в меру». Незачем разъяснять, что он не делал и не делает ни быстрой, ни медленной карьеры, как он сам говорит в своем стихотворении «Смысл». Его трагичная, да, трагичная и при этом в глубине своей всегда оптимистическая поэзия наполнена воздухом совести и долга. В ней веют ветры беспокойства, она освещена светом мудрости.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

Улыбка

«Вперед!» — команда прозвучала.
Он встал и бросился вперед.
И сердце бешено стучало,
как рядом где-то пулемет.

И улыбнулся он, подумав:
«Я не один. Со мной друзья.
Вон впереди парнишка юный
бежит в атаку, как и я...»

Но в этот миг взметнулось пламя
и что-то сердце обожгло.
В последний раз перед глазами
поплыли речка и село.

Где землю кровь вспоила щедро,
расцвел невиданный цветок.
И там уснул с улыбкой светлой
солдат... Был сон его глубок.

В траве густой он спал спокойно,
хоть был вокруг кромешный ад.
Когда исчезнут в мире войны —
очнется ото сна солдат.

Вера

Человеку верить надо
в то, что буднично и просто.
Не в словесные тирады!
И не в хитрые вопросы!

Нужно верить в мать, и в сына,
и в любимых верить надо,
в песню, что во мраке синем
льется над цветущим садом...

И когда над миром грозно
загрохочут барабаны,
засверкают в небе грозы
и засвищут ураганы —

мы сурово и спокойно
преградим дорогу бедам
и вернемся с поля боя,
озаренные победой.

Математика

Ах, время! То плетется еле-еле,
то мчит на всех парах...
Когда ползет как черепаха время —
на сердце грусть и страх.

Когда оно летит, не уставая,—
прозрачен мир и прост.
И смотрит небо на тебя, сияя
мильярдом светлых звезд.

В мгновенья эти все осуществимо –
желанья и мечты.
И ощущаешь сильно, страстно, зримо,
что существуешь ты.

Тревога

Мучительной тревоги приступ —
и пустота за нею вслед...
Она без имени, без смысла.
Страшней ее на свете нет.

...Как опухоль, растет тревога,
тебя ни капли не щадя.
Ты можешь слать проклятья богу,
а можешь плакать, как дитя.

Беги же, тишину нарушив!
Дверь отвори! Окно разбей!
А то она тебя задушит,
едва останешься ты с ней.

Она во всем: в твоей обиде,
в мечте, во сне и наяву.
...Но оглянись, и ты увидишь
детей, деревья и траву.

Прозрачной раннею весною
их мир понятен, строен, тих...
Тревога — только ей одною
ты отличаешься от них.

Красота

И вновь земля спокойна и прекрасна —
я наконец ее такой увидеть смог
впервые после стольких лет несчастья,
печалей и тревог.

Вновь птичьи крылья смело разрезают
рассветную густую синеву.
И солнце звезды светлые роняет
в росистую траву.

И все-таки тревога сердце гложет,
хоть мир вокруг — прекрасный и простой.
Знать, не стремиться человек не может
за новой красотой.

Тайна

Не знаешь ты, какое счастье —
мгновенья, дни, года
быть средь планет и звезд летящих
всегда вдвоем... Всегда...

Пусть люди нас с тобой не знают,
не трогает молва.
Но жизнь пускай нас окружает,
загадочна, нова.

Наденем шапки-невидимки
и долгий-долгий век
мы будем двигаться, как в дымке,
невидимы для всех.

Пусть годы нас несут, качают,
И пусть судьба хранит.
Светлы, богаты, беспечальны
да будут наши дни!

Пока до дна не выпьем чашу,
и даже в смертный миг
пусть о любви прекрасной нашей
не знает этот мир.

Разлука

Грохот паровоза и гудок унылый
над оцепеневшей тишиной.
Ты уже в дороге. Но твой образ милый
до утра витает надо мной.

Надо бы не думать... И забыть скорее...
Разлучились — что назад смотреть!
Время мчится дальше... И покажет время,
что это — разлука или смерть.

Имена

Коль от войн и от кошмаров
мир захочет отдохнуть —
то спокойно в доме старом
я умру когда-нибудь.

Ужас темный, бесконечный
мою душу обовьет.
И меня седая вечность
в путь далекий позовет.

И услышит мирозданье,
и услышит тишина,
как шепчу я на прощанье
дорогие имена.

Я тебе, моей любимой,
жизнь свою отдать хочу.
Но твое простое имя
в смертный час не прошепчу.

Великая тишина

В цепенеющем космосе
пустота холодна.
Словно шепот, там носится
великая тишина.

Несмолкаемый шепот
держит сердце в плену.
И ты слушаешь робко
великую тишину.

Шар земной — как пылинка,
вечно в бурях, в огне,
все не хочет привыкнуть
к великой той тишине.

Сердце бьется и бьется...
Ночь тиха и ясна.
Скоро, скоро сомкнется
надо мной тишина.

Праздничный день

В маленькой корчме народу много.
Над столами дым густой не тает.
Здесь людей не мучает тревога.
Каждый здесь о чем-нибудь мечтает.

И улыбки озаряют лица.
И из окон ровный гул несется.
А в стаканах весело кружится
кем-то заколдованное солнце.

Старость

Он в скверике сидит, уже не нужный
бушующему миру для борьбы.
И сумерки густы. И ветер южный
над ним неслышно трогает дубы.

В застывшем взгляде мир я вижу целый,
как в зеркале — в нем радость и тоска.
Я вижу: детство, молодость и зрелость
живут в усталом сердце старика.

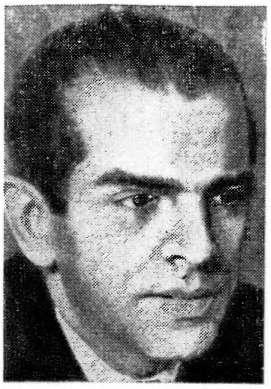
Теперь иные у него печали
и радости — и в этом нет беды.
В душе своей он ясно различает
оставленные временем следы.

Звучит над сквером чей-то смех нестройный
и женский голос, нежен и высок.
А он сидит на лавочке — спокойный,
прекрасный и задумчивый, как бог.

Смысл

Не вижу смысла жить затем,
чтоб делать быструю карьеру,
иметь семью, растить детей
и есть питательно и в меру.

Нет, смысл таится в лицах наших —
их труд ваяет день за днем,
в сердцах — дерзающих и страшных,
весь век пылающих огнем.



ЕЖИ БРОШКЕВИЧ

Долго и счастливо

РОМАН

Перевод с польского МИХАИЛА ИГНАТОВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Господь бог был из дерева.

Мать сняла его со стены над своей кроватью и несла ко мне по солнечной дорожке, падавшей в горницу прямо с юга.

Плач и смех сопровождали пришествие господа бога в мои руки — мне велено было встать в постели на колени и приложиться к стопам, пробитым гвоздями. Свершилось чудо, и я был этого чуда живым доказательством. В тот год дифтерит косил детей, как во время повального мора. Из нашего дома уже вынесли сестру, которая была старше меня на два года. Потом мне о ней рассказывали: веселая, толстощекая девчушка, которая так и светилась всегда счастьем, не протянула и недели. Зато в мою судьбу — тщедушного мальчонки четырех лет от роду, у которого, как предполагали и фельдшер, и викарий, и соседки, даже слабенькой надежды не оставалось,— вмешался сам Иисус. Иного объяснения нет и быть не может — спустя годы подтверждали фельдшер, соседки, мать и викарий. Сидела, караулила подле него, говорили, смерть. Целых три недели ждала своего часа, не отходила, а щенок задыхался и синел, прямо как пояс каноника. Так кто ее прогнал? Иисус! Он сам ее прогнал!

Очень я ее боялся — смерти. Она была вроде маленького ухватистого топорика, которым рубили головы петухам и курам. Она была мраком и глубиной хлебной печи. А ведь обошла стороной и убралась, плача и смеясь причитала мать, викарий, ярко освещенный солнцем, одобрительно кивал головой, и только отец тер подбородок, не выказывая особого волнения.

Кто-то помог мне встать на колени в ожидании пришествия господня. Мир раскачивался, словно язык колокола, все вокруг громыхало. Я взял господа бога в руки с великим страхом и состраданием. Он был намного меньше меня, деревянный и вконец измученный. Палачи прибили его к черному узловатому кресту. Сам он был темно-желтым, и только на руках, ногах и на правом боку виднелись коричневые отметины подле очень тщательно выделанных ран. Я поцеловал по материнскому приказанию божьи ноги и тут же попытался помочь

ему — отплатить добром за добро. Я ведь слышал, несмотря на страшный гул, как он меня просит об этом голосом тихим и чистым. Так вот, приложившись, я сразу принялся помогать ему, стал отрывать его от креста. Но я был очень слаб. И только надломил ему правое предплечье, за что викарий хладнокровно влепил мне затрещину, и оба мы с господом богом полетели с кровати на пол, прямо во мрак.

Впоследствии об этом случае не вспоминали. Лишь изредка мама, творя перед ним молитву, заливалась вдруг тихим смехом. На теле же господнем остались следы столярного клея, ибо отца, хоть и был он человек трудолюбивый, никогда не привлекала такая тонкая работа.

Мне клей не мешал. Долго еще после выздоровления я навещал его и, забравшись на кровать, над которой он висел, часто вел с ним бесконечные беседы. Я был убежден, что и он отзывается, но ведь так он далеко и высоко, что можно понять лишь самое главное. Я говорил ему: чего смеяться, подумаешь, большое дело — клей, вот возьму как-нибудь щетку, горячую воду и отчищу тебя как следует. А еще я приносил ему подарки (сверчков, например, маленькие птичьи яйца и кузнечиков), которые прятал в стене. Делился с ним и едой, запихивая под крест крошки сыра, сдобренные капельками меда. Потом стал брать его на прогулки: пусть посмотрит реку, новый железнодорожный мост, поповский луг и где грибы растут. Прогулки наши кончились, когда, лазая по деревьям, я снова надломил ему правое предплечье. И тогда-то отец, уже разогретый водкой и ссорой с защищавшей меня матерью, отутюжил меня ремнем по спине и ягодицам, и никто не покарал его, хотя я про себя и в голос взывал к Деревянному о помощи и кричал: «Защити меня! Защити!» Родители тоже кричали допоздна. И только за полночь, проснувшись, я услыхал, как в другой комнате примиряет их знакомый скрип кровати. А он? Он молчал, брошенный на столе, в лунном свете, со сломанным предплечьем. Я погрозил ему кулаком и пообещал, что буду теперь так же за него вступаться, как и он за меня. Пусть каждый защищается сам.

Не будет у тебя других богов, кроме меня, проговорил он баистым голосом приходского ксендза. Ладно, ладно, бормотал я бесстрашно и в конце концов уснул с огромным облегчением, причина которого так и осталась для меня загадкой, а потом, ему назло, часто заходил в притвор костела. Там висел другой Иисус — очень большой, очень красивый: весь из золота, вплоть до гвоздей и терниев! Даже толстая капля крови на правом боку тоже была золотая. И теперь я целовал золотые стопы, молитвенно складывая руки, прикрывая глаза и вздыхая так громко, как толстенные бабы во время возношения святых даров.

Делал я это не только назло Деревянному, но главным образом потому, что замечал на себе ласковый взгляд сидящего в исповедальне викария. Приходский ксендз никогда не обращал внимания на мою набожность, зато викарий, длинный, худой, с бритой головой и ушами, как у летучей мыши, приглашал меня на веранду приходского дома, угощал медовыми карамельками, рассказывал о богородице, о страданиях мучеников, о скрижалях с горы Синай, о нищих духом по неведению своему язычниках и ожесточившихся в злобе своей еретиках. Голос у него тоже был постный и жалостливый — тогда даже, когда он повествовал о разврате православия и черной ненависти евреев к Иисусу, которого они распяли без всякого сострадания, со смехом и издевками, покуда господь не поверг в ужас их сердца трясением земли, низринув на нее гром и черную мглу,— и содрогнулись совесть невежд и смердящий труп удавившегося неподалеку на осине Иуды.

Вспоминается то долгое лето как-то беспорядочно, но отчетливо. Викарий, веранда приходского дома, земля, пахнущая медовыми кара-

мельками и мятой. Городишко на откосе, сады, сбегающие к реке, белая стена костела, темная кладбищенская ограда, серебристая гладь реки и далекие холмы, залитые полуденным солнцем. И вот уже заходящее солнце поджигает окна всех домов на откосе, и откуда-то выплывает желтая грозовая туча, молнии застывают над шпилем костела, словно над крестами Голгофы, а скотина на поповском лугу ревет божественные песнопения.

Буду ксендзом, говорил я.

Викарий молитвенно складывал руки, но предупреждал, что доля сия весьма тяжела и священна есть, ибо много призванных и необычайно мало избранных, и так подслащивал свой слезящийся взор и глас, и так глубоко погружался в приторно смиренную гордыню, что я преисполнился к нему презрения, несмотря на его доверчивость, веру, медовые конфетки и великую печаль, с которой он твердил о том, как неустанно, изо дня в день, час за часом человечество все распинает и истязает Иисуса, Иисусика.

Ах, так? — думал я, покрываясь потом от гнева. Сидишь тут со мной, на веранде, думал я, и стенаешь? Приходский ксендз после поздней обедни усаживается завтракать, и ему прислуживает хорошенькая племянница. Приходский ксендз треплет ее по щечке, подливает в кофе сливки, слизывает гусиный жир с пальца, посыпает яичницу укропом, макает золотистую булочку в золотистый мед.

А его там изо дня в день, час за часом распинают и распинают!

Буду ксендзом, беззвучно кричал я, но не таким! Не таким, как вы!

Ибо, хотя я и рассорился с тем моим, первым, маленьким и склеенным, но не забыл ни о его деревянных мученических страданиях, ни о том, что он отвратил занесенный надо мной топор смерти, ни о наших прогулках по лугу, по лесу и росе. И я не позволю больше его — и подобных ему — приколачивать гвоздями и истязать. Не буду — как вы! — смиренный и обабившийся, шлепать от алтаря к веранде в черных юбках, в сутанах, из-под которых и штанов не видно. Шлем, конь и кольчуга святого Георгия! Меч Михаила Архангела! Вот какое выберу я себе облачение и стремительным галопом поскачу на все эти голгофы, где все еще «изо дня в день, час за часом...» — огнем и мечом буду спасать их от приговоров правителя Понтия Пилата, выродка и подонка, буду защищать их от бездушия черни, от наемных убийц и терниев! Изо дня в день, час за часом буду бить, и жечь, и вешать сволочей из иудина рода на каждом перекрестке, на каштанах, колокольнях и медных тазах цирюльников.

В конце концов я рассказал обо всем этом Деревянному. В самый сочельник, перед первой колядой. Он молчал, но соглашался. Склонил голову на правое, вывихнутое, плечо и одобрительно кивал. А ночью был пожар. Сгорела вся правая сторона рыночной площади, и это укрепило меня в моих намерениях. Сгорели, не считая аптеки, одни только еврейские дома, так что в первый день рождества сам викарий в проповеди сказал, что бог — хоть милосердие его и беспредельно — не торопится вершить свой суд, но бесконечно в суде своем справедлив.

Я понял. В костеле стало шумно. Отец сказал матери что-то такое, что она тотчас же заткнула мне уши. И хотя в тот же самый день родители пустили в комнату за сенями четверых погорельцев — заплаканного портного Нухима с женой и двумя дочерьми, младшая из которых, Сара, была прекрасна, словно ангел в алтаре левого придела,— я все равно тогда знал, что к чему. Весной, тут же после наводнения, стали мы с Филипком Росицей сговариваться о том, чтобы летом увести у приходского ксендза двух лошадей и отправиться наводить по-

рядок на Голгофе. Увы, Росица увяз на веки вечные в зарослях камыша под мостом (хоть я и не уверен, той ли весной это произошло), и я снова остался один. К тому же ксендз злонамеренно заменил облюбованного мною белого мерина на брюхатую клячу, я влюбился в Сару, а мой маленький Деревянный уже навсегда замкнулся в молчании. Я решил подождать.

Затянулось это надолго. Я посетил Голгофу, Назарет и Синай лишь в 1942 году — не по своей, правда, воле.

Наш небольшой конвой шел с Мальты в Суэц. Мой норвежец «Гломма» отставал из-за поломки в машине, а случилось это уже на широте Крита. Немецкая авиация накрыла нас за час до наступления темноты, так что горели мы отменно, хотя и недолго. Я не успел добраться до своей шлюпки, потому что осколок угодил мне в ребро, но это лишний раз подтвердило мою врожденную способность чудом избегать смерти. На моих глазах последний самолет раскромсал из пушки на мелкие и ровные щепы забитую людьми шлюпку. Затем мне удалось уберечься от водоворота, когда «Гломма» стала тонуть, а потом всю убийственно длинную ночь я качался на волнах, под беспечно веселыми звездами. Помню, восход солнца в тот очередной последний день моей жизни был великолепен: черные чайки на белой полоске зари. Я проклял тогда всех птиц на свете. Но я напрасно надрывался, понося птиц, бога и судьбу, ибо вопреки всякому здравому смыслу спустя час после восхода солнца меня выловил британский торпедный катер. Его команда единодушно расценила этот случай как «real bloody miracle» [1]. Мне же было решительно начхать на это чудо. В то утро я подписал бы любую, самую унизительную капитуляцию. Ибо знал, что непременно выздоровею. Выздоровею и снова пойду в священный бой, будто все мне мало!

Выловили меня одеревеневшего, распятого на черной воде, с темно-желтой рожей, свесившейся на вырванное из сустава плечо, с пробитым правым боком и треснувшим предплечьем. «Real miracle!» — повторяли врачи и кое-кто из сестричек госпиталя в Хайфе; а меня целую неделю трясла лихорадка, прямо как Иуду на осине, хоть я никого и не предал, да и отрекся совсем от немногого, если принять во внимание сорок два года, которые уже были у меня за плечами, поскольку мне привалило огромное счастье родиться в первый год расчудесного нашего столетия.

Когда над Хайфой стали кружить немецкие пикировщики, в две ночи нас эвакуировали под Назарет. От Иерусалимского шоссе меня отделял лишь холм — невзрачный и почти голый, словно горб отощавшего верблюда. Надо было на машине или пешком перебраться через полоску сыпучего песка, обойти горб с севера, чтобы оказаться на удобном и спокойном пути к месту всевозможных утех, к Иерусалиму. Правда, для этого следовало обзавестись надежным пропуском, что, однако, уже в первую неделю перестало осложнять божественное мое существование — ибо тогда уже не один я очень любил себя.

Ведал пропусками робкий, заикавшийся, красневший по любому пустяковому поводу лейтенантик из Ипсуича. Баронет. Выпускник военной школы в Сандхерсте. Пожалуй, именно там пробудилась у него чистая, но испепеляющая страсть к высоким, сильным парням. Не возвышало его в собственных глазах сознание того, что основатель их рода рубил саксонцев под Гастингсом, а дед, генерал, подавлял Великий бунт и собственноручно привязывал наиболее рослых сипаев к жерлам пушек.

Через две недели чистой нашей дружбы — а началась она на чет-

---

[1] Настоящее чудо, черт побери *(англ.)*.

вертый или на пятый день после эвакуации из Хайфы — бедняга шел на любые жертвы во имя своей надежды и привязанности. Он изворачивался и лгал ради того, чтобы иметь возможность возить меня на служебном джипе. Для его «polish friend»[1] не было в Иерусалиме слишком дорогих кабаков. Бледный от отчаяния и омерзения, он шел в бордель и платил вдвое, лишь бы девки оставили его в покое. Он убедил врачей, что здоровье героя поляка не позволяет откомандировать его в резервную команду, и добился нескольких отсрочек — это должно было стоить ему не только унижения, но и фунтов.

Я уже тогда подозревал, а сегодня знаю: меня по-настоящему любили несколько женщин, я мог бы быть живым богом в одной деревеньке на Новой Гвинее, а прокаженные в окрестностях Найроби, которых я защищал от похитителя душ, целовали тень от моих рук. У меня была настоящая мать. Были настоящие друзья. Но, пожалуй, никто из них не верил в меня так беззаветно, как лейтенант Ф. М. из Ипсуича.

Это не опровергает того факта, что в конце концов я обманулся. И в нем, и, что еще хуже,— в себе.

Не помню, в какое время года Моисей привел из изгнания своих пастухов на древнюю землю. Но если уж он назвал ее обетованной, значит, дело происходило ранней весной. Светлая зелень на рыжей земле, луна, плывущая по Иордану.

Была пасха. Ночь, предшествующую Христову воскресению, распирало от звезд, и именно в ту ночь мы посетили Голгофу и самый элегантный из всех борделей — «Золотую розу». А на обратном пути остановились на горе над Назаретом.

Война была далеко, и мир являлся перед нашими пьяными глазами из темноты словно бог в сияющем солнечном нимбе.

— Френсис,— сказал я.— Господь бог был всего лишь из дерева, но он прогнал от меня смерть.

Он слушал побасенку о маленьком Деревянном, словно это был сонет Шекспира или сообщение об окончании войны, и тогда я подумал: рискнем.

— Френсис, парень, браток, лейтенант,— говорил я.— Мне сорок лет, и это моя четвертая война. Я горел в море, на суше и в воздухе. Никакое ловкачество больше уже не поможет: не далее как через месяц меня снова запихнут в трюм какого-нибудь очередного морского гроба. Неужели же я никогда так и не заслужу помилования?

— Собственную кровь indeed[2],— он очень побледнел,— отдал бы, чтобы тебе...

— Кровь? — Я притянул его рукой к себе, как старший брат младшего.— Никогда! Но это правда: только ты можешь мне помочь!

— Чем?

Каким тоном он это сказал! Как волнующе ломался его преданный тенорок! Я старался подстроиться к этой чистой ноте.

— Френсис, браток,— говорил я голосом святого Петра.— Мне довольно ста пятидесяти фунтов в долг. И молчания. Такого чуда я жду. Арифа, хозяйка «Золотой розы», может за эту невысокую цену достать мне мексиканский паспорт и устроить на какой-нибудь нейтральной плывущей в те края посудине. Это не будет дезертирством, Френсис. Даже и думать так не смей. Клянусь, я уже заслужил себе и божье и людское прощение.

Я знал, что он меня не выдаст. А в случае чего я бы сумел простонапросто от всего отпереться. Впрочем, он и без того был у меня на

---

[1] Польского друга *(англ.)*.

[2] Здесь: не задумываясь *(англ.)*.

крючке: я так расписал бы следователю чувствительного баронета, что вся Малая Азия покатилась бы со смеху. Но все же, ожидая ответа, я весь издергался и взмок от пота.

Белые лачуги Назарета словно дрожали в лучах раннего солнца. Френсис опустил голову на баранку и потом вдруг запустил мотор. Если продашь, придушу, как слепого котенка, решил я в душе. Но он выключил мотор.

— Да,— прошептал он.— Я тебе верю.

Я облегченно вздохнул. Даже слова не проронил. Только тихо-тихо заплакал. Ибо правда и то, что я не обманывал его. Я обводил Френсиса вокруг пальца набором напыщенных слов и берущей за сердце дрожью в голосе. По существу же я был глубочайше убежден, что заслуживаю наконец-то помилования. Что мне положен отдых.

У меня просто не было сил на очередное возвращение под очередную крышку какого-нибудь морского гроба.

Видя мои слезы, Френсис расплакался навзрыд.

— Верю тебе! — кричал он.— Верю тебе!

Мы возвращались в лагерь на бешеной скорости, до предела выжимая газ. На повороте за Назаретом джип занесло и развернуло на сто восемьдесят градусов, и Френсис убил левым крылом старую слепую козу. А я во все горло распевал все известные мне свадебные песни. Впереди у меня была свадьба с совсем новой жизнью. Война полным назад уплывала от меня, а мне улыбались все окна Мехико, словно тысячи дочерей Моктесумы. В глазах Френсиса застыло отчаяние, но он тоже был счастлив.

Я немного разбирался в липовых бумагах и подтверждаю, что Арифа — старая потаскуха, но человек слова — предлагала за ту цену вполне добротный товар. Паспорт был на имя Хосе Рубен-Кона, что, между прочим, могло оправдать плохой испанский его владельца. Профессия — кельнер, родился в Бялой Подляске, сын Абрама и Рахили, что в те годы имело особый смысл. Я, правда, не был обрезан, но чиновники королевской администрации не знали методов, применявшихся в таких случаях гестапо.

Мне надо было попасть на бразильское торговое судно помощником повара — и тогда, я знал, живу!

А Френсис? Платил и молчал. Но за четыре дня до моего побега (о нем знали только трое: я, Арифа и ее подлипала, одноглазый сириец) мы отправились к соседям. Я говорю о небольшом лагере австралийских саперов, славившихся своим пьянством и богатством от Каира до Аммана. Эти здоровенные парни походили на доисторических кенгуру и не имели ни малейшего представления о том, что за штуку может выкинуть с ними война, которая пока что была для них гулянкой, занятной экскурсией, карнавалом.

Я преследовал две цели, потащив Френсиса к австралийцам. Во-первых, был полон сострадания, надеясь, что он найдет среди них более порядочного, чем я, товарища в своем пустынном одиночестве. Но прежде всего мне хотелось немного подработать перед дорогой. Австралийцам хорошо платили, а их капитан не любил давать увольнительных. Так что у них можно было выиграть вполне приличную сумму в покер, баккара и любую не слишком затяжную игру. Особенно тому, кто не боялся перейти от карт к «прыгалкам».

«Прыгалка» — как на то указывает само название — сводилась к подпрыгиванию. Выигрывал тот, кто спрыгивал с большей высоты на тарелку противотанковой мины и дольше других на ней подпрыгивал. Несколько этих строго учитываемых мин австралийцы припрятывали специально для подобной забавы. Одни принимали в игре непосредственное участие, а более рассудительные — те, у кого характер поспо-

койнее,— тоже по-своему развлекались, делая ставки на того или иного прыгуна. Шефом и кассиром тотализатора чаще всего бывал сержант из интендантства, который одновременно выполнял и функции арбитра: проверял, не бракованная ли мина, правильно ли вставлен взрыватель и на безопасном ли расстоянии от очередного игрока расположились зрители.

— Френсис,— сказал я, когда за полночь, весьма солидно нагрузившись, стали готовить «трамплин» для излюбленной «прыгалки».— Это не для тебя игра. Ты ничего не смыслишь в такой рулетке. Да и вообще тебе не везет в игре. А ко мне карта сегодня так и прет.

— А я буду пр-рыг-гать,— бормотал Френсис.

— Не будешь,— задушевно отговаривал я.— Не лезь в дерьмо.

— Буду,— кричал он,— буду!

У него были совсем бессмысленные глаза, и лишь минуту спустя он разглядел всех и все. Сержант уже подготовил «трамплин» для «прыгалки» и принялся собирать ставки, а Френсис все продолжал упираться, и я решил угостить его чем-нибудь покрепче, дабы он вмиг протрезвел. Я боялся за Френсиса: ноги уже не повиновались ему, и, вместо того чтобы прыгать, как положено, на краях тарелки, он мог попросту плюхнуться задницей на взрыватель. Несмотря на малый его вес, велика была вероятность того, что это вызовет большой пиротехнический эффект.

Ну я и угостил его кое-чем покрепче.

— Френсис,— проговорил я прямо в несчастные мутные глазки.— Эта игра не для кисейных барышень из Ипсуича.

По-братски и нежно положил я руки на его хрупкие плечики. Френсис зажмурился. Его передернуло. И когда он опять открыл глаза, то был уже трезв. Очень трезв. Я хотел еще что-то сказать ему, что-то совсем другое — и по сей день не знаю что. Но он меня опередил и без труда вырвался из моих объятий.

— Френсис!

Я понял: теперь надо бежать за ним. Однако кто-то из «кенгуру» подставил ногу, и я покатился по песку.

И тотчас все заорали: ложись, ложись!

Ибо лейтенант Френсис М. изобрел свою собственную «прыгалку». Схватил лежавший подле «трамплина» довольно увесистый камень и, бессмысленно ревя, принялся молотить этим камнем прямо по взрывателю. Видел и все еще вижу: раз, два, три... Я снова зарылся головой в песок и после пятого удара услышал, наконец, в каком грохоте Френсис прощается с нами, с собой, с чистой своей любовью.

No comments![1] Я не покорил Мексику. Не целовал дочерей Монтесумы. Не стал помощником кока на борту бразильского торгового судна, которому не угрожали рейды подводных лодок и налеты немецкой авиации.

Я даже и не пытался выудить у Арифы назад деньги за ненужную теперь макулатуру. В том же самом грохоте и огне, в котором простился со мной Френсис, сдох и развалился тогдашний мой бог, которого я творил по образу и подобию своему.

Что же касается конкретного финала самой «прыгалки», то дело оказалось чистым и не доставило хлопот.

— Меня при этом не было,— показывал я.— Как шофер лейтенанта Френсиса М., я ждал его в машине, у ворот лагеря.

Другие свидетели в один голос показали, что баронет (старший по чину) лично принудил всех к преступной игре, и уж если кто и был виновен в случившемся несчастье, то он, и только он. Дело замя-

[1] Никаких комментариев! *(Англ.)*

ли довольно поспешно, так как в штабе армии как раз начиналась тихая паника. Разведка донесла, что Роммель на днях будет готов к очередной, шестой, ливийской кампании. Сведения были настолько точны, что три недели спустя Роммель в результате стремительного маневра захватил в плен всю бригаду, в составе которой, между прочим, оказалась и рота австралийцев, стоявших под Назаретом.

А я все ждал назначения. У меня оставались еще кое-какие шансы: я не избавился от паспорта Рубен-Кона, от страха не оборвал контактов с сирийцем, который по-прежнему был настроен благожелательно. Но по сути дела я просто опоздал со своей мексиканской свадьбой. Я обманулся во Френсисе. Я обманулся в себе. И, что всего хуже, из Варшавы пришли первые вести о восстании в гетто. Я, быть может, не очень-то удивился бы этому, если бы не мое собственное чрезмерное любопытство. Кое-что я уже слышал о том, как далеко способны зайти эсэсовцы в решении еврейского вопроса, но в конце концов, напомню, шел всего лишь 1942 год. Мы еще мало знали.

Захотелось мне послушать, как об этой варшавской истории повествует берлинское радио. Я попал в точку: 23 апреля Берлин передал репортаж весьма талантливого радиокомментатора. Его баварский баритон пламенел благородной радостью над охваченными пламенем крышами гетто.

Я был совершенно уверен, что, возвратясь на море, не дотяну и до сентября. И все же обратился к соответствующим властям, как идиот, прося направить меня на самые опасные атлантические трассы. В резервной команде отнеслись к моей просьбе с презрительным состраданием — там сидели люди тертые, которые терпеть не могли пройдох. Я, однако, стоял на своем, как Френсис с «прыгалкой». Виной тому был не только он, не только берлинское радио. Я тогда много думал о дочке портного Нухима. Вдалеке от меня, чужая и незабываемая, она умирала уже третий год, что так радовало берлинского радиокомментатора.

Это было мое дело. Даже если ее и убили в первый же час войны. И несмотря на то, что тогда уже она была старой еврейкой в выцинявшем парике.

Впрочем, пусть об этом расскажет одиннадцатилетний парнишка, который спозаранку ждал за мостом, трясясь от холода и страха. Ждал, всем сердцем надеясь, что на этот раз дочка Нухима-портного придет одна, а он, пустившись за нею следом, будет видеть ее, будет на нее смотреть и, может, отважится даже признаться, что именно для нее отыскал над ручьем новое грибное место.

Вода в реке поднялась высоко, а небо совсем низко нависло над ней. Лес замер, словно стадо утомленных дождем зверей.

Она пришла.

Она шла по мосту цыганским шагом, ступня за ступню — пританцовывая и очень грациозно. Совсем не так, как ее скромные дурнушки сестра и кузины. Она была старше меня на четыре года и целую вечность. Первая красивая девушка, на которую я обратил внимание. А я? Я был ничем — одиннадцатилетним, который, правда, переплывал реку во время разлива, воровал яблоки во всех садах и не боялся задирать даже призывников из тех, кто послабее, но о ком никто не знал, что как раз сейчас весь его мир рушится и строится заново.

Еще прошлым летом я затаскивал по вечерам всю ораву на высокий каштан, росший под окнами фельдшера. Мы устраивались вокруг ствола, а фельдшер, хоть и знал о том, вовсе не занавешивал окон и не гасил лампу. Веселый это был театр —и разные актрисы.

В марте фельдшер женился на аптекаревой вдове, а отравил ее где-то перед троицей. Но недолго наслаждался он наследством и сво-

бодой. Очень скоро его забрали жандармы. Он выехал с рыночной площади с помпой, а умер в ореоле славы. Три раза, как рассказывали, целых три раза выскальзывал он из намыленной петли. Столько дьяволов слетелось к нему в смертный час — восклицал приходский ксендз с амвона,— столько страшных дьяволов!

Как раз в то время Сара и явилась впервые в мои сны. И после этой первой ночи — весь безумный год —я никого не видел, кроме нее. Дочка портного Нухима — центр мира, смысл яви, содержание сна. Не будет у меня иных богов, кроме тебя, кричал я, когда она шла ко мне прямо с иконы в золотом окладе, из алтаря в правом приделе. Нас разделяла огромная река, но она шла, ступня за ступню, по свинцовой волне. Улыбаясь, присела на шлем ратуши — ветер сбросил черный платок с ее головы, и я побежал к ней, легко оторвался от земли, дрожа и крича, и этот крик пробудил во мне совсем новый мир.

И вот сейчас — живая и не из сна — она шла по мосту, с корзинкой для грибов, с глазами, мокрыми от дождя, чужая и единственная. Я согласился бы тысячу раз срываться с той самой, что и фельдшер, веревки, если бы хоть месяц, хоть неделя, хоть день ее жизни стал бы исполнением моих молитв к ней — дочери Нухима-портного. Я говорю об этом из очень далекого далека. Но утверждаю, что слово «молитва» — самое подходящее слово, которое я могу употребить здесь.

— А гитен таг[1], Сара,— сказал я.

Она была уже рядом. Проходила мимо, еще не глядя, но с едва заметной усмешкой.

— Здравствуй, Сара,— проговорил я еще тише.

Тогда она остановилась надо мной. Засмеялась. Коснулась пальцем моей щеки. Спросила, кого тут поджидаю — невесту? рыбацкое счастье? добрых людей?

Она смеялась — и мне хотелось убить ее, чтобы убить свой стыд. Но и смеющаяся была она тоже самой прекрасной на земле и на небе. Ее глаза, губы, грудь! Я знал, какие они, глядя в землю, в желтую грязь дороги, по которой она пришла не ко мне. А если ко мне, то затем только, чтобы посмеяться над любовными бреднями моих несчастных одиннадцати лет.

— Где твоя невеста? — смеялась она тихо и так свысока, что вся моя великая любовь сменилась приступом петушиной ярости.

— В бардаке! — вопил я.— В еврейском бардаке на вонючей улице!

И прыгнул босыми ногами в лужу, да так, что грязь обрызгала ей лицо. Думаю, тогда она поняла. Не ударила меня, не выругала. Когда я утихомирился, она несколько раз сочувственно и печально покачала головой.

— Ты совсем сумасшедший.

Вновь я окаменел, не в силах произнести ни слова. А она второй раз нежно и жалостливо потрепала меня кончиками пальцев по щеке — по правой. Я не помню, какой у нее был голос, а ведь когда-то один только звук его заглушал для меня весь остальной мир.

— Что ты за мной все ходишь, Ясь? — спрашивала она.— Не надо так за мной ходить. Мой отец всегда говорит, что лучше твоей семьи никого нет и по ту и по эту сторону гор. А я говорю, что из тебя выйдет большой и сильный ганеф[2]. Девушки будут улыбаться тебе и в солнечный день, и ночью тоже. Но ты не ходи за мной. Нам далеко друг до друга даже на одном белом платке.

---

[1] Здравствуй *(евр.)*.

[2] Разбойник *(евр.)*.

Я хотел сказать ей, что буду любить ее вечно. Буду для нее самым важным офицером, или гофратом, или купцом, и, когда мы поедем в Бразилию или в Марсель, одна она будет улыбаться мне на белом платке, в лучах солнца и в звуках музыки. Только она и никто другой.

И я сказал:

— Вовсе я не хожу за тобой. Сама ты сумасшедшая, только красивая. Можешь идти куда хочешь. Даже замуж. Мне на все это начхать.

— Правда? — проговорила она.— Вот и хорошо.

Она уже отошла.

— Знаешь что? — закричал я вслед.— За ручьем, налево от обгоревшей сосны, найдешь немного рыжиков.

Она оглянулась с улыбкой, которая и по сей день для меня краше многих других, и вошла в лес тропкой, ведущей к полянке за обгоревшей сосной.

Свадьба ее с Фроимом состоялась четыре года спустя — под белым балдахином и с множеством музыкантов, ибо Фроима даже цыгане признавали королем лошадников. Она по-прежнему оставалась красавицей, несмотря на парики и частую беременность, так что Фроим обычно держал ее взаперти, и дочь Нухима скрылась с людских глаз. Но теперь я смеялся: везет Фроиму на брюхатых кобыл! Мне было пятнадцать лет, мой рост и вес заставляли даже подмастерьев кузнеца уступать мне дорогу. По ночам я ходил в Заречье к четвертой уже женщине, ведь был 1915 год, и многие из них понапрасну дожидались своих мужей или возлюбленных.

Жену Фроима — женщину чужую, хотя еще красивую, несмотря на парик и очередную беременность,— в предпоследний раз я видел в ноябре того же года. В шестнадцатый день этого месяца старик почтальон, которого звали Колченогим, принес в наш дом конверт с военным штемпелем в траурной рамке. Жена Фроима со старым своим отцом пришли тремя или четырьмя днями позже — и вместе с моей матерью и младшей сестрой Агатой тихо плакали над этим письмом, над покрытым белой скатертью столом и рюмками наливки. У меня же глаза были сухи от презрения и отрешенности. Я начинал первую свою войну, и никакие слезы по хорошему, но очень тогда чужому человеку не могли затушить манящих меня ее огней.

Война ждала меня. А я знал — и знал давно,— что никакой императорский манифест не загонит меня в эти бараньи стада, которые под плач баб, детей и молодых женщин шли на царско-кайзеровскую бойню, не ведая и не думая о том, что единственно Она — Отчизна Свободная, Независимая вправе распоряжаться нами. Итак, я выбрал свой путь. Я решил, что единственным законом для меня будет только Отчизна,— и так-то вот на пороге зрелости стал я по собственной воле солдатом, скитальцем и бараном.

Принесенное старым почтальоном письмо известило нас, что капрал 112-го императорского пехотного полка, садовник Мартин, пал на поле брани за императора и Австрию. Мать искренне убивалась, видя и зная, что ничего ни доброго, ни худого уже не произойдет между ними, что никогда не утешит она его больше в беде и никогда не дождется от него поддержки, к чему он ненавязчиво и тактично приучил ее.

Я же после минутных слез, которых не смог сдержать при виде принесенного в наш дом похоронного письма, очень скоро избавился от скорби по этому добрейшему человеку, капралу 112-го полка. Еще той же ночью, когда мы получили это письмо, я стал думать о нем с презрительным состраданием и большой неприязнью. Не я, впрочем,

виноват в этом. Виновата была мать, которая в ночь с 16 на 17 ноября рассказала мне, наконец, правду: кто на самом деле был моим отцом, как он жил и как погиб.

Сейчас-то я понимаю, что размеренная, трудовая жизнь садовника Мартина заслуживает того, чтобы помянуть ее добром и от души. Я многим обязан ему: интересом к людям, почитанием того, что он называл справедливой жизнью. Он был хорошим садовником, был по-настоящему хорошим отцом, и не только для своих дочерей, но и для меня тоже, что, очевидно, было делом вовсе не простым — ведь он очень рано узнал от матери все.

Сегодня я понимаю. Но тогда, в ноябре, был я молод, глуп и жесток.

— Не плачь о нем,— смеясь, сказал я.— За кого он погиб, баран несчастный?

Мать была в ту пору молодой еще женщиной с увядшим, когда-то красивым лицом, но уже немного ниже меня ростом. Она без труда дотянулась до моего лица. Вложила в пощечину всю свою силу и презрение.

— Ты... вражье семя! — проговорила она с ненавистью и кулаком ударила меня по другой щеке.

Я вышел, чтобы не ответить — не ударить. В кабаке на рыночной площади стадо рекрутов из соседних деревень заливало страх перед уготованной им бойней. Я пил с ними не отставая, но когда все-таки забормотал о баранах и бойне, они чуть не прибили меня. Пырнули ножом в левое бедро, это была первая моя военная рана. А неделю спустя я вышел из дому — навсегда и ни с кем не простившись. С небольшим узелком, несколькими кронами, украденными из-под святого образа, и орлиными крыльями за спиной.

Еще стояла ночь, но на востоке за горами уже светлело. Цель у меня была одна. Я еще немного прихрамывал, идя навстречу вставшему солнцу. В лицо бил морозный ветер, предвещая начало зимы. Позади дом, мать, город, река — все сокровища детства и юности. Но этим утром я оставлял за своей спиной только пустоту. Весь мой мир был лишь там — впереди. Я знал, что иду воевать за Отчизну и не стану добычей воронья.

Глупый это был малый, и я с искренним сочувствием слежу за тем, как он бредет на железнодорожную станцию, как покупает билет до Кракова, веря, что громкие удары станционного колокола славят его рыцарскую доблесть. Но даже зная теперь все то, что я знаю о четырех его войнах,— и зная цену, которую он заплатил за свое в них участие,— я очень завидую той его прекрасной, непобедимой глупости, с какой вступал он в первый день первой своей войны.

И вина, и заслуга были мамины. Она рассказала мне, когда и как погиб мой родной отец. Пожалуй, все же и вина, и заслуга были маминого брата. Уже около года мы получали от него редкие, наспех написанные письма. В одном он прислал фотографию. Он стоял первым в длинной шеренге. Его награждал высокий мужчина с холодным рыцарским лицом. Широкие брови, орлиный нос, гусарские усы. Сам Пилсудский, сам Комендант награждал маминого брата, и тогда я поклялся себе, что и со мной будет так же, но я не удовольствуюсь какой-то там медалью или крестиком. Вся бригада будет смотреть, как ко мне, стоящему перед строем, приближается медленным, царственным шагом Комендант легионов, новый Домбровский, новый Костюшко и Скшетуский[1] — первый рыцарь нашей войны за Польшу. В серых его глазах сверкает усмешка,

[1] Скшетуский — герой исторической трилогии Г. Сенкевича.

адъютант подает ему высший военный орден — Большой Крест «Виртути Militари».

— Во славу родины,— отвечу я спокойно, но с внутренней силой, смысл которой он поймет. Оба мы навсегда запомним этот миг, и его отметят летописцы. А когда судьба, честь или история потребуют того — я отойду в иной мир. Прогремит прощальный залп моей верной роты. А он возьмет под козырек над свежей солдатской могилой и украдкой смахнет с усов чистую, как бриллиант, слезу.

Попал я в первый полк первой бригады. Во вторую роту первого батальона. А то, что мне выпала такая честь, было делом, по существу, семейным. Именно тогда, когда я, тщетно выдавая себя за восемнадцатилетнего, выклянчивал мундир, шапку с орлом и солдатские сапоги, маминого брата срезала пулеметная очередь в последний день сраженья, или в первый день рождества. А после нового года я сразу же наткнулся на сержанта из первого полка, который, получив трехдневный отпуск, приехал в родной город и морозным утром плелся через Планты, поблескивая новой медалью и сплевывая при виде каждого штатского, по возрасту пригодного для ношения мундира.

Я помог ему выбраться из сугроба и смиренно выслушал очередную порцию брани. А затем осмелился доложить, что, хотя брат моей матери и был награжден самим Комендантом, я вот уже две недели кряду просиживаю в вербовочном пункте — не берут, ибо недостает бумаг и подчищенная дата рождения в метрике им тоже не нравится.

— Брат матери? Фамилия?

Я назвал.

— Боже милостивый! — рявкнул сержант.— Я знал его!

После второй бутылки в ресторанчике на Госпитальной мы оба плакали навзрыд. Но вслед за этим сержант дважды съездил мне по физиономии, дабы я протрезвел, и заявил, что теперь он будет братом моей матери. И я поклялся ему, что голыми руками захвачу три орудия из любви к Отчизне, вследствие чего еще раз получил в морду, ибо не Отчизну, а лишь Коменданта должна любить всякая рекрутская сволочь, потому как один лишь Комендант ведает, что такое Отчизна, а всякие там подонки и провонявшие дерьмом штатские — не смей!

— Так точно! — орал я.— Так точно!

В конце апреля я оказался в первом взводе второй роты — учился прилежно и был примерным учеником. Новый брат моей матери не жалел ни своего пота, ни моего, убеждая меня, что песенки о войне и белом орле хороши, когда полк парадным маршем прет по городу, а у девиц коленки трясутся от одной этой картины. Но первая заповедь солдата — уяснить, что солдат должен не хорохориться, а знать свое дело от начала и до конца, от портянок до фляжки и от прицела до штыка.

— Ты сопливый пехотинец,— втолковывал он мне,— и запомни раз навсегда, что и знамя тебе не поможет, коли не сумеешь так завернуть портянку, чтобы она не натерла тебе пятку на тридцатом километре марша. Пуля в голову куда лучше, чем натертая пятка. С дыркой в голове ты пробежишь еще двадцать шагов, а волдырь на пятке тебя остановит. Многих доконали портянки, сам видел. Ибо знамя, черт возьми, это святыня. А настоящая война это прежде всего экипировка. Наполеон был Fachmann[1], Костюшко был Fachmann.

---

[1] Здесь: профессионал *(нем.)*.

— А Комендант?

— Комендант — вождь, Fachmann и надежда Отчизны!

Именно так думал и верил я, глядя на звезды майской ночи, отыскивая среди них свою. А сержант еще добавил:

— Я тоже Fachmann. Запомни это раз и навсегда.

И я запомнил.

А девятого мая, в полдень, мы сидели над пустыми котелками в тени жасмина или яблони. На востоке гудела земля. Стоило лишь положить руку на мягкую траву, и уже чувствуешь, как дрожит земля. Сержант смотрел, как я слушаю, и ухмылялся.

— Свист будет, парень! Ох и свист будет! — проговорил он.

Сержант разжал ладонь, на ней, поблескивая желтой гильзой, лежал чистый, аккуратненький патрон.

— Но в армии,— наставлял он,— порядочек должен быть даже тогда, когда тебе надо бежать и стрелять, бежать и стрелять, чтобы в конце концов добежать до места, где сидят те, которые ничего больше не хотят, как только проделать дырку в твоей голове. И когда я говорю, что должен быть порядочек, это значит, что тебе нельзя стрелять, пока не увидишь, куда хочешь попасть. Это святые слова, слова самого Коменданта. Хочешь, чтобы у тебя была родина, беги вперед. Когда бежишь в цепи, обязан вести огонь и добежать. Но что значит вести огонь? Это значит целиться и попадать. Знал я таких, которым лишь бы скорее на спусковой крючок нажать да поливать огнем облака, лишь бы почувствовать, что стреляют. И что? Уже на полпути подсумки пусты, как сердце труса. А в руках не винтовка, а кол, от которого проку не жди. Так что если даже каким-то чудом он и дотянет до окопа врага, то чем он отразит контратаку? Пустыми подсумками или бесполезным колом, в который превращается винтовка без патронов? Запомни на всю жизнь: нет такого маневра — ни дневного, ни ночного, ни на небе, ни на земле, в окопе или в атаке,— когда ты имел бы право стрелять, хотя бы и холостыми, не видя цели на мушке.

И вдруг я слышу:

— Господи Иисусе! Ясь!

Мы вскочили на ноги.

В тридцати метрах от нас, на повороте, остановился автомобиль. Из него вышли трое, но мы видели только одного. Часовые надрывали глотки, в штабе полка поднялась кутерьма, но он, Комендант, неожиданно свернул в нашу сторону. Он был разъярен, свирепо щурил глаза, руки заложил за спину. Трудно было смотреть ему в лицо, но мы все-таки смотрели.

— Что это такое? — спросил он.— Воркующая парочка? О чем вы это, ребятушки, толкуете? О бабах? Об украденных гусях?

Он оборвал доклад сержанта — ткнул меня пальцем в грудь:

— Ты!

Я доложил. Не своим голосом, вмиг покрывшись холодным потом. Доложил, что огонь, согласно поучениям гражданина сержанта, всегда должен быть не механическим, а прицельным и что таков первый, святой закон всякого маневра, ибо...

— Довольно! — прервал он.

Под усами, в глазах, на губах появилась уже слабая тень улыбки. Он вдруг внимательно взглянул на сержанта. Тронул ус.

— Сержант,— вспоминал он.— Сержант Собик? Да? Первая кадровая. Собик Станислав, да?

— Комендант! — всхлипнул Собик.

Комендант движением руки заставил его замолчать. Ласковым жестом успокоил, еще ласковее потрепал по плечу.

— Господа офицеры — проговорил он.— Многие из господ офицеров могли бы поучиться у...

И он ушел.

Господа офицеры одарили нас ласковыми улыбками, и это было все равно что птичий помет в сравнении с колокольным перезвоном. А Собик плакал, не стыдясь слез и совсем беззвучно,— и как прекрасна была эта толстощекая физиономия, по которой вдоль носа бежали счастливые сержантские слезы.

Два часа спустя мы двинулись ускоренным маршем в направлении деревеньки, лежавшей в широкой долине,— навстречу судьбе сержанта Собика и первому моему бою. В сумерках на востоке засверкали огни. Топот наших сапог заглушал далекий грохот и гул, но уже известно было, что пришли новые обозы с боеприпасами. Шедший рядом со мной Семинарист (прозванный так за то, что убежал в бригаду прямо из Келецкой семинарии) читал молитвы в такт шагов, бесстрашно, но довольно печально.

— Над кем ты так причитаешь, Семинарист? — смеялся я, ибо у меня, как и у моего викария, слух был словно у летучей мыши.

— Над теми, кого вскорости убью, шляпа! — ответил он мне тоном проповедника и продолжал молиться.

А кому было молиться мне перед первым моим боем, в который шла вся наша бригада в ночи, становившейся все чернее?

Огонь на востоке стих. Налетевший вдруг ветер принес первые клочья леденящего тумана, от придорожных деревьев повеяло страхом и холодом. И я молился Свободной и Независимой. Той, что выгнала меня из дому в последнюю ночь ноября, той, которая уже приняла, как жертву, прах отца и прах брата моей матери, а теперь дожидалась меня. Меня, у которого не было тогда иных богов, кроме нее,— и это была несокрушимая правда, только я не имел ни малейшего понятия, когда, где и какой должна она быть — Отчизна.

В нашем доме не было Библии. Зато все мы благоговейно замирали, когда мать выразительно, словно ксендз, читала мужу и детям про оборону Збаража и Ченстохова. Даже жившее у нас какое-то время Нухимово семейство плакало над гробом полковника Володыевского [1].

Скажу еще, что как-то матери, защищавшей меня от битья, самой досталось ремнем. Она так закричала тогда, что я страшно перепугался.

— Не сметь, хам! — кричала она.— Не прикасайся, хам, к крови шляхетской, ко внуку повстанцев и героев! На дочь шляхтича с ремнем? Прочь!

Так оно и было: шляхетская кровь, дочь повстанца из сожженной казаками усадьбы, сирота, голодом и нуждой загнанная под венец с галицийским хамом, отец которого еще подставлял спину под господский кнут и палку управляющего. Я так никогда и не узнал ни от матери, ни от садовника, какие превратности судьбы заставили Марию Корвин-Зёловскую выйти замуж за садовника Мартина из заштатного городка. Немного услышал я и о повстанцах и героях, о которых так страшно кричала тогда мать. Казалось, она стыдилась говорить о них под крышей почти крестьянского дома — словно это было бы грехом и отступничеством. Зато не было другого дома, где столько бы говорили и читали о великих героях и воинах, которые счастьем почитали отдать жизнь за отчизну. На полке в большой комнате лежали подшивки газетных вырезок — это были истории и романы, писанные с необыкновенным старанием к утешению сер-

[1] Володыевский — герой трилогии Г. Сенкевича.

дец,— а также толстые книги с портретами королей, гетманов и улан, сборники великих поэтов, солдатские песенники.

Отец терпеливо сносил эти покупки. Сам он читал не очень уверенно (зато поразительно быстро считал в уме), но любил слушать чтение матери. Особенно много таких книг и песенников привозила мать всякий раз, когда ездила в Краков навестить своего брата. И все эти романы, стихи и песенники сделались для меня в конце концов священным писанием и молитвенниками. Отчизне я молился, и не было иных богов, кроме нее. Так говорил я матери. Так — уже во время войны — писал ее брату, умоляя принять меня в солдатское братство. Письма его читал с сильно бьющимся сердцем, рассматривал фотографию с Комендантом, и наконец мать сказала мне правду о смерти родного моего отца: он вступил на эшафот на откосе варшавской Цитадели и, возвысившись над головами своих палачей, воскликнул: «Да здравствует Польша!»

Признаюсь, я по сей день завидую той своей непреклонной и чистой вере, с какой молился под холодным майским небом, идя в ночи навстречу своему первому бою.

Семинарист все еще продолжал отпевать будущих мертвецов, остальные притихли. А потом вдруг методичная артиллерийская бомбардировка русских траншей превратилась в мощную подготовку прорыва фронта.

Мы спускались с пологого холма. На черном небе трепетали всполохи, а вскоре запылало зарево пожаров. Совсем обычное зарево от пылающих крестьянских халуп. Но этих пожарищ было много, очень много и становилось все больше.

— Ну и погода,— сказал Семинарист.— Господи, смилуйся над нами.

Кажется, он так сказал. Только не помню: тогда ли, на марше? Или спустя несколько дней, когда в старом, не нами отрытом окопе мы ждали крика господ офицеров и рявканья Собика «в ата-а-аку!», а быть может, еще позже, в безлистном лесу, из которого его вытащили санитары, проклинавшие свою чертову работу и неимоверно тяжелую ношу.

К лесу мы бежали вверх по склону. Семинарист, что ни говори, был прав: воздух оставался прозрачным, как в бабье лето сухим сентябрьским днем. Мы перебежали, вероятно, помещичье, не пересеченное межами поле. Лес был все ближе — но и все дальше,— ибо поле все круче поднималось в гору, а из-за грабов и орешника поливали огнем русские станковые пулеметы.

Сержант Собик был рядом. Он наказал мне не отходить от него, так что я цеплялся за него, и весьма упорно, ибо накануне он спас мне жизнь. Было это во время артиллерийского обстрела, когда я, укрывшись вместе со всем взводом в овраге, впервые пережил настоящий страх. Гранаты летели заметно выше, и шрапнель в общем тоже нам не угрожала. И вдруг санитары притащили нескольких человек, которые не успели спрятаться в овраге, и тут я впервые собственными глазами увидел то, чего же может потребовать от меня отчизна. Обломки костей, торчащие из разодранных штанин, вспоротый живот, разбитую челюсть. Может, я путаю картины. Может, тех, кого я поместил в этот овраг, довелось видеть где-нибудь еще. Но тут важно другое: меня доконали мои глаза и уши. Не вой и грохот снарядов, а лишь крики и хрипенье тех четверых или пятерых, которых снесли в наш овраг санитары. Волы безмозглые! Тем уже ничто не могло помочь, а весь наш взвод получил возможность любоваться ими.

— Вон отсюда!— ревел Собик.— Убью, гниды лазаретные!

Он спас мне жизнь, ибо, когда я кинулся прочь от этой крови и крика, он мгновенно догнал меня в орешнике, росшем в овраге. Принялся отделывать ремнем и чудовищно ругаться. Ибо не то было важно, что, улепетывая из безопасного места, я мог попасть под гранату или шрапнель. Но за такой побег, по-видимому, в тот же самый день — очевидно, вечером — я сунул бы дуло винтовки себе в рот. Уже не со страху. Это был бы заслуженный расстрел — суд над дезертиром, над его страхом. Ремень Собика и его брань спасли меня. И потому сейчас, наступая на лес, на левом фланге рассыпавшейся по полю роты я изо всех сил старался не отстать от сержанта. Из любви? Во имя верности? Нет, все эти возвышенные вещи были тут ни при чем! Просто-напросто я должен был убедить его, что начинаю закаляться в бою, что из меня непременно выйдет заправский рубака, фахман, что я спокоен и в полном порядочке, что стреляю не вслепую, а засек главные огневые точки и что вместе с ним упорно и толково подбираюсь к ближайшему станковому пулемету, поливающему нас из купы старых грабов.

До намеченной цели остается всего пятьдесят, сорок шагов, а у меня еще почти полные подсумки и надежно примкнутый штык уже готов к бою. Я не устал. То есть устал гораздо меньше, чем он. Перед предпоследним броском я продрался через рожь — меня рассмешил свист низко летевших пуль, позабавили меня и сердитые, вытаращенные, налившиеся кровью глазки Собика.

— Чего? Чего ты здесь?

— Командир,— вполголоса попросил я его спокойно.— Дай гранаты. Доброшу.

Он отдал мне их по двум, как мне представляется, причинам. Во-первых, никто во всей роте не умел так добывать живность на привалах, как я. Когда другие гоняли кур и гусей, те поднимали такой гам, что мгновенно сбегались разъяренные бабы и матерящиеся мужики. Я же брошу камушек — и облюбованная птичка с катушек долой и лежит смирнехонько, а остальные без шума разбегаются.

Во-вторых — и это, наверное, главное,— Собик знал, что сейчас, чтобы метнуть гранату, необходимо высунуться из ржи. Встать, замахнуться, бросить. Это тянется долго. Иногда на такое не хватает жизни, если напротив сидит человек расторопный и знающий, что огонь следует вести не механически, а прицельно. И ждет. И в то же время мы оба понимали, что кто-то из нас все-таки должен бросить гранату в станковый пулемет, мешающий нашему взводу подняться. Мы были ближе всех к купе грабов, а я перед боем гранат не получал. Я улыбнулся, прямо глядя ему в глаза,— губы у него были серые, руки тряслись. Под огнем не бывает бесстрашных — сейчас настал его черед.

Я отложил винтовку в сторону. Мы выждали несколько секунд, очень долгих секунд, пока не прервалась пулеметная очередь. Наконец, он дал знак рукой.

— Дава-ай! — заорали мы оба.

Из-под корней грабов взметнулся дым, посыпались листья, клочья земли и человеческой плоти. Потом мы бежали лесом, очень долго и деловито. Первый раз я увидел вблизи глаза человека, которого я убиваю во имя родины. Очень был удивлен тот паренек с бледным, усыпанным веснушками лицом, когда не попал в меня с двух метров и не успел отбить штык. Он выпустил из рук свою винтовку, обхватил тонкими пальцами мой штык и падал навзничь, глядя мне в глаза, и кричал. Чтобы выдернуть штык из его ребер, мне пришлось прижать его ногой к земле. И все остальное происшедшее в те часы, в течение которых сотни молодых мужчин весьма стара-

тельно убивали друг друга, взывая к матерям и богам, кроя в бога душу мать, я вижу уже лишь в клочьях, словно бы раскромсанное особого типа гранатой.

Из оглашенного спустя пять дней приказа явствовало, что мы захватили два станковых пулемета и сто восемьдесят пленных, потеряв одну шестую своего личного состава. И Семинарист уже был мертв. А мы пили. Мы совершили, как подтвердил в том же приказе Комендант, много героических поступков, среди которых почетное место занимает и совершенный в одиночку самоотверженный рейд блаженной памяти сержанта Собика Станислава на позиции русского станкового пулемета. Я сам рассказал об этом факте майору Смиглому, и майор лично произнес речь над могилой старого служаки. Весь взвод плакал, о чем я сообщил матери в первом своем военном письме. Неведомый ей и названый ее брат был не меньшим героем, чем брат настоящий. «Я заменю их обоих, мама, на алтаре отечества»,— писал я, украсив письмо пьяными каракулями. Красиво описал я также его смерть, хотя никто не знал, когда и где настигли его длинные граненые штыки, провертев в нем целых семь смертельных дыр: на шее, в левом легком и в животе. Я и царапины не получил, хотя сам майор заметил меня в гуще боя. Так что я очутился на пороге карьеры — ибо в знак особого признания по личному приказу майора я прислуживал на состоявшемся после пятидневных боев банкете для командования.

Мы расставили одиннадцать крестьянских столов под огромной старой липой. На ее стволе майор лично прикрепил собственноручно изготовленный бумажный плакат с надписью: «Слава Любимому Вождю», а под ним расположился он сам — Комендант.

До линии фронта было с тысячу шагов, но до отечества — мы верили — не дальше, а ближе.

— Каждый твой шаг, Комендант,— раскатистым голосом выкрикивал командир второго полка,— это шаг к Свободной и Великой Польше. Не лести ради, не ради красного словца, но из глубины сердец наших провозглашаем: ты вождь наш, единственный из великих и превышающий иных, ибо в многострадальном народе нашем вот уже два века великие гибли, покрывая себя славой, ты же в славе победишь. Да здравствует...

— Польша! — вставил Комендант.

— И Юзеф Пилсудский, наш единственный вождь! — ревели господа офицеры и мы, официантская команда, пока он милостиво не приказал умолкнуть, дабы оркестр, расположившийся невдалеке подле хаты, смог сыграть его любимый вальс; а для нас все яснее становилось, что слово «Польша», прекрасное и необъятное, все полнее сливается с особой единственного нашего Бригадира и Коменданта, который с бокалом вина в руке встает и отвечает на тост торжественным заверением, что смерть, и только смерть, смогла бы загасить в нем сознательную волю и гордость руководителя, каковой, несмотря на нерешительность народа, преподносит ему (народу) возможность обрести себя в собственном, то есть независимом отечестве.

Вина хватило не только для господ офицеров и не только для нас, официантского взвода. Уже при луне, с Козубом и Варецким отправился я на новехонькое кладбище. По полной бутылке вылили мы под березовые кресты. И сержанту, и Семинаристу, хотя последний при жизни уже после первой рюмочки начинал заговариваться.

Никогда я больше не бывал на том месте, хоть мы и поклялись тогда, что никогда не забудем об этих несчастных могилах,— и в чем-то еще там клялись, сдабривая мерзостями самую чистую скорбь.

— Между нами говоря,— сказал мне следователь в 1940 году,—

биография довольно интересная. Но, с моей точки зрения, она очень сложна.

Это был второй следователь, который изучал мое дело. Задержали меня пограничники, когда я шел через зеленую границу, удирая от Гитлера.

Я был без документов, о судьбе своей повествовал довольно сбивчиво. Ничего удивительного, что первый следователь уже на втором допросе обвинил меня в шпионаже. К счастью, его перебросили на другие дела и в другой город, а мое дело принял второй следователь, человек лет сорока, с мальчишеским, усыпанным веснушками лицом и терпеливыми глазами. Он был очень любопытен к человеческой судьбе и обладал большим терпением. Был он также человеком порядочным, и уже на первом допросе я понял, что могу перестать бояться страшной, бессмысленной смерти. Я понял, что он рассматривает мое дело в правильных пропорциях: дело мелкое, хоть и незаурядное, арестованный мало интересен, хоть и с поразительной биографией. Я понял, он не убежден в том, что ему передали: «агент Пилсудского». Подобное обвинение так просто не перечеркнешь. Время было очень тревожное. Следователь хорошо знал, насколько тревожное — и не только для арестованных. И он расспрашивал меня очень заинтересованно и внимательно, искал во мне правду, а я старался, чтобы он понял ее.

Кое-что я уже знал о веке, который был моим ровесником, и потому не вопил о своей невиновности, не возмущался несправедливыми обвинениями. Меня задержали во время нелегального перехода границы, без документов. Не было также никого, кто мог бы за меня поручиться. Выпал мне, стало быть, один-единственный шанс: говорить правду, убедить следователя, что моя «очень сложная биография» сложна единственной и ничего иного не таящей в себе правдой, всей правдой, и только правдой. Поэтому я хотел быть и старался быть искренним. Стремился к тому, чтобы следователь именно так все и понял.

— Не отказываюсь,— объяснял я все с самого начала и упрямо.— Сам вам это сказал: был солдатом Пилсудского. Кричал ему: «Да здравствует!» Верил, что он величайший человек в Польше. Мне было шестнадцать лет, когда я попал в его бригаду. А когда он повел нас против вас, против вашей революции и республики, я все еще верил ему. Но потом...

— Зачем ты говоришь мне это? — беспокоился следователь.

— Чтобы убедить вас, что я не лгу.

Следователь задумчиво качал головой, щурил серые глаза, потирал, размышляя, нос.

Мне ничего не удалось узнать о жизни самого следователя. Он, по-видимому, был моим ровесником, и ему пришлось, насколько могу судить, познать в жизни многое. Я же видел, что человек он порядочный и не равнодушный к тяжелой своей работе. Пожалуй, он чувствовал, что я не лгу ему. Нас, однако, разделял совсем различный жизненный опыт. Он не хотел бы обвинить невиновного, но боялся поверить лжи человека виновного. Он старательно отыскивал мою правду и посвящал мне столько времени, что в камере на меня стали смотреть с презрительным сочувствием — и помалкивали. Или провокатор и стукач, или сварганят ему такую показуху, что со смеху животики надорвешь, утверждал пожилой тип с аристократической внешностью и жаргоном профессионального уголовника. Так что в камере меня сторонились — кто из сочувствия, кто со страху,— и единственным человеком, с которым я мог поболтать тогда о жизни, о боге, был следователь.

Опять пришел май. Из открытых окон кабинета тянуло свежестью, а я рассказывал истории и историйки, слушая которые следователь задумчиво покачивал головой и которым он сдержанно и искренне удивлялся.

Многое я уже успел ему рассказать. Он наслушался о первых двух моих войнах, о моем процессе, завершившемся годом крепости, о людях, у которых я в неоплатном долгу, ибо они помогли мне в черную годину. Я сказал ему о том, что по заданию компартии убил в 1924 году провокатора и настоящего агента, что, будучи опознан, я вынужден был бежать из города и из страны, и это положило начало очень долгим моим скитаниям. Успел я вспомнить о своей дружбе со старым шведом, который учил меня морскому ремеслу, рассказывал о долгих годах, прожитых на дальних морских трассах: у топок старых трампов, на палубах загаженных торговых судов и вылизанного, первоклассного лайнера. Он узнал даже о том, как в лепрозории под Найроби я поймал убийцу душ. Потом киноповесть бежала уже гладко: испанская война, бои в сентябре 1939 года на Оксивье, в Польше, и, наконец, этот побег от гитлеровских пуль, побег через зеленую границу, без документов, но с надеждой на человеческую помощь и справедливое отношение.

При этих последних словах следователь озабоченно и печально морщился. Он понимал, что я имею право надеяться на справедливость, но тревожился, понимая, как трудно ему поверить моим словам. Он слушал мои долгие рассказы, словно роман с продолжением по радио, но слишком мало знал о далеких морях и черных континентах, чтобы проверить эту проклятую и несчастную мою экзотику. Впрочем, она и не занимала его. Он быстро пришел к мысли, что, по существу, она не имеет отношения к делу. Его прежде всего интересовал тот поразительный путь, который я прошел от легионов Пилсудского, диктатора «панской» (так он говорил) Польши, до Интернациональной бригады, в рядах которой начал в Испании войну с Гитлером.

Я хорошо видел: следователь был человеком кристальной честности. Но он же откровенно сказал мне, что не я, не мы оба, не наша правда или совесть будут тут решать. Наступает грозное время. Каковы же пропорции между нашей маленькой общей судьбой и судьбой мировой революции и международного пролетариата? Если уж суждено нам ошибаться и путать, то только не в ущерб этой последней!

— Подумай, Ян Мартынович! — воскликнул он чуть ли даже не в отчаянии.— Если ты не агент, а настоящий наш человек и брат, то и сам все поймешь, и мне нечего тут объяснять. Через месяц, через год Гитлер будет в Париже или Лондоне. Скажи сам: куда он потом повернет, а?

Что я мог сказать? Тут нечего было возразить. Я развел руками и опустил голову. Слишком часто я оказывался на волосок от смерти, чтобы не чувствовать приближения опасности. На лице моем мгновенно выступила испарина, руки задрожали. Но тогда он, смущенно улыбаясь, подсунул мне полный стакан. Я глубоко вздохнул, не ведая еще, один ли это из тысячи или же один из последних. А все-таки полегчало, и я пил водку глоток за глотком, выдохнул в рукав, сжал кулаки. В этом случае сивушный запах теплой водки не собирается в комок, не подкатывает к горлу. И я вспомнил, что учил меня так пить первый мой друг на испанской войне Васька Жубин — Василий Сергеевич Жубин. Он-то первым просвещал меня относительно измен, которые везде и всюду стремятся поразить ряды и даже штабы революции. Ему не надо было долго объяснять — оба

мы видели это под Эбро, в Мадриде и под Питресом. Дважды были в составе взвода, приводящего в исполнение приговор, а карали мы по справедливости. Помнится, расстреливали настоящего шпиона, пойманного при попытке похитить оперативные карты. Дело не долгое, но вспоминать мерзко. Я не рассказал о нем следователю, только рассмеялся, хотя и невесело.

Следователь этого не любил.

— Над чем ты смеешься, а? Что война на нас идет? Да?

Я возмутился, резко запротестовал, ударил кулаком в грудь. Просто вспомнилась небольшая и не совсем смешная история о том, как мы с Василием Жубиным пошли под Питресом поразвлечься и чем это дело кончилось.

История была невыдуманная: в тот день мы познакомились с двумя девушками, даже и не красавицами, а просто милыми насмешницами. Испанскими словами уговаривали мы их, назначали ночное свидание, а они не возразили и преподнесли нам бурдючок молодого вина, крепость которого невозможно было определить на вкус. До полуночи мы были в карауле на передовой, но поверяющий накрыл нас с этим бурдючком на час раньше, отобрал остатки вина, прислал смену, обещал доложить и наказать не меньше как на трое суток строгого ареста. Кричал так, что по передовой разносилось эхо, а нас с Васькой то мучил стыд, то душил смех.

Ночь была черным-черна, а вино крепче, чем мы предполагали. Мы и решили перед наказанием отведать хоть немного счастья. По пути в караульную, совсем рядом с линией фронта, стоял каменный дом этих двух некрасивых, но добрых девушек. После вина, темной ночью они могли бы показаться прекраснее, чем сама любовь. И на обратном пути нас занесло к каменным постройкам захудалой фермы. Мы звали девушек, выкрикивая имена в черную темень. Они не отзывались. И вдруг надежды наши оживил какой-то шорох. Луна уже поднималась, а мы все выкрикивали разгоряченными глотками: Хуана! Росита! Росита! Хуана! Наконец сначала Василий, а вслед за ним и я на фоне окна увидели двоих. Василий заметил занесенный штык, я замахнулся прикладом винтовки. Угодил так, что тот успел лишь в последний раз в своей жизни вздохнуть. Но второй бросился на Василия и подмял его под себя. Я выбил у него штык, сломав ему руку,— он взвизгнул, заплакал. Потом мы нашли спички, керосиновую лампу. В слабом ее свете осмотрели дом. Роситу и Хуану те двое попросту закололи штыком. Те двое, которые пришли на нашу сторону брать языка. Один из них еще жил — это был элегантный унтерок. Василий еле оторвал меня от его тощей шеи. Второму я размозжил прикладом затылок. Он не стоил больше, чем отобранное у него оружие.

Но этот жил. Мы заставили его целовать босые, грязные, холодные ноги убитых девушек. Потом повели его прямо в штаб сектора, и нелегко ему было идти в непроглядной темноте с перетянутыми до крови руками, с ремнем, накинутым на шею. Так мы потеряли надежду на любовь, Франко потерял двух разведчиков, а нам отменили арест, что очень плохо кончилось для Васьки, ибо в тот же самый день во время бомбежки наших позиций осколок стокилограммовой бомбы как бритвой срезал ему ступню.

Следователь выслушал этот рассказ сосредоточенно и молча. И только после долгой паузы взялся за ручку.

— Васька,— проговорил он.— Значит, Василий Жубин?

— Да.

— А как его отчество... и откуда он родом?

Я хорошо помнил: Василий Сергеевич Жубин, токарь из Росто-

ва-на-Дону. Но я знал, что если бы даже у него взяли показания, они мне мало чем помогли бы. В то же время я не был уверен, пойдет ли ему на пользу знакомство со мной. Мне не понравилось выражение лица следователя, да и ручка тоже. И я ответил: Иван Артемьевич, слесарь из Уфы.

Следователь понял, вздохнул, отложил ручку.

— Не хочешь, не надо,— пробурчал он даже как будто с облегчением.— Но скажи мне правду: кто тебя из этой Африки послал в Испанию?

— Пилсудский,— сказал я.

Следователь разозлился не на шутку. Ударил ладонью по столу, закусил губу.

— Послушай, тогда, в июле, твоего Пилсудского уже не было в живых. Ну, так кто?

— Он явился мне во сне и приказал: иди.

— Ян Мартынович,— проговорил следователь, угрожающе сопя.— Не испытывай моего человеческого терпения.

Я не испытывал его терпения. Искренне уважал его добрую волю и человеческое терпение. Но как же я мог правдоподобно объяснить терпеливому этому человеку, что именно яростная ненависть к бывшему когда-то господину и богу моей юности толкнула меня сначала в тюрьму, а затем в долгие странствования в поисках такого учения, в которое я мог бы уверовать столь же истово, как Моисей в каменные скрижали на горе Синайской? Очень долгими были эти странствия, и не прямы пути их. Но как раз в Испании я уже твердо знал, на чьей я стороне, и даже сейчас, здесь, в тюрьме, которой не заслужил, я был более чем когда-либо убежден и мог бы доказать этому терпеливому человеку, что я в самом деле отбросил уже без остатка слепую веру моей юности, что навсегда расстался со своим идолом.

Я шел за любимым Комендантом от боя к бою, с волынского фронта — в прусскую тюрьму, из прусской тюрьмы — в роту личной охраны и, наконец, по собственной просьбе, в восемнадцатой добровольческой дивизии против большевиков на Киев. Я шел, еще стараясь верить, что иду путем своего Коменданта, прямо в Свободную, Независимую и Справедливую Польшу!

Но потом, когда она была уже свободная и независимая, гарантированная трактатами, поддерживаемая законом и безмерной нашей радостью,— тогда-то мне опять приказали стрелять! Приказали стрелять! В кого? В заморенных войной хамов, крестьян из родной деревни Собика, в бунтующих крестьян и в довершение всего в рабочую толпу, которая вышла на улицу, требуя своей Независимой и для нее Справедливой Польши.

Еще тогда, перед первым залпом, я верил: так надо, хотя из подобного же сброда вышел и мой родной отец. Первый залп грохнул в грязное небо. Другой и третий — прямо в толпу. Я помнил заповедь Собика и Начальника: огонь следует вести не механически, а только прицельно. Я помнил об этом еще перед вторым залпом — и только когда увидел и понял, что и теперь я попусту не растратил патронов, когда заметил человека в серой куртке, который, харкая кровью, медленно падает лицом на черную мостовую и которого за секунду до того я поймал на мушку, тогда я понял в первый и, слава богу, в последний раз, что так вот расстрелял сам в себе любовь, надежду, веру и бога военной своей юности. Перед третьим залпом я швырнул винтовку на землю, успел вырвать оружие у соседа слева. Но не помешал третьему залпу. Меня, вопящего, тотчас схватили под руки и за шиворот — вывели из цепи, отдали жандармам. Я получил

всего год тюремного заключения в крепости. Мне обещали разжалование, лишение всех орденов и десять полных лет. Обошлось же лишь двенадцатью месяцами, ибо судивший меня член военного трибунала был личным врагом прокурора, требовавшего десятилетнего заключения.

Итак, я отсидел двенадцать месяцев в камерах Модлинской крепости. Это было сравнительно не так уж много. Однако хватило для начала нового образования, которым руководили два совсем разных учителя.

Первый — кавалерист Сурысь — сидел за довольно-таки своеобразный способ заработков. Темной ночью он выбирал извозчика с хорошими лошадьми. Приказывал везти себя за город в отвоцкие рощи или же к Медзешину, а затем втыкал извозчику штык под левую лопатку и благодаря связям с барышниками после каждого такого катания гулял по-барски в кабаках и борделях правобережной Варшавы. Недолго пожил, хохоча, кричал он, но зато пожил за трех забубенных графьев.

У другого — артиллериста из тридцать пятого полка полевой артиллерии, который застрелил издевавшегося над всей батареей унтера,— нашли большевистскую листовку. Так к убийству прибавилась еще и государственная измена, о чем тихий этот человек по фамилии Ковалик вспоминал без улыбки и без слез.

Оба говорили много, и обоим моя особа пришлась по душе. Я тогда только слушал и взвешивал разные их правды. Обоим, также в те дни, когда я отбывал свой срок, повязали пеньковый галстук, и оба (как говорили в камерах) кричали перед смертью. Только тот, второй, Алоизий Ковалик, несмотря на ругательства и страх, душившие его, сумел крикнуть: «Да здравствует Польша трудового народа!» —о чем с мягкой улыбкой рассказывал нам добродушный толстяк надзиратель Цеберский.

Сознаюсь: тогда еще, в крепости, мне намного больше были по вкусу уроки Сурыся. Идея поохотиться за лошадьми была не так уж плоха, но исполнение никудышное. Если бы Сурысь был посмекалистее, он не прирос бы к одному месту, а кочевал бы из воеводства в воеводство, из повята в повят, избегал бы извозчиков и мокрой работы, гонялся бы лучше за помещичьими да крестьянскими лошадьми. В провинции еще удалось бы, пожалуй, поладить с полицией и таким способом как-то обеспечить себе пропитание за неимением лучших видов на будущее.

Я вышел из крепости весной. Еще надеясь на семью, на родной дом и мамино прощение за долгое мое отсутствие и не менее долгое молчание. Однако я ошибся. Правда, я даже нашел настоящего своего дядю, но встреча получилась не из приятных. А потом выяснилось, что нет уже родного дома и родная земля стала чужой и холодной. У матери я мог попросить прощения лишь на кладбище. Младшую сестру, Агату, отыскал в монастыре, и нам, в сущности, нечего было сказать друг другу. Так в конце концов я пошел к людям, о которых говорил мне Алоизий Ковалик, артиллерист. Я пришел к ним с пустыми руками — чужой к чужим, а они приняли меня. Одарили углом, ложкой похлебки, ломтем хлеба и мудрым словом. Правда, долгонько принюхивались: не провокатор ли, не шпик, не дворняжка ли с полицейской псарни? Было у них такое право и такая обязанность: хорошенько прощупать, не пустили ли к себе око и ухо иудино. Не знаю, сумел ли бы я долго выдержать в таком поганом положении, если бы не девушка, которую встретил у них, умная и добрая девушка со спокойным лицом и внимательными глазами. Я опускался все ниже и готов был свернуть на Сурысевы трассы. Но

сна — Марианна — с первого же дня поверила, что совесть моя чиста, а уже на третьей неделе обняла, прижала меня к себе просто и легко, словно был я двадцатым или сороковым. А был я первым.

Вспоминая чарующий смех Марианны и глупое свое изумление, я не смог сдержать слез. Я всхлипывал, вытирая слезы кулаком и рукавом. Но следователь не поверил в мою искренность. Сморщился, закашлялся и сплюнул в стоявшую в углу плевательницу.

— Слезами меня не проберешь, дорогой, и не убедишь,— констатировал он.

— Товарищ следователь,— ответил я, вытирая слезы, но уже твердым голосом.— Вы должны знать, что от проснувшегося национального самосознания до пробуждения классового сознания дорога пряма и коротка. Когда мне приказали стрелять по рабочей демонстрации, я швырнул винтовку на мостовую. Мне грозила тогда смертная кара. А выйдя из крепости, я должен был бежать из панской Польши, потому что опять провинился перед нею. Вот я и бежал на море...

— Почему не к нам?

— А вы пустили бы?

Следователь наполнил оба стакана. Мы громко чокнулись. Глаза у него повеселели, ибо так надо было с ним разговаривать. Такой язык подходил для протокола.

— А в 1936 году, товарищ следователь,— говорил я, морща лоб,— я пошел по первому зову оказавшейся в опасности Испанской республики. Сражался под Сарагосой, под Мадридом. Там меня тоже выспрашивали, какого цвета у меня душа, почему это я так хорошо работаю на станковом пулемете. Но я не болтал. Я сражался. И анкета моя очистилась.

— В Испании было много предательства,— опять задумался следователь.

Я разорвал рубаху на груди, обнажив длинный синий шрам вдоль ключицы. Я получил его не в Испании, а в короткой, но страшной схватке с конницей Буденного в междуречье Буга и Хучвы. Несмотря ни на что, было у меня, однако, свое право именно теперь воспользоваться им.

— Вот моя измена! — заорал я.— Вот! Черт вас...

— Ну что ты..— оправдывался следователь.

— Знаете, что я вам скажу?! — продолжал я орать, внимательно дозируя жалостливые и гневные ноты.— Ничего я вам больше не скажу! Хватит! Не поверили, не поверите и дальше. Делайте со мной все, что вам велит ваша совесть. Моя совесть останется чистой. Даже в земле!

В самом деле, с той минуты я замолчал, и хоть он еще два раза вызывал меня к себе, но я упрямо молчал. Он тоже не произносил ни слова, размышляя о беспокойной нашей совести — моей и своей. Наконец он протянул мне руку и не убирал ее, хоть ему довольно долго пришлось ждать, пока я не ответил на его сухое и холодное пожатие.

— Я сделал, что мог,— проговорил он.— Длинная еще у тебя дорога впереди, Ян Мартынович,— добавил он совсем тихо.

В тот миг мы хорошо и до конца поняли друг друга. Я видел: он, слушаясь своего рассудка и совести, поверил мне. Но вместе с тем он не сумел поверить себе: ни опыту своему, ни проницательности. Отмел обвинение первого следователя, куда как немудреное и легковесное, которое могло все же приобрести тяжесть земли, утаптываемой на моей шпионской могиле. Он, однако, счел необходимым отослать меня подальше из района, которому уже через год

суждено было стать первой прифронтовой полосой очередной военной кампании тех лет,— отнес меня к категории спецпереселенцев, переселенцев, направляемых в глубь Советского Союза, в далекие республики, подальше от важных в годы войны центров.

Обещал мне дальнюю дорогу и не ошибся. Сомневаюсь, однако, чтобы он в состоянии был предвидеть, какие еще далекие концы предстоят мне. И наверняка он не смог бы представить себе, что всего через каких-нибудь три года я буду стоять на палубе британского танкера, бросившего якорь в Саутгемптоне, вместе со всем его экипажем, поджидая какого-то деятеля, который должен был одарить десятка полтора указанных капитаном матросов каким-то что-то значащим кусочком металла на что-то значащем кусочке ленточки.

Экипаж танкера «Абердин» состоял из взрослых людей, не привыкших волноваться по поводу визита какого-то там склеротика из Адмиралтейства. Оказывается, мы даже и вообразить себе не могли, кто же будет нас награждать. Нас поразило, что газетные шавки и фоторепортеры стали съезжаться, будто на коронацию. Причины мы понимали: очень нелегко и все труднее было найти желающих ходить в атлантических конвоях, а в то время гитлеровские подлодки шныряли по Атлантике почти безнаказанно. По этим-то, вероятно, соображениям и было решено в патриотически-рекламных целях устроить нам грандиозный цирк и фейерверк, обставив все весьма торжественно.

Был февраль. С моря налетел мелкий дождь, вместе с которым все чаще сыпала и снежная крупа. Мы стояли, готовые к торжествам, довольно длинной шеренгой, озябшие, но слегка подогретые изнутри, да и любопытство разбирало нас все больше — ради кого же это так торжественно надрываются боцманские свистки. А в следующий миг всех как громом поразило — да и сам я ощутил какое-то беспокойство и нечто вроде гордости. Мы увидели, как по трапу поднимается высокий и тучный мужчина в мундире с высшими знаками отличия, в шинели, несмотря на страшный холод едва наброшенной на плечи. Никто из нас, включая капитана, человека большой храбрости, не предвидел, что лицом, которое должно прибыть к нам в гости, окажется премьер Уинстон Черчилль. У капитана во время рапорта дрогнул голос, кто-то из англичан в нашей шеренге довольно громко выругался и всхлипнул, а тот уже награждал капитана, затем первого помощника и главного механика. Я стоял почти в середине длинной шеренги, но ждал недолго. Высокий гость торопился, то и дело выстреливали лампы фоторепортеров, все шло гладко и казенно, как на хорошо отрепетированном параде.

И вот он уже был передо мной. Адъютант подал соответствующую коробочку, капитан чуть не сломал язык, выговаривая мою фамилию,— он не обратил на это никакого внимания. Ему пришлось дотягиваться до левой стороны моей груди, мундир у него, видно, был узковат в плечах, шинель сваливалась с эполет, и награждать меня оказалось делом несподручным. С нескрываемой, хотя и равнодушной злостью он посмотрел на меня. Я видел его лицо перед собой: изборожденный морщинами высокий лоб, глаза, так глубоко спрятанные под бровями, что я не разобрал и не запомнил их цвета, сплющенный, покрасневший от холода нос и эти знаменитые толстые, очень мясистые щеки, бульдожьими складками свисающие по обеим сторонам рта, посиневшего от холода.

Я не слышал, что говорил капитан. Немного наклонился, чтобы лорду удобнее было дотянуться до нужного места. Несмотря на это, ему никак не удавалось прицепить медаль к толстому сукну. Пальцы широких, сильных рук покраснели и одеревенели на февральском

северо-восточном ветру. Наконец он добился своего, а я чуть было не опоздал протянуть руку для церемониального рукопожатия, которым обменялись старшина второй статьи с морского танкера «Абердин», поляк по происхождению, профессиональный моряк и участник трех войн, и лорд Уинстон Черчилль, премьер Британской империи.

Я чуть было не опоздал протянуть руку, а вместо принятой формулы совершенно сознательно и как можно громче произнес по-польски:

— Во славу отечества, господин премьер.

Капитан Гослоу побагровел от гнева и стыда, два фоторепортера тотчас же открыли перекрестный огонь, какой-то ссохшийся старикан, адмирал из свиты премьера, от ярости зажевал вставными челюстями. Но премьера заинтересовали странные слова, которые он услышал от награжденного поляка с «Абердина». Он остановился, даже отступил на полшага назад, чтобы получше рассмотреть мои налитые кровью, блестевшие от ветра и перепоя глаза.

— What? — спросил он.— Where are you from? [1]

— Poland, sir,[2]— ответил я и тотчас же повторил еще раз, но уже по-польски, чтобы он услышал это имя в его настоящем звучании: — Польша, сэр.

— Oh, yes! Poland! Of course: [3] Polska.[4]

Он еще раз протянул мне руку, и это уже было сигналом для всех репортеров. Даже положил сверху другую руку, припечатав тыльную сторону моей руки мягкими, но сильными пальцами. И улыбнулся, как брату, однако я хорошо видел, что улыбка эта предназначалась для объективов, а не для меня. Я ведь совсем рядом видел глаза великого человека. В них, кроме бесконечной усталости, отражался лишь слабый след холодного любопытства.

— Sir,— проговорил я.— Моя страна... my country...

— Yes, yes. I know,[5]— отвечал он, собственно говоря, уже не мне, а стоявшему рядом со мной финну из Турку с белыми ресницами по имени Маэки, фамилии которого никто не помнил — такая она была длинная и заковыристая.

Маэки, как и все остальные, не доставил премьеру никаких хлопот. Я смотрел вслед великому человеку: он шел, по-утиному переваливаясь с боку на бок, мерз, торопился и томился, демонстрируя фоторепортерам свое надменное лицо, улыбку, серьезность, то братские рукопожатия, то акт вручения награды, собственную грудь, пестрящую планками, умные и усталые, равнодушные глаза. Он, по-видимому, счел необходимым показать миру, что пожимает руки не только коренным британцам, но и разношерстной компании, собравшейся на борту нашего судна со всех концов земли.

Что он думал о нас? За последние месяцы мы четырежды пересекали Атлантику. Спасали Англию от топливного голода. Не одно судно из нашего конвоя отправилось на дно после точного попадания торпеды. Думал ли он вообще что-нибудь о нас? О финне, поляке, еврее из Торонто, шведах, норвежцах, датчанине и сербе? Мы были полезны. Поили Англию нефтью. Позволяли экономить британскую кровь, ценимую им превыше всего. За это он пожал всем нам руки, одарил медалями. Может, он даже мимоходом посочувствовал проклятой нашей судьбе, которую, впрочем, мы уготовили себе сами.

[1] Что? Откуда вы? *(Англ.)*
[2] Польша, сэр *(англ.)*.
[3] О да! Польша! Разумеется *(англ.)*.
[4] Польша *(польск.)*.
[5] Да, да. Я знаю *(англ.)*.

Но должен ли я быть благодарным за это? Я сказал «Польша», а он соблаговолил произнести: «Yes, yes... I know». Хорошо еще, что не вставил фразочку, которой щелкоперы сдабривают свою пачкотню: «вдохновение мира, героическая Польша». Слишком дорого обходилось нам воодушевление мира, и поэтому уже через полчаса после всей этой помпы с лордом Уинстоном, за третьей кряду бутылкой я разъяснял Маэки и Шумахеру из Торонто, что́ я на самом деле думаю и что́ я на самом деле сказал Уинстону относительно той паскудной доли, за которую он соизволил дать нам по медали и пожать руку. У Маэки, как обычно, лицо было тупым и застывшим, подбородок Шумахера беспрестанно соскальзывал с неловко подпиравшей его руки. А поскольку угощал я, то имел и право голоса. Говорил, что хотел сказать и якобы сказал старому бульдогу, отметая все приложения к этому спектаклю: штабных кукол, старых хрычей из Адмиралтейства, шутов-фоторепортеров в клетчатых гетрах, отметая боцманские свистки, гимны, салюты и флаги.

Я угощал и имел право говорить первым, и я не умолкал, постукивая кулаком по столу, а Маэки и Шумахер только сонно кивали в знак согласия, хотя я говорил по-польски и ненавидел их за пьяное безразличие. Я рассказывал им, как мне удалось залучить старика Уинстона на пару слов и как без обиняков и экивоков я высказал ему, что плюю на эту медаль, как я не дал ему и рта раскрыть и под конец выпалил ему в лицо голую правду относительно того, в каком долгу его чертова империя перед всеми нами и в каком долгу перед моей родиной, которой в тридцать девятом она дала гарантии, не стоившие и ломаного гроша.

— Я вам говорю,— продолжал я, размахивая руками,— он слушал меня и сникал на глазах. Слушал и извинялся. Мы сидели здесь, в кающе, вдвоем. Охрана и адмиралтейские только шебаршили под дверью, а я заявил ему, что не принимаю этой медали и не приму ее до тех пор, пока моя родина, my country, вновь не заживет по-человечески: под мирным небом, без стрельбы на улицах, без немецкого окрика, без крематориев, пылающих деревень, дымящихся городов.

— И знаете, что он мне ответил? — воскликнул я.

Поскольку я и сам еще не знал, что он мне ответил, я переменил тему. Спросил Маэки, что он думает о ближайшем нашем рейсе. Шумахер уже спал, а Маэки слишком долго обдумывал ответ, и мы вышли на палубу подышать морозным воздухом.

Неделю спустя мы уже успели позабыть все это. В составе небольшого конвоя шли мы по сильной волне в метель, и на широте Исландии к нам подкралась подводная лодка.

Мы разбежались, как овцы,— и лишь маленький эсминец принялся молотить воду бомбами. Ему повезло, искал он недолго; глубинные бомбы гремели, как свадебный марш, ибо немец получил свое и метрах в ста от нас выпустил огромное масляное пятно. Мы радостно орали на всех палубах, и никто не слышал криков и стонов немцев, опускавшихся на самое дно атлантической тишины. Орал и я, ничего не зная о том, что примерно в это же время в Освенциме моя дочь была приговорена к смерти и сожжению.

Приговор был вынесен в соответствии с законом, провозглашенным правительством господина генерального губернатора Ганса Франка, за укрывательство трех лиц еврейского происхождения, ибо дочь моя (о существовании которой я узнал спустя лет пятнадцать после ее смерти) прятала у себя женщину с двумя детьми.

Информацию на сей счет я получил лишь в 1955 году от тридцатилетней, очень привлекательной, хоть и немного полноватой шатенки

с прекрасными коровьими глазами — она была одной из тех детей, которых спасла моя дочь.

В общем-то я искал не дочь, а девушку, которая так смело приголубила меня в 1921 году. Дело затянулось — тем более что я начал поиски лишь в пятьдесят третьем году. Красный Крест обнаружил кое-какие следы только в конце пятьдесят четвертого и направил меня сначала к этой тридцатилетней, поскольку после войны она носила фамилию моей дочери, а это как раз и была фамилия разыскиваемой мною Марианны.

Мне назвали фамилию и адрес: Краков. Я поехал в Краков только летом.

— Это я Марианна Костецкая,— сказала полноватая шатенка,— но это не настоящая моя фамилия.

Мы долго ничего не могли понять. Я решил: одна из многих обычных ошибок. Но женщина нравилась мне. За окном в тишине и зное дремала весьма почтенная улица. Не спеша и нехотя объяснял я, что одинок и потому — хоть и с большим опозданием — надумал отыскать человека, некогда очень близкого мне, иными словами, ту настоящую Марианну Костецкую, жившую в двадцатых годах в Варшаве, на Тамке.

Шатенка довольно небрежно слушала эти объяснения. Сварила кофе, добавила к нему малость доброго винца. В прекрасных ее глазах я уловил знакомую мне рассеянность и, вместо того чтобы распрощаться, положил руку на ее холодное плечо. Только потом — когда в окно заглянула круглая июньская луна, осветив ее изумительные тугие груди,— Марианна сказала мне, что у Янины Костецкой, спасавшей их в 1943 году, была мать по имени Марианна, с которой до войны они жили в Варшаве, на Тамке. Будучи внебрачным ребенком, она носила фамилию матери: Костецкая. Имя у нее было одно: Янина.

— Послушай,— проговорил я.— Меня зовут Ян.

— Ты должен понять,— сказала она твердо,— что ни моя мать, ни мы ни в чем не были виноваты. Янина приютила нас по собственному выбору и по собственной воле. Потом кто-то сообщил о нас в полицию. Донес человек, видимо полагавший, что мать платит Янине долларами и золотом и что полиция с ним поделится. Но когда пришли полицейские, ни для кого из нас не было спасения, ведь все богатство, которое мы хранили дома, состояло из черного хлеба и мороженой картошки.

Мы долго молчали. Друг другу чужие и безразличные. Но пришел короткий сон, а проснувшись, Марианна повернулась ко мне лицом, всем телом, улыбнулась.

Я оставался у нее неделю, совершенно спокойный и почти счастливый. Мы не говорили о тех двух женщинах. Но потом Марианна спросила меня смело и серьезно, не хочу ли я остаться у нее навсегда — она свободна, самостоятельна и добра.

— Знаю,— сказал я.— Но...

Уехал я только наутро. И уже в поезде решил сделать крюк. Сошел и, пока дождался автобуса до Освенцима, успел пропустить две кружки пива. Третью я выпил уже в нескольких метрах от указателя с табличкой «крематорий». Значит, и на этой помещенной у входа маленькой карте тоже остался мой след — след, о котором я ничего не знал, но который сейчас неотвратимо возвращался ко мне. Через ворота я проследовал на небольшую, опрятную, аккуратно обнесенную проволокой площадь. Время было раннее, день неэкскурсионный. В одиночестве шел я от барака к бараку. Меня сопровождали цифры, преследовали снимки, отрывки из книг и фильмов.

Несколько минут я простоял перед доской с фотографиями заключенных. Меня бросило в жар от усталости, от злости, что я ничего тут не вижу и ничего не знаю. Успокоился я лишь перед выставкой протезов — нагромождением тысяч искусственных рук и ног, лежавших за стеклом в тихом упокоении. Я потерял в этой сумятице Янину, злость и даже любопытство. Все это выглядело как обыкновенный, довольно убогий заводской поселок в Вестфалии или Руре, а я был здесь впервые и даже цифр не понимал.

...Что же касается той, первой и настоящей Марианны, то я в конце концов отыскал ее, но под другой фамилией, в небольшом городке центральной Польши и немного поздновато.

Похороны были многолюдными и даже торжественными. За гробом шел по-бабьи зареванный железнодорожник — плешивый и толстый муж покойной — в окружении взрослых детей и многочисленных внуков. Из речи над могилой я узнал, что нас покинул энергичный и неутомимый товарищ, образец гражданки и патриотки, память о которой долго будет жить в наших сердцах.

На небольшом кладбище было людно и тесно. Меня в конце концов прибило поближе к вдовцу, я пробрался прямо к нему. Он протянул руку, я от всего сердца выразил ему свои соболезнования, и тогда он принял меня за кого-то другого.

— Пан Малиняк! — вздохнул он.— Какая это была баба, пан Малиняк!

Я печально поддакнул, и мы мирно разошлись, хотя я с огромным удовольствием треснул бы пару раз по этой плешивой башке, да так, чтобы эхо прокатилось по всей округе,— за «Малиняка», за бабу, за трех сыновей, двух дочерей и внуков, за все то, что добрая и проницательная женщина могла бы дать мне и что дала ему, этой добропорядочной тупой роже, на которой вся их долгая совместная жизнь не оставила никакого следа, кроме идиотски скорбного остолбенения.

Вскоре крохотное кладбище опустело. Родственники умершей быстро и ловко умыкали наиболее близких участников похорон на торжественные поминки. Я даже заметил, что вдовец с некоторым сомнением указал на меня одному из сыновей. Однако тот, весьма представительный капитан авиации (рост метр восемьдесят, серые глаза и свекольные щеки), твердо заявил, что я не Малиняк. Так меня миновало приглашение к поминальному столу. Я остался подле усыпанной искусственными цветами кучки глины и, сидя на скамеечке под худосочной березкой, дождался сумерек, а с ними и часа отъезда. Вечер был тихий и ясный. И я возвращался домой не менее просветленным, умиротворенным, успокоенным мыслью, что встреча наша протекала так естественно и безоблачно. Марианна всегда умела поступать умнее и осмотрительнее меня. Ибо только теперь, здесь и задним числом, я понял, что мне не следовало ее разыскивать. Что бы мы сказали друг другу, будь она жива? О чем говорили бы? О горькой судьбе Янины, о глупой роже железнодорожника, о сытых детях и упитанных внуках? Не обошлось бы без гнева, злобы и сожалений. А стершийся, но милый образ двадцатилетней Марианны навсегда бы заслонила постаревшая и совсем чужая женщина.

Сколько близких я уже похоронил, сколько же из них ушло навсегда?

Пучеглазый и заплывший жиром балбес, вколоченный в черный костюм, торжественно произнося речь над гробом Марианны, упомянул между прочим и о ее супружеской жизни. Она была хорошей женой и матерью, выкрикивал он беспредельно растроганным тенорком, и она жила долго и счастливо. Я поверил ему сразу и безоговорочно и несколько мгновений ненавидел стоявших поближе к гробу людей,

для которых Марианна была хорошей женой и матерью. Конечно, ничто бы не доставило мне тогда большего облегчения, чем возможность треснуть зареванного вдовца по мастито плешивой башке. И если я не сделал этого, то главным образом из убеждения, что и я в конце концов удостоюсь таких слов и такой похвалы: жил долго и счастливо. И не будет тут никакой натяжки, ошибки или обмана.

Признаюсь: только в последние годы довелось мне немного отведать тихих радостей оседлой жизни. Я не сумел ни из одной своей подружки воспитать себе жены. Была у меня дочь, но о горькой судьбе ее я узнал слишком поздно. Только между пятьдесят пятым и шестьдесят пятым годами жизни мне представилась возможность познать вкус отцовства: я взял на воспитание прямо из зала суда маленького воришку и сироту, и мне удалось сделать из него человека. Зато между пятнадцатым и пятьдесят пятым годами долгого живота своего я сполна вкусил от голода, страха и несчастья. Но хоть четыре войны снимали с меня стружку, хоть чаще я голодал, чем ел досыта, страдал от жажды, чем пил вдоволь, больше заботился о том, чтобы сохранить верность, чем собственную шкуру,— несмотря на это и вопреки этому я считаю, что имею достаточно прав на такую похвалу, надгробие и некролог: жил долго и счастливо. Я не умру с горя, если не поверят мне равнодушные или посторонние. Ибо, по существу, я пуще всего заинтересован в том, чтобы самого себя убедить в этом.

Когда ранней весной пятьдесят второго меня вызвали на допрос, я ничего не мог понять. В первый же вечер меня привели к следователю, вежливому человеку со всезнающими глазами. Я ничего не понимал: вернулся на родину в сорок шестом, по своей воле и выбору, работал честно, и наконец — хотя над моей биографией долго качали головами — партийная организация типографии приняла меня единогласно, а райком так же утвердил. Опекал и учил меня новой жизни давнишний друг, Теофиль Шимонек, линотипист. Я снимал у него угол, работал очень старательно, через год меня избрали в профсоюзный комитет, я жил добропорядочней и спокойнее, чем когда-либо прежде, наконец, познакомился с немолодой, но красивой и умной женщиной. Звали ее Мария, она была замужем за человеком, который оставил ее ради другой, и она уже начала хлопотать о разводе. Мы собирались сыграть свадьбу, поскольку мне обещали дать комнату в конце пятьдесят первого года.

В середине сентября ко мне пришли двое спокойных и вполне вежливых в гражданском. Я услышал, что меня задерживают до выяснения или же для снятия показаний. Дело наверняка мелкое, малосерьезное. Через несколько дней я буду свободен. Так говорили те двое. Но тем же вечером следователь уже ласково внушал мне, что я должен запастись терпением. Я сказал, что ничего не понимаю, что ни в чем не виноват. Он улыбнулся. А кстати (так он втолковывал мне и успокаивал меня), я еще не обвиняемый и, возможно, буду всего лишь свидетелем на процессе настоящих врагов народа. Многое, так говорил он, будет зависеть от меня, от моего понимания сложной ситуации. В интересах следствия мне нельзя оставаться на свободе. Меня отвели в одиночную камеру, даже шнурков и подтяжек не отобрали. Надзиратель отнесся ко мне презрительно, но без строгости. Моя персона еще не была поставлена на довольствие в тюремной кухне, и он вместо ужина дал мне сигарету.

В небольшом подвальном окошке прочно сидела крепкая решетка. Выдержит ли она меня? Быть может, мне удалось бы перемахнуть через великую границу. Несколько долгих дней и ночей я взвешивал, есть ли у меня хоть какие-нибудь шансы. Было скверно. Очень скверно. По причинам, мне неведомым, и не по моей вине меня столкнули

на самое дно, в гнусную трясину безнадежности, и я не видел спасения для новой моей веры и надежды, для той правды, ради которой из далеких краев возвратился на свою родину. Мне сказали, что я задержан до выяснения. На какой срок?

В конце второй недели я решил, что ждать нечего. Я прожил достаточно долго, чтобы плакать над собственным гробом. Радовало меня и то, что я преподнесу эдакий сюрприз нескольким чиновникам учреждения, в котором меня держали. Но случилось иначе: я получил соседа по камере. Получил также в конце концов и две недели карцера за его избиение. В сущности, меня обрадовало его присутствие. Он стал моим соседом вовремя. Если бы я не смог тогда выговориться и исповедаться перед этой тварюгой, впрочем, неглупым малым (по имени Цезарь), к которому почувствовал даже какую-то симпатию, ибо он немного напоминал незабвенного отца Антуана, я покончил бы с собой. Хоть мне уже в первый день стало ясно, почему он весь обратился в слух, я получил время и возможность еще раз пересказать себе все с самого начала и еще раз убедить себя, что это не конец и что придет и на мою улицу праздник. Так в течение двух недель я рассказывал ему, и рассказывал многое.

Цезарь слушал жадно. Он слушал, забывая обо всем на свете, лишь изредка расспрашивая о деталях или сюжетиках, которые могли бы ему пригодиться. Я не скупился на них. Я уже оттолкнулся от дна и снова всплывал на поверхность. Давно не попадал я в столь благоприятные условия, которые позволили бы мне честно и без недомолвок еще раз напомнить себе о своих злоключениях. И так — день ото дня делаясь здоровее и веселее,— я тащил Цезаря за собой по морям и портам, вел через битву на Оксивье, представил его профессору из Принстона и даже пригласил в несколько наиболее забавных борделей. Очень мне это помогло. Я просыпался чуть свет, за полчаса до подъема, и время это посвящал гимнастике, продумав весь комплекс упражнений, благотворно воздействующих на кровообращение. Цезарь не желал следовать моему примеру — он прятал голову под одеяло и скулил. Но я вытягивал его за оттопыренные уши прямо под струю воздуха — окно закрывалось неплотно, октябрь был безоблачный и прозрачный от мороза. И тотчас после завтрака мы вновь трогались в путь. Когда первая неделя подошла к концу, я уже позабыл о всех призраках и кошмарах, спал без сновидений, пробуждался со свежей и трезвой головой.

Огорчал меня только Цезарь.

То, что первые два дня он держался малость трусливо, было в порядке вещей. Потом он осмелел — и до того, что несколько раз пытался уличить меня во лжи.

— Сумасшедший! — выходил он из себя.— С Черчиллем разговаривал? А королеву не щупал?

— Что касается ее величества,— объяснял я ему терпеливо,— то действительно капитан Малина в свое время погладил ее по бюсту, и я не собираюсь отнимать у него этой заслуги. А во-вторых, не суетись. Чем больше я тебе тут наплету, тем больше будет у тебя чего повторять. Тебе же выгодней, Цезарь.

Цезарь побледнел, кадык у него судорожно дернулся, но я лишь рассмеялся, весело и громко, ну и он присоединился ко мне мягким своим баритоном. Мы поняли друг друга, сказали друг другу то, что надо было, он поверил мне. Поверил настолько, что не брал под сомнение даже такие эпизоды и орнаменты, которые случается мне присочинить ради одного лишь удовольствия от игры воображения. Он, пожалуй, был самым прилежным и самозабвенным слушателем из всех, которые мне только попадались в жизни. Более того: когда я

рассказывал, как потаскуха Слостье продала меня за паршивые десять долларов, обрекая почти на верную смерть, он ненавидел ее; когда он слушал о трагической гибели сержанта Собика, в его глазах было больше слез, чем в моих; он то бледнел, то багровел от нетерпения и страха, слушая рассказ об очень долгой охоте на скота, похищавшего души у моих бедняг прокаженных.

И все же огорчал меня Цезарь. Он вдруг начал хиреть на глазах. Я уже вынырнул на поверхность и, вспоминая самые любопытные случаи из первого моего полувека, вновь поверил в свою правду и доверился ей. Ел я жадно, переваривал превосходно, без одышки отбарабанивал с утра свои пятьдесят приседаний. А Цезарь уже к концу второй недели стал страдать от бессонницы, терять аппетит, наконец, заболел мучительным бронхитом, дававшим знать о себе страшными приступами кашля, чему все чаще сопутствовали и изнуряющие рвоты. Сначала я делал вид, будто не замечаю и не понимаю причин всего этого, но в конце концов заставил надзирателя отвести Цезаря к врачу. Однако врач лишь обозвал его вшивым ипохондриком, и Цезарь возвратился в камеру, не получив даже таблетки для успокоения кашля и нервов.

С того дня все между нами пошло вкось и вкривь. По ночам меня будил его кашель. Я слышал, как он хнычет в страхе перед болезнью, как проклинает мой здоровый сон и скотское равнодушие. Однажды ночью он набросился на меня с кулаками.

— Не храпи! — орал он.— Перестань храпеть, сукин ты сын, перестань!

Я вежливейшим образом извинился перед ним. Однако это мало что могло изменить. В Цезаре закипела зависть, и зависть его стала быстро переливаться через край, оборачиваться ненавистью. Меня это не устраивало, но я был бессилен. Чтобы поразвлечь и потешить его, я принялся выковыривать из памяти самые презабавные истории, детально расписывал достоинства некоторых знакомых женщин и потаскух. На день-два он ожил, даже лицо его покрылось красными пятнами, интересовался, как они выглядели, насколько были искусны и темпераментны. Слишком поздно я понял, что он знавал их очень мало и ни одной не любил по-настоящему, так, чтобы запомнилась на всю жизнь. Этими историями, сам того не желая, я окончательно выбил его из колеи. Во всяком случае, однажды утром я постарался переменить тему, всем женским прелестям предпочтя Принстон, где с весны до осени сорок пятого года работал помощником садовника в Институте физики, медленно, но верно идя на поправку после катастрофы, случившейся в дни последнего военного рейса. Я попал туда по протекции первого офицера, брат которого работал в администрации института, и рассказывал я Цезарю не о своих ничтожных хлопотах, о цветочках и газонах, а о профессоре Альберте Эйнштейне, жившем и работавшем в те годы именно в Принстоне. Я знал, кто он, хоть совсем не понимал, за что его называют величайшим ученым нашего времени.

Изо дня в день он ходил в одном и том же свитере, в сандалиях на босу ногу, с пальцами, выпачканными мелом, замкнутый, молчаливый, не замечавший ни цветов, ни людей. Наконец он обратил внимание на мой поклон, остановился, спросил, кто я и откуда. Я объяснил. Он спросил, отчего я не возвращаюсь на родину. Я ответил правду: не знаю. У меня там никого нет, я почти ничего не умею делать, не представляю, что же там в действительности происходит. Он ушел, покачивая головой и напевая какую-то известную мелодию, которую часто играл вечерами в своем кабинете на скрипке, протяжно и не всегда чисто.

Я был уверен, что он забыл, кто я и о чем мы с ним говорили. Но ошибся. Несколько дней спустя (я как раз стриг траву под окнами его кабинета) он вновь остановился подле меня, спросил, не покончил ли я со своими сомнениями. Я молчал. Тогда он очень дружелюбно улыбнулся. Сказал, что, по мнению Лессинга, поиски истины являются часто занятием более ценным и приносящим больше счастья, нежели сам факт обладания истиной. Я очень робко спросил, считает ли он, что это касается и меня. Он ответил, что это касается всех людей на земле. Он засмеялся тихим и веселым смехом, протянул мне маленькую старческую руку на прощанье и скрылся в глубине парка. Я еще не знал, кто такой Лессинг, но запомнил, что он сказал о поисках, истине и счастье.

На сей раз Цезарь слушал меня, отвернувшись лицом к прикрытому железным козырьком окну. Спина его горбилась, уши сникли, словно у голодной клячи. Я сказал «истина», я сказал «счастье». Глупо это прозвучало, но я-то был согласен не только с профессором и Лессингом, но и с самим собой.

Цезарь встал. Долго смотрел на меня побелевшими от гнева глазами. И наконец все это у него вырвалось наружу.

— Дерьмо! — завизжал он и затопал ногами, как больной ребенок.— Неправда! Не бывает так! И не будет! Ты сгниешь на свалке, в парше и грязи. О чем ты тут мелешь? Брешешь и брешешь, как нанятый. С радостной харей заправляешь об истине и счастье. И не видишь, что ничего в паршивой твоей жизни не было, кроме свинства, нужды и бед.

— Что-о-о? — спросил я.— Что ты говоришь, Цезарь?

Цезарь продолжал брызгать слюной и синеть.

— Паскуда ты! — заходился он криком.— Иов ты! Темное и неразумное ничтожество! Я сам позабочусь, чтобы ты понял, наконец, как доконал тебя боженька и как мы на благо класса окончательно тебя доконаем! Иов ты, Иов и есть.

Цезарь просчитался, испытывая мое терпение. Он тут же захлебнулся кровью, тут же и притих. Выплюнул на ладонь два зуба, осмотрел их (они были здоровые) и расплакался. Я смочил полотенце холодной водой, положил компресс ему на лицо. Был я уже спокоен и чуть озабочен.

— Жаль мне тебя, Цезарь,— втолковывал я ему, поправляя компресс на разбитых губах.— Понимаю, зависть мешает тебе жить. Но не стоит обольщаться: ничего хорошего впереди у тебя я не вижу. Ты сам себя доконал, Цезарь. Горько тебе оттого, что парень, которого ты держишь на мушке, не ревет, не бьется головой об стену да еще расхваливает свои приключения и надежды. Так будет, приятель. Оба мы рано или поздно выйдем отсюда. Но кого из нас это по-настоящему доконает, тебя или меня?

Спрашивал я напрасно. Оба мы знали, что слова мои верны и, вопреки обстоятельствам, не меня, а его лишили главных заповедей и убеждений, благодаря которым человек спасается от духовной нищеты и благодаря которым не он, а я смог сохранить надежду и ценить свою свободу даже в этой тесной камере с окном, загороженным железным козырьком. Цезарь тихо плакал, роняя слезы на компресс, и мы не обмолвились больше ни единым словом. В обеденную пору надзиратель забрал его, а я получил две недели карцера, что было делом вполне понятным.

В течение двух этих недель я снова и уже не вслух подвел конкретный и общий баланс приобретений и потерь. Не забывал и о физических упражнениях — занимался гимнастикой и ходьбой, хотя в

темноте было довольно затруднительно отсчитывать время и расстояние. Темнота, однако, помогала сосредоточиться, подстегивала память.

Меня не слишком удивили вопли Цезаря. Просто-напросто он ничего не понял и по справедливости поплатился за свою тупость и трусость болью, слезами и двумя здоровыми зубами. Мне надо было как-то убедить его, что никакой я не новоявленный Иов и нет во мне ни собачьей покорности, ни слепого смирения.

У меня всегда было страждущее сердце, и меня всегда манила к себе закрытая тучкой вершина Синая.

Признаюсь: несколько раз я изменял себе. Но никогда до конца. Как-никак в 1942 году я не удрал из святой земли к дочерям Моктесумы, хоть это было бы и разумно; я не позволил отцу Антуану облачить меня в монашескую рясу, хоть это было бы и неглупо; и я не женился на хозяйке одного из самых заманчивых кабаков Марселя, хоть это было бы отлично. Равнодушные и посторонние свидетели без труда отыщут в моих подсчетах больше похорон, чем свадеб, и больше голодных лет, чем сытых месяцев. Это правда, что я многократно подыхал с голоду, выл от страха, вопил от жалости. Я терял близких, сражаясь за наше и не наше дело. Несколько раз случалось мне даже планировать побег от всего — окончательный и бесповоротный. Но в итоге даже здесь, в темнице и тьме, я прежде всего видел улыбающиеся глаза близких, я предчувствовал свет занимающегося дня, я даже смеялся:

— Мне жаль тебя, Цезарь.

Несколько лет спустя я повторил ему эту фразу в иных уже обстоятельствах: он встретился мне на улице в засаленном мундирчике инкассатора или кондуктора, немного отяжелевший, пожалуй поздоровевший, по-прежнему, однако, напуганный и щербатый.

Увидев меня, он неуверенно заморгал, как под резким светом лампы на допросах.

— Жаль мне тебя, Цезарь,— доверительно шепнул я ему и вежливо приподнял шляпу.

Но человек этот был неисправим. Он сделал вид, что ничего не знает, и повернулся ко мне боком.

— Извините,— проговорил он.— Не понимаю, я вас не знаю.

Он попытался с достоинством удалиться. Бедный Цезарь — вышло это у него очень бездарно.

В последнее время, когда с запада приплывают облака, предвещающие понижение давления и ветер,— длинные и мертвые, словно тени глубоководных рыб,— начинается бессонница.

Стоит тишина первых часов после полуночи, а я слушаю многоязычные голоса. Они говорят: жаль мне тебя! И этими словами отнимают у меня законное право на сострадание к Цезарю, кавалеристу Сурысю и многим другим злостным пройдохам. Равняют меня с духовной нищетой и ложью. В плохие часы ночи я не умею защищаться и опять останавливаюсь перед своей жизнью, как перед горой искусственных рук и ног в освенцимском бараке,— снова делаюсь старым и понимаю только то, что слишком зажился, ибо жизнь моя всегда была напрасной и бесполезной. Порою сон, наконец приходящий с рассветом, бывает хуже бессонницы — в нем ни колебаний, ни сомнений, а один сон, глупый и слепой. Но вот низвергается с гор огромная очистительная волна, воздушное наводнение. И снова я слышу гулкий ритм вращения земли и приветствую свет занимающегося над нами дня. Бреясь, я напеваю фальшиво, но весело, ибо снова думаю, что, живя долго, я жил довольно-таки небесполезно и счастливо — насколько позволяют человеческие силы и время.

В конце концов не так давно (в июле шестьдесят четвертого)

убеждение это было даже подтверждено высокоавторитетной резолюцией, весьма лестным одобрением официального характера. Факт этот был отмечен прессой, радио и телевидением, и даже — как я слышал,— не обошла его и кинохроника. Не думаю, впрочем, чтобы слава моя запечатлелась в памяти публики. Она, наверное, жила не дольше времени, отведенного для радиопередачи, демонстрации кинокадра или прочтения нескольких фраз, составленных в основном из фамилий, а значит, не поддающихся запоминанию.

Не беда. Я тот день запомнил хорошо и вовсе не отношусь к нему пренебрежительно.

Письмо с уведомлением о торжественном акте искало меня довольно долго, поскольку в июне того года мы сменили адрес. Оно все-таки пришло в последний момент — накануне события. Вечером я чистил и гладил черный костюм, который год назад был мне узковат, а теперь оказался великоват в плечах и талии. Это рассмешило нас обоих — меня и Тадеуша.

— Не в коня казенный харч, старикан? — спрашивал он, гримасничая, как это принято у двадцатилетних, которые ничего не знают о болезнях, пожилом возрасте и его слабостях. Тадеуш надел отглаженный пиджак — он свисал ему почти до колен — и принялся отплясывать перед зеркалом твист, что позабавило меня еще больше, чем его. Он угомонился лишь с приходом моего приятеля Шимонека, который на тот же самый день и час получил такое же, как я, приглашение. Эти двое всегда не переваривали друг друга — Тадеуш с книжками отправился на кухню, мы с Шимонеком сели за шахматы. Я выиграл два ферзевых гамбита, мы выпили по две бутылки пива и условились встретиться завтра в одиннадцать часов у памятника Шопену. А если испортится погода, то встретиться в баре — в молочном баре, по выбору Шимонека.

Шимонек, втиснутый в черный костюм, уже ждал меня на садовой скамейке. На левый лацкан он повесил два Креста Заслуги и медаль Десятилетия, оставив для сегодняшнего торжества главное и многозначительно свободное место. Ему не понравилось, что я оставил свои Заслуги дома. Он, как обычно, морщился, закусывал верхнюю губу, двигал челюстями и ворчал, обращаясь не ко мне, а к самому себе, что я, мол, неправильно отношусь к жизни.

Я объяснил ему, что не много уберег этих железок — и вдобавок только военных. Одними не похвалишься, а остальные не очень-то подходят к двадцать первому году мира. Я объяснил далее, и то больше себе, чем ему, что первый раз в жизни — впервые за шестьдесят пять лет — меня собираются наградить не за войну, а за трудовую жизнь. Поэтому я хочу пойти на это торжество с совершенно чистой грудью, без какого-либо боевого груза. Шимонек, конечно, не дал себя убедить. Он сердился.

— Жизнь, видишь ли, одна,— повторял он, и руки у него дрожали.

Он прибавил также, что вечно из меня лезет бродяга и смутьян и что его это вовсе не радует. Разумеется, злился он совсем по иному поводу: это его многомесячным хлопотам, стараниям и хождениям по соответствующим инстанциям обязан я тем, что обо мне вспомнили и что соответствующая комиссия, может и по заслугам, наградила меня. Благодаря счастливому стечению обстоятельств Шимонек еще весной напал на того, кто помнил меня и мое дело двадцать четвертого года и кого теперь упоминали во многих официальных коммюнике, в составе важнейших делегаций и комитетов. Он даже пригласил меня к себе, но сначала ему срочно пришлось выехать куда-то, потом я впервые расхворался, так что до встречи дело не дошло. Но он обо мне не за-

был: из его кабинета звонили в клинику, и в результате сам профессор несколько раз появлялся у моей кровати в неурочный час. Однако у старика славы было теперь больше, чем практики, и он сразу же спутал карты опекавшему меня толковому парню, а когда болезнь затянулась, накричал на ассистентов и только после этого разрешил вернуться к первоначальным методам лечения.

Шимонек кровно обиделся, когда я описал ему этот случай. Он не поверил, что высокое вмешательство могло так нелепо кончиться. Меня это совсем не удивило. И теперь — когда благодаря его дружеским стараниям и памяти выдающегося деятеля сам Государственный Совет принял решение о награждении меня немалым орденом — его беспокоило, что я иду на торжественную церемонию с лацканом голым и девственным. В этой якобы небрежности он доискивался отсутствия уважения. Сомневался, дорос ли я до этого серьезного события. Очень недобрым взглядом косился на мой широковатый в талии пиджак, хоть мы и привели его с Тадеушем по возможности в порядок. Кажется, Шимонек начинал сожалеть о своих хлопотах и хождениях, связанных с этой историей.

Но дело было сделано. Мы молчали и покашливали, грелись на солнышке. Я вперился в предпраздничную газету, заполненную длинными речами и торжественными комментариями. Шимонек следил за временем.

— Идем! — приказал он наконец.— Трогай!

Мы обогнули парк, а затем мимо караула у железных узорчатых ворот прошли во двор белого особняка. Ветер трепал флаги на высокой мачте. Оба мы, Шимонек и я, входили на этот двор впервые. Очень давно я часто и с жаром мечтал, чтобы именно здесь — на пороге отечественной истории — стоять в карауле.

Сейчас я шел по залитому солнцем двору с неясным чувством какого-то беспокойства и стыда.

Беспокоил меня и Шимонек. Он побагровел, и руки у него дрожали, когда он отдавал приглашение молодому поручику с адъютантским аксельбантом. В холле я увидел в зеркале нас обоих — как неуверенно мы вышагиваем по паркету: маленький Шимонек и я. Выглядели мы чертовски смешно, словно бы эту пару подобрал постановщик глупого фарса. Так смешно, что я перестал стыдиться и разозлился.

— Милый ты мой Шимонек,— заговорил я, не понижая голоса и смеясь в открытую,— не хмурься, держись прямо и не кланяйся дверным ручкам. Ты не в костеле. К своим пришел, Шимонек, и за положенным.

Мы вошли в просторный и заполненный людьми зал. А последнюю фразу я произнес громче, чем хотел. Ее услышали. Шимонек побледнел и облился потом. Но у него была своя гордость и твердые убеждения. И потому, когда вокруг нас на мгновение все стихли, ибо ждали ответа и реакции товарища Шимонека, человечка иссохшего, коротконогого и линялого, с моржовыми усами и совсем выцветшим глазом (второй, искусственный, невозмутимо голубел в глазнице, размозженной некогда каблуком гестаповца), и потому товарищ Шимонек Теофиль, шестидесяти четырех лет от роду, сын Антона и Евлалии, поправил дрожащими руками узел галстука и проговорил на удивление четко:

— Сущая правда, Ясь.

Затем он потянул меня за локоть, а когда я склонился к нему, согнувшись в три погибели, то снова почувствовал, что люблю его, этого паршивого зануду, ибо Шимонек захихикал на свой манер — тихонечко и радостно — и добавил уже совсем доверительно:

— Ну и даешь. Ну и даешь, чертушка!

И мы оба смеялись, а лица вокруг нас тоже стали проясняться. Обрадованный басок позади нас выкрикнул: «Здорово, правда? К своим и за положенным, а?»— и конечно же, затащили бы нас, двух никому не известных сиротинок, в какую-нибудь группку, если бы тут же не появились озабоченные, деловитые и в меру замотанные чиновники, ведающие такого рода церемониями,— специалисты своего дела, скромные, но тщательно одетые и решительные, со списками и бумагами в руках, в соответствии с каковыми они тотчас же принялись наводить порядок в этой неразберихе, выкликая фамилии (одни с подчеркнутым, другие почти с обычным уважением), и направлять вызванных в тот самый зал — туда, где уже ждали кинокамеры, микрофоны и осветители с лампами на забавных вилках; мы же, притихшие и сгрудившиеся (зал был в сущности маленький), размещались рядок за рядком, грядка подле грядки, лицом к белым закрытым дверям, из-за которых в рассчитанное до секунд время должны были выйти и наконец вышли те, кого мы дожидались.

Нас с Шимонеком разлучили. Его запихнули куда-то назад или в угол, он исчез в небольшой, но плотной толпе. Меня же поставили впереди. Один из специалистов-установщиков, заметив, наконец, мой обвисший, мешковатый пиджак, пустые лацканы и всю мою тушу, которой я загородил какого-то невысокого генерала (он что-то раздраженно бубнил прямо в мою левую лопатку), на мгновение поддался панике. Ему очень хотелось бы убрать меня из-под резких лучей рефлекторов и объективов уже трещавших камер. Но он не мог. Список, определяющий очередность, накрепко связывал ему руки. Он только укоризненно взглянул на меня, а я изобразил на лице: «близок локоть...» и так далее. Но тут же все и началось: они были уже подле меня.

Главный помощник со списком и коробочками стоял несколько в стороне и подсказывал. Тот, кто пришел нас награждать, протянул руку за орденом и взглянул на меня скучающе, даже дружески-вежливо. Я заметил: только в следующее мгновение он по-настоящему увидел меня — все недостатки в одежде и внешности, которые так смутили второго помощника. Он не показался мне человеком, щедрым на улыбку, но что-то дрогнуло у него в лице, и он довольно заметно подмигнул мне левым глазом, именно как свой своему, хоть и сохраняя приличествующую дистанцию. Увы, я не успел ответить. Сердце мое глупо и даже как-то болезненно заколотилось. Меня застигли врасплох: мне пришлось здорово согнуться, ибо орден висел на длинной командорской ленте-петле, сверкая эмалью и золотом, и я просунул голову в ленту, ничего не соображая в тот момент, совершенно не понимая, кто, зачем и по каким причинам решил почтить меня признанием и орденом, таким высоким, превосходящим все мои ожидания. Я почувствовал слабое, холодное пожатие руки, пробормотал что-то подобающее случаю, и меня уже ловко отодвинули назад, в конец ряда, за спины очередных ожидающих. Тогда-то я и увидел Шимонека: стоял он где-то в самом дальнем ряду, прижатый спиной к стене, и на лице его была написана такая горькая зависть, что я не знал, за кого мне больше стыдиться: за него, за себя или же за того чиновника, который так несправедливо поделил между нами этот праздничный пирог, и я сделал вид, будто не заметил его взгляда и якобы искреннего поздравления. Я снова оказался впереди, потому что маленький генерал теперь уже весьма предупредительно уступил мне прежнее мое место на правом фланге в этом строю.

Плешивый, смешной человечек с усами, напоминавшими щетку для чистки замши, направил прямо на меня глаз камеры и даже сунул

мне ее под самый подбородок. Крупным планом орден, затем общая панорама. Я нежно улыбнулся и наступил ему на ногу.

— Что вы! Что это вы!

Я строго приложил палец к губам, так как от имени награжденных начал выступать высокий, худой человек с печальным лошадиным лицом и надтреснутым, умным голосом. Я прислушался.

— ...это яркое свидетельство доверия,— говорил он,— тем более обязывает нас...

Только потом, за столом, я понял, что выступал один из мудрейших людей нашего времени, ученый, человек огромных познаний и величайших заслуг. Пока же я с состраданием наблюдал, как он запихивает в змеиные головки микрофонов колченогие, скучные словеса, столько раз говоренные, никем до конца не дослушанные. Всех нас в этом зале — от первого и до последнего — все глубже засасывала их изнуряющая скука, ибо оратор увяз в предложении, которое тащилось, будто ангел, впряженный в плуг, в каменеющей тишине, погрязая в словах все больше и безнадежней, морщась, в поте лица.

— ...вся наша жизнь...— говорил профессор.

Напротив меня у стены застыл один из распорядителей церемонии и спал с открытыми глазами. Я огляделся по сторонам. Было нас здесь несколько десятков: немного тех, что постарше меня, немало ровесников и большинство между сорока и пятьюдесятью. Оратор все еще пробирался от борозды к борозде, но он только что сказал «вся наша жизнь», и я подумал, что каждый из нас пришел сюда со своей достаточно долгой и живой правдой, что перед одним только житием Шимонека нужно вытянуться по стойке «смирно», что и у меня есть свои права и требования, что здесь, наконец, несколько десятков биографий, в каждой из которых есть год, десять или сорок годков, заслуживающих того, чтобы о них по-настоящему знали и помнили, а не сводили все к этим праздничным церемониям.

— Прикинь-ка: прадеды-то наши на санях...— шепнул мне снизу маленький генерал.

— Как у кого,— ответил я так громко, что все соседи проснулись и вознегодовали, кто-то засмеялся, кто-то шикнул, а спящий у стены молодой человек бдительно заморгал.

Оратор благополучно добрался до точки, и сразу же стало шумно, оживленные хозяева приглашали в зал, где вокруг изысканно сервированных столов роились официанты, а солнце играло на бутылках, бокалах, разноцветных блюдах, как на июньской клумбе. В дверях образовался небольшой затор, но я ждал Шимонека. Воспользовавшись случаем, я остановил распорядителя.

— Вам хорошо спалось? — осведомился я.

Человек тактичный, он не расслышал и быстро отошел — только уши у него покраснели.

Шимонек гордился своим крестом, но в глубине души был уязвлен, хотя передо мной и самим собой прикидывался, что дело не в моем ордене, а в разыгравшемся ревматизме, потому-то я схватил друга за руки и, не глядя, куда можно, а куда нельзя, никого не спрашивая, двинулся с ним напролом к столу, и сразу же нас обступила сотня официантов, словно понимая, что есть у нас полное, хоть и незримое право на главное место и лучшие блюда...

— Пей, Шимонек,— сказал я веско.— За всю нашу жизнь, Шимонек!

К нам повернулись удивленные лица соседей. У Шимонека на лице выступил пот, ибо ближайшим соседом оказался тот, кто нас награждал. Он улыбнулся довольно сдержанно, но протянул к нам

руку с бокалом, в котором была капля белого вина, и запотевшие от холода бокалы весело столкнулись.

— Хороший тост, товарищи,— любезно проговорил он.

— Длинный, товарищ,— добавил я.— Очень длинный.

Тотчас вокруг нас засверкали улыбки, к нам потянулись другие руки и бокалы. Этому авторитетному примеру последовали ближние и дальние соседи, даже с противоположной стороны стола к нам склонился смуглый, рослый красавчик с цыганскими глазами и знакомым веселым баском пожелал доброго пути за этим столом, так что мы еще раз выпили, а потом мне стало жарко, и я побежал к окну, где, опершись о фрамугу, стоял оратор.

Свет падал на него.

Только теперь я его вспомнил. Мы когда-то встречались, два десятка лет назад и за тысячи километров отсюда. Бдительный официант, который приметил, с кем минуту назад я чокался, топал за мной по пятам с подносом и посудой.

— Пан профессор! — проговорил я серьезно.— Хочу поблагодарить вас за речь,— продолжал я, не обращая внимания на то, что ученый и впечатлительный этот человек не успел еще забыть неприятных перипетий последней четверти часа.— Нет,— не дал я ему возразить и рассердиться.— Нет. Я говорю то, что думаю. Вы меня не помните, профессор? В сорок пятом я был помощником садовника в Принстоне. Вы приехали тогда весной к господину профессору Альберту и...

— Невероятно! — воскликнул он.

Нам нечего или почти нечего было сказать друг другу. Но, несмотря на это, мы страшно обрадовались. Официант подставил поднос со слабым рислингом, мы громко чокнулись, профессор счастливо смеялся, говорил, что прекрасно помнит клумбу под окнами кабинета, кусты персидской сирени, подстриженные в форме шара, и японские фиалки. Он положил мне руку на плечо.

— За всю нашу жизнь,— напомнил я.

Он не помнил ни меня, ни цветов, но оба мы видели в этот миг рядом с собой того человека, его рассеянную сердечность и непроницаемую замкнутость, его голос, глаза, старый свитер, сандалии, немногословное величие, скрипку, седые волосы и пальцы, частенько запачканные мелом.

— У меня, пан профессор,— говорил я, едва сдерживая слезы,— у меня есть его книга. Сам купил, читал и ничего не понял. Но он своей рукой написал на первой странице, что поиски истины бывают ценнее, чем обладание ею, так что вся наша жизнь — истина, то есть также и моя, профессор... мне шестьдесят пять лет...

— Вы, дорогуша, в сравнении со мной сопляк,— смеялся профессор.— Так что...

— Но попутно,— оборвал я его строго,— я выиграл три войны.

— Да?

Я сказал ему — да. И подумал, что теперь-то могу попросить его помочь моему воспитаннику — Тадеушу Рыбарскому, но не успел; Шимонек теребил меня за рукав и чуть громче, чем нужно, извещал, что нас ждут товарищи, которые слышали обо мне еще в Испании, и в сорок шестом, и так далее, да и профессора уже окликал кто-то, кого профессор почтительно приветствовал словами «Здравствуйте, дорогой товарищ министр!».

— Позвоните мне, пожалуйста, обязательно! — обратился он еще ко мне, но уже гораздо суше.— Обязательно, дорогуша!

Я склонился к его уху.

— А зачем, дорогуша?

Он понял. Не обиделся. Мы искренне и дружески подали друг

другу руки. От стола кивали мне маленький генерал, и веселый басок с цыганскими глазами, и кто-то еще с очень знакомым лицом, кого я не мог ни узнать, ни вспомнить.

Вскоре, однако, пора было уже убираться, не следовало же превращать церемониальную рюмку вина в разудалый бал товарищей по оружию,— и мы, приняв предложение веселого баска, кинорежиссера, приземлились за одним из лучших столов одного из лучших ресторанов, а поскольку один Шимонек не собирался укрывать свои старые и новые ордена от глаз ресторанной черни, то мы и усадили его на почетное место, мало пили, много ели и слушали, как неразговорчивый обычно товарищ Шимонек рассказывает нам всю свою боевую и трудовую жизнь,— мы слушали, посмеиваясь над его несчастьями, заедая индейкой остроты и поглядывая на девушек покрасивее, которые в тот год впервые обрезали юбки выше загорелых коленок, любезно и гордо демонстрируя их нам.

— Слушай, Теофиль,— в который раз обращался киношник к Шимонеку (оба они все ближе склонялись друг к другу в нежном согласии и под тяжестью выпитого).— Слушай меня, старина, из этого надо, черт побери, сделать фильм. Великий и скромный фильм.

— Да! — закричал Шимонек и поднялся, плача от счастья одним левым глазом.— Да, надо.

С фильмом, однако, ничего не вышло, вместо этого мне пришлось везти Теофиля домой в такси. А восьмого декабря шел снег, редкий, мелкий и высушенный первым морозом.

Мало нас было на этой встрече в одной из боковых аллей бывшего военного кладбища на Повонзках. Вдова, дочь, несколько родственников, десятка полтора сослуживцев, друзей и товарищей, подушка с орденами, два венка и продрогший до костей представитель районного комитета, которому предстояло проститься с товарищем Шимонеком от имени партии, но который, однако, задохнулся от кашля и сумел лишь возложить венок. И я сам встал над неказистым гробом на холмике смерзшейся глины и сказал:

— Вся твоя жизнь...

С земли тянуло влажным холодом, с неба косо налетал высушенный морозом ветер, лица белели больше от мороза, чем от скорби, и сам я почувствовал озноб, которого следовало опасаться и от которого надо было как можно скорее удирать. Но я был неумолим. Ибо давно уже знал, что это я буду говорить здесь, но не приготовил, однако, шпаргалки к последнему Шимонекову торжеству.

— Вся твоя жизнь, дорогой наш товарищ и друг, была сплошной цепью боев и трудовых свершений, героизма и самоотверженности.

Вдова тихо плакала, а старшая дочь Шимонека смотрела на меня с благодарностью и уважением. Остальные, и родственники и чужие, все более промерзавшие, несчастные и злые, едва слушали, как я увязаю над этим гробом в колченогих, скучных словесах, столько раз говоренных, никем до конца не дослушанных, как я барахтаюсь в напыщенных словах, не умея свести концы с концами, повторяясь все назойливее, тупее и безнадежней,— но я не сдавался, не отводил глаза ни от их горестной окоченелости, ни от наливавшегося все более глубоким, яростным и ненавидящим стыдом лица Тадеуша и говорил, говорил, говорил.

Я говорил, что вся его жизнь была единой цепью... что была исполнена надежды и самоотверженного труда... что он был неутомим в стремлении к справедливости и в борьбе за нее... что хоть он скромен и неприметен, именно благодаря таким людям, их труду и борьбе родилась и рождается новая эпоха, великое будущее народа и человечества... что наш друг и товарищ непоколебимо...

Было у нас такое право у обоих — у него и у меня. Что с того, что я не мастак говорить, не нахожу настоящих слов? Что с того, что не самая длинная и не самая безоблачная жизнь Шимонека была вовсе не единым потоком, а трудной, ох, какой же порой тягостной мешаниной страха и отваги, усталости и усилий, неистовой верности и постоянных тревог? Не раз и не десять спрашивали мы себя, не вызовет ли когда-нибудь эта верность людского гнева и смеха, не напрасно ли в течение стольких лет не хотели мы иметь никаких иных прав, кроме упрямой, цепкой и все возвращающейся надежды на тот путь очеловечивания человечества, истоки которого — в классической немецкой философии и английской политической экономии, в наших и чужих восстаниях, в сочинениях двух великих мыслителей, в идеях и борьбе Ульянова и далее, далее, в радостях и горестях, во всех тех годах, которые никто не имеет права отобрать у нас и о которых я не премину сказать и здесь, на морозе, в сухом шуме елей и обнаженных берез, на холмике смерзшейся глины,— ибо мы пережили их, стараясь, хоть не раз и тщетно, сознательно сделать их лучше и, по возможности, честно взвешивать, какой ценой и в каком направлении мы так долго идем.

— ...и потому,— сказал я в заключение,— и потому, дорогой Шимонек, хоть ты и принадлежал к тем, кому выпало больше борьбы, чем покоя, и больше страданий, чем радости...

Помню, как раз после этого слова меня поразил первый приступ кашля, он сорвал дыхание и пригнул меня к земле так, что я должен был на мгновение опереться на изголовье черных Шимонековых нар. К счастью, продолжался он недолго и даже сослужил свою службу, ибо отупевшая, окоченевшая группка очнулась — люди смотрели внимательней и, кажется, вновь начали слышать, что я говорю.

Мне, однако, осталось сказать только несколько слов. От кашля и резкого ветра глаза мои налились слезами. Я чувствовал их на своем лице.

— И потому я скажу тебе на прощанье,— и была это последняя фраза длинной моей речи,— что жил ты долго и счастливо.

Могильщики быстро сгребли землю в неглубокую яму, люди расходились торопливо, не прощаясь, вдова забылась в печали, и только дочь Шимонека хотела поблагодарить меня так, как ее учили дома,— она неловко склонилась к моей руке, которую я едва успел выхватить из-под ее губ. Все остальные избегали моего взгляда, обходили меня стороной, даже представитель райкома не удостоил вежливым словом.

Мы возвращались с Тадеком вдвоем, одни, отстав от остальных, Долго пришлось ждать трамвая. Я старался не кашлять, но все было уже ясно. Паренек молчал. Он тоже не смотрел на меня. Глаза у него были злые, и недобрая усмешка то и дело пробегала по его лицу. Я вышел на остановку раньше. Один — он не захотел зайти вместе со мной в соседний бар для принятия солидной противогриппозной дозы водки и чая.

— Аспирин есть дома,— сказал он.— И не спейся ты... оратор.

Уже ранним вечером я почувствовал знакомое колотье под правой лопаткой. От жара у меня сразу же заблестели глаза. Тадеку достаточно было одного взгляда. Он начал кричать, ругаться, вспоминать напыщенный вздор, который я без смысла, разбора и пользы валил на гроб Шимонека.

— Что это за дружба? Что за скорбь? — вопил он.— Слова по-человечески сказать не можете. Ни живым, ни мертвым. Азбучные истины. Толчение воды в ступе — это ваше долгое и счастливое. Неужели ты...

Я не мог смеяться — в груди кололо все больней и глубже.

— Дубина ты стоеросовая! — сказал я, старательно скрывая нежность.

Я смотрел, как он мечется по комнате в поисках аспирина, водки, чая, и, не слушая выкрикиваемых им слов, удовлетворясь лишь звучанием его голоса, в котором улавливались прежде всего настоящий испуг — а также редкие у него нотки сыновней любви,— со счастливым облегчением все глубже погружался в болезнь, безразличие и беспамятство, молча приветствуя Шимонека и строго запрещая Тадеушу излишне тревожить медицину.

Он, однако, вызвал врача, прежде чем я успел залечь в кровать.

Неразговорчивый блондин высоко поднял брови при виде первой и второй моих ран, выстукал, выслушал, вздохнул, глянув на термометр, и сразу же всадил полный шприц в левую ягодицу, нисколько не заботясь об ощущениях пациента. Потом они долго и настырно шептались в кухне. Меня трясло не только от жара. Меня трясло и от беззвучного смеха. Походило на то, что Шимонек — недовольный такой бездарной и долгой речью, произнесенной над ним,— намеревается потащить меня за собой под сень черных елей и оголенных берез, в аллейку скромную, но не совсем еще запущенную.

Когда Тадек вернулся в комнату, я сделал вид, что сплю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мы вышли тогда из Галифакса в 27 день ноября 1942 года. Известно было, что в прошлом месяце потери конвоев, шедших атлантическим курсом, превысили уже полмиллиона наших БРТ[1], потопленных «хейнкелями», «дорнье» и подлодками, и большая часть этих потерь приходилась как раз на самые изношенные танкеры. Такие, например, как наша безымянная в портах посудина, ибо, по правилам военного времени, только в момент присоединения к конвою мы вывешивали на носу визитную карточку с надписью «Абердин» — и это название вызывало у самых бывалых земанов[2] веселое ржание и жалостливые издевки. Ибо «Абердин» был славной калошей и последним криком техники уже в 1911 году. Чем он был в 1942 году, пожалуй, нет надобности объяснять.

Еще одно: мы шли на сборный пункт конвоя, получившего кодовое наименование «HX-217», прекрасно сознавая, что будем самым слабым и самым тихоходным судном во всем «HX-217». Мы знали, какая плохая у нас маневренность, какие старые котлы и как мало у нас шансов. Под нашими ногами, в чреве усталого кита, плескались несколько тысяч тонн очень легко воспламеняющегося материала. Нефть превосходно горит и на соленой воде. Достаточно одной торпеды. Мы знали об этом очень хорошо — все, начиная от сопливого стюарда, еще до того, как завербовались на борт морского танкера «Абердин». И никто не принуждал нас к этой службе. Никого не заманили в этот гроб на шанхайский манер, никого не спаивали, чтобы вынудить подписать контракт, и никого силой не втащили по кривому трапу. Мы плыли по собственной воле и по собственному выбору. Каждый в согласии с личными своими заповедями, хоть в большинстве своем они очень сильно одна от другой отличались.

«HX-217» формировался на широте Лабрадора. Он состоял из

[1] Брутто-регистровые тонны.

[2] Seemann — моряк *(нем.)*.

тридцати трех судов, охраняемых шестой группой сопровождения, в состав которой входили три эсминца (причем один из них назывался «Буря» и плыл под бело-красным флагом, что, сознаюсь, заставило меня несколько раз всхлипнуть), один британский и три норвежских корвета (что, в свою очередь, послужило причиной для повальной пьянки в каюте № 2, населенной по преимуществу скандинавами). Сначала нас определили в самый хвост конвоя, но капитан, устроив страшный скандал командованию, добился перестановки, что вообще не имело большого значения. Мы могли рассчитывать на относительное спокойствие в течение двух первых и двух последних суток рейса. До тех пор, пока в начале пути находились в радиусе действия военно-воздушных баз Ньюфаундленда и Рейкьявика, и в конце его — под прикрытием «либерейторов», базировавшихся в Северной Ирландии.

Дырявый это бывал зонтик. Правда, он становился все прочнее, его уже начинали побаиваться в штабах военно-воздушных и морских сил гитлеровцев. Дело, однако, в том, что нашему «HX-217» предстояло пройти около трех тысяч миль, а из трех этих длинных тысяч почти треть казалась еще длиннее, ибо она находилась вне всякой досягаемости авиации, связанной с нашей судьбой союзническими узами. Эту треть именовали по-разному, но больше всего к ней подходило название «Todesloch», или «Death gap», или «дыра смерти».

Название было вполне заслуженное. Этот обширный погост, трудолюбиво обслуживаемый подлодками гроссадмирала Деница, тянулся примерно вдоль 50-й параллели и имел двое ворот (входные и выходные — в зависимости от направления рейса). Одни находились в районе 38-го градуса, другие — недалеко от 23-го градуса проклятой атлантической долготы.

— Вы боялись? — спросил Тадеуш, когда уже немного освоился у меня и, еще сам того не сознавая, стал уже смиряться с оседлой, честной и трезвой жизнью под опекой старого чудака.— Вы очень боялись этой дыры?

— Она была довольно глубокая.

— Но вы боялись?

— Когда хватало времени на страх, боялись.

— Очень? Как очень?

— Как...— и я не нашел определения.

Тадеуш залился таким смехом, какому учили его дома, в притонах Таргувка и развалинах Гжибовской, у пивных киосков и во время ночных набегов на винно-кондитерские лавчонки.

— Вы боялись как сукины дети! — торжествующе завопил он, и в смехе его не было ни чуточки сострадания.

Мы сидели за столом. За одной стеной надрывалось радио, за другой громыхал телевизор, за окном догорал майский вечер. Тадек сидел, опершись подбородком на грязные пальцы, и смотрел мне в глаза, чтобы удостовериться, не вру ли я. Я же растолковывал ему, что, во-первых, температура воды в Атлантике, особенно в зимние месяцы, скручивала в течение часа в бараний рог самого здорового парня, а, во-вторых, если в танкер попадала торпеда, то из него выливалась горящая нефть, и можно было, удирая от пожара, угодить ногами в ледяную воду, а мордой — в островок горящей нефти.

Только тут паренек перестал смеяться.

— Ты таких видел?

— Видел.

— А кого, например?

— А например, был у меня в декабре сорок четвертого года такой приятель. Очень смешно его звали.

— Как?

— Эзикайл.
— Цыган, наверное.
— Нет, квакер.
— А что такое «квакер»?

Я посоветовал ему заглянуть в энциклопедию, если он сначала сумеет вымыть руки — по крайней мере до запястий. На сей раз Тадек не взбунтовался, вымыл руки, нашел слово «квакер», прочитал вслух пояснение, поставил том на полку. Он уже был серьезен. Думал. Видно, короткая эпитафия, которую я провозгласил над мокрой могилой Эзикайла, тронула его воображение. Мы закурили. Затем Тадек впервые помог мне готовить ужин и мыть посуду. Лишь потом он нарушил молчание, и глазки его вновь повеселели.

— Зачем это вам понадобилось? — спросил он.

А так как в его вопросе снова прозвучал высокомерный тон варшавского урки, небрежно поглядывавшего на растяп, которые бескорыстно, за несколько паршивых долларов лезли в такую петлю, как «Todesloch», я ответил ему без всяких нотаций, попросту:

— Затем, чтобы таким вонючим подонкам, как ты, было о чем задавать идиотские вопросы.

Тадек жил у меня всего восьмой или девятый день. Каждый раз, возвращаясь с работы домой (а домом была довольно просторная комната в старом флигеле, с вмонтированной газовой плиткой и водопроводом, а также клозетом на наружном крыльце этой кое-как заштопанной развалюхи), я гадал по вывескам, номерам домов, трамваев и такси, застану ли еще парнишку, или же он вернется лишь к ужину, благоухая самым паршивым вином и дешевыми сигарётами, нагло постреливая глазенками, или же попросту обнаружу пустой шкаф, вычищенные ящики и кучу дерьма посреди стола вместо прощального письма.

Как дошло до этого эксперимента с усыновлением двенадцатилетнего воришки, профессионального спекулянта билетами в кино, типичнейшего представителя городского дна,— поговорим позднее. Сейчас же замечу только, что в тот вечер, когда я рассказывал ему о пожаре на «Абердине» и смерти Эзикайла, терпение мое лопнуло. Я устал. Мне осточертела вонючая трущоба с одним действующим клозетом на четыре квартиры, с меня было довольно радио слева и телевизора справа, и я не мог больше слышать пьяных скандалов этажом выше и фортепианных гамм этажом ниже. А прежде всего мне хотелось послать подальше все свои недоношенные идейки о воспитании внука ворюги, сына покойной алкоголички и пожизненно засаженного в тюрьму бандита. Я уже был сыт по горло этим субчиком, который за двенадцать лет жизни прошел полный курс воспитания в трущобах предместья.

Я схватил его за рубаху на груди, поднял к своему лицу. Он был смелый. Не показал, что боится.

— Понимаешь? — взревел я.— Чтобы такие кретины, как ты...

Рубаха не выдержала. В руке у меня остался клочок грязного полотна, а Тадек шлепнулся задницей об пол, и мы рассмеялись. Потом нашли запасную рубаху, а поскольку еще не было восьми, успели на третий сеанс в кинотеатр, который носил благородное название «Полония». Билетов не оказалось, однако у Тадека были здесь свои профессиональные знакомства, так что мы сидели на вполне приличных местах.

Актер Джон У., постаревший и усталый шериф, решил покончить с бандой убийц, а помогали ему инвалид, алкоголик, зеленый юнец и раздетая девица.

Тадек смотрел на экран, разинув рот и затаив дыхание. Я и сам растрогался, когда главарь банды приказал музыкантам в ресторанчике играть похоронный марш для шерифа. В зале стояла мертвая тишина. Девица вся в слезах принялась умолять актёра Джона У., чтобы он бросил все это, чтобы избрал счастье, а не смерть.

«Зачем тебе все это? — кричала она.— Зачем?»

Тадек украдкой взглянул на меня. Я притворился, что не замечаю этого. Джон У. демонстрировал симпатичное лицо и сильную волю, двигаясь неторопливо и с достоинством. Во время последней перестрелки Тадек не выдержал — вскочил с места.

— Осторожно! — заорал он.— Обходят!

Никто даже не засмеялся, такой героической была эта сцена. Мы вышли в теплый майский дождь, который, однако, вскоре прекратился.

— Ну и парень! — повторял Тадек.— Но девица-то, а?

Я молчал, и он скис. У дома остановился. В глаза мне не смотрел. И заговорил таким тоном, какого я еще у него не слышал.

— Я... — сказал он,— ...того...

— Чего?

— Могу уйти.

— Не ерунди, сынок,— произнес я.

Первый раз я сказал «сынок»,— ну, а «НХ-217», в сущности, понес весьма незначительные потери. Битва продолжалась четыре дня и четыре ночи, и, согласно совместному заявлению британского адмиралтейства и военно-воздушного министерства, опубликованному 10 января 1943 года, матч впервые в истории «Todesloch» закончился с результатом четыре или пять — два в нашу пользу. «НХ-217» потерял лишь два судна. Первым отправился в рай набитый боеприпасами француз. Он разломился пополам в течение десяти огнедышащих секунд. Корма сразу же пошла под воду, и носовая часть долго еще держалась на волне, рассыпая фейерверки, освещая ночь и оглушая наши души.

Нас накрыло восемь часов спустя. Мы потеряли едва лишь одну восьмую личного состава экипажа, главным образом людей из котельной и машинного отделения. «Абердин» горел долго и с достоинством. Каюта номер три лишилась только двоих: Эзикайла и Маэки.

Тадек больше не повторил своего вопроса: зачем это вам понадобилось? Понял, а быть может, и забыл его. Впрочем, и прежде и потом, многие годы я слышал этот вопрос от тысяч людей: от Цезаря, от Момыш-улы, от дяди, от молодых женщин и старых мужчин, от множества равнодушных, чужих, близких, понимающих и непонимающих. Они спрашивали, а я не всегда знал, что отвечать.

Весной тридцать девятого года я услышал такой вопрос от Марго Бомбек.

Марго сидела за кассой — рыжая, дебелая, красивая, как никогда. В первый момент она не узнала меня, и по ее знаку в мою сторону уже двигался низкорослый, но несокрушимый Мохаммед, один из знаменитейших вышибал Марселя, а мне хотелось плакать — я был голоден, болен, бесконечно несчастен и знал, что на сей раз Мохаммед расправится со мной одним пальцем и за одну секунду.

Я хотел что-то сказать, но голос не послушался меня. И тут Марго сорвалась с места. Узнала!

— Mon Dieu![1] — восклицала она.— Mon Dieu!

Был я болен, голоден, немыт. От меня несло грязью и бедой. Но Марго обняла меня белыми руками, плача вместе со мной и вовсе

[1] Боже мой! *(Франц.)*

не стыдясь того представления, которое мы разыгрывали перед вдруг окаменевшими посетителями ресторанчика.

Тот, кто когда-нибудь возвращался с войны, подыхая от голода, с гноящимися ранами, в лихорадке, содрогаясь от озноба, испепеленный горем, кто шел прямо со дна, не рассчитывая даже на поданную христа ради корку и пусть лживое, но слово сочувствия, кто шел через чужую страну, пряча лицо от взглядов жандармов,— тот поймет, как сногсшибательно был я счастлив в тот самый миг, когда в теплых объятиях Марго погружался в глубокий, благостный, долгий обморок.

Марго родилась в Арле, но замуж вышла на севере, за коренного бретонца, каковой не имел ничего против того, чтобы ввести в свой дом красивую горничную баронов де П., основные обязанности которой заключались в обучении и приспособлении к зрелости трех робких и глупых барончиков. Занятие было не слишком обременительное и принесло ей весьма недурное приданое в связи с помолвкой самого младшего представителя этой семейки (сомнительного происхождения, но несомненно связанной с несколькими крупными акционерными обществами французского севера).

Таким образом, приданое Марго и способности обоих супругов Бомбек позволили им перебраться в Марсель, где они вложили сколоченный бретонцем и арлезианкой капиталец в небольшой ресторанчик, который уже в 1930 году стяжал добрую славу среди моряков позажиточней, любящих хорошую кухню, хорошие обычаи и атмосферу искреннего дружелюбия, окружавшую здесь относительно трезвых, не скандальных клиентов.

Марго была хорошей женой, и я отчасти даже верил ей, когда она убеждала меня, что я редчайшее исключение в ее добропорядочной жизни.

Познакомились мы весной 1930 года — в счастливую, но нуднейшую пору, когда два с лишним года я плавал на небольшом, элегантном пассажирском судне, которое кружило по Méditerranée[1], словно кляча по манежу. Дело скорее лакейское, чем морское. Хозяева заботились, чтобы наши ливреи выглядели внушительно. Каждые шесть или семь недель мы забирали в Лондоне кучу старых баб, малость медовых супружеских пар, пенсионеров побогаче, всевозможных бывших майоров и капитанов, купеческих вдов и тому подобное и благопристойной рысцой трусили на Средиземноморье, где в различных портах весь этот наш припахивающий, но очень самодовольный британский груз знакомился с чудесами античных мифов, а также с корридой, Ватиканом, сказками и портами Синдбада (мы забредали и в Басру), с Неаполем, Мессиной и островом Иф, на котором Эдмон Дантес познакомился с аббатом Фариа.

Каждый раз мы заворачивали в Марсель, и ввиду близости Лазурного берега и зеленых столов Монте-Карло стоянка наша в этом порту, как правило, продолжалась от четырех до шести дней.

Не очень-то представляю себе, что побудило Марго без особых сомнений и раздумий именно со мной изменить своему бретонцу. В первый же вечер Марго стала сама обслуживать наш стол, а когда на следующий день утром я зашел в «Прекрасную Арлезианку» плотно позавтракать и слегка опохмелиться, то спросил у нее, свободна ли она вечером.

Она ответила «да».

Сколь великолепны были могучие и ветвистые рога, которые мы наставляли Альфреду Бомбеку в сдававшихся на час номерах Марселя! И с какой страстью, с какой искренней нежностью предавались

[1] Средиземному морю *(франц.)*.

мы этому занятию! Марго, в сущности женщина порядочная и верная, вовсе не хотела прятаться от глаз посторонних — и не только посторонних. Когда мы шли по улице — я в своей темно-синей ливрее (словно актер из приключенческого фильма о Желтых морях) и она, полная, но стройная, с глазами пьяной косули,— на нас оглядывались. Оглядывались с завистью, с ненавистью, а чаще с тем сердечным одобрением, с каким французский люд подглядывает за направляющейся прямо в постель влюбленной парочкой. Когда, усталые и уже успокоившиеся, мы возвращались в «Арлезианку», Марго снова приказывала обнимать себя за талию, а улыбка ее не только мне говорила больше, чем слова, слова, которые отнюдь не были скромны.

А через шесть месяцев все более явных и долгих свиданий Марго вообще перестала обращать внимание на окружающих. Она проводила со мной ночи напролет. И велела приходить к ней прямо и открыто: к дому. Поздними утрами я провожал ее до порога ресторанчика. Она целовала меня в губы, хотя в окне их квартиры обычно стоял Альфред Бомбек, сосал пустую трубку и упрямо притворялся, будто нас не видит.

Он ждал.

Ждал, молчал и подстерегал. Я подозревал, что это спокойствие — только хитрость, прием, предшествующий удару. И не обманулся в своих предположениях. Альфред захватил меня врасплох поздно, но расчетливо и очень коварно. Его удар был сокрушителен. Я долго позволял отсчитывать над собой время. Мы расстались с Марго на целых семь лет: с апреля тридцать второго до марта тридцать девятого, но в марте тридцать девятого я был только голодной, обовшивевшей и убогой тенью прежнего своего великолепия, а Альфред уже три месяца, как лежал в земле.

Зато Марго была прекрасней и нежней, чем когда-либо.

Привел меня в чувство врач.

Я лежал в чистой постели — на одной из двух сдвинутых вместе супружеских кроватей, на посту, оставленном Альфредом. Врач воротил нос, словно во время вскрытия утопленника недельной давности, а Марго, рассматривая мою тощую наготу, плакала навзрыд — то ли от счастья, то ли от жалости.

— Вы видите, господин доктор? Разве вы не видите? — всхлипывала она.— Бедный мой, бедный мальчик!

Во время перевязки я снова потерял сознание. А потом было мытье, ужин и сон, тридцатичасовой, в сытости и холе, наконец-то безопасный, без ходуном ходящей земли и завывания бомб,— сон, из которого два или три раза я на мгновение всплывал почти к самой поверхности яви, чтобы выпить стакан молока или чашку бульона прямо из рук Марго, единственной, волшебной, любимой Марго, излучавшей все тепло и счастье мира, тепло средиземноморской ночи, дня и вечера, таящееся в полных руках, белых грудях, устах, пухлых и чувственных, во всей той доброте, которую в состоянии обнаружить и передать только женщины и тогда только, когда их мужчина слаб и беспомощен, словно бы он их ребенок,— что, собственно говоря, мне тоже казалось сном, только более восхитительным, чем я мог себе вообразить. Пробуждаясь, я пережил отвратительное мгновенье,— испугался вдруг, что из этого тепла, тишины и покоя вновь возвращаюсь на какой-то пиренейский перевал, на одну из дорог горя и нищеты.

Но вот я проснулся, и это не был сон.

Разбудил меня запах рыбного супа и горячего паштета. Разбудило высокое, еще дневное солнце и смех Марго, ибо я стал чихать от счастья. Я плюнул на все запреты врача. Ел и пил, пил и ел,— а потом

притянул ее к себе, хотя она и сопротивлялась, опасаясь за мое здоровье.

— Вернулся,— говорила она, орошая слезами мою ключицу.— Не было тебя, и вот ты вернулся. Ты никуда уже не уйдешь от меня.

— Никогда! — поклялся я.— Никогда и никуда! — несколько раз клялся я нашим счастьем и обеими нашими головами, будучи глубочайше убежден, что никогда не нарушу этой клятвы.

Альфред Бомбек был человек скрытный и хитрый. Марго до сих пор не знала, почему я столь внезапно исчез с ее глаз в последний день апреля тридцать второго года. Но поскольку Альфреда уже не было и она вспоминала о нем с искренней нежностью,— я не стал объяснять ей, какую роль в моей судьбе сыграл мсье Бомбек. Я все свалил на эту свинью Казареса, ни словом не упомянув об участии Альфреда. В конце концов бретонец имел право возненавидеть меня. Я не был барончиком и даже не вознаграждал его жену от щедрот своих. Половина порта смеялась над теми рогами, которые так откровенно она наставляла ему со мной, и следует честно признать, что другой на его месте поступил бы иначе. В Марселе нетрудно найти громил и живодеров, которые за небольшую мзду могли бы позабавиться с таким жеребчиком, каким я был в начале тридцатых годов,— и ослепить, и оскопить тоже. В сущности, Альфред проявил вполне достойную сдержанность. А главное, с хорошей стороны характеризовало его то, что он не тронул Марго. Ни пальцем, ни словом. Ну, и сошел со сцены в весьма подходящее время — достаточно рано, чтобы вдова Бомбек могла с такой откровенной радостью встретить меня, как она это сделала 18 марта 1939 года, и вместе с тем достаточно поздно для того, чтобы у нее появился какой-нибудь совершенно новый преемник супруга и претендент на сердце, постель и кассу мадам Бомбек, любимой моей Марго.

Марго не очень настойчиво допытывалась, откуда я взялся, почему такой жалкий и нищий. Она была умна. Локоть быстро заживал. Я отъедался, раздавался вширь. Раз-другой вскакивал ночью с криком. На улице громыхали грузовики, идущие в порт, а я орал, что это «дорнье», «хейнкели», что вот-вот полетят бомбы, так пусть же Марго бежит в подвал... и обливался потом от стыда, когда она зажигала ночник под розовым абажуром и смотрела на меня с удивлением и даже как будто немного насмешливо.

Ей, однако, не пришлось долго ждать моей исповеди. Достаточно было первой солидной порции коньяка, чтобы я разнюнился перед нею, кляня всех и вся, а больше всего себя и свою кретинскую тупость.

— Зачем мне все это было нужно? — вопил я, молотя кулаком по столу, так что отскакивала фанеровка.— No pasaran! Hijos de puta! Pasaron![1] Tu comprends?[2] Они прошли по нашим головам и ребрам, как хотели! В немецких сапогах, в итальянских крагах, с мавританской музыкой, осененные высочайшим благословением.

Она слушала, недвижимая и молчаливая, хотя в своем пьяном экстазе я то и дело переходил на польский и испанский, колошматил в стены, ломал мебель и в конце концов разбил ее любимую вазу с портретом Греты Гарбо. Я кричал так громко, что начали стучать сверху, сбоку, а в дверях мелькнуло обеспокоенное лицо Мохаммеда. Я бросился на него. У Мохаммеда было лицо мавра — одного из тех мавров, которые, захватив в плен летчика Педро Галана, разрезали его на ровные куски и отослали их нам с немецким «хейнкелем».

Мохаммед удрал, а я запутался спьяну в собственных ногах, упал прямо на недолеченный локоть и взревел, как пятилетний слюнтяй.

[1] Не пройдут! Сукины дети! Они прошли! *(Исп.)*

[2] Понимаешь? *(Франц.)*

Она подняла меня, ma belle petite mère[1], осушила мои слезы, успокоила.

— Я знаю, зачем тебе это было нужно,— долго шептала она ночью.— Чтобы ты вернулся ко мне! Чтобы ты... чтобы ты... ко мне!

Наутро мы купили приличный скромный паспорт, из которого явствовало, что я гражданин Канады и прибыл в Марсель прямо из Квебека, даже мысленно не заглядывая в Испанию. В воскресенье мы уехали за город, далеко, в сторону Ниццы, устроились на берегу голубой бухточки. С соседней, знакомой нам фермы служанка принесла бутылку вина, сыр, белый хлеб. В бухточке крикливые молодые чайки учились охотиться.

— Послушай! — говорил я.— Выслушай меня, бесценная моя!— просил я.— Я постиг раз и навсегда: есть только одно счастье на свете. Когда-то я умел молиться. Забыл. Отец Антуан хотел меня вновь научить этой штуковине, да ему не удалось. Однако он все-таки научил меня — был такой случай — не взывать всуе ни к богу, ни к судьбе, ибо человек должен трудиться! Тем более что он песчинка, прах, дерьмо и не в силах изменить мир к лучшему, как бы ни пыжился — хоть до седьмого пота, хоть до грыжи. Понимаешь?

Она смеялась. Знала, куда я клоню, и ее вовсе не интересовали все те выкрутасы, с помощью которых я готовил почву для объяснения.

— Вижу,— говорил я,— что понимаешь. Ибо мне казалось, что черное — это черное, а белое — белое. Думал, что смогу ухватить за бороду самого господа бога. я — непобедимый солдат революции!

Я еще долго и сбивчиво говорил, что только она есть и может стать счастьем моей жизни.

Наверное, ни одна женщина, из тех, что я встречал и любил, не слышала от меня столько сладчайших слов и словечек, которыми я осыпал белые колени Марго, выставленные на солнцепек и на мое обозрение. Я признался ей, что никто и ничто уже больше не влечет меня, кроме нее и жизни с нею. Я прямо не просил ее руки. И вовсе не оттого, что стыдился. Раскрыл ей свои планы: я знаю несколько дорог и пристанищ контрабандистов в Пиренеях. Пограничники и жандармы тоже хотят подработать — и еще долго будут охотиться лишь за политическими. Поэтому подождем с полгода. Для начала мне хватит вполне скромного займа, и не далее как поздней осенью я не только верну капиталец и проценты, но и смогу войти в дело с собственной долей, не по-нищенски. Докажу, говорил я, что сам сумею встать на ноги, без того, чтобы меня вели за ручку и поддерживали за попочку, и что я вовсе не намерен подобно младенцу цепляться за великолепную титьку,— и говорил я все это с глубочайшим убеждением и бесконечной влюбленностью в Марго и в ту жизнь, которая так восхитительно складывалась в моем воображении.

Марго перестала смеяться. Она слушала с волнением — и с гордостью. В глазах ее я видел радость от того, что я не собираюсь просто разлечься на месте Альфреда брюхом кверху, мордой в тарелку, что, добиваясь ее руки, я стремлюсь показать свою мужскую предприимчивость и отвагу. И большего ей не требовалось.

— Нет,— проговорила она, показывая на мою повязку.— С этим покончено. Того, что у меня есть, хватит на двоих.

Так прозвучало самое восхитительное признание в любви, которое я когда-либо слышал от Марго Бомбек. Она запретила мне говорить. Мы сидели молча, в обнимку, море на западе загорелось от солнца, потом погасло, чайки угомонились, несколько яхт уплыли в тень, мы были поразительно счастливы. Когда холод прогнал нас с прибреж-

[1] Моя красивая мамочка *(франц.)*.

ных камней, мы отправились на ферму. Мы были так умиротворенно счастливы, что в ту ночь, словно влюбленным детям, нам было достаточно того, что мы лежим рядом, держась за руки. Я подумал, что у нас будет двое ребят — дочь и сын, что это будет здоровый и красивый приплод, из хорошей конюшни, от счастливых родителей.

В такие минуты люди думают об одном и том же.

— Послушай,— шепнула Марго, когда луна стала вползать в окно.— Я ведь не так стара для того, чтобы родить.

Когда она уснула, я подошел к окну, смотрел в него невидящими глазами. Потом высоко над морем загудели моторы. Летело несколько машин, они захлебывались от напряжения. Я был уже здоров и потому без всякой истерики подумал: ночные учения, французы, это совсем иной звук, чем тогда, все огни набережной, включая и созвездие порта вдали, по-прежнему горят, можешь спать спокойно. В свете почти полной, но подернутой легкой дымкой луны смазывались все очертания, все было серо. Я мог спать спокойно, но не заснул до рассвета. Марго дышала тихо и легко — на ее высоком лбу собирались крохотные капельки пота, она дышала, чуть приоткрыв рот, тишиною ночи.

Все было серо. Дым, известковая пыль от размолотой штукатурки, человеческие лица и глаза. Все было таким в этой проклятой мельнице, в которой «хейнкели» и «дорнье» перемалывали Мадрид в кровавое месиво. Я не видел Варшавы — ни в сентябре, ни потом, в те месяцы сорок четвертого года. Мне говорили: заткнись и не болтай о войне, если ты этого не видел, ибо ты ничего о ней не знаешь. Я смиренно умолкал, как и тогда, когда Шимонек или вторая Марианна принимались неумело объяснять мне, что означают названия «Auschwitz-Birkenau». Но я-то ведь знал свое: я видел Мадрид. Пятисоткилограммовые бомбы, падавшие на больницы и дома. Полигон. Огромный доваршавский полигон, благодаря которому штаб люфтваффе смог внести свои коррективы в оперативные принципы «Fall Weiss»[1].

Да, все было серо от известковой и кирпичной пыли, от пепла и дыма — и только ночью Мадрид освещался, словно извергающийся вулкан. Стоял уже ноябрь. Каждые три-четыре часа новая волна бомбардировщиков: «юнкерсы» под прикрытием «хейнкелей», в среднем от сорока до пятидесяти машин. Сейчас напоминание о двухсоткилограммовой или пятисоткилограммовой бомбе звучит глупо и смешно. Мегатонна — вот мера, достойная столетия! А тогда? Даже ничтожных пикировщиков не слышали еще под Мадридом. Они только натаскивались. Несомненно — после того, как город окончательно пал,— штабные офицеры, говорящие деловым и рациональным немецким языком, проанализировали эффективность бомбардировок: полутонная при удачном попадании пробивает перекрытия восьмиэтажного дома. Пятиэтажному доходному дому в районах попроще достаточно двухсот и даже, если повезет, каких-нибудь ста килограммов. Какая экономия! Особенно если фугаскам сопутствуют прыгающие по крышам десяти- или двадцатикилограммовые малютки-зажигалки. И я говорю вам: плевать на мегатонну! Тем, которых настигал двухсоткилограммовый вой и грохот, обрушивающийся с крыши в подвал — в подвал, где они прятались, молча, вопя, плача, молясь, тщетно взывая к людскому и божьему милосердию,— тем вполне хватало этой старомодной Kleinigkeit[2], этих zwo hundert Todeskilo![3] Ибо если и не всех их накрывало сразу и если они только оглушенные, контуженные и раненые пребывали под развалинами старого пятиэтажного домины, то подумайте: быстро ли можно пробить выход наружу или хотя бы

[1] «Белый план» *(нем.)* — гитлеровский план захвата Польши в 1939 году.
[2] Здесь: малютки *(нем.)*.
[3] Смертельных двухсот килограммов *(нем.)*.

расчистить путь для доступа воздуха, которого становится все меньше, все меньше и, наконец, слишком мало.

Повторяю: стоял уже ноябрь. С шестого числа я воевал в Университетском городке. Напротив, в ста, двухстах, а иногда в двадцати метрах были батальоны риффов. Поэтому «юнкерсы» и «дорнье» не рисковали гвоздить наши позиции полутонными фугасками. Но у риффов были зоркие глаза, они знали, что такое прицельный огонь. Умели целиться и попадать. Попадали часто. Через несколько дней перед нашими позициями появился сухонький и сивый, как одряхлевший тюлень, сторож оказавшегося на линии фронта анатомического театра. Он собирал тела — делал запасы для морга. Разыскивал тех, кто помоложе, помускулистей, чтобы во время показательных вскрытий студенты получили более ясное представление о нормальной анатомии. Некоторых он выкрадывал буквально у нас из-под носа. Наконец, я поймал его, когда он тащил за ноги длинного Вичо, болгарина из Бургаса.

Мне очень нравился Вичо,— а я только сейчас и увидел, что Вичо мертв. Попадание в переносицу. И я начал бить. Но старик не понимал за что. Даже не очень заслонялся от ударов. Вытирал кровь, хлынувшую из носа, пускал слюну, шамкал, что такие случаи нельзя упускать, ибо так или иначе клиника когда-нибудь откроется.

В тот вечер, уже похоронив Вичо, я попросил отпуск с линии фронта на двадцать четыре часа, не дольше. Но это было как раз 19 ноября, в день первой генеральной репетиции «юнкерсов» — первого массированного налета на город.

Я попросил отпуск, благо мне казалось, что, не поговорив с обыкновенными людьми, с дружески ко мне расположенной и не очень-то хорошо разбирающейся в том, что происходит вокруг, семьей Хименесов (я жил у них два дня, поправляясь после контузии, полученной под Талаверой), сам я вскорости начну собирать самые интересные экземпляры для старикана из прозекторской, как и он, отупело распуская слюну и шамкая, надрываясь от изнурительной работы.

Я не использовал отпуска. Дом, в котором жили Хименесы — 68-летний Педро, трамвайщик, его сын Пепе, 31 года, не годный к военной службе сапожник, его жена Тереса, 27 лет, и трое детей, имен которых я не помню (Кармен? Кончита? Мигель? Роберто? Хосе?),— так вот, каменный их дом сник под тяжестью, не превышавшей, пожалуй, двухсот килограммов. Таких распоротых от крыши до подвала домов в этом районе становилось все больше, налет продолжался, мир погибал в багряном мерцании. А поскольку в доме Хименесов не проживало особ значительных, лишь несколько добрых людей, обитавших по соседству, хлопотали у засыпанного входа в подвал. Они передавали друг другу из рук в руки кирпичи. Кто-то кричал, что снизу слышится стук. Потом очередной налет кончился. Не было уже слышно никакого стука. Над городом закропил мелкий холодный дождь. Добрые люди стали бросать напрасную работу. Я и не заметил, как они разбрелись по домам. Все было серо.

А Марго дышала спокойно. На ее гладком лбу высыхали крохотные капельки пота. На деревьях, росших под окнами старой фермы, начали просыпаться птицы.

Я выздоровел? Вернулась память? Так это можно было бы определить. Но Марго определила совсем иначе.

— Ты болен? — спросила она, не успев проснуться.

— Не знаю.

— Должно быть, тебе вреден паштет. Я ведь говорила — не ешь так много. Ведь просила, правда?

— Мне он пришелся по вкусу.

Не отрезвев еще после спокойного сна, она вдруг начала кричать, что с мужчинами всегда так — нет толку предостерегать их, опыт их ничему не учит. Вечно они умнее, всегда понимают больше, чем всей душой преданные им женщины. Жрут и живут, как боровы! Башку свернуть, потаскуху потискать — вот почти и все их развлечения. Я же вел себя, будто и впрямь был болен — вздыхал, стонал, даже просил положить грелку на живот. Но Марго не дала провести себя. Она очень хорошо знала, что это за болезнь, хотя и словечком не обмолвилась об истинных ее причинах. А когда по возвращении заметила, как я каждое утро отправляюсь в киоск за газетами, как подолгу просиживаю у приемника, рыскаю по волнам, слушаю, слушаю и молчу, она также перестала говорить о свадьбе.

Она выждала ровно месяц, потом снова завезла меня на ту ферму, на берег моря, в голубую бухточку, где молодые чайки с криком ныряли в мелкую волну, взмывая затем по спирали в небо продуманно и четко, эскадрилья за эскадрильей.

— Помнишь, что ты мне здесь говорил?

Мы лежали на солнце, глаза у меня были прикрыты. Я притворился спящим.

— Подлая ты, проклятая свинья! — прошептала она, зная, что я слышу, и заплакала в голос, неистово, отчаянно, рыдая все громче и пронзительнее, как это принято у голосящих над мужниной могилой баб из Арля, Мазовии, Кастилии или с берегов Ладоги.

Долго я лежал неподвижно, трусливо и по-хамски молчал, наконец сделал вид, что проснулся, начал утешать ее и выспрашивать, отчего она так печалится. Она два раза ударила меня по лицу. Руки у нее были красивые, но сильные, и я на несколько минут оглох на левое ухо. Но в конце концов я, совсем уж трусливо и подло, сумел к ней подобраться. Она стихла. Не противилась. Потом презрительно расхохоталась, ибо в тот день и в тот час был я совсем никуда.

Я уехал в Польшу лишь в конце июня. Но, собственно говоря, именно то первое июньское воскресенье на берегу голубой бухточки было первым днем нашей разлуки.

— Момыш-улы,— говорил я год спустя.— Понимаешь ты меня? Это был первый день нашей разлуки.

Старый татарин долго смотрел на горы, сосал трубку, качал головой.

— Па-а-нимаю,— пробурчал он. Он и на самом деле все понимал.

Момыш-улы никогда подробно не рассказывал о себе, но по тому, как он слушал, как расспрашивал про мои личные и не личные дела, можно было заключить, что он достаточно много видел и пережил, чтобы всякий раз удивляться чужой жизни. Такая уж у него была привычка: слушал, сосал трубку, ронял иногда два-три слова и очень многое понимал. Иногда из того, что я плел, он понимал больше, чем я. Рассказывал я ему, например, об одном из тех немногих воздушных боев, какие довелось мне увидеть в прозрачном небе польского сентября 1939 года. Я хвалился той короткой схваткой, будто сам ее выиграл, будто это было невесть что. Немец на «хейнкеле» заходил со стороны солнца прямо на нашего летчика. Первым открыл огонь, но после третьей очереди струсил, начал удирать — встретил, значит, посильнее себя. Сначала ринулся вниз, потом свечой взмыл вверх.

Загорелся на двух тысячах метров. Выпрыгнул.

Убила его собственная машина: несколько очень долгих, томительных секунд она еще карабкалась в чистое небо, а потом взорвался бензобак. Один из горящих обломков коснулся чаши парашюта. Словно сигарету поднесли к воздушному шарику. Немец грохнулся

на землю с высоты полутора километров, так что нечего было собирать, кроме документов, фотографий да часов. Часы шли.

И тут, а это бывало очень редко, Момыш-улы вдруг встрепенулся.

— Плохо,— сказал себе и горам Момыш-улы.— Долгая это будет война.

Я же громко и глупо смеялся, не веря его опасениям и не ведая, что как раз в эти самые дни опускается на колени Франция, британский корпус с воплями удирает в Дюнкерк, а весь Берлин и весь рейх поют: «...und Morgen die ganze Welt»[1].

Ни он, ни я еще не знали об этом. Однако Момыш-улы понял из моего рассказа больше, чем я: он увидел связь между совершенством крохотного точного механизма и всей техники бравшей разбег огромной махины, той, дай бог последней, германской войны, которая известна так же, как вторая мировая.

— Подумаешь,— смеялся я.

— А ты вот сам подумай, человек! — строго проговорил Момыш-улы.

Встал и отошел от костра, сильно опечаленный.

Спали мы оба в «балагане», представлявшем собой простую и остроумную конструкцию из дюжины жердей, прикрытых соломой. По ночам я долго слышал покашливание и шепот старика, который обдумывал неведомые мне дела, выходил в темноту, стоял у входа, смотрел в ночь, укрывшую горы Тарбагатая.

Лишь через три дня он согласился принять мои извинения. В знак примирения я заговорил о Марго — и рассказывал довольно подробно и бесстыдно. Очень она ему понравилась. Он с интересом расспрашивал о ее росте, цвете кожи, губ и волос, о весе и глазах и обо всем остальном. Пожалуй, она показалась ему немного тоща, но несмотря на это, он с одобрением и какой-то жалостью качал головой, когда я расписывал ее бесчисленные достоинства. Глаза старика поблескивали строго и хитро. Наконец, он спросил, далеко ли до Марселя. Я расхохотался и стал объяснять, что даже в лучшие времена татары никогда там не были.

— Зато у тебя были,— проговорил он.

В общей сложности работало нас на заготовке сена восемнадцать человек, там, в совхозе, расположенном на склонах Тарбагатая. Семь казахских семей, трое переселенцев (я и молодые люди по фамилии Ситко — брат и сестра из Львова) и, наконец, руководивший всей работой Момыш-улы. Добирались мы на горные луга с базы совхоза на телегах, запряженных степенными волами, четыре ночи и три дня и дважды попадали под летние грозы; Момыш-улы сновал вокруг телег на приземистой кобылке, словно овчарка вокруг стада,— и ясно было, что оба они, и человек и лошадь, родом из тех, для кого и Марсель не казался чересчур далеким: найдись только знающий туда дорогу бей-командир.

Приглядывал старик мудро и жестко. Люди работали быстро и молча. Лишь мне одному позволялось быть с ним на короткой ноге, что явно одобрялось казахами, но все сильнее озлобляло брата и сестру Ситко, бедных, ничего не смыслящих ребят.

Я, как мог, опекал этих воробышков. Но было это ужасно трудно, ибо они упрямились. А я настолько устал, что у меня недоставало ни сил, ни охоты на отцовские нежности и долгие беседы. Я заботился, чтобы они не очень голодали и чтобы у них не стянули теплые вещи. Намекнул об этом старику. Он вызвал к себе кого-то из своих для весьма краткого разговора. С тех пор тот стороной обходил эту

[1] «...а завтра весь мир» *(нем.)*.

парочку. И все-таки на какое-то время я потерял всякую возможность сблизиться с ними. Я подслушал, как упрямый щенок уговаривал сестру — а она была на год моложе — бежать: они украдут у казахов теленка, пойдут через горы к границе Синьцзяна, переберутся в Китай и тут уж они, наконец, почувствуют свободу, которая придаст силы их слабеньким крылышкам. А оттуда прямо в армию Сикорского. Успеть бы только к весне, когда, наконец, польская армия вступит в Берлин.

Это было смешно, наивно, бессмысленно, но, признаюсь, я слушал его с каким-то уважением. Он не хотел сдаваться. Свобода, говорил он. Пойдем, говорил он, и выиграем войну.

Однако с их силами, здоровьем, знанием таких крохотных, на первый взгляд, гор любая подобная попытка равнялась бы, конечно, самоубийству.

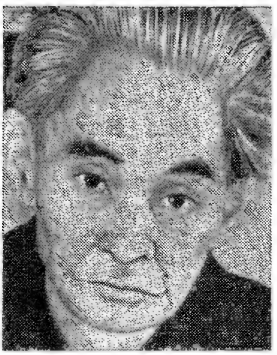
Я грубо вмешался, начал кричать. Кто, мол, вы — безмозглые щенки, дурачки или самоубийцы?

Паренек загородил собою сестру. Было совершенно ясно: они меня ненавидели.

— Ты шпик! — заладил паренек.— Шпик ты!

К счастью, я сдержал страстное свое желание положить семнадцатилетнего паренька к себе на колено и хорошенько отлупцевать его по тощему заду, по-отцовски, как это делали в старину. Мне было достаточно уже того, что после этих признаний они не будут пытаться сбежать. Я махнул рукой на «шпика», пошел к себе. Бил меня озноб, слезы подкатывали к горлу. Что правда — то правда: я разревелся, как пьяная корова. Я раскидывал сено, ноги у меня слабели, солнце пекло, а я трясся от озноба и слез. Под вечер Момыш-улы внимательно посмотрел мне в глаза, почмокал, увидя пожелтевшие белки, поставил диагноз: малярия! Лечил он меня сам травами и собственными запасами хины — дозами, от которых тихий Тарбагатай начинал ходуном ходить у меня в голове, словно это было в двенадцатибалльный шторм с очень большой волной где-нибудь в Магелановом проливе.

(Продолжение следует)



ЯСУНАРИ КАВАБАТА

Голос бамбука, цветок персика

С какой же это поры он стал ощущать в себе голос бамбука, цветок персика?

А теперь ему уже не только слышался голос бамбука — он видел этот голос, и он не только любовался персиковым цветом — в нем зазвучал цветок персика.

Бывает, прислушиваясь к голосу бамбука, слышишь и шепот сосны, хотя она бамбуку не родня. Бывает, глядишь на цветок персика и видишь цветок сливы, хотя ей еще не время цвести. Такое с человеком случается не так уж редко, но к Хисао Миякаве это ощущение пришло уже в преклонные годы.

Позапрошлой весной Миякава увидел на сосне, росшей на холме близ его дома, сокола, и ему кажется, что он видит его и сейчас.

Невысокая горная гряда обрывается позади дома Миякавы холмом, напоминающим бугорок на конце восковой капли. Свинцового цвета скалы у основания холма сплошь покрыты тропическим папоротником. На склоне не видно высоких деревьев, но он настолько густо зарос, что напоминает зеленую ширму. И только на самой вершине одиноко стоит большая высохшая сосна.

Прошло много лет с тех пор, как сосна засохла и потеряла все свои иглы, не стало мелких веток, сохранился лишь ствол и толстые, крупные ветви, да и у них пообломались концы. Так и стоит она, словно вонзившись в небо.

Когда Миякава увидел сокола, сидевшего на вершине сосны, он едва не вскрикнул от удивления. Ему бы и в голову никогда не пришло, что сюда может прилететь сокол. Это казалось каким-то чудом. Но сокол сидел на сосне — сильный и смелый.

Огромная сосна словно стала меньше после того, как на ее вершину опустился сокол. Он сидел не шелохнувшись, горделиво выпятив грудь. Миякава любовался птицей и ощущал, как в него вливается соколиная сила.

Был весенний вечер. Высохшая сосна напоминала черную иглу, вонзившуюся в нежно-розовое, окутанное легким туманом небо. Там, на вершине, казалось, происходило нечто, совершенно не связанное с окружающим.

«Нет, сокол вовсе не прилетел сюда по этому туманному вечернему небу. Он возник здесь, на месте, ради меня. И никуда не улетит...» — думал Миякава и, удивляясь собственным мыслям, глядел на сокола.

Ему представилось, будто в бушующем пламени распустился огромный цветок белого лотоса. Бледное весеннее небо ничем не напоминало бушующего пламени, а сокол не имел ничего общего с белым лотосом. И все же от сильной птицы, сидевшей на вершине засохшего дерева, веяло спокойствием, спокойствием белого лотоса в бушующем пламени. Белый лотос...

Постепенно удивление и священный трепет, от которых перехватило дух, сменились уверенностью, что прилет сокола — хороший знак, доброе предзнаменование. Миякава ощутил беспредельную радость.

Прежде ему не приходилось ни видеть самому, ни слышать от кого-либо о том, что в этот городок, расположенный на морском побережье близ Токио, залетали соколы. И вот сокол был перед ним. Как он попал сюда? Была ли это случайность — просто сбился с пути и опустился передохнуть на вершину сосны? Или, может быть, у него была определенная цель? Наконец, что побудило его сесть на вершину именно этой сосны?

Миякава не считал это игрой случая. Нет, так должно было произойти. Миякаве казалось, будто сокол прилетел сюда, чтобы о чем-то поведать ему.

«Хорошо, что я не срубил эту гнилую сосну,— пронеслось у него в голове.— Не потому ли, что на вершине холма стоит большая высохшая сосна, именно сюда опустился сокол? Не будь этой сосны, никогда в жизни, может быть, не довелось бы мне, пусть на короткий миг, увидеть сокола у своего дома.

Хорошо, что я не срубил сосну,— снова и снова повторял Миякава.— А ведь сколько раз собирался».

Было время, когда Миякава с болью наблюдал за увяданием дерева, возвышавшегося позади его дома словно некий отличительный знак, словно охранявшее его очаг божество.

Сосна была видна и с платформы, у которой останавливалась электричка. Для Миякавы, да и для всех его домочадцев, вошло в привычку обращать взор к сосне, когда они садились в вагон или по возвращении в родной городок выходили на платформу. Они и глядели на сосну, и в то же время, казалось, перестали ее замечать.

Но было время, когда это дерево будоражило чувства, задевало нежные струны души. Стоило выйти из вагона на платформу и

взглянуть на сосну, как в душе наступало успокоение и сердце сладко замирало от неизъяснимой грусти. Ему было сорок девять лет, когда он поселился в этом доме, а несколько лет назад исполнилось семьдесят, но за эти долгие годы сосна, казалось бы, совсем не изменилась. Сколько же ей было лет на самом деле? Уж во всяком случае не меньше ста пятидесяти.

И дуб, и камфарный лавр, росшие у забора и скрывавшие двор от любопытных глаз, и индийская сирень, раскинувшая ветви посреди сада, были старыми деревьями, но и они не шли ни в какое сравнение с сосной на холме. Отчего же на холме, кроме сосны, не росло ни одного большого дерева? Может быть, ее однолетки давно сгнили и осталась только она?

Наверняка сосна была раза в два — если не более — старше Миякавы. И вначале, когда Миякава только поселился здесь, он считал, что сосна, конечно, переживет его. С юных лет Миякава, бродя по лесам, с благоговением останавливался перед мощными старыми деревьями, видя в них символ долголетия. Они, однако, не вызывали в нем ощущения краткости человеческой жизни, напротив, заставляли забыть об этом, и ему казалось, что сам он сливается с жизнью несокрушимых деревьев, пустивших глубоко в землю свои корни.

Он стал ощущать в себе сосну, росшую на холме. Склоны холма были крутые, и ни одна тропинка не вела к его вершине. Поэтому Миякава не мог подняться к дереву, так же как не мог попросить садовника, чтобы тот поухаживал за ним. Видимо, с самого начала сосна была дикой, и за ней не присматривали, как за деревьями в саду. И все-таки ветви ее не росли как попало, она не казалась запущенной, хотя и была старой. Даже тайфун не мог обломать ее ветви.

Да что там — ветви, иглы и те оставались на месте. Миякава не раз наблюдал через высокое оконце в сенях, как сильный ветер и дождь раскачивали деревья. В непогоду все окна в доме закрывались ставнями, и только через это оконце можно было видеть, что творилось на холме позади дома. Миякава с беспокойством наблюдал за сосной. Ливень нещадно колотил в стекло, растекаясь по нему поперечными струями. Сорванные с деревьев широкие зеленые листья устилали задний двор. Только иглы сосны оставались как будто на своем месте. Возможно, они и падали, но из окна этого не было видно, и Миякаве казалось, что с веток сосны не слетало ни единой иголочки. Гнет ветер ветви деревьев на склоне холма, выворачивает листья, а сосна наверху едва заметно покачивает своей вершиной, и мнится Миякаве, будто вокруг нее не бушует тайфун. Стоя у окошка, он протягивает к сосне руки, словно желая заключить ее в объятия...

Перед его глазами всплыла картина. Беззвучно падают лепестки белых хризантем. Невеста в белом подвенечном платье с букетом цветов идет по коридору отеля. Должно быть, спешит на свадьбу или на помолвку. Подол платья стелется по полу. Один за другим падают на пол белые лепестки. Сопровождающая невесту женщина то и дело наклоняется к бледно-зеленому ковру, подбирая лепестки...

Эту картину когда-то подглядел Миякава, проходя по коридору отеля. Женщина старалась подбирать лепестки так же тихо, как они падали. Замечала ли невеста, что опадают лепестки с цветов, которые она держала в руках? Во всяком случае, она не подавала вида. Пока Миякава думал о бессердечности садовника, составлявшего для невесты букет из несвежих хризантем, у него возникла мысль о том, что все это могло бы послужить прекрасным сюжетом для трагедии: беззвучно падающие лепестки белой хризантемы — лепестки жизни, срываемые с невесты житейскими бурями...

Когда спускаешься с железнодорожной платформы и выходишь в город, сосна и холм скрываются за домами. Но стоит завернуть за угол, где стоит зеленная лавка, как сосна вновь появляется и уже не исчезает из поля зрения до самого дома Миякавы.

Сосна хорошо видна и со стороны моря. Каё, дочь Миякавы, рассказывала ему, что когда они с возлюбленным впервые отправились на его яхте в море, она видела сосну, хотя они уплыли далеко-далеко, и холм, на котором она стоит, был едва заметен в дымке берега. Увидела сосну — и заплакала.

Миякава вспомнил об этом во время помолвки Каё. Ее женихом был другой юноша — не тот, с кем она плавала на яхте. В ту пору Миякава счел неуместным спросить у дочери, почему она заплакала, увидев сосну. А потом все было недосуг.

Миякаве и в голову не приходило, что сосна может засохнуть при его жизни. Так же, как он не мог предположить и того, что поселится в доме, позади которого на холме будет сосна. Но его не оставляла мысль о том, что дерево, стоявшее здесь уже добрую сотню лет, ожидало встречи с ним, Миякавой. Значит, сосна не должна была погибнуть, не дождавшись его. Ведь она росла ради него.

Сейчас он уже точно не помнил, какие ветки у нее стали рыжеть первыми: те ли, что у вершины, или средние, а может быть, те, что снизу. Да и домочадцы тоже говорили по-разному.

Когда Миякава заметил на сосне рыжие иглы, он не подумал, что это признак ее скорой гибели. Своего садовника у него не было, и он обратился за помощью к другу. Пришедший садовник хладнокровно заявил, что сосна погибнет. Он добавил также, что дерево, видимо, подтачивают насекомые и, раз иглы начали рыжеть, спасти его уже невозможно. Миякава просил хоть что-нибудь предпринять, но садовник лишь беспомощно разводил руками.

Из дома и со двора, с улицы и с платформы — отовсюду тяжело было глядеть на это гибнущее дерево. Агония продолжалась долго. На сосне не осталось ни одной зеленой иголки, но, порыжев, они не опадали. Бывали дни, когда засохшая сосна казалась Миякаве зловещей и безобразной. «Глаза бы мои на нее не глядели»,— нередко думал Миякава, но, вопреки таким мыслям, невольно обращал к ней свой взор. Он думал, что нужно поскорее срубить сосну. И не только ради того, чтобы он перестал ощущать ее в себе, но и для того, чтобы похоронить ее.

Прошло еще несколько лет. Порыжевшие иглы осыпались, мелкие ветки сгнили, пообломались и многие большие ветви.

Миякава стал реже вспоминать о существовании засохшей сосны и даже о том, что хотел ее срубить. На погибшие ветви ложился снег. Он как бы обновлял дерево. Ветви под снегом были холодными, но временами казалось, будто от них исходит тепло.

И вот он увидел на вершине сосны сокола. Птица опустилась на сосну, потому что Миякава ее не срубил. А сосна не была срублена потому, что добраться до нее было нелегко, а может быть, из-за лености Миякавы. Так или иначе, а сосна по-прежнему стояла на вершине холма, и на ней сидел сокол.

Сокол сидел неподвижно. Миякава затаив дыхание глядел вверх, и ему казалось, что в него вливается соколиная сила, что эта птица передает свою силу и высохшему дереву.

Миякава хотел было позвать жену, чтобы и она полюбовалась на сокола. Звать надо было громко, иначе жена бы не услышала, и Миякава раздумал, решив, что его крик вспугнет птицу.

Сокол был недвижим, словно изваяние. Казалось, своими когтями он намертво впился в дерево.

Однако птица — существо живое, когда-нибудь она улетит. А засохшая сосна останется. Но это будет сосна, на которую прилетал сокол. Миякава один раз видел его, но теперь сокол надолго останется в нем.

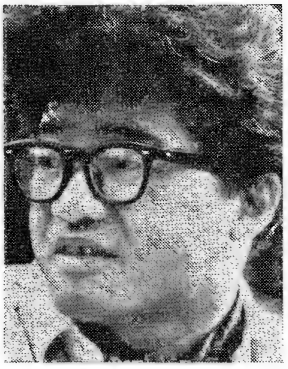
Какую весть принес сокол для Миякавы? Если его появление было хорошим знаком, добрым предзнаменованием, то в чем же счастье, в чем радость, которые должны были снизойти на Миякаву? Не в том ли, что он увидел сокола?

Это случилось позапрошлой весной. Огромная высохшая сосна, что стоит на вершине холма за домом, с тех пор почти не изменилась. Сокол больше не прилетал. Может быть, и прилетал, но Миякава его не видел.

Миякава стал теперь думать, что сокол внутри него.

Вряд ли поверят люди, расскажи он им, что в их городок, да что там в городок, прямо на холм, рядом с его домом, прилетал сокол! Он решил об этом никому не рассказывать.

Перевод с японского Б. РАСКИНА



КОБО АБЭ

Детская

— Посмотрите. Вон туда... Нет, сегодня не видно... В хорошую погоду как раз там виднеется верхушка телевизионной башни...

Праздник, а может быть, и обычное воскресенье. Укромный уголок готового лопнуть от обилия запахов переполненного ресторана, недалеко от конечной остановки электрички. За шатким столиком у окна друг против друга сидят мужчина и женщина. Перед женщиной — мороженое с консервированными фруктами и шоколадом. Перед мужчиной — чашка кофе со сливками. Мужчина, видимо оттого, что, беспрерывно дымя сигаретой, поспешно отхлебывает кофе, поперхнулся и выпускает дым через ноздри. Взгляд женщины остается абсолютно безучастным. Оба они — это видно с первого взгляда — совсем еще не привыкли друг к другу, как к новой выходной одежде.

Мужчина продолжает скованно:

— Откровенно говоря, я мечтаю взобраться когда-нибудь на самый верх башни и прикрепить там дощечку с надписью: «Здесь нефть». Понимаете? Грязное небо становится все тяжелее и тяжелее и уже сейчас готово обрушиться на город. И тогда раздавленный

город постепенно превратится в огромное нефтеносное поле. Ведь утверждают же, что уголь образовался из растений, а нефть — из животных. Посмотрите. Там внизу улица, и она забита теми, из кого образуется нефть. Поэтому я и собираюсь обучать детей лишь одному — технике добычи нефти.

В уголках глаз женщины впервые появляются морщинки улыбки. Но она тут же, сжав губы, кончиком языка слизывает улыбку вместе с мороженым и шепчет извиняющимся тоном:

— Мне даже подруги всегда говорили, что я не понимаю юмора. Но в том, что вы говорите, мне кажется, много юмора.

— Вы что, простудились?

Мужчина говорил, покашливая, и женщина тоже непроизвольно кашлянула несколько раз в ладонь, в которой держала ложечку. Прокашлявшись, она сказала своим обычным голосом:

— Нет, наверно, поперхнулась дымом.

— Тогда ничего страшного. А то при простуде мороженое — это было бы крайне неразумно.

Взгляд женщины проникает в глаза мужчины, на мгновенье задерживается там и, оставив в них легкий трепет, убегает к окну.

— Действительно не видна телевизионная башня...

— Не видна. Из-за смога.

— Да, ужасный смог.

— А вот интересно, вправе ли люди возмущаться смогом? Вам не кажется, что это весьма проблематично?

— Возможно,— женщина снова допускает в уголки глаз улыбку, но скорее из чувства долга.

— Если говорить о грязи, и люди и смог, пожалуй, очень схожи между собой.

Мужчина, сцепив руки, кладет их на край стола и, слегка расправив плечи, садится ровно. Тогда его подбородок и шея оказываются освещенными, и женщина обращает внимание, что на кадыке у него остались несбритые волоски. Следя за ее взглядом, мужчина опускает глаза и тут же отнимает от стола оставшиеся сцепленными руки, прижимает их к узлу галстука и, глубоко вздохнув, говорит с воодушевлением:

— Во всяком случае, мы должны быть друг с другом откровенны, правда? Мы уже не в том возрасте, чтобы стесняться...

— Да, я тоже так думаю.

Выражение лица женщины сразу меняется, она поднимает голову и начинает быстро теребить пальцами воротник бежевого костюма. Бледно-розовый лак оттеняет красивые длинные ногти — интересно, обратил на них внимание мужчина или нет.

— Нужно с самого начала подготовить себя к тому, что это может создать определенную неловкость.

— Вы думаете?

— Мы с вами встретились, воспользовавшись картотекой брачной конторы — это факт, и от него никуда не уйти... Но если этот факт будет бесконечно тяготить нас...

— Нисколько он не тяготит, во всяком случае меня...

— Правда?

— Просто мы чуть трусливее других, менее приспособленные, недостаточно ловкие — вот и все.

— Ну что ж, меня это успокаивает.— Мужчина расцепляет сложенные на груди руки и, склонившись набок, начинает искать в кармане сигареты.— Откровенно говоря, меня это тоже нисколько не тяготит. Более того, когда вопрос касается брака, я становлюсь ярым приверженцем картотеки. Если хочешь, чтобы брак был рациональ-

ным, то любовь и всякие другие случайные моменты должны решительно отметаться. Вы согласны?

— Просто мы недостаточно ловкие.

— Да, да, конечно, вы совершенно правы.— Мужчина склоняется к чашке, залпом допивает кофе, поспешно подносит огонь к сигарете, а свободной рукой начинает теребить галстук.— В общем, мне бы хотелось поскорее узнать ваши намерения...

— Намерения?

— Если я вам не подхожу, так откровенно и скажите, что не подхожу. Я ко всему готов.

— Я... видите ли... раньше я думала, что встреча с вами доставит мне больше удовольствия...

— Почему? Вы ведь, наверно, тщательно изучили мои ответы в карточке?

— Так, что даже помню их наизусть.

— Я ничего не сочинял.

— Нет, я не в том смысле... Нельзя отвечать на вопросы, как это делают в экзаменационной работе.

— В экзаменационной работе? — Стряхивая пепел, упавший на колени, мужчина озадаченно покачал головой.— Да, действительно интересное сравнение, будто вы школьная учительница. Но вы правы, что есть — то есть. Вы ожидали большего, чем от примитивной экзаменационной работы — вот я и провалился. Видите ли, я простой служащий фирмы, и во мне нет ни капли сверх того, что я написал в карточке — хоть десять лет ищи.

— И вы считаете, что по карточке вы сможете определить все? Значит, по моей карточке...

— Могу, конечно. Я вам скажу вот что. Результаты оказались именно такими, на какие я рассчитывал, прибегая к картотеке.

Женщина быстро опускает глаза и прикусывает нижнюю губу. В ее тоне появляется нерешительность, которую она не в силах скрыть.

— А вам не кажется, что вы сделали слишком поспешный вывод? Чтобы человек сам написал о себе в карточке всю правду — в это трудно поверить.

— Во всяком случае мне ясно одно — вы именно тот человек, который мне нужен.

— Ну и...

— Человек, который мне нужен. Что же еще?

Женщина, сжав губы, подавляет вздох и, откинувшись на спинку стула, смыкает колени. Изменение положения смягчило несколько угловатую фигуру.

— Все это потому, что вы человек совсем неприспособленный... И не особенно прозорливый. Правда?.. Я прекрасно поняла, что вы очень чистый, наивный человек... Вот почему, основываясь только на этом...

— Чепуха.— Мужчина подносит огонь к сигарете, зажатой в зубах женщины.— Вам известно, какую работу в фирме я выполняю?

— Если верить заполненной вами карточке, исследуете косметические товары.

— Исследую фальшь.

Женщина первый раз от души рассмеялась. Курила она весьма умело.

— Я не могу не питать доверия к человеку, прививающему мне чувство юмора!

Мужчина чуть склоняет голову набок, тушит сигарету и вопросительно смотрит на женщину.

— Вы знаете, что такое косметические товары? Для тех, кто работает в отделе рекламы, это, возможно, предметы, придающие женской коже красоту. Для нас же, работников технического отдела,— все иначе. Для нас косметические товары — это жиры и полимеры, которые не вызывают явных побочных явлений и могут дешево выпускаться в большом количестве.

— Вы говорите ужасные вещи.

— Вам так кажется?

— Может быть, вы и правы, но все же...— Женщина выливает в дымящуюся пепельницу несколько ложечек растаявшего мороженого.— Ваши слова оставляют какое-то неприятное чувство, это безусловно.

— Меня же все это не особенно волнует. Я старательно занимаюсь исследованиями, не испытывая ни малейших угрызений совести. Потому-то я и не высказываю никакого недовольства по поводу смога. Вы говорите, я наивен... Я хочу, чтобы с самого начала между нами не было никакой недоговоренности. Да, я человек, знающий, что такое фальшь, человек, погрязший в этой фальши.

— Слишком нервный вы...

— Это я-то нервный, я, убийца?

— Убийца?

— Восемнадцать человек — это я точно помню. И меня ни разу не мучали по ночам кошмары.

Женщина прикуривает, глубоко затягивается, чуть задерживает дыхание и медленно выпускает дым в потолок.

— Значит, предложение мне делает одно из тех чудовищ, о которых пишут в еженедельниках?

— Может быть, вас это огорчит, но чудовище — самый обыкновенный бывший солдат.

— А-а, так это вы о войне...

— Вы считаете, что если убивают на войне, это вполне естественно?

— На войне речь может идти лишь о законной обороне.

— Только в мирное время существует такое понятие, как превышение предела необходимой обороны — то есть любую оборону обязательно снабжают, так сказать, предохранительным клапаном. А на войне нападение — лучший вид обороны. То есть война — узаконенная цель превышения предела необходимой обороны.

— Я вовсе не намерена оправдывать войну.

— Почему? А вот я, например, не собираюсь выступать против войны. Хоть я и говорю: убийца, убийца, а ведь речь-то идет о сущем пустяке — всего каких-то восемнадцать человек. К счастью или несчастью, я был простым солдатом, да и стрелял плохо. Ну ладно, поглядите-ка в окно. В этой толпе прохожих полно летчиков, артиллеристов, которые действовали в прошлом весьма успешно. А если не они сами, то их братья или дети. У кого же из этих людей повернется язык осуждать меня?

— Ни у кого, естественно. Да и не должны осуждать.

— По той же причине и я их не осуждаю.

— Кажется, я понимаю. Вернее, начинаю понимать, почему вы так долго оставались одиноким.

— Я бы предпочел, чтобы вы поняли, почему я собираюсь расстаться с одинокой жизнью.

— Мне очень хочется понять, но...

— Я же говорю, что вы человек, который мне нужен.

— Я не настолько самоуверенна.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Мы с вами люди неприспособленные. Я прекрасно поняла, что вы легко ранимый, мягкий человек... И все-таки, почему я вам необходима — не объясните ли вы мне конкретнее и яснее... Вы согласны?.. Мы ведь встретились с вами, будучи людьми уже сформировавшимися...

— Вы правы. Можно объяснить вполне конкретно. Если бы мое решение было продиктовано минутным порывом, разве стал бы я прибегать к картотеке брачной конторы? Нет, мое решение вполне конкретно. Оно так же конкретно, как вот этот стол или эта пепельница.

— Благодарю, вы очень любезны... Но у меня угловатый подбородок — как у мужчины, некрасивые уши, а губы злые...

— Но зато вы прекрасно разбираетесь в воспитании детей — это, как я увидел, ваше призвание.

— Вы действительно похожи на большого ребенка.— Женщина весело смеется. По ее виду не скажешь, что она недовольна разговором, напоминающим блуждание в лабиринте.— Но между ребенком и взрослым, похожим на ребенка,— большая разница.

— Я говорю именно о детях. Разве вы лишены чувства долга перед детьми, которых надо спасти, вырвать из этого мира, превращающегося под тяжестью смога в нефтеносное поле?

Женщина, сползая вниз, еще выше поднимает сведенные вместе колени — поза несколько вызывающая.

— По-моему, у вас все задатки стать верующим. Я же в бога не верю и поэтому считаю, что детей, даже нежно любимых, нужно растить в естественных условиях. Да и педагогика отрицает воспитание в стерильной среде. Во всяком случае, поскольку речь идет о замужестве, я должна в первую очередь подумать о себе.

— Вы хотите сказать, что вас не волнует, если наши дети окажутся в самом очаге эпидемии, охватившей людей?..

— Наши дети?

— Разумеется, именно наши дети. Я не такой альтруист, чтобы делать вам предложение ради желания усыновить чужих детей.

— Раньше времени говорить об этом как-то странно...

Женщина чуть проглатывает конец фразы, что, правда, очень женственно. Может быть, так выражается ее смущение. Мужчина сразу же улавливает это и говорит решительно, хотя в тоне его проскальзывают нотки растерянности:

— Вы ошибаетесь. Я говорю о своих детях, уже существующих.

Лицо женщины сереет.

— Странно. Я внимательно прочла вашу карточку, в ней написано, что у вас нет детей.

— А-а, в карточке...— Мужчина облизывает губы и смотрит в пустую чашку.— Да, в карточке действительно...

— Вы написали неправду?

— Никакой особой неправды там нет...

— Вот как? Написать неправду, которая моментально обнаружится...

— Как бы это лучше сказать?... Речь идет не о таких детях... Не о таких, о которых следует писать в карточке...

— Тайный ребенок?

— Пожалуй, в некотором смысле...

— Наверно, внебрачный ребенок, которого вы пока не признали?

— Я же вам говорю, речь идет совсем не о таких детях, которых признают или не признают.

— Ничего не понимаю.

— В обычном смысле они на свете не живут и включить их в жизнь тоже невозможно...

Женщина, продолжая пристально смотреть на мужчину, чуть склоняет голову набок, лукаво улыбается, обнажая зубы, и кивает головой, будто своим мыслям:

— Все понятно... Если вы это имеете в виду, то мне все понятно.

— Что вам понятно?

— Просто вы их видели во сне.

— Да, возможно, и во сне. Но сон был наяву. Они дышат, двигают руками и ногами — сон наяву.

— Интересно, интересно вы рассказываете...

— Я вам уже говорил и повторяю снова: дети действительно живые. Реально существующие в биологическом смысле дети. Если вы мне не можете поверить хотя бы в этом...

— Где они живут?

— В моем доме, разумеется. В подвале моего дома. Я называю его подвалом, но там все оборудовано так, чтобы они не испытывали ни малейших неудобств... Это идеальное жилище, если отвлечься от того, что оно полностью изолировано от внешнего мира.

— Интересно... Ну, и дальше...

— То, что я рассказал, не пустая болтовня.

— Я вас слушаю вполне серьезно.

— Детей двое. Старшему тринадцать лет, младшему недавно исполнилось девять... Но меня вот что беспокоит — станете ли вы другом этих детей, существует ли такая возможность, пусть даже самая маленькая? Разрешите мне хотя бы надеяться на это.

— Что ж, если вы действительно этого хотите...

— Тогда позвольте мне задать вам еще один вопрос... Если бы в таком положении оказались вы... Нет, я напрасно это делаю. Вопрос, имеющий подобную посылку...

— У меня была тетя, дальняя, дальняя родственница, я, правда, не состояла с ней в кровном родстве — так вот, она держала кошек.

— Кошек?

— У нее было четыре поколения кошек — всего штук тридцать. И никто их никогда не видел.

— Вы ставите меня на одну доску со своей ненормальной тетей...

— Моя тетя вовсе не была ненормальной. Каждый день хозяин ближайшей рыбной лавки привозил ей еду для тридцати кошек. Кошки существовали на самом деле. И я ни разу в этом не усомнилась. Если кому-то это действительно необходимо, нет ничего проще, как поверить в существование тридцати кошек.

— Да, вы несомненно человек, который мне нужен. Все же задам вам вопрос. Какое небо вы бы хотели создать для наших детей? Вместо этого, затянутого смогом...

— Ослепительно голубое летнее небо морского побережья.

— Почему?

— Или, может быть, осеннее. Осень — изумительный сезон, когда уже не жарко, созревают фрукты...

— Это не реально.

— Вы так думаете?

— Детям придется жить лишь вдвоем на вымершем земном шаре. Им будет не до выбора сезона. Им нужна суровая закалка, чтобы они смогли выжить, противостоять любым невзгодам.

— И даже смогу?

— Нет, смог и человек взаимно исключают, взаимно уничтожают друг друга. Потому-то с самого начала — правда, тут были и экономические причины — я выбрал небо пустыни.

— Детям — пустыня, не слишком ли это жестоко?

— Но я сделал поблизости небольшой оазис. И что, вы думаете, произошло?

— Как что произошло?

— Дети, точно дикие животные, по одному запаху учуяли воду.

— Очень интересно. Вы мне не закажете чая?

— Может быть, попьем его у меня дома? Чая у меня сколько угодно. И кроме того, раньше чем вы примете окончательное решение, я думаю, хорошо бы вам встретиться с детьми...

— Когда я попаду в ваш дом, то тоже увижу небо пустыни?

— Нет. Теперь пустыню я уничтожил. Детей я поселил в джунглях третьего ледникового периода. И потому, что там бродят динозавры, от огромных до самых маленьких, и потому, что все живое превращается в уголь и нефть, этот период имеет очень много общего с современностью.

— В таком случае, не придут ли в конце концов ваши дети к тому же, к чему пришли мы? Ведь наши предки тоже прошли когда-то через ту же самую эпоху динозавров...

— Ошибаетесь. Моим детям не придется жить как первобытным детям. Мы обогащены знаниями и техникой. Кроме того, если вы окажете им помощь в учебе, процесс их прогрессирования, естественно, будет совсем иным, чем у первобытного человека.

— А как вы объясняете детям все, что касается современности?

— Для чего им рассказывать об этом?

— Но ведь полностью изолировать их от внешнего мира тоже невозможно. С улицы доносятся гудки автомобилей, в дверь стучат разносчики товаров...

— Подвал абсолютно звукоизолирован. Правда, однажды мне пришлось здорово поволноваться. Водопроводная труба, проложенная в железобетонной стене, неожиданно лопнула. И подвал стало затоплять. Пришлось детей запереть в сундуке и вызвать водопроводчика. Но дети, сквозь щель, все же увидели, как он работает. Я совсем растерялся. Как им объяснить, кто это?..

— Но они видят вас, и, значит, какое-то представление о людях у них должно быть. Вряд ли водопроводчик так уж сильно поразил их воображение.

— Нет, я им внушил, что, кроме нас троих, никаких других людей не существует.

— И для этого вам пришлось внести коррективы в историю, да?

— Детям я так объяснил. Слушайте внимательно. Тот, которого вы сейчас видели,— дракон-оборотень, появившийся в образе вашего отца...

— А-а, значит, вы все превратили в сказку?

— Да-да, совершенно верно. Потом я сказал им, что дракон может то появляться, то исчезать... Такое объяснение весьма удобно... Взять, например, пищу. Раньше я сталкивался с огромным неудобством — невозможностью использовать продукты, подвергшиеся какой-либо обработке. А с тех пор дракон-оборотень легко превращается во все, даже в сосиски или китайскую лапшу...

Женщина рассмеялась, вытянула ноги и уперлась руками в колени. Скованность исчезла, она снова обрела женственность. Поза ее стала свободной, спокойной.

— Пойдемте. Посмотрим, как там ваши дети... Руководить детьми, формировать их нужно не только во время учебы, но в какой-то мере и во время игр!..

— Кстати, вон те, что там, кем они вам представляются? Все еще людьми?

— Нет, драконами-оборотнями... Или, скорее, теми, из кого образуется нефть... А вокруг густо растут огромные кедры — первобытный лес каменноугольного периода...

Они поднимаются. Поднимаются одновременно, словно сговорившись. Но расплачивается один мужчина. В лифте женщина мысленно сравнивает плечи мужчины со своими, находящимися почти на одном уровне, потом заглядывает ему в лицо и тихо смеется.

Мужчина даже не улыбнулся в ответ, наоборот, прищурился и слегка придержал женщину за локоть. Оба снова выходят в смог. Даже их одежда сзади примята одинаково. Точно они уже десять лет прожили, опираясь на одну и ту же поддерживавшую их перекладину...

Четвертая остановка на электричке, а там совсем близко — несколько минут на такси. Обычно он ездит автобусом, но сегодня, естественно, можно позволить себе такую роскошь. Дом мужчины действительно существует. Это обычный крупноблочный дом в так называемой пригородной зоне, разбитой на аккуратные участки. Даже цветом крыши он не отличается от соседних строений. Крыша железная, зеленого цвета, той же краской выкрашены и водосточные трубы. Но женщина не видит сейчас ничего, кроме того, что это реальный дом. Ей вполне достаточно, что дом существует.

Мужчина и женщина снова сидят за столом и теперь пьют чай. Стол другой формы, чем в ресторане, но такой же шаткий, и женщина, скомкав пустую пачку от сигарет, подкладывает ее под одну из ножек.

— Что сейчас делают дети?

— Который час?..— Мужчина смотрит на ручные часы и слегка задумывается.— Сейчас они, вооружившись, охотятся.

Женщина рассмеялась и, откинувшись на спинку стула, поправила волосы. Потом вдруг, пораженная неуютностью комнаты, говорит:

— Вы действительно совсем, совсем одиноки.

Мужчина оценивающе смотрит на женщину — ее участие вызывает у него теплое чувство.

— Откровенно говоря, я бы не хотел снова возвращаться к картотеке брачной конторы. Дети, между прочим, очень ловко охотятся.

— Какая же сегодня добыча — большая, маленькая?

— Огромный динозавр — это определенно.

— А дракон-оборотень их не удивит?

— Я много рассказывал им о вас.

— Я тоже буду послушным ребенком.

Женщина поднимает чашку чаю на уровень глаз, будто хочет чокнуться, то же делает и мужчина, но в их движениях все еще чувствуется некоторая скованность. Может быть, оттого, что беззаботное веселье не соответствует их возрасту.

— Но мои дети ужасно впечатлительные и поэтому...

— Разумеется,— быстро соглашается женщина.— Сегодня я зашла на минутку... И уже собираюсь откланяться... Все должно идти своим чередом... Чтобы подготовиться к встрече со мной, детям потребуется время.

— Нет, давайте лучше спросим самих детей. Если они ответят, что времени им не потребуется, то нет нужды тянуть понапрасну.

— Да, конечно.— Женщина покраснела так, что на глаза навернулись слезы.— Ну что ж, спросите их. Если они проголодались, я могу приготовить еду.

— Нет, есть им еще рано.

— Что же я должна делать?..

Женщина покраснела еще сильнее, но мужчина, казалось, не обратил на это никакого внимания. И, наклонившись к чашке и громко прихлебывая, сказал:

— Ладно, спросим их сейчас же... Вот только допьем чай и спросим ..

И оба, точно птицы, уткнувшиеся в кормушку, сосредоточенно пьют чай.

Неожиданно мужчина встает, вытирая губы тыльной стороной ладони. Женщина, поднявшаяся за ним, явно растеряна. Мужчина идет впереди, вслед — женщина.

— Это кухня.

— Ага.

— Вот здесь ванная.

Открыв дверь, мужчина входит в ванную комнату, выложенную кафелем; женщина покорно следует за ним.

Войдя, она замирает. И не удивительно. В ванной часть кафеля на полу снята и круто вниз уходит грубо сколоченная деревянная лестница.

Женщина принужденно улыбается, надеясь на ответную улыбку ободрения. Но мужчина не улыбается. В самом деле, настоящая шутка производит большее впечатление, если при этом сохраняют серьезность.

— Зажгите свет и прикройте, пожалуйста, дверь.

Когда она прикрыла за собой дверь, то почувствовала, будто ей заложило уши. Нет, уши ей не заложило, просто сразу наступила гробовая тишина. Кромка двери обита толстым войлоком.

— Там внизу детская.

Женщину удержал, возможно, тон, каким это было сказано. Тон, каким мужчина произнес «Д е т с к а я»... Неуловимо загадочный, теплый и в то же время искренний и торжественный... Видимо, пока тревожиться нечего... Не исключено, что каждый дом имеет свою вот такую детскую. И она просто не в курсе дела — возможно, именно такой и должна быть настоящая детская.

Мужчина спускается до середины лестницы и естественно, без всяких колебаний, протягивает женщине руку.

— Осторожно голову.

В конце лестницы — еще одна дверь. Вся обитая войлоком, мохнатая, как шкура животного, толстая дверь. Массивный засов, мужчина отодвигает его и открывает дверь.

И сразу же бросаются в глаза мрачные зеленые волны... Колышущиеся темно-зеленые полосы света. Потом слышится шуршащий звук, точно по песку морского побережья тащат телеграфный столб.

— Джунгли каменноугольного периода,— слышит она шепот мужчины.— Может быть, этот звук издает ползущий динозавр?

— Какие огромные джунгли, а?

— Это только кажется, эффект достигнут с помощью полупрозрачных экранов и светотени. Поэтому к ним неприменимо понятие «огромный» в прямом смысле слова.

— Если присмотреться, видны даже кедры.

— А вон там есть и болото. Смотрите, на его поверхности поблескивает вода.

— И какая духота.

— Большая часть моих заработков ушла на эту комнату... Давайте пройдем сюда.

Неожиданно раздается вой какого-то зверя.

— Что это?

— Аргозавр. Один из видов хищных динозавров.

— Как же удалось...

— Магнитофонная лента. Звукозапись. Конечно, по правде говоря, никому не известно, каким голосом выл динозавр. Сейчас среди сохранившихся пресмыкающихся есть ящерица-крикунья, но ее крик не имеет ничего общего с ревом дикого зверя. Он похож, скорее, на лягушечье кваканье. Но педагогический эффект важнее правды. В кино и телевизоре голоса чудовищ соответствуют их размерам. То, что вы сейчас слышали, записано с телевизора... О-о, по этой дороге дальше не пройти. Она проецируется на стену... Идите сюда.

— Где же дети?

— Сейчас они выскочат откуда-нибудь. Привыкли нападать неожиданно.

— Ага...

Это произошло в тот момент, когда женщина кивнула. Ветви огромного кедра слева от нее, за которым ничего не было видно, неожиданно раздвинулись, показалось ярко-голубое небо и оттуда, просто непонятно, каким чудом они там удерживались, выглянули двое детей.

Один, видимо старший, целится в нее из лука. Другой, стоя рядом с ним на одном колене и жуя резинку, держит для брата наготове стрелы. Лица ужасно бледные... Или, лучше сказать, почти бесцветные, полупрозрачные... Головы кажутся какими-то мятыми — видимо, из-за неправильного ухода волосы у них свалялись, как вата.

Мужчина в растерянности кричит, но уже поздно — первая стрела вылетела из лука. Она задела шею женщины, инстинктивно отпрянувшей назад, и издала резкий свистящий звук — точно рассекли воздух хлыстом. Разрушительная сила, беспощадность чувствовались в звуке, который издала стрела, ударившись о железобетонную стену, и это совсем не вязалось с крохотным луком в руках мальчика.

Женщина, бежавшая сквозь полосы зеленого света, слышала крик мужчины:

— Нельзя, что вы делаете!

Тонкий скрипучий голос ответил ему:

— Дракон-оборотень.

— Да нет же, это мама. Она хочет научить вас счету.

— Неправда, дракон-оборотень.

Женщина захлопывает за собой мохнатую дверь, взбегает по лестнице, слыша, как рвется ее платье, выбирается из ванной и выскакивает из дому. Она замедляет бег, лишь оказавшись на улице. Теперь уж бесцветные мальчики не настигнут ее, да и гнало ее совсем иное чувство, чем чувство опасности или страха. По дороге на станцию ей попались три телефонных будки, но у нее и в мыслях не было останавливаться.

Электричка, в которой едет женщина, мчится в центр — над ним навис толстый слой смога. В вагоне много свободных мест, но она стоит, держась за поручень, и пристально смотрит в окно на пейзаж, несущийся мимо, как бесконечная лента газеты в ротационной машине. На фоне пейзажа в окне отражается ее лицо. Испуганное лицо с плотно сжатыми губами. Вдруг лицо в ужасе отшатывается. Это происходит в тот момент, когда над ним пробегают строения начальной школы. Было воскресенье, а может быть и праздник, и поэтому детей очень мало — они возились в углу школьного двора. Женщина устремляет взгляд к серому небу. Смотрит на потерявшее высоту скучное, невыразительное небо. И сердце женщины бьется как обычно. Она

еще крепче сжимает губы. Это единственное, что ей остается. Не нужно открывать рта, и тогда, может быть, и завтра ей удастся встретить утро, похожее на сегодняшнее. Даже если небо такое же ненастоящее, нарисованное, как в той детской.

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

УНО КОИТИРО

Бог китов

Случайно я увидел старое эмаки[1] — «Охота на кита». На картине — окровавленный исполин. Опутанный тройной сетью, он бьется в ней, пытаясь разбросать снующие вокруг красные, белые, черные лодки. Из его ран хлещет кровь. Сжимая кольцо вокруг разъяренного животного, рыбаки добивают его гарпунами. Один вскарабкался на голову кита и долбит его охотничьим ножом. Другой бессильно повис на сети. Он, видимо, мертв. Море бушует, как во время шторма. Чернеют днища перевернутых лодок. Над ними в испуге мечутся белые птицы.

И по цвету, и по композиции (художник следовал закону перспективы, заимствованному у европейцев) это эмаки несравненно уступало известным картинам, изображающим охоту на китов, хотя бы — Сиба Кокана. Но что-то поразило меня в нем. Пожалуй, кричащая диспропорция: рядом с огромным китом фигуры рыбаков и их лодки выглядят удивительно маленькими. Кит неправдоподобно, нарочито велик. О нет! Художнику не изменило чувство меры. Прочитав незамысловатый текст, я понял, что все это продумано. «Взгляните, как могуч этот кит!» — говорит художник.

— Дедовских времен? — спросил я у хозяина, старожила Нагасаки.

— Эта вещь досталась мне от приезжего художника. Он был так потрясен, услышав про бога китов, что написал эмаки, а уезжая, оставил его вместо платы за квартиру.

Бог китов! Сколько раз еще в детстве слышал я о нем!

И хозяин, не торопясь, припоминая подробности, поведал мне легенду, из которой и родился этот рассказ.

---

[1] Эмаки — картина-свиток с кратким пояснительным текстом.

В поселке Вадаура, на побережье провинции Хидзэн, жило несколько сот человек. Им невдомек было, что наступили новые времена, правление императора Мэйдзи [1]. Летом они ловили рыбу, зимой охотились на китов. Но в эту зиму им долго не было удачи. Наконец в сеть попала самка кита. Рыбаки, опасаясь упустить добычу, кидали в нее гарпун за гарпуном и уже готовились покончить с ней, как вдруг к натянутой сети подплыл еще один кит, огромный, точно остров. Такого исполина раньше в этих местах не видывали. Пуская фонтан, он резвился на волнах, пока не угодил головой в сеть. Спасаясь, он круто повернул в открытое море, увлекая за собой две лодки, между которыми была натянута сеть, и три лодки загонщиков.

Самка кита высвободилась, а кит-исполин, то ныряя, то вновь подымаясь на поверхность, мчался по морю три дня и две ночи, увлекая за собой в океан несчастных рыбаков. Две лодки пошли на дно, две перевернулись, и все люди в них погибли. На третий день рыбаки последней лодки решились наконец обрубить веревку, но домой, едва живые, они добрались лишь месяц спустя. С тех пор в гарпунера уцелевшей лодки вселился злой дух кита. Дрожа всем телом, он приговаривал, проклиная чудовище:

— Если бы не закон, запрещающий покидать Японию, я бы вцепился в хвост этого убийцы и доплыл с ним до самой Индии. Попадись он мне еще раз, не упущу! Вцеплюсь в хвост — и хоть в самый ад.

Он был старейшиной гарпунеров. И хотя ему шел шестой десяток, по мужеству и отчаянности ему не нашлось бы равных. Он никого не боялся — ни синтоистских богов, ни будд. Рыбаки Вадауры после восстания в Симабаре [2] обратились в католичество. Во времена Эдо [3] — время гнета — они не изменили своему богу. Этот же гарпунер не верил ни в Христа, которого почитали его предки, ни в гнев всевышнего.

Спустя три года кит-исполин вновь появился в прибрежных водах. Мужчины, не теряя времени, бросились в погоню. Но кит и не думал уклоняться от боя. Могучим ударом хвоста он расшвырял и разбил все лодки, и трупы несчастных еще долго носились по волнам, пока не подобрало их рыбачье судно.

По обычаю Вадауры, позором клеймят тех, кто обрубает веревку и упускает кита. По обычаю Вадауры, убийцу рыбака ждет кровная месть. Погиб отец, погиб сын, и бабка привела на берег маленького внука. Она не лила слез, а пропела песню мести и взяла клятву мести с внука. Оките-душегубе шла недобрая слава, и люди испытывали суеверный страх перед его чудовищной силой.

Этот кит не был похож на других китов своей породы. Его нос горбила большая белая шишка. Он был хитер, свиреп и огромен — в два раза больше самых больших своих сородичей. А потому в нем было в восемь раз больше жира. Жители Кисю, Тоса, Танго и рыбаки артели Масутоми прозвали его «богом китов». Была у него еще одна примета — струя его фонтана раздваивалась, и благодаря этому его узнавали издали. Завидев кита-исполина, рыбаки бросали лов и спешили домой, точно при приближении бури.

Рыжеволосый [4] проповедник, которого все называли патером, пользуясь тем, что в правление императора Мэйдзи был снят запрет с публичных проповедей, предостерегал:

— Не трогайте его! Это сам дьявол. Истинно говорю вам: тот, кто верует, не станет гоняться за этим китом. Охотиться за ним — только

[1] Правление Мэйдзи — период, соответствующий 1868—1912 гг.
[2] Восстание японских христиан (1637—1638).
[3] Эпоха Эдо соответствует 1603—1868 гг.
[4] Буквально: «красные волосы, синие глаза» — так в Японии называли европейцев.

напрасно губить людей и снасть. Человеку не под силу бороться с сатаной.

И тем не менее лодки Вадауры гонялись за богом китов — и не ради китового жира, но ради того, чтобы отомстить убийце, смыть свой позор и вернуть себе доброе имя и честь, без чего жители Вадауры не мыслили себе жизни. Внук, который, сжимая обломок гарпуна, слишком тяжелый для детских рук, дал клятву мести, через три года стал гарпунером. Он был молчалив и редко выражал вслух свои чувства, но встречи с китом он ждал с горячим нетерпением. И наконец желанный день настал. Молодой гарпунер и бог китов встретились в неспокойном зимнем море.

Поначалу все шло хорошо. Оглушенный грохотом палок загонщиков, кит сунул голову в сеть и вдруг застыл на волнах, точно мертвый. Он был весь изранен гарпунами, и казалось, ему пришел конец. Но это была уловка. Когда юноша с ножом за поясом осторожно подплыл и вскарабкался ему на спину, бог китов ринулся из вод залива в океан, таща за собой сеть и лодки. Целый час, истекая кровью, он мчался под водой, еще четыре часа буйствовал на поверхности, хотя почти все лодки уже были разбиты и тройная сеть разорвана. Двенадцать трупов выбросило море, среди них было и тело отважного юноши. Шестерых так и не нашли. Один гарпунер от пережитого страха потерял рассудок.

Три года спустя в погоню за богом китов отправился молодой человек по имени Сяки — младший брат погибшего. Его клятву мести приняла не бабка, которой уже не было в живых, а мать — кроткая, тихая женщина, встретившая смерть старшего сына без единой слезы. На берегу, где валялись обломки лодок, обрывки сетей, расщепленные рукоятки гарпунов, где по щекам хлестал ветер, она вложила обломок гарпуна в руку младшего сына и перед двенадцатью завернутыми в рогожу трупами пропела песню мести на привычный мотив погребальных причитаний, тут же придумывая слова. От гнева голос ее прерывался, но она упрямо допела до конца: «Кто там мчится, огромный, кутаясь в черные облака? Кто удирает, посеяв бурю, облизывая кровавые губы? Сын мой, торопись, догони его! Вцепись ногтями в его горло, разорви его утробу! А до тех пор в гнездо не возвращайся, и ждать тебя не будем до тех пор, пока родная мать не смоет слезы кровью убийцы».

Когда песня смолкла, началась пляска мести. У мужчин глаза налились кровью. Схватив обломки гарпунов, они били ими по песку, по соснам, по воде, носились с воплями, словно обезумев. Женщины с пеной у рта рвали на себе ветхую траурную одежду, кидались друг к другу, били кулаками. Некоторые падали без чувств на песок. Один из мужчин, сжавшись в комок, скатился в море. Наконец, обессилев, мужчины, потрясая обломками гарпунов, один за другим произнесли клятву мести. А те, кто сам не мог сразиться с китом, но хотел отплатить ему за родных — старики и женщины,— тащили рыбакам все самое дорогое, что у них было. И когда нищая старуха, которой нечего было дать, в исступлении закричала: «Я лягу с тем парнем, который прикончит бога китов!» — никто не засмеялся. Хозяин артели, пренебрегая законом, запрещающим носить мечи, явился на эту церемонию, опоясанный коротким и длинным мечом, как положено самураю. Выхватив длинный меч, он вонзил его в песок. Лицо его в лучах заходящего солнца казалось багровым.

— Слушайте все гарпунеры и моряки! — крикнул он хрипло.— Вы только что поклялись не пожалеть жизни, чтобы прикончить бога китов. Будь старик, которого вы видите перед собой, лет на пять помоложе, он отдал бы жизнь первым. Но в старости руки и ноги не пови-

нуются нам. А потому вместо жизни я предлагаю другое. Слушайте! У этого старика есть что отдать. Тому, кто продолбит переносицу у бога китов и проденет через нее веревку, я отдам свою единственную дочь Тое, в придачу — усадьбу, землю и наследственное имя самурая. Все отдам тому, кто убьет бога китов.

Эти решительные слова оборвали вопли скорби и гнева. Люди, пораженные, смолкли, и все невольно посмотрели в сторону матери погибшего гарпунера и ее восемнадцатилетнего сына, у которого бог китов погубил деда, отца и старшего брата, и все молча признали за ним право на месть. Недаром песню мести пропела его мать, а не другая женщина. Под их взглядами смуглолицый юноша вздрогнул: «Старик имеет в виду меня. Значит, мне выпадет честь выйти на поединок с богом китов, выйти и умереть. Потом умрут и те, кто поплывет за мной, и те, кто поплывет за ними. Наконец, кому-то повезет. Полуживой, он прикончит бога китов и станет зятем хозяина. Старик сказал это при всех, словно не замечая меня. Значит, мне выпала честь умереть. Что ж, если так...— Из груди юноши невольно вырвался стон.— Если так, я умру, но и бога китов прикончу. Тое, имя самурая — не это меня волнует. Я умру ради того, чтобы отомстить убийце деда, отца и старшего брата и спасти честь гарпунеров Вадауры».

Поднялся ветер. Холод пробирал до костей. Солнце, наполовину погрузившееся в море, отливало красным блеском. Жители поселка еще не вполне пришли в себя после недавнего исступления и теперь замерли, словно чего-то ожидая. Вдруг небрежным тоном заговорил невысокий, крепко сложенный мужчина, приехавший дней десять назад из Кисю. Оттопырив губы, что придавало насмешливое выражение его лицу, он спросил хозяина:

— Верно ли я вас понял? Вы говорили ведь не только о жителях поселка? Если чужой прикончит кита, хозяин исполнит свои обещания?

— Я не бросаю слов на ветер,— вспыхнул старик. Откинув седую голову, он почти закричал: — Пусть это будет самый дрянной человек, которого я и на порог бы не пустил, но если он одолеет бога китов, я отдам ему дочь и усадьбу.

— В таком случае,— продолжал человек из Кисю все тем же насмешливым голосом,— он может сделать с ними, что захочет?

— К чему глупые вопросы? Самурай не изменяет слову. Пусть наследственную усадьбу он проиграет в карты, а дочь продаст в проститутки! Тот, кто победит бога китов, может делать с ними что захочет. Ты понял? Или тебе хочется отведать моего гарпуна?

...Так началась открытая вражда между человеком из Кисю и младшим братом погибшего, которому принадлежало законное право на месть. Приезжий все свободное время проводил в кабаке. О нем рассказывали всякие истории — что он изнасиловал жену какого-то матроса, что в Тайдзиуре убил гарпуном человека и сбежал. Но никто так метко не кидал гарпун, как он, а в Вадауре гарпунеров ценили за их мастерство, и человеческие слабости им прощались.

Ну, а Сяки, у которого бог китов погубил деда, отца и старшего брата, за три года изучил это искусство и стал настоящим гарпунером. Хотя в меткости он и уступал человеку из Кисю, зато по выносливости и по силе броска никто в Вадауре не мог с ним сравниться.

На этом хозяин закончил свой рассказ. До ужина еще оставалось время, и, сунув ноги в гета, мы спустились на берег моря. На месте сараев, где прежде обрабатывали китовые туши, теперь построили детский сад. Когда взрослые уходят в море, сюда приводят ребятишек.

Песчаный берег лишь кое-где порос соснами. Мыс далеко вдается

в море. На конце мыса стоит маяк. Стекла маяка ослепительно горят, отражая угасающее солнце.

Любуясь красотой зеленого моря, я обдумывал только что услышанную историю, и у меня сложился рассказ о том, как один на один встретятся кит-великан и молодой смелый гарпунер, о его страшных муках и о том, как перед смертью он вообразит себя китом. Я еще не знал, какие возникнут у меня слова, но рассказ уже созрел в душе. Образ юноши Сяки преследовал меня так отчетливо, как будто я сейчас видел его перед собой. Рядом с Сяки возник мужчина средних лет, с дерзким загорелым лицом, с оттопыренными губами. Это, конечно, Кисю. Перед моими глазами ожили хозяин артели и все остальные. В лучах вечернего солнца через пятьдесят лет они туманными призраками вновь возвращались на берег моря. Садик, где рыбаки оставляли своих детей, опять превратился в сараи. Воображение дорисовало подробности, которых не было в легенде. И вот уже, взбивая золотистую пену, ко мне по волнам подплывает исполинский призрак бога китов!

Над морем стоит белесый утренний туман. Он ползет по коричневой полосе берега, которая дальше переходит в темно-зеленую полосу соснового леса. На песке лежат перевернутые вверх дном лодки. За изгородью тянется ряд длинных сараев, над которыми поднимается густой дым. Рыбаки накручивают сеть на огромную лебедку. В воде мокнет что-то черно-красное, похожее на гигантское веретено. Между сосновым лесом и крутым, обрывистым склоном горы протянулась неширокая равнина, где и разместились шестьдесят деревенских домиков. Тишина, никаких признаков жизни. Все с рассвета ушли разделывать китовую тушу. Те же, кто вчера наработался в море, еще не оправились после усталости и отсыпаются в своих бедных лачугах под пологом густого тумана.

У подножия горы стоит старый дом с пристройкой и узкой верандой. В доме всего две комнаты под низкой соломенной кровлей, которая почти касается головы. Здесь живет молодой гарпунер Сяки.

В тусклом свете, проникающем сквозь щели ставен, под тонким футоном[1] корчится тело крепкого худощавого парня. Он стонет, он пытается прогнать усталость, которая притаилась, кажется, в каждой мышце. Вчера, сражаясь с китом, он отдал все силы, и вот приближается полдень, а силы не возвращаются.

С тех пор как Сяки, вслед за отцом и старшим братом, стал гарпунером, он ежегодно получал от артели шестьдесят иен и девять коку[2] риса и не бедствовал. Но мать, скончавшаяся от сердечного приступа, любила повторять при жизни слова его отца: «Человек должен работать до тех пор, пока стоит на ногах». Вот и Сяки вчера охотился на кита, а сегодня пойдет разделывать тушу. Сестра ушла на берег еще спозаранку. В доме стоит мертвая тишина. Осенью сестра выходит замуж за школьного учителя Касукэ, и хочется купить ей что-нибудь к свадьбе.

Сяки еще бы полежал, но в комнату влетела курица и принялась, наклоняя голову и чувствуя себя как дома, расхаживать по татами. Он вскочил, чтобы прогнать ее. Раздвинув ставни, взглянул на угрюмое, серое небо и свинцовое, густое море. Ветер донес грохот барабана и пронзительный смех женщин. Ему почудился знакомый голос бедной девушки, подруги детства, и смуглые щеки вспыхнули румянцем. По-

[1] Футон — ватное одеяло или тюфяк.

[2] Коку — мера риса, весит около 150 кг.

шарив за пазухой, Сяки нащупал монету в пять иен, которую отложил из полученных вчера денег. Успокоившись, он пошел в соседнюю комнату, где на низеньком столике его ждал завтрак.

Большие приземистые сараи обнесены бамбуковой изгородью. Перед изгородью толпились мужчины и женщины из окрестных селений. Они шумели, громко смеялись, спорили о чем-то. Одни уже поставили на головы большие корзины, ожидая раздачи китового мяса, другие приготовили фуросики[1]. Поздоровавшись со сторожем, Сяки вошел во двор. У входа в сарай его обдало горячим паром.

Внутри на всем лежали красноватые отблески. Возле печей суетились раскрасневшиеся от жары молодые женщины. Сильные парни, обливаясь потом, тесаками разделывали тушу на большие куски прямо на полу. Под надзором скупщиков старшие члены артели складывали нарезанное мясо в корзины, взвешивали и выносили во двор.

У длинных столов стояли почти все женщины и старики поселка. Опуская ножи в такт барабанной дроби, они крошили на мелкие куски кожу и мясо. В огромных котлах клокотал жир. Несколько дюжих мужчин подбрасывали дрова и большими ковшами сливали ворвань в бочки. Их вспотевшие тела поблескивали. Ритмичный стук множества ножей по деревянным подставкам сотрясал стены. С ним сливался гул разговоров, смех, громкие голоса женщин, треск полыхающих печей. Воздух был пропитан запахом пота и горелого жира. Найти в этом шумном хаосе нужного человека было немыслимо.

Сяки так и не смог свыкнуться с этой грубой суматохой тризны. Каждый раз, когда он приходил, ему хотелось бежать прочь. И каждый раз он мысленно молил судьбу, хотя и знал, что его желание неосуществимо: «Пусть оставят в покое хотя бы бога китов! Я не вынесу, если его похороны будут похожи на эти. После того как месть свершится, мне хотелось бы тайком переправить его в северное море. Никто из наших — ни дед, ни отец, ни старший брат — не надругались бы над ним. Неужели, когда я убью бога китов, его выволокут на сушу и руки этих людей раскромсают его тело, растопят его жир, наделают безделушек из его костей? Неужели? Все же он бог!»

В калитку, кивнув сторожу, вошла красивая девушка. Все, кто стоял у ограды, проводили взглядом ее высокую стройную фигуру. Узнав Тое, дочь хозяина, молодой человек сдернул с головы повязку и низко поклонился. Остановившись напротив Сяки, она пристально посмотрела на него большими красивыми глазами. Такая у нее была привычка: пристально смотреть на собеседника. Под взглядом этой девушки, дочери единственного в поселке самурая, молодой человек совсем растерялся, и его охватило неодолимое желание убежать.

— Я бы хотела видеть отца,— сказала она с некоторым высокомерием.— Вы не знаете, он здесь?

Сяки пробормотал что-то невнятное и опомнился, лишь когда оказался за изгородью. Девушка, понимая, что все на нее смотрят, грациозной походкой вошла в главное помещение. Эта гордая, красивая дочь самурая не зналась со своими сверстницами. Когда однажды девушки пришли к ней за пожертвованиями, она их не пригласила войти в дом. Но жители поселка считали ее поведение естественным и не осуждали Тое.

Сяки, отдышавшись, не спеша шел по бедному поселку. Крыши низко нависали над стенами припавших к земле домиков, и южное солнце, которое ярко освещало поселок даже сквозь облака, внутрь домов не проникало. Там всегда царил полумрак. Обычно хозяйки

[1] Фуросики — цветной платок, используемый японцами вместо хозяйственной сумки.

этих домиков смотрят из сумрака на улицу, и в полутьме блестят их глаза, но сегодня поселок пуст, все работают на разделке туши.

Сяки поднялся по ступенькам, высеченным в горе, на самую вершину. Залитая солнцем деревня, песчаный берег и белая лента пены у края воды — все это казалось теперь таким крошечным, что могло уместиться на ладони. А дальше сверкало пронизанное светом море. Далеко в море вдавался коричневый мыс, окутанный белой дымкой.

На вершине шелестела истомленная зноем роща. В ее глубине прятался древний, потемневший от времени, синтоистский храм. Тишину храма нарушили звонкие хлопки в ладоши. Сяки поклонился сначала трем морским божествам: богу дна, богу середины, богу поверхности моря, потом скромной статуе девы Марии с младенцем Христом на руках. Благоговейно склонив голову, молодой человек произнес свою молитву: «Вчера в море ты помог мне одолеть огромного кита, и я очень тебе благодарен. Скоро три года, как бог китов погубил моего старшего брата. Помоги мне сразить его гарпуном. Ради этого не пожалею жизни. Только сделай так, чтобы со мной не погибли другие — пусть они вернутся живыми. У них ведь жены и ребятишки, не то что у меня. Сестра в этом году выходит замуж за учителя Касукэ. Окажи милость, пусть все у них будет хорошо. Пошли им славных ребятишек. А еще — пусть деревенские старики поживут в свое удовольствие последние годы, пока не придет их час. Прошу тебя, даруй им все это...»

Пахло мхом и прелыми листьями. Все было объято покоем. Сквозь листву над головой тихо светило солнце. Чуть доносился шум прибоя и голоса птиц.

«Может быть, в этом году все-таки исполнится мое желание. Я настигну бога китов, даже если придется расстаться с этим миром». Но представить себе реально он этого не мог, и потому в его душе не было страха. Исполненный умиротворения, Сяки вышел из храма. Вдыхая полной грудью горный воздух, он начал не спеша спускаться по тропе.

Молиться в храме после удачной охоты и посещать могилы предков на другом склоне горы — таков обычай китобоев Вадауры. Сам живи в жалкой лачуге, но на могилы денег не жалей — требует еще один их обычай. На кладбище рядами тянутся надгробия из белого камня. Их отполированные грани мягко сияют в лучах солнца. Дальний конец кладбища превратился в причудливый волнорез. Набрав силу в море, волны с шумом набегают там на берег, взметая великолепную пелену из брызг. Особенно красиво это в ветреную погоду. Могилы деда, отца и старшего брата Сяки обложены большими отшлифованными белыми камнями. Такими камнями обычно облицовывают могилы тех, кто нашел смерть в битве с китами.

На большом камне неумелой рукой наискосок нарисован плывущий кит. Рядом — одинокий убогий крест. Опустившись на колени, Сяки повторил у могилы предков молитву, которую произнес перед этим в храме.

Помолившись, он неторопливо пошел между могилами. Теплые лучи солнца ласково грели плечи и затылок, и Сяки с облегчением чувствовал, как исчезает притаившаяся в каждой мышце усталость.

На кладбище были могилы и без надгробий — просто четырехугольные ямы, выложенные гранитом. Возле одной из них Сяки вдруг остановился. Ему показалось, что там кто-то есть. Затаив дыхание, он посмотрел вниз. В яме, на гладких камнях, скорчившись лежала девушка. Сяки спрыгнул к ней.

— Эй! — закричал он, пытаясь поднять ее.— Тебе плохо? Отнести тебя домой? Вставай же!

Но смуглая, бедно одетая рыбачка не пошевелилась и только покачала головой. Нетрудно было заметить, как судорожно сжимается от боли ее тело. На синевато-белом лбу блестели капельки пота. Сквозь стиснутые зубы вырывался протяжный стон и, как вода, растекался по камням.

— Позвать священника? Я был на разделке, думал, ты там. Мне и в голову не пришло бы искать тебя здесь. Ну, так сбегать за священником?

Наморщив блестящий от пота лоб, Эй с трудом улыбнулась:

— Мне священник не нужен. Мне никто не нужен.

Сяки не знал, что делать. У его ног под горячими солнечными лучами лежала девушка и, хватаясь за сухую траву в трещинах между камнями, мучилась от боли, а в глазах ее светилась удивительная мягкость. Вздохнув, он перевел взгляд на ряды сверкавших белизной надгробий, на скалистый коричневый мыс за ними и на дышащее теплой истомой море.

— Я...— ее голос звучал еле слышно,— у меня ребенок.

— Ребенок?

От волнения Сяки умолк, а когда заговорил снова, в его голосе слышалось благоговение:

— Чем я могу помочь? Я все сделаю.

— Тяжко! — пробормотала она.

И Сяки удивился той нежной слабости, которая звучала в тоне этой привыкшей к невзгодам, суровой, несмотря на свою юность, женщины. Он растерянно смотрел на ее бледное лицо.

— Пойдите домой, принесите горячей воды. Только никому ни слова.

— Я мигом!

Скинув дзори [1], Сяки выскочил из могилы.

Сестра еще не вернулась. Он быстро согрел воду, достал из шкафа кусок белой материи, приготовленной для следующей охоты, и, шагая как можно осторожнее, чтобы не пролить воду, вернулся к могиле.

Эй лежала в той же позе, на каменном дне, глядя ясными глазами в небо. Сяки поставил ведро с горячей водой у ее колен и рассеянно прислушивался к смеху и брани, доносившимся из сараев.

Из-под края кимоно тянулась струйка крови. Она мягко, словно нитка, ползла по расщелине большого камня. В палящих лучах солнца кровь быстро запекалась и теряла естественный блеск. Молодой человек, сбросив хаори,[2] накрыл им Эй и сжал крепкими пальцами ее дрожащую руку.

— Прости меня,— прошептала она еле слышно.

Жалкий домишко ютился у подножия нависшего над морем утеса. О том, что в нем кто-то живет, можно было догадаться лишь по свету в щелях двери, сколоченной из старых досок. Ветер с моря свирепо бил в затылок. После некоторого колебания Сяки постучал. Закутанная в лохмотья старуха встретила его подозрительным взглядом. Эй, сидевшая в углу, посмотрела на него, но тут же отвела глаза, словно его тут и не было.

В каморке хоть шаром покати: деревянная бадья да три старых ящика. В одном из них Сяки увидел младенца, который спал тревожным сном. Не говоря ни слова, он сел рядом с девушкой, придвинул к себе бадью, полную ракушек, и, вытаскивая их из воды, начал ловко

[1] Дзори — сандалии, сплетенные из соломы или бамбука.

[2] Хаори — накидка.

отделять ножом мясо от раковин. Протаскивая нить левой рукой, он мгновенно протыкал иглой дрожащее тельце моллюска.

Старуха, повернувшись лицом к стене, а к молодому человеку спиной, вила из соломы веревки для сетей по заказу артели. Весь дом — одна комната. Дверь пронзительно скрипела под ударами ветра, а когда он стихал, было слышно, как потрескивал фитиль в лампе. Ловкие, гибкие, словно китовый ус, руки молодого человека проворно делали свое дело. Уже семь или восемь нитей, с нанизанной на них наживкой, уложены в ведро. Прервав работу, девушка подняла глаза.

— Зачем вы это? — спросила она глухо и тут же перевела взгляд в дальний угол комнаты.— Зачем вы всем говорите, что это ваш ребенок? Вы ведь со мной ни разу не спали. Хотите принести себя в жертву?

— При чем здесь жертва? — ответил Сяки, продолжая проворно работать.

— Как же вы женитесь на Тое, если будете говорить, что это ваш ребенок?

— Тое или не Тое — какое дело,— буркнул он и осторожно начал скручивать нить с наживкой.

Эй помолчала, только глаза ее сверкнули.

— Значит, вы раздумали мстить богу китов?

— Бога китов я убью, не об этом речь,— ответил он раздраженно и, нечаянно уколов палец, прищелкнул языком.— Бога китов я убью! А Тое, усадьба, имя — все это одна морока.

Эй наклонила голову и взяла новую нить. Но игла в ее пальцах двигалась медленно. По всему было видно, что ее мучает еще что-то. Вдруг снова подняв голову, она вызывающе взглянула на Сяки.

— Вы в самом деле не хотите знать, чей это ребенок?

— Чей бы ни был. Я не собираюсь спрашивать тебя об этом,— недовольно ответил Сяки. Закончив еще одну нить, он зачерпнул воды из бадьи и ополоснул руки.

Сидевшая к ним спиной старуха поднялась и, недовольно ворча, поплелась в угол, где лежал ворох соломы. Взяв циновку, она начала заворачиваться в нее и заворачивалась до тех пор, пока совсем не исчезла. Эй вымыла руки и лицо, прополоскала рот, расчесала волосы и застелила единственный футон.

Молодой человек пришел к ночи в домишко Эй для того, чтобы его признали отцом ребенка. Но в этом доме не было ни моти[1], ни сакэ — ничего, что полагается в тех случаях, когда муж впервые приходит к молодой жене. Сяки вдруг подумал о ребенке: горько же начинается жизнь человека!

Эй положила на футон две подушки, развязала оби и осталась в нижнем белье. Потом привернула лампу и легла. Сбросив одежду, молодой человек лег рядом.

Он начал целовать ее, ласкать, гладить ноги, но Эй оставалась холодной как лед. Первая близость не разбудила чувств. Он лежал молча. Каждый думал о своем.

— Как мне противны благодеяния! — вдруг гневно сказала Эй.— Я не люблю этого ребенка и не хочу, чтобы меня из-за него жалели.

— Какие благодеяния? — перебил ее Сяки.

— Я не хотела его!— Она вздрогнула.— Меня взяли силой. Мне все опостылело. Чего я только не делала, чтобы избавиться от него! В мороз купалась в море, била себя по животу камнями, прыгала с утеса... где уж тут любить его!

— В ребенке нет греха. И какая разница, от кого он? — попытался

[1] Моти — рисовая лепешка.

успокоить ее Сяки и, немного помолчав, добавил: — Пусть он не мой, но дай мне отомстить за него, как за родного.

— Ты! — Ее голос дрожал.— Если ты любишь меня, ты и отец.

— Я любил тебя еще мальчишкой. Потому и гулял всегда с тобой, потому и теперь говорю: мне все равно, раз люблю тебя.

— Ты! — Она вдруг начала трясти его тяжелое тело.— Нет, я поняла. Я все поняла. Ты решил умереть, а раз все равно умирать, то можно и прикрыть мой позор: выдать ребенка за своего. Ты,— простонала она, впившись ногтями в его мускулистую спину,— умрешь один? И тебе не горько умирать одному? Одному, не оставив своего ребенка?

— Что делать? — ответил он, чуть не плача.— Если встанешь на этот путь, надо идти до конца.

— Нет, не хочу! — прошептала она и в сильном возбуждении прижалась к нему.— Не хочу без тебя! Будем вместе. Потерять теперь! Нет, нет, не хочу!

Ее волнение передалось ему. Он начал снова обнимать ее. Она отвечала как безумная. Их молодые упругие тела стали влажными от пота. Скапливаясь озерцами в углублениях, пот струился на постель. Сознание, отстукивая шаги, удалялось. Молодой человек ощущал на своем лице ее слезы. Острым, почти звериным инстинктом он почувствовал, что на улице идет снег.

Луны не было. Зато мириады звезд роняли свой свет на причал и серебрили море. На воде, тихо покачиваясь, чернели рыбачьи лодки. На вершинах мачт, спящих в ночном небе, на палубах, на привязанных лодках драгоценными камнями горели красные блики искусственного света. От Вадауры до порта через гору — полдня пути. Лодок и людей здесь куда больше, чем в поселке. Но вечером все мужчины уходят в город повеселиться, и порт пустеет.

Сяки, напрягая зрение, разглядел в темноте сидящего на корточках старика.

— Здравствуй, дед! Я Сяки из Вадауры. Помнишь? Ты со мной играл, когда я был маленьким.

Груда лохмотьев качнулась сначала в одну, потом в другую сторону. В свете звезд глаза старика белели, как два гнойника. Он не узнавал молодого человека.

— Не помнишь? Ну да, ведь прошло уже лет десять, как ты ушел от нас, где тут помнить! Я слышал, что ты перебрался сюда, только не думал тебя встретить. Как живешь? Не нужно ли чего?

Губы нищего зашевелились.

— Сяки? — пробормотал он и, помолчав, повторил: — Сяки? Нет, кто бы меня ни уговаривал, в Вадауру я не вернусь. И не думайте. В это страшное место — ни за что. Лучше жить здесь нищим. И рыбки, пусть гнилой, всегда достанется, и остатками теплого сакэ угостят. Нет, в Вадауру я не вернусь!

Молодому человеку стало не по себе. В ночном небе, как диковинные изваяния, рисовались высокие мачты.

— Не бойся. Никто тебя не тронет. А я, знаешь, женился. У меня ребенок. Вот и пришел купить мягкого полотна, ниток и красной материи для младенца. И не думал встретить тебя. Не бойся, старик! Никто тебя насильно не отведет назад.

— Он страшный! Как вспомню, ужас берет. Этот дьявол тащил меня три дня и три ночи, меня и твоего отца! Сколько погубил людей! А парни Вадауры, я слышал, все еще думают поймать его. Вот говорят, что я сумасшедший, а по-моему, так сумасшедшие эти парни из Вадауры. Полоумные, одно слово.

— Да, дед, двадцать лет прошло. А ты и в лодку, верно, не садишься? Так чего же тебе бояться? Ну, а бог китов — моя забота.

Старик, которого с отцом Сяки три дня и три ночи тащил бог китов и у которого тогда от страха помутился разум, вдруг широко раскрыл глаза. Молодому человеку показалось, что к старику вернулось сознание.

— Не гоняйтесь вы за ним! Все равно толку не будет. Сколько ни гоняйтесь, ничего не добьетесь. И что вы раздобудете? Жир. А потеряете — единственную жизнь. Только живой ты можешь любить жену, ласкать ребенка. Понимаешь, живой! Для человека самое важное — это свое собственное счастье. Я сейчас хоть и нищий, а куда счастливее, чем когда был в Вадауре. Оставили бы меня в покое, так я вовсе был бы доволен. Это вам все чего-то надо. Вот не пришел бы ты, я бы не вспоминал про этот ужас и ничего бы такого не говорил.

— Да, дед, и я люблю жену, люблю ребенка,— искренне сказал молодой человек, но тут же вспомнил, что перед ним сумасшедший, и замолчал. Его душу переполняли сложные чувства. И вдруг он все-таки начал горячо излагать полуслепому старику невеселые мысли, неотвязно преследовавшие его последние дни.— Да, старик, и я боюсь, и мне не хочется умирать. Вот потому и говорю сейчас с тобой. Ты думаешь, не дорога мне жизнь? Верь не верь, а я не хочу умирать. Но что делать? И мне бы любить жену, ласкать ребенка, растить своего малыша. Сестра выходит замуж за Касукэ. Осенью свадьба, а бог китов приплывет весной. И это ужасно, старик! Поверь, мне не хочется умирать.

Но старик уже не слушал юношу. Он достал из мешка, привязанного к поясу, засохшую вяленую рыбку и начал деловито обсасывать ее беззубым ртом. От этого равнодушного причмокивания молодой человек почувствовал себя до ужаса одиноким, но продолжал говорить:

— Помнишь любимые слова моей матери: «Лишь бы человек жил до самой смерти»? Помнишь, дед? «До самой смерти».

Занятый рыбой, старик совсем не слушал юношу, и Сяки повторил еще раз, словно убеждая самого себя:

— «Лишь бы человек жил до самой смерти». Как думаешь, дед, что это значит? Я вот все ломал голову над этими словами и, кажется, понял. Если человек сумел хорошо умереть, значит, и прожил хорошо. Для того чтобы достойно прожить, нужно достойно умереть. Когда я так думаю, у меня и решимость появляется. Но послушал тебя, старик, и мне стало страшно. Не знаю, дед, где тут правда.

Ветер доносил из городского ресторана звуки сямисена [1] и песни моряков. Лодки тихо покачивались в ночном море. Старик, наклоняясь все ниже, уронил голову на колени и начал мирно похрапывать, а молодой человек, глубоко вздохнув, вскинул покупки на плечо, высыпал оставшиеся деньги в мешок старику и зашагал к городу.

Ветер стих. Море окрасил неистовый блеск закатного солнца. На кладбище собрались жители поселка. Эй в нарядном платье, с неестественно красными щеками держала на руках ребенка. Рыжеволосый парень, окропив лоб младенца, произнес:

— Во имя отца, и сына, и святого духа... Расти большим, будь истинным христианином и смелым отважным китобоем, как твой отец.

— Аминь,— пронеслось по рядам, и люди торопливо перекрести-

[1] Сямисен — трехструнный щипковый инструмент.

лись. Только хозяин, в праздничном кимоно с фамильным гербом, перекрестился не спеша, с надменно безразличным видом. Тое стояла бледная и, глядя на море, перебирала дорогие четки, каких не было ни у одной девушки в поселке. Глаза Эй, прижимавшей к груди ребенка, сверкали как в лихорадке, она с торжеством смотрела вокруг.

Листая потрескавшимися пальцами Библию, патер искал подходящее место, которое он смог бы прочитать будущему гарпунеру. Откашлявшись, он не спеша поднял руку и начал, как вдруг со стороны поселка донесся истошный крик. Все разом обернулись и увидели черную фигуру, опрометью сбегавшую со сверкающего на солнце песчаного холма.

— Телеграмма! — расслышали они наконец, когда посыльный подбежал достаточно близко.— Пришла телеграмма на имя хозяина от китобоев Сэдодзакиура, из Тесю.

Бронзовый от загара моряк, энергично работая локтями, пробился сквозь толпу и протянул хозяину крепко зажатый в руке листок бумаги. Мужчины и женщины с интересом столпились вокруг. Сорвав печать, старик пробежал телеграмму глазами и с дрожью в голосе закричал:

— Слушайте! Сегодня утром бог китов появился в водах Сэдодзакиура. Они испугались и не послали погоню. Но наблюдатели видели двойной фонтан... Значит, это он. Завтра, как и три года назад, бог китов проплывет мимо наших мест. Что ж, не будем терять времени! В январе мы поймали кита, новых сетей нет. Все, кроме гарпунеров, быстро в поселок. Звоните в колокола. К рассвету вывести лодки загонщиков. Всем поселком за ночь приготовить сеть. Живее!

— Подождите! — попытался остановить их не на шутку встревоженный патер, но уже некому было слушать его увещевания. Мужчины и женщины, заткнув полы кимоно за пояс, в мгновение ока взобрались на холм и скрылись из виду. Патер, спрятав Библию за пазуху, недовольно ворча, последовал за ними.

Сяки огляделся. На кладбище остались только он и неизвестно откуда появившийся Кисю.

Подергивая плечами, будто его разбирал смех, Кисю заговорил первый:

— Ты правильно сделал, что отказался от Тое.

— Но от бога китов я не откажусь! — запальчиво бросил ему Сяки.

Насмешливо сощурив глаза, Кисю пристально взглянул на него с загадочным видом.

— Отчего же? Женившись на Эй, ты уже отказался от Тое, а значит, и от имени, и от усадьбы. Какая же тебе польза идти на смерть из-за бога китов? Только пропадешь зазря.

— Тебе не понять.

— Хороший ты парень! — покровительственно сказал Кисю. Теперь он был исполнен самоуверенного спокойствия, как и подобает сорокалетнему мужчине.— Зачем тебе напрасно гибнуть? Ведь ты теперь отец. Подумал бы о младенце. Я же тебе дурного не желаю. Будем говорить прямо: уступи мне завтра бога китов.

— Не болтай.— Сяки охватывала нарастающая ярость. Он весь дрожал. Этот чужак идет против дедовских обычаев. Весь поселок признал за ним право на бога китов, который погубил его деда, отца и старшего брата.

— Нет, он мой! — неожиданно для самого себя твердо произнес Сяки.— А раз тебе так хочется расправиться с ним, так сделай это после моей смерти, если только и бог китов не будет уже мертв. Но ведь ты можешь и мертвого...

Кисю схватил прислоненный к могиле шест от фонаря и, напрягая все мышцы своего легкого тела, встал в позу метателя гарпуна. Холодная усмешка исчезла с его лица. Держа шест чуть наклонно, он произнес:

— По правде говоря, ты не справишься! Бог китов не всякому по зубам. С ним может тягаться лишь тот, кто сумел убить своим гарпуном человека. Иначе — сдохнешь без толку, и все тут. Мне в общем-то все равно, останешься ты жив или умрешь, но раз у тебя нет видов на Тое, так о чем же спорить? Уступи мне — и дело с концом.

От наглого тона Кисю у молодого человека потемнело в глазах.

— Хватит болтать! — закричал он в бешенстве.— Никто в Вадауре не имеет права на бога китов, кроме меня. А умру я или буду жить, не твоя забота.

— Что ж,— пробурчал Кисю и почти дружелюбно добавил: — Не поспишь ли ты, пока кит проплывет? Тогда и спорить не о чем.

Бамбуковый шест, свистнув, пролетел между ног Сяки. Он с трудом сохранил равновесие. Слепая злоба подбросила его, и, сжавшись, Сяки прыгнул на соперника. Кисю получил удар в челюсть, от которого искры полетели из глаз. Но он ответил ударом в живот, дав почувствовать всю силу своего железного кулака. Нестерпимая боль судорогой свела тело юноши. Падая, он ткнул Кисю своими длинными ногами. Тот упал на гранитную плиту, а Сяки, оказавшись сверху, начал топтать его, будто что-то его подхлестывало. Получив новый удар, на этот раз ногой, Сяки свалился. Они снова сцепились. Кисю схватил Сяки за волосы и принялся бить головой о камни. Задыхаясь, Сяки все же вывернулся и, боднув противника, опять сбил его на землю. С трудом держась на ногах, они продолжали драться. Наконец, после пинка Кисю оба опять свалились и покатились по земле. Их лица, кулаки и могильные плиты вокруг — все было в крови. Оба настолько обессилели, что перестали даже закрываться от ударов и лишь машинально двигали руками. Это начинало становиться смешным. Наконец, тяжело дыша, они в последний раз повалились на землю. В бледных отблесках догорающего заката тускло поблескивали могильные плиты, в небе мерцали ясные звезды.

— Вот черт упрямый! — проворчал Кисю.— Ты же знаешь, что я преступник: убил своим гарпуном человека. И ссора была из-за ерунды. С тех пор и идет обо мне дурная слава. Только у меня ведь — ни родителей, ни братьев, а потому мне на все наплевать. Вот теперь надумал потягаться с богом китов. Тое, усадьба, имя — тут стоит постараться. С гордячкой разделаюсь быстро — позабавлюсь, пока не надоест, и продам в проститутки. Усадьбу спущу в игорном доме. Так, на что они мне? Честно говоря, в Вадауре только я могу справиться с богом китов. Теми гарпунами, что у вас, бога китов не проймешь. А уж тебе-то и вообще рассчитывать не на что. Бог китов с тобой шутя расправится, если выйдешь с ним один на один. Так ты, значит, дашь ему разделаться с тобой? Ну, ладно, завтра в море все будет ясно.

Сяки лежал неподвижно. Синее небо над могилами из свинцового на востоке постепенно становилось пурпурно-красным и золотым на западе. Он с наслаждением ощущал, как морской ветер поглаживает разгоряченное тело.

Издалека доносились песни женщин, вязавших сеть для завтрашней охоты. В воздухе пахло сеном и молоком. Сладкая истома разлилась по телу. «Этот запах напоминает о встрече с богом китов»,— подумал Сяки, и тоска сдавила ему сердце. Настало время сразиться с исполином. Он ждал его три года. «Лишь бы человек жил до самой смерти»,— вспомнил Сяки слова матери.— Разве возвыситься в смер-

ти не значит возвыситься в жизни? Все-таки кто же завтра: я или он? Скорее, мне конец».

Из-за вершины горы, сама освещая свой путь, с диким свистом вылетела ракета. И сразу в сторожевых будках отчаянно забили в колокола. В небе еще виднелись звезды, но уже светало. Молодой человек — на нем была новая набедренная повязка и фиолетовая куртка китобоя — мигом вскочил. Сестра с опухшими веками (она всю ночь не смыкала глаз) придвинула столик, на котором стояла прощальная чашечка воды [1].

— Живите с Касукэ дружно. Нарожай ему хороших детей,— спокойно сказал Сяки своей молчаливой сестре. «Ну, будьте счастливы!» — хотел он добавить, но не решился. На фотографии широко улыбалось материнское лицо привычной щербатой улыбкой. Вот такто! «Лишь бы человек жил до самой смерти»,— мысленно повторил Сяки и, закрыв глаза, поклонился будде.— Пусть бы мать все увидела». Потом мельком взглянул на Эй с ребенком, засунул нож за пояс и побежал на берег. Его помощник бежал впереди с двумя гарпунами. Тяжело дыша, они прыгнули в лодку, уже спущенную на воду, и заняли свои места на носу. Почти в тот же миг темноту прорезала барабанная дробь. Девять лодок, выплеснув в волны сакэ[2], устремились в море. Восемь гребцов, по четыре с каждой стороны, налегали на весла. В лодке Сяки вместо старейшины, который обычно сопровождал их, сидел вооруженный до зубов, одетый в великолепную куртку хозяин.

— Ну, сегодня все решится,— сказал он.— Я сам буду командовать.

Девять лодок, развернувшись веером, устремились в открытое море. Стоял густой туман, и о том, где находятся соседи, можно было догадаться только по тусклому пятну света от фонаря на носу, по плеску весел и по предупреждающим об опасности крикам. Вскоре туман начал рассеиваться. На горизонте появилась золотая полоса. Небо окрасилось во все цвета радуги. Лодки отошли уже так далеко, что почти исчезли из виду. Теперь они двигались цепочкой, наискось от берега.

Солнце, наконец, взошло, и все засверкало мелкими блестками. В ясное небо взвилась вторая ракета. С лодок успели заметить ее еле видную вспышку. Хозяин взял в руки флажки и начал сигналить. Девять лодок, разрезая волны, вновь рванулись в открытое море. Прошло довольно много времени, но вот совсем близко взметнулся двойной фонтан, а вскоре показалось и само чудовище. Людям почудилось, будто перед ними из океана внезапно возник черный плавучий остров. За ним горной грядой тянулась белая пена. Вершины пенных гор, непрерывно обрушиваясь, искрились в золоте лучей. Черная спина то мелькала, то исчезала в пене и, казалось, не имела конца.

Сяки всем существом почувствовал, как по лодке пробежал озноб. Даже самые храбрые, представив себе бога китов в ярости, оробели и замерли. В бурунах пены блеснул и исчез хвост, такой длинный, что казалось, он задел синеву небес. Вслед за хвостом пропала пена.

— Ушел! — процедил сквозь зубы хозяин и потряс кулаком.

Прошел час, долгий, как вечность. Внезапно тишину нарушили слетевшиеся откуда-то птицы. На воде появилась рябь и вслед за нею— черная тень неимоверной длины. Наконец, сквозь толщу воды стала

[1] Традиционный обычай — перед трудным походом выпивают чашечку воды ради удачного возвращения.

[2] По обычаю, моряки выливали в море немного сакэ для удачи.

вырисовываться огромная крепостная стена. Она, как призрак, то становилась явной, то расплывалась в ничто. Побледневший хозяин, сжимая в руках палку, застучал по борту лодки.

Кит медленно удалялся. Вслед за ним, развернувшись веером, двигались девять лодок. Чудовище чернело под водой, как риф. Сквозь зеленоватую воду просвечивала его спина, но понять, где голова, а где хвост, было невозможно.

Оправившись от парализующего страха, хозяин начал отдавать распоряжения, и люди в девяти лодках тоже очнулись. Они отчаянно застучали палками по бортам — черным, красным и белым. Огромная тень под зеленоватой водой повернула туда, где не было шума. Уходя от дуги грохота, кит двигался к берегу. Вслед за ним, издавая зловещие крики, летела стая птиц. Хозяин внимательно следил за движением хвоста и, подавая флажками сигналы то правой, то левой рукой, потихоньку поджимал кита к берегу, вернее, к тому месту, где была расставлена сеть. Наступил и прошел полдень. Бог китов и лодки загонщиков медленно двигались вперед.

Море дышало покоем и безмятежностью, и таким диссонансом ему был весь этот грохот палок, плеск весел, крики птиц и вопли загонщиков. Сяки невольно восхищался спокойствием исполина, не отдавая себе отчета в том, что уже несколько часов назад между ними началась смертельная схватка. Когда истек «час лошади» [1], старик резким движением скрестил флажки над головой. Напряжение в лодках достигло предела. Палки загонщиков били теперь дробно и часто. Дуга стала круче, начала замыкаться в кольцо. Кит поплыл быстрее. Подгоняемый дикими воплями, он сунул голову в сеть и только теперь, видимо, понял, что его преследуют. С сетью на голове он начал нырять, кружиться под водой и, наконец, стремительно поплыл в открытое море.

— Проклятье! Налегай на весла! Кончай его! — кричали гарпунеры на гребцов. Рыбаки попробовали преградить ему путь. Но кит, который до сих пор плыл не спеша, теперь мчался с бешеной скоростью. Расшвыривая пену, он пронесся между лодками и, задев одну из них, разбил ее в щепки. Казалось, ему удалось ускользнуть. Но вот над носом одной из лодок блеснул гарпун и отвесно вонзился в спину исполина. Сяки даже прищелкнул языком и что было силы запустил свой гарпун с расстояния двадцати кэн [2]. Гарпун описал в ясном небе кривую и, пронизав пелену брызг, глубоко вошел в спину беглеца. Тогда, как по сигналу, с ближайших лодок в беспорядке полетели гарпуны. И вскоре на спине гиганта вырос целый лес гарпунов. Но кит не думал сдаваться. С диким ревом взмахнул он под водой могучим хвостом. Только теперь рыбаки увидели его целиком. Будто черный замок на мгновение возник из воды и опять ушел под воду. Даже солнце над головой Сяки в этот миг почернело. И тогда, как стрелы, полетели гарпуны с веревками. Веревки резко натянулись. Бог китов начал свой смертельный бег, волоча за собой сеть и шесть лодок. Концы сети быстро оборвались, и кит через несколько минут очутился на том месте, откуда его несколько часов назад начали загонять в сеть. Еще раз вынырнув, он выбросил фонтан, ударил хвостом и опять ушел под воду.

Последняя гора Вадауры исчезла из виду. В море под ослепительным солнцем шло состязание на выдержку между несколькими десятками людей и одним китом, состязание не на жизнь, а на смерть. Только Кисю, по привычке оттопырив губы, презрительно усмехался.

---

[1] «Час лошади» — время от одиннадцати утра до часа дня.

[2] Кэн — мера длины, равная 1,81 метра.

Лица остальных окаменели и стали землистыми. Сяки вдруг почувствовал к киту слепую ненависть. Охваченный этим чувством, он перестал замечать все остальное. Поднявшись, он перешел на нос лодки. Кровь, стекавшая со спины кита, била фонтаном, когда он уходил на глубину.

— Как бы акулы не почуяли кровь,— хрипло сказал хозяин. Разъяренный зверь тащил их с такой скоростью, что надежды на возвращение не оставалось, и лица видавших виды китобоев из землистых стали черными, точно лица мертвецов. Вскоре одна веревка лопнула, и освободившаяся лодка осталась далеко позади. Случай вернул людям жизнь.

Казалось, бог китов никогда не выбьется из сил. Однако после «часа обезьяны» [1] он поплыл тише. И, наконец, с каким-то диким стоном сбросив с себя громаду воды, поднялся на поверхность. Душераздирающие крики и грохот палок, видимо, совсем оглушили кита. Хозяин стремительно замахал флажками.

— Приготовиться! Поднять весла! Цельтесь в живот! Гарпуны!

Его голос подбодрил людей. И лодки, прицелившись, по команде начали таранить живую стену. Не давая ему опомниться, то гарпуны, то острые носы лодок врезались в окровавленное тело исполина. Боль привела его в ярость, и он свирепо бил хвостом, стараясь разнести в щепки это дерзко жалящее дерево. Море клокотало, как кипящий котел, волны грозили опрокинуть пять лодок, чудом избежавших ударов. Дождь брызг смешался с потоками крови. Была разбита еще одна лодка, и люди, истошно крича, забарахтались в воде. Но подплыть и спасти их остальные не могли. Руганью понукая гребцов, Сяки вонзал свое копье в обагренное кровью тело. Несмотря на смертельные раны, бог китов держался стойко и не думал сдаваться. Вдруг сквозь пелену брызг Сяки увидел, как смуглая фигура в одной набедренной повязке, с ножом за поясом прыгнула в воду.

«Кисю опередил меня»,— пронеслось в его голове. И сбросив куртку, Сяки тоже приготовился прыгнуть на возвышающуюся перед ним стену. Но хозяин крепко обхватил его сзади руками, и Сяки не мог пошевельнуться.

— Рано! — прохрипел старик, удерживая юношу не по годам сильными руками.— Ты-то не делай глупости! Напрасно погибнешь— и только! Видишь, он еще нормально дышит. Не спеши!

— Отпусти! — вырываясь, кричал Сяки.— Сам знаю, что рано. А если он опередит? Что же мне — умирать после этого чужака? Пусти же!

— Сейчас ты с ним не справишься,— прошипел старик ему на ухо.— Разве не видишь, Кисю поторопился. Побереги жизнь, не дури.

Молодой человек, вне себя от ярости, судорожно нащупывал нож. В эту минуту он готов был убить всякого, кто попытался бы ему помешать — будь то отец или хозяин. Но помощник спрятал нож, и оба, сцепившись, чуть не упали в воду. Сквозь пелену брызг было видно, как Кисю, ухватившись за веревку, взбирается на спину гиганта. Сяки до боли впился ногтями в борт лодки. Но, как ни странно, Кисю, вместо того чтобы долбить переносицу ножом, сунул ногу в ячейку сети, уперся и начал изо всех сил бить копьем в самые уязвимые места.

— Смотри! — процедил хозяин, встряхнув юношу за плечи. И Сяки увидел, как бог китов, взмахнув хвостом, стал медленно погружаться. Вода сомкнулась над ним, и сразу стало тихо. Только кричали птицы.

---

[1] «Час обезьяны» — время от трех до пяти дня.

В этой схватке кит разбил еще три лодки. На поверхности плавали их разноцветные обломки, за которые держались полуживые рыбаки. Странно было видеть, как беспомощно подпрыгивают на волнах их головы. Две оставшиеся лодки быстро подобрали тонущих. Не досчитались десятерых, в том числе Кисю. В ледяной воде январского моря сердце не выдерживает, и если человек пробудет в ней больше часа, его уже ничто не спасет.

А птицы все кружились. Веревки, уходившие под воду к гарпунам, были натянуты и только иногда чуть вздрагивали. Кит лежал под водой неподвижно.

Прошел час, другой. Тело Кисю не всплывало. И дрожь опять прокатилась по лодкам. Охваченные дурными предчувствиями, люди с тревогой переглядывались: лодки переполнены, не повернешься, и если кит вздумает продолжить бой, что им тогда делать?

Сяки в приступе отчаяния потянулся к веревке. Рыбаки испуганно переглянулись, но не сказали ни слова. Их переполняло смешанное чувство — бог китов внушал им не только ужас, но и восхищение. От страха и от холода — все давно промокли — они старались теснее прижаться друг к другу.

Под крики птиц на успокоившейся морской поверхности вдруг опять появилась легкая рябь, а вслед за нею из глубины начала подниматься черная тень в алых обводах крови, как будто в воде отразились закатные облака. Брызги, кровь, грохот вспугнули небо, и, теряя золото, оно быстро темнело. И тут небо и море сотряс страшный вздох. Сяки, совсем разбитый, сунул нож за пояс и поднялся. Дрожащие руки хозяина опять схватили его за плечи. На этот раз Сяки не сопротивлялся. Бог китов, смертельно раненный, спокойно лежал на волнах. Кисю не было видно. Наверно, не выдержало сердце, и он пошел ко дну.

Хозяин застонал. Две оставшиеся лодки, с трудом держась на плаву, готовились к последнему удару. На одной китобои уже занесли длинные копья. Но бог китов вдруг издал низкий гортанный звук, как будто рассмеялся. Он потерял столько крови, что не мог больше сопротивляться.

В это мгновение старик, собрав последние силы, резким толчком дрожащей руки, точно ударом меча, сбросил Сяки в море. Страх молодого гарпунера тотчас исчез. Рассекая сильными руками ледяную воду, Сяки подплыл к богу китов. Цепляясь за сеть, он легко взбирался на голову, но вдруг вода начала подступать к нему — бог китов погружался в море. Сяки нащупал ноздри и крепко вцепился в них. Из раздутых ноздрей змейками текла густая кровь. В воде эти змеи расплывались, окрашивая ее в алый цвет, бледнели и исчезали. Вода вокруг юноши бурлила и пенилась. Со страшной силой давила она на голое тело, разрывая его на две половины. Уже час, стуча зубами, мчался Сяки на спине чудовища сквозь бурлящие волны. Изуродованный гарпунами, смертельно раненный, исполин и не думал сдаваться, даже теперь.

Ухватившись за сеть, Сяки вытащил нож и перевел дыхание. Кит полностью всплыл, и Сяки рассчитал, где продолбить переносицу и продеть веревку. Мешкать было нельзя. Неловко изогнувшись, он изо всех сил бил ножом. В пульсирующем ритме из ноздрей кита текла густая кровь. Вокруг то появлялся, то исчезал яркий пунцовый ковер. Вдруг Сяки почувствовал сверлящую боль в ушах. Его могучие легкие, как тисками, сжала какая-то беспощадная сила. Задыхаясь, Сяки извивался, тряс головой, высовывал язык, а кит продолжал тащить его под водой все с той же скоростью. Дышать было нечем. Время остановилось. Бог китов, вспенивая воду огромным хвостом,

все мчался и мчался вперед. Сознание угасало. И вдруг Сяки заметил над головой нарастающий свет. С грохотом рассыпалась громада воды, и он вновь ощутил возбуждающее действие тумана, красный цвет заката, драгоценный воздух, вернувший ему жизнь. Он вбирал его полной грудью. Рука высвободилась из ячеек сети, и он соскользнул в воду. Тут глаза юноши встретились с маленькими глазами бога китов. Потускневшие, они с укором смотрели на него. Как ни странно, глаза эти оказались тихими, кроткими, в них не было ни злобы, ни ярости. Сяки даже растерялся. Ему казалось, что они уже с давних пор смотрят друг на друга. Набрав воздуха, кит немного погрузил голову в воду и слегка окатил Сяки. Опомнившись, юноша вновь взобрался на голову кита. Теперь было совсем просто ухватиться одной рукой за отверстие, откуда бил фонтан. Вытащив нож, Сяки принялся снова долбить переносицу. Горячая кровь, медленно стекая, заливала ему руки, локти и плечи. Кит не шевелился. Он, видимо, был мертв. Сообразив, наконец, что дело сделано, Сяки, не помня себя, вскочил и высоко поднял нож. Но он не услышал радостных криков с моря. Последний рывок бога китов оставил две переполненные лодки далеко позади. Он и бог китов, человек и животное, а вокруг, насколько хватал глаз, ни души. Сяки, не зная, что дальше делать, машинально покачивался на голове кита. Вдруг кит вздрогнул, словно ожив, и дикий вопль рассек волны: застигнутый толчком врасплох, юноша соскользнул с головы к боку, из которого торчал лес гарпунов. Острая боль обожгла правое плечо и бедро. В глазах догорело огромное солнце...

Я один на пустынном каменистом берегу. Все залито красным светом. И гребни волн, которые, разбиваясь о камни, кричат о невыносимом одиночестве, окрашены в тот же цвет. Даже полоса белой пены на песке отливает алым. Тот же свет ложится на большой ящик — единственный предмет на этом берегу — и на мой лоб, лоб съежившегося в нем человека. Я, как старик, укутан в ватные одежды и тряпье. От этого света глаза мои щурятся, но зато он отвлекает от мучительной боли в правой руке и в правом бедре, которая не перестает меня терзать. Боль пронзает мое тело в такт пульсирующей крови. Она меня убьет.

Эта невыносимая боль длится с той минуты, когда я упал со спины кита. Подплывшие, наконец, рыбаки вытащили меня, а сакэ привело в чувство.

Когда в таких муках оборвалась жизнь бога китов, море вокруг побурело от крови. Две уцелевшие лодки, битком набитые людьми, чуть покачивались на вечерней зыби, дожидаясь плоскодонок. Сначала я не чувствовал боли. Рука и бедро онемели. Но раны, на которые то и дело попадала холодная как лед вода, кровоточили, и моя кровь смешивалась с кровью кита. Холодный ветер пронизывал до костей. Когда спустилась ночь, несколько молодых отчаянных гарпунеров подобрали обломки разбитых лодок, положили их на спину кита, облили жиром из фонарей и подожгли. Сильный ветер раздул огонь. Издали, наверно, казалось, что прямо на воде пылает погребальный костер. Люди окоченели и перестали ощущать свое тело. Чтобы как-то согреться и прийти в себя, они начали срезать с хвоста кита куски жира и еще теплого мяса и с жадностью их съедали.

Ночью, после «часа крысы» [1], на огонь подошли две лодки и несколько плоскодонок. Лодки взяли кита с двух сторон на буксир, а меня и других раненых перенесли в плоскодонки. Мы возвращались

[1] «Час крысы» — время от двадцати трех до часа ночи.

домой, но лица были хмурыми: никто не испытывал той радости, которая охватывает тех, кто возвращается с добычей. Слишком велики были потери.

К «часу лошади» следующего дня мы едва живые добрались наконец до берега. Издали слышны были радостные крики, но по мере того как лодки приближались, голоса становились все тише; когда же стало видно, что вернулись только две лодки, берег сначала замер, а потом послышались рыдания. Выбравшись из лодок, смертельно уставшие рыбаки сделали несколько шагов по ослепительно белому песку и упали на него как подкошенные. Ни у кого из них не осталось сил ни переносить раненых, ни вытаскивать на берег бога китов. Пока мы добрались домой, кит совсем ушел под воду, и теперь его скрывало огромное красное пятно на поверхности моря. Только шишка на носу, облепленная белыми устрицами, и пробитая мною переносица с продетой сквозь ноздри веревкой торчали наружу. Все было залито ослепительным полуденным светом. Вместе с мельчайшими капельками влаги, носившимися в воздухе, потихоньку испарялась и моя жизнь. Я терял силы. Помню, как морщинистые руки стариков и женщин осторожно уложили меня на носилки. Вдруг остро, так, что дыхание перехватило, я ощутил запах моря и грохот далеких волн. Сознание покинуло меня. Когда я очнулся, то увидел сидящих передо мною в полумраке сестру, Эй, хозяина с перевязанной, видимо раненой, рукой и священника.

— Как бог китов?

— От него осталась одна голова. Лежит на берегу.

— Перенесите меня туда. Перенесите меня на берег и положите перед богом китов. Я хочу видеть его, умирая.

Патер, с которым я не в ладах, удивился моему желанию и стал возражать. Но хозяин велел исполнить мое желание. По его распоряжению меня положили в гроб — ящик, сколоченный из досок, и вот уже три дня я лежу здесь, на этом берегу, продуваемом холодными ветрами. Передо мной, носом к морю, на песке лежит огромный белый череп кита. В лучах заходящего солнца он отливает красным — совсем как тогда, когда весь в крови сражался за жизнь. Женщины и друзья-гарпунеры не отходили от меня, но я попросил их дать мне последнюю возможность побыть с богом китов наедине. Они построили шалаш так, что я их не вижу, а они меня видят хорошо и посменно дежурят там, даже по ночам, чтобы не оставлять меня одного. Но я не один. Только откуда же им было знать о той жестокой битве, которая разыгралась этой ночью между мною и богом китов?

Когда тьма спустилась на землю, в небе холодно заблестели звезды. Лежавшие передо мной огромные кости незаметно обросли мясом и кожей, и бог китов ожил. Взметая могучими плавниками серебристые брызги, он медленно поплыл в океан. Почти в тот же миг я, заключенный в этот тесный гроб, превратился в прежнего молодого, крепкого китобоя и под прикрытием тумана, высоко подняв блестящий гарпун, начал преследовать бога китов.

Всю ночь я бодрствовал. Настало утро. Протянув розовые пальцы, оно коснулось моря. Его полоска становилась все шире и яснее. И вскоре свет упал на огромный лоб кита и на мое лицо, на котором остались одни глаза. Свет разлился в серебристый день. В обилии света и тишины моя жизнь казалась маленькой капелькой, которая продолжала испаряться. И вот еще раз кровавое солнце закатилось за каменистый берег. Так закатится и последний день моей жизни.

Когда, сжигаемый полуденным светом, я осыпал проклятьями бога китов, возле моей головы упала тень Эй. Бледная, осунувшаяся, видимо много перестрадавшая за эти дни, она сказала еле слышно:

— Я ничего не хочу от вас скрывать. Я все скажу вам. Пусть я попаду в ад. Только выслушайте меня. Отец ребенка Кисю. Это он взял меня силой — Кисю!

Острая боль пронзила мне душу. Я, кажется, ответил, что мне теперь все равно. Кисю? На моих губах появилась горькая усмешка. Боль, видимо, свела ее в странную гримасу. Этот Кисю ничего не боялся. Другие бросали гарпуны, а он хоть и ловко владел ножом, но не стал прибегать к нему и, крепко держась за сеть, кромсал исполина копьем, надеясь, что он не выдержит. Но ведь только Кисю решился на это. Другие, и я с ними, лишь наблюдали из лодок. Когда бог китов стал погружаться, Кисю продолжал наносить удары. Нужно было спасаться, сердце не могло выдержать такой холодной воды, а он все бил копьем, предпочитая жизни славу и победу над богом китов... Значит, Кисю. И все же до последней минуты он не отдавал себе отчета в том, что может умереть. Надеялся, бог китов не вынесет боли, всплывет и он, Кисю, будет спасен. Но хотя кит потерял очень много крови, расчет Кисю не оправдался. Не хватило времени.

Со вчерашнего дня мои раны начали чернеть и источать зловоние. Нет сил терпеть. Лекарь, взглянув на распухшие руку и бедро, только нахмурил брови и покачал головой. Патер, разбирающийся в медицине, помрачнел и перекрестился своими волосатыми пальцами. Я предвидел, что так будет, и все-таки это не укладывалось в моем сознании. Мне казалось, что если человек не испытывает смертельной боли, то и не умирает. Но я пришел к неожиданному выводу: болит только человеческое тело, продолжающее жить.

Я остался один. Передо мной, как дерево из земли, вырос хозяин. Его тонкая рука, цвета красной меди, была на перевязи. За его спиной, втянув голову в воротник, словно прячась, стояла Тое. Ее глаза под нахмуренными бровями глядели на море. В них отражался полуденный свет и редкие для зимы кучевые облака.

Со дня охоты старик разом постарел лет на десять и держался теперь только силой духа. Есть такие старики — по их виду нельзя угадать, когда придет их час.

— Чего мешкать? — проворчал он.— Я дал слово и, что бы там ни было, выполню его. Да и тебе нечего стесняться. Короче говоря, завтра свадьба. Подношения родственникам пошлем сегодня вечером, иначе не успеем. Если поторопиться, все будет в порядке. Единственная дочь хозяина и первый гарпунер поселка — вашу свадьбу надо сыграть на славу.

— Но,— мне было трудно говорить от волнения,— вы же знаете, что я скоро умру. Вы ведь видите, что мои раны уже почернели. Устраивать свадьбу с умирающим женихом только для виду, чтобы на всю жизнь сделать свою дочь вдовой!

— Да, таков закон. Если она из самурайского рода и если смерть разлучит ее с мужем, второй раз она замуж не выйдет. Но о чем говорить? Завтра станешь моим зятем. Усадьба и все остальное перейдет к тебе. А я уйду в соседнюю деревню, к племяннице.

Сказав все это, хозяин ушел, оставив на песке глубоко вдавленные следы. Мои раны опять нестерпимо разболелись, и я застонал. Запрокинув голову, я вдруг увидел нежное лицо Тое, склонившееся надо мной так низко, что я почувствовал ее дыхание. Я вспомнил, что с того дня не мылся,— наверно, прикасаться ко мне было не очень приятно. Обыкновенная мысль разбудила обыкновенное чувство, и мне захотелось разреветься.

— Зачем вы!..— проговорил я с трудом, когда боль утихла.— Может быть, завтра, во время свадьбы, я умру. Мне все равно, когда

умирать, но я не хочу сделать несчастной вас. Девушка из рода тех, кто носит два меча, не может выйти замуж вторично.

— Я знаю,— тихо ответила Тое и отвела глаза.— Но я не думаю о том, чтобы быть счастливой. Да и что такое счастье? Зачем оно мне— мое собственное счастье? Для меня важнее исполнить обещание отца и стать женой гарпунера, который победил бога китов. Это достойно девушки из единственной в селении самурайской семьи. У меня не будет счастья, но будет гордость. Зачем мне счастье?

— Но ведь вы...— я начинал волноваться,— вы меня не любите.

— Не люблю,— голос Тое звучал тихо, как в морской глубине.— Я даже не влюблена в вас. Любовь, ненависть, счастье, несчастье — ради этого я не стала бы выходить замуж. Только гордость, гордость дочери единственного в селении самурая, заставляет меня сделать это.

— Но у меня есть жена, Эй.

— Это не имеет значения. Такая женщина и я — что у нас общего? Она может быть вашей любовницей или наложницей. Я выхожу замуж не потому, что люблю, и пусть у вас есть любовница, мне все равно. Это в порядке вещей. Выходя замуж, как хотел отец, за того гарпунера, который победил бога китов, я сама как бы принимаю в этом участие.

Тое ушла. Я опять остался один. Я лежал в гробу, рядом с богом китов, и изнывал от боли. Меня терзали сложные чувства. Человек — я, Кисю, Тое или хозяин — сам делает себя несчастным. И предвидеть заранее, что станет твоим несчастьем, невозможно. Мы легко относимся к несчастью и сами обрекаем себя на него. Погиб Кисю, я так мучительно страдаю, но эту же дорогу выбирают и хозяин, и Эй. Несчастье одного не воспринимается как несчастье другого. И это значит, что мое несчастье только тогда будет осознано как несчастье, когда ляжет на плечи других.

С тех пор как я здесь, солнце заходило уже четыре раза. Сегодня оно краснее, чем вчера. На море поднялись волны. Солнце спряталось в ущелье между двумя стенами разноцветных облаков. Удивительное дело, страшная боль, которая до сих пор не давала мне покоя, исчезла, как сон. Прикасаясь к ранам, я совсем их не чувствую. Это конец, подумал я и облегченно вздохнул. После изнурительной боли наступил конец. Когда нервы перестают чувствовать, терпеть легче. Вот и все.

Я чувствовал себя так, будто был снова здоров. Но самое удивительное: мои чувства словно обновились, даже обострились. Скалы отбрасывают на песок длинные тени. Накатывающиеся на берег шумные волны оставляют на нем белую пену, но тут же вновь подхватывают ее и уносят обратно в море. Мыс вынес в море белый песок, черные камни и зеленые сосны. Над головой сияют облака. С самого детства слежу я за ними, и облака ни разу не повторились. Но никогда еще этот давно знакомый пейзаж не был мне так дорог. Никогда я еще не испытывал такого чувства полного слияния с ним, словно в нем и заключается мое существование.

Ветер пронизывает меня до костей. В его завывании мне чудится тихое приближение смерти — знака вечного мира и покоя. Завтра моя свадьба, но еще до нее я, наверно, умру. Жди меня, Кисю! Сегодня, а может быть завтра, мы опять встретимся. При жизни ты был моим врагом, но все равно ты славный малый!

Повернув голову, я взглянул на бога китов и увидел, что мощный лоб окрасился в цвет крови. И ты тоже, бедняга, натерпелся. Когда тебя кромсали гарпунами, когда копьями разворачивали твои раны, ты сражался, как настоящий воин. В одном нашем поселке на

твоем счету тридцать человек. Вот и я, который прикончил тебя, скоро умру. И все же ты боролся, не зная страха, хотя все твое тело стонало от боли, как мое сейчас. Что ни говори, свою жизнь ты прожил как бог!

Заходящее солнце, которое я вижу, наверно, в последний раз, уже наполовину окунулось в сверкающее море, и край мыса полыхает огнем. Волны, переливаясь, надуваются, как паруса, набегают на берег и теряют свои краски. Шепча на разные голоса, они подманивают меня, задирают юбки, а сами убегают прочь. А потом опять прибегают и опять зовут, то настойчивее, то тише, но все отчетливее звучит их голос в ночном мраке.

Увлекаемый этими голосами, я почувствовал, что превращаюсь в бога китов. Сначала в тот череп, что лежал передо мной. Потом мое тело неизмеримо выросло, и я стал огромным, как остров. Кожа утолщилась, снизу под ней лег слой жира, сверху — твердый темный покров. Перед моим носом вздымаются волны и разлетаются в брызги. Я не спеша плыву по вечернему морю, вслед заходящему солнцу, рассекая сильным хвостом волны. Да! Я — бог китов! Бог китов — это я! Я — бог китов! Бог китов — это я. Я бог...

Внезапно я очутился в северном море, в царстве полярного сияния и тишины. Огромные льдины с треском раскалываются о мой нос. На шишке, облепленной ракушками, бамбуковым занавесом повисли сосульки. Они ломаются от брызг, как от удара мечом. Фонтан над моей головой в эту ночь превратился в столб инея и рассыпается хлопьями снега. В боях за самку я непобедим. Даже среди людей, которые давно уже гоняются за мной, нет такого, кто поборол бы меня.

Обогнув белый коралловый риф, смутно мерцающий в темно-синей воде, я поплыл в южное море, залитое серебристым полуденным светом. Взбивая мощным хвостом волны, я неторопливо двигался вперед. Море вздымалось над моей головой и, сверкая, обрушивалось вниз. Брызги опустили надо мной радугу, которая ничуть не уступала небесной. Птицы с шумом кружили над ней и приветствовали меня своим криком. О, как прекрасно море! О, как прекрасен я! И какой прекрасной должна быть моя жизнь!

Я все плыл и плыл по белеющим волнам. Впереди розовым ковром лежал рассвет. Днем он превращался в огромный раззолоченный чертог, а вечером — в алый купол под синим небом. В лунном свете мой длинный пенистый след змеился по серебристым волнам.

Но я доблестно вел себя в последнем бою. Докучливые люди! Я мог бы без труда расшвырять их своими плавниками, но я, не ведавший врагов, добродушно и доверчиво плыл туда, куда они меня гнали, и попал в западню. Когда я разгадал их замысел, меня охватила ярость. Я расплющил хвостом и плавниками их лодки. Но, опомнившись от страха, они стали бросать в меня гарпуны и кромсать копьями мое тело, выбирая самые уязвимые места. От мучительной боли и бешенства я неистовствовал и бил по волнам впустую. Глаза мои, залитые кровью, почти ничего не видели, но я продолжал сражаться, чтобы прикончить хотя бы еще одного. Тут конец холодного копья скользнул в мои легкие и нащупал сердце. Кровь и жизнь растворялись в огромном море. Я терял силы. Крови не осталось почти совсем, я перестал существовать и вернулся в огромное море, из которого вышел.

Видение исчезло, как только я услышал знакомую песню. Я больше не был богом китов. Это Эй пела песню мести, которую из поколения в поколение поют те, у кого в роду погибают китобои: «Кто там мчится, огромный, кутаясь в черные облака? Кто удирает, посеяв

бурю, облизывая кровавые губы? Сын мой, торопись, догони его. Вцепись ногтями в его горло, разорви его утробу! До тех пор в свое гнездо не возвращайся, ждать тебя не будем, до тех пор, пока родная мать не смоет слезы кровью убийцы».

Эй, с ребенком на руках, разучивала песню, которую будет петь на моих похоронах. Пройдут годы, и ее ребенок выйдет на бой с таким же могучим китом. От этой мысли мне стало спокойнее. Бог китов, покинув меня, опять превратился в огромный череп. Горя в закатном блеске, он смотрел в сторону моря. Поднялся ветер, и я почувствовал, как смерть еще на шаг приблизилась ко мне. В возбуждении я крикнул белеющим костям бога китов:

— Нет, ты поистине прекрасен!

И вдруг бог китов совсем явственно ответил мне громовым голосом:

— Это ты прекрасен, человек!

Перевод с японского Т. ГРИГОРЬЕВОЙ

АНТАЛ ГИДАШ

Перевод с венгерского ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

I

Сказал ли все я, что должен был сказать?
Нет, не сказал.
Должник я,
и каждый просроченный платеж меня тревожит: ведь долга моего теперь никто на свете, потомок никакой уж погасить не сможет.
А предки упрекают:
ты уж больше чем четверть века получил в подарок.

II

Чувства с черными прожилками бьются у меня в затылке.
Все чаще падает из рук чашка,
выливается на газовую плиту молоко, колеблется в руке перо;
задумчивые пальцы не всегда сосредоточены на том,
что хотят сделать.

Быть может, и весна, что шелестит вокруг,
вот так
вываливается у меня из рук?

III

Ars poetica

— Тому не бывать! — возвещает мне
кто-то,
а я отвечаю:
— А вот и бывать!
Лишь ради чего-нибудь
и против чего-то
и может поэзия существовать!

IV

Свет — материя.
Стало быть, земля, которая поглощает свет, становится все тяжелее?
Но почему же тогда человек ощущает наибольшую тяжесть
в бессветные времена?

V

Объясни,
что нельзя,
невозможно,
не надо!
Наконец, пусть добьется и мира и лада
с плотью стареющей
дух бунтующий и неседеющий!

VI

Вихрь вперед
меня понес,
повернулся вдруг,
в сторону откинул,
и не только из моих бунтующих волос
узел свить ему мгновенно удалось,
но дубов огромных вытянулись кроны
в виде яростно́ трепещущих полос.

VII

Человечек этот — мелководьице.
Кинут в него мысль: всплеснется, но потом еще шире расходится лужица.

VIII

Все силы собери ты прежде,
чем рухнуть, пасть,
чтоб не пришлось тебе угрюмо
себя проклясть
и перед собственным судом...
Займись мучительным трудом...
той книгою,
в которой мечутся
слезы
моря человечества.

IX

Ты,
мягкий воздух порождающая
и в руслах влагу половодящая,
в телах желанья пробуждающая,
в древесных почках колобродящая,
меня всем этим утомляющая...
Бегу я от тебя, весна!

X

Во сне искал отца. И наконец-то встретил.
В сапожной мастерской, средь подмастерий,
сидел он на треногом табурете.
В очках отец. Меня он даже не заметил.
Смотрел перед собой недвижно в одну точку,
как человек, который вспоминает всю жизнь свою,
но будто бы в обратном порядке, как бы в былое уходя.
Печаль была в глазах.
Припав к его руке, проснулся я в слезах.

XI

Кое-кто из поэтов, как пишущая машинка,
перед которой никто не сидит, а она как будто сама,
отстукивая километры букв,
что-то твердит, твердит, твердит...

XII

Небо изменчиво —
знаешь сама ты, —
только
вчера еще над головою
висло шубасто оно и косматo.
Нынче
нагое оно,
голубое!

XIII

Луны сиянье матовое
к земле прислушивалось.
А мне послышалось:
мерцающая атомно
Вселенная Земле моей сказала:
— Берегись!
В огромную безлюдную Луну лунишки мертвенной
Смотри не превратись!

XIV

Взлетающий
голос органа,
сиротка-травинка
на скалах, которые круто нависли...
О, если бы, если
вы были единственной
тяжкой заботой
среди урагана
скитальческой жизни!

XV

Почему лишь тогда
дерева говорят,
когда кости от вихря
у них заболят?
А счастливы бывают —
молчат,
кивают.

XVI

На горных высях

под лазурным кровом сидели мы.

Поток воздушных масс был величав, как будто бы лилась неразличимая для наших глаз неразговорчивая Вечность, словом — извечная действительность для нас, здесь, где мужи-утесы к девам-соснам склонились в мире радужном и росном.

Невыразимого достоинства полна, на высях гор стояла тишина.

И в этой легкой, но и в то же время томительной душевной тишине я вдруг такое ощутил волнение, как будто бы впервой все это было мне.

Слова!

Во мне слова искали слов в ответ. Но те созвучия, что возникали, в своем же множестве терялись.

Нет, нет, нет!

И яростно, почти как одержимый, я начал их сближать в союз нерасторжимый, такой пленительный, чтоб больше никуда не разбежались эти блещущие пары, чтоб я, наколдовав на них созвучий чары и наконец услышав:

— Да, да, да! —

мог повенчать их всех, в достойном для венчаний Лазурном Зале Ритмосочетаний и в Книгу Брачных Записей Стихов их записать.

Навеки ли веков?

Иль все же разойдутся?

Видно будет!

Кто знает, кто заранее рассудит?

Особенно вот здесь, где тишина невыразимого достоинства полна, здесь, где мужи-утесы к девам-соснам склонились в мире радужном и росном и с нас упорно не спускает глаз неразговорчивая Вечность, словом — извечная действительность для нас, на горных высях под лазурным кровом.

ДЖОН УЭЙН

Зимой в горах

РОМАН

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Компания по прокату автомобилей запросила Роджера, может ли он представить свидетелей, которые подтвердили бы, что произошло, когда он ехал на их машине. Речь шла не о передаче дела в суд, поскольку никто не собирался его преследовать, а о том, чтобы дать необходимые сведения страховой компании, которая наверняка постарается увильнуть от уплаты, если можно будет доказать, что Роджер неосторожно ехал. Очень жаль, конечно, что никто не видел, как все произошло, но если те две женщины — покупательницы в магазине — подтвердят то, что они говорили, тогда уладить дело со страховой компанией будет нетрудно. Роджер сообщил имена двух свидетельниц: миссис Арвел Джонс и миссис Йоло Джонс. Компания по прокату взялась сама написать им, приложив отпечатанное на машинке изложение событий и прося каждую, если изложенное соответствует ее представлению о том, как все произошло, подписать бумагу; тогда больше уже никто беспокоить их не будет.

Прошло около двух недель. Каждый день приносил свои заботы, и через какое-то время Роджер почти забыл об эпизоде с колесом — лишь время от времени он всплывал в его памяти. Бурый автобус неуклонно их преследовал. Он появлялся не на каждом рейсе, но они никогда не знали, появится он или нет. Он возникал ниоткуда — порой, когда они ехали в город, порой, когда возвращались в поселок,— но всегда на две или три минуты опережая их, и за его стеклом неизменно торчала табличка: «Внерейсовый». Случалось, на нем ехал кондуктор, парень с лицом хорька в островерхой фуражке с блестящим козырьком. В других случаях шофер с лицом как из теста был один. Но денег за проезд они никогда не брали. Кондуктор — в тех случаях, когда он ездил,— просто сидел среди пассажиров.

Несколько раз Роджер пытался обсудить сложившееся положение с Гэретом, но разговор получался всегда односторонним: Гэрет,

Продолжение. Начало в № 5.

точно изголодавшийся ястреб, угрюмо смотрел в пространство и помалкивал. Доходы все уменьшались, а счета за горючее и запасные части требовали оплаты.

Наконец настал день, когда Роджер получил письмо от компании по прокату автомобилей. Ни миссис Арвел Джонс, ни миссис Йоло Джонс ничего не подписали. Они просто оставили письма без ответа. Компания просила Роджера съездить к этим дамам и выяснить, почему они не ответили. Поскольку в противном случае ему самому придется возмещать убытки — угрожающе было добавлено в письме,— компания надеется, что он посетит их при первой же возможности.

Роджер забежал к обеим дамам в тот же день. Когда они ехали наверх с рейсом десять тридцать, он попросил Гэрета остановить на минуту автобус, добежал до дома миссис Арвел Джонс и постучал. Никто не откликнулся, и он бросился к домику миссис Йоло Джонс, а Гэрет ждал его в автобусе, не выключая тихо урчавшего мотора. На двери миссис Йоло Джонс был не только электрический звонок, но и молоточек. Роджер нажал на звонок и одновременно ударил в дверь молоточком, показывая тем самым, что спешит. Но никто не появился. Он предпринял новую попытку в четыре часа, когда они ехали в Лланкрвис, и в пять часов, когда они спускались в город. И оба раза ни тут, ни там никто не откликнулся. После этого он решил не просить больше Гэрета останавливать автобус. Он дождался, когда они приехали рейсом в пять сорок пять наверх, и затем из Лланкрвиса спустился в поселок, где жили обе женщины. У него в кармане лежала копия отпечатанного на машинке текста их заявления — он рассчитывал получить обе их подписи и покончить с этим делом. Но ему снова не повезло. Когда он подходил к домику миссис Арвел Джонс, у него создалось впечатление, что там сидит большая семья: звенела посуда, что-то грохотало — то ли радио, то ли телевизор. Но к двери долгое время никто не подходил; наконец ее приоткрыл мальчик с блестящими недобрыми глазами и сказал: «Дома никого нет». Роджер только хотел спросить его, что это значит — никого нет, но мальчик резко захлопнул дверь. Роджер снова постучал, однако никто к нему не вышел. Вздохнув, он решил попытать счастья позже, а сейчас направился к миссис Йоло Джонс. Он прошел по улице до домика миссис Йоло Джонс, постучал, подождал несколько минут, позвонил, снова постучал и снова позвонил, пока не уверился, что обитателей либо нет дома, либо они решили не открывать двери. Тогда, голодный и усталый, он отправился к себе наверх, едва поспел к семичасовому рейсу и с чувством досады и ощущением пустоты в желудке покатил вниз.

В тот вечер, безмерно устав, он решил не гоняться больше за этими бабами, но назавтра предпринять более решительные шаги. Когда автобус десятичасовым рейсом возвращался в горы, Роджер сошел с него в поселке, где они обе жили.

Он постоял на тротуаре, пока автобус не исчез в темноте. Затем направился к домику миссис Арвел Джонс. Там явно было кому открыть дверь. Наверху светилось окно, а внизу, хотя и было темно, но, судя по долетавшим звукам, смотрели телевизор. Роджер постучал. Последовала долгая пауза — он мог поклясться, что все это время кто-то из дома наблюдал за ним. Затем дверь открылась — на этот раз перед ним стояла пухлая, небрежно одетая и нечесаная девица.

— Мамка уже спит,— выпалила она и захлопнула перед его носом дверь.

Роджер сдержался. Если эта женщина по каким-либо соображе-

ниям не желает впускать его в дом — тут уж ничего не поделаешь. Он станет теперь подстерегать ее из автобуса, когда они будут проезжать через поселок, и если увидит на улице, выскочит на ходу. А пока — оставалась миссис Йоло Джонс. Он двинулся дальше. Да, у нее светилось окно. Миссис Йоло Джонс была более стройной и менее бледной из двоих. Она производила впечатление чуточку более интеллигентной, а кроме того, казалось, не была обременена многочисленным и дурно воспитанным потомством. Вспомнив все это, он преисполнился надежды и постучал вежливо и скромно.

На этот раз дверь сразу же открылась — перед Роджером стоял сухонький человечек в темном костюме, похожий на деревенского дьякона.

— Что вам угодно? — спросил или, вернее, пролаял этот человечек. Голос у него был высокий и звонкий, и говорил он очень отрывисто.

— Не могу ли я видеть миссис Йоло Джонс? — сказал Роджер.— Речь идет...

— Если у вас дело к моей жене,— сказал дьякон,— я предложил бы вам обсудить его со мной.— Он отступил на несколько шагов, и они оба оказались в маленькой ярко освещенной гостиной, где в камине яростно пылал огонь.

— Она была свидетельницей одного происшествия,— сказал Роджер.— Я ехал...

— Извините. Она не была свидетельницей этого.

— Ну, строго говоря, я знаю, что не была: она в это время находилась в магазине, но понимаете, колесо...

— Никакого колеса она не видела,— сказал дьякон.— Она поручила мне сказать вам, что не желает делать никаких заявлений.

— А сам я не мог бы поговорить с ней? Видите ли, я...

— Уверяю вас, в этом нет необходимости.

— Но в то утро в магазине она сказала мне...

— В магазине,— заявил дьякон весьма громко и отчетливо,— миссис Джонс была без меня. С тех пор она обсудила случившееся со мной, своим мужем,— торжественно добавил он.

— И вы сказали ей, что она ничего не видела?

— Она предпочитает не вмешиваться в это,— сказал дьякон.— А теперь прошу извинить, у меня...

— Послушайте,— сказал Роджер. Он прерывисто дышал.— Я ведь не прошу вашу жену что-то для меня делать.

— К счастью.

— Когда она находилась в магазине, колесо влетело на ступеньки и разнесло в щепы дверь. Нет, пожалуйста, не прерывайте меня. Дверь была повреждена. И ваша жена не могла этого не видеть. Она стояла всего в нескольких футах от двери, когда... когда колесо ударило в дверь. Я только хочу, чтобы она подтвердила это.

— Исключено,— сказал мистер Йоло Джонс.

— Но почему же, черт возьми, это исключено?

Мистер Йоло Джонс уставился на Роджера своими довольно выпуклыми карими глазами.

— Исключено — и все тут,— просто заявил он.

Роджер был совершенно ошарашен.

— Вы хотите сказать...— начал он и умолк, ища подходящих слов, пытаясь сформулировать свою мысль, но смешался и спросил лишь:— Вы хотите сказать, что она не станет подписывать никаких заявлений?

— Да, именно так,— подтвердил мистер Йоло Джонс.

— Но ведь это же... черт возьми, почему? Кто-нибудь пригрозил ей или что-то сказал? — Но, произнося еще эти слова, Роджер уже по-

чувствовал их нелепость.— Черт побери, ведь здесь же не Чикаго! Никаких гангстеров тут нет. Это просто смешно.

— Вы сами говорите, что это смешно,— подхватил мистер Йоло Джонс. Он произнес: «сми-ши-но».— А теперь извините меня, пожалуйста.

Роджер вышел из гостиной в холл. Мистер Йоло Джонс следовал за ним по пятам. Когда они подошли к двери на улицу, Роджер открыл ее, но вместо того, чтобы выйти, вдруг круто повернулся и встал перед мистером Йоло Джонсом в тускло освещенном проходе.

— Ну чего вы боитесь? — внезапно спросил он.

— Моя жена...

— Ваша жена тут ни при чем. Когда она была там, в магазине, ей и в голову не пришло чего-то бояться. Это вы велели ей молчать, и это вы мешаете мне встретиться с ней — из страха, как бы она не сказала чего-нибудь лишнего. Но почему не сказать прямо? Кто-то пытается сделать мою жизнь здесь невыносимой? И эти люди пустили слух, что не рекомендуется иметь дело со мной? Неужели это так? А что будет, если вы мне поможете? Физическая расправа? Конечно же нет. В деревне люди запоминают лица. Нельзя ухлопать человека и исчезнуть, нырнув в проулок, здесь — нельзя. Тогда в чем же дело?

— Я ничего не намерен с вами обсуждать,— заявил мистер Йоло Джонс.

С этими словами он, словно змея, вдруг сделал бросок вперед и своими маленькими сухими ручками толкнул Роджера. Тот вылетел на крыльцо и в ту же секунду услышал, как за его спиной захлопнулась дверь.

Порой среди всех этих событий Роджер думал о Дженни. Ему больно было вспоминать о ней, и он всячески старался этого избегать. Но, видимо, она прочно вошла в его жизнь. Точно он сидел в комнате, которая своей формой напоминала букву «г», и знал, что Дженни тоже тут сидит, в той части комнаты, что скрыта от его взора,— сидит неподвижно и потому не попадает в поле его зрения. Очень часто, когда он вместе с Гэретом дожидался в автобусе на площади Карвеная, пока они двинутся в путь, у него возникало ощущение, что вот сейчас появится Дженни — серьезная, быть может, в очках,— поднимется по ступенькам и сядет к ним в автобус. Это была, конечно, чистая фантазия, но он не мог от нее избавиться. Он пытался обмануть свои чувства, думая о Райаннон. Но нужна-то ему была Дженни.

В течение всего этого дня ее лицо неотступно стояло перед ним, большие темные глаза внимательно глядели из-под густой челки. К вечеру он не выдержал. Приехав в город с семичасовым рейсом, он сказал Гэрету, что не вернется к десятичасовому. Гэрет со своим обычным безразличием к делам Роджера только кивнул в ответ. И Роджер быстро зашагал прочь. Избавиться от разочарования можно было только с помощью выпивки — он прогонит образ Дженни волной перебродившего хмеля.

Порывшись в кармане, Роджер вытащил тривиальный галстук и, повязывая его на ходу, под глумившимся над ним дождем направился к отелю «Палас». Это было рискованное предприятие: он ведь мог встретить там Дональда Фишера или какое-нибудь другое не менее ядовитое насекомое. Тем не менее он поднялся по ступенькам. По счастью, у него было с собой достаточно денег: в этот день он снял со счета еще пачку банкнотов, и теперь его банковский счет был при последнем издыхании. Войдя в холл, Роджер быстро взглянул

в сторону портье. Райаннон там не было. На ее месте восседала гораздо менее привлекательная девушка. Уже повезло! Да и Дональда Фишера в баре не оказалось — лишь несколько ничем не примечательных личностей сидели по углам. Значит, можно не разговаривать — просто пить, пить, пить, а если он переберет настолько, что не в состоянии будет добраться до дома, тогда подойдет к портье и попросит эту непривлекательную девушку дать ему номер.

Официантов в баре что-то не было видно, поэтому Роджер направился к стойке и попросил двойную порцию виски. И бармен в короткой куртке, и мягкое освещение, и даже бутылки на полках за стойкой — все живо напомнило Роджеру тот вечер, когда он впервые встретил Дженни. Она стояла вон там, на ковре, и мужественно и без всякого удовольствия потягивала херес, с трудом вынося общество подвыпивших друзей своего мужа. Вся сцена воскресла перед ним: бледное, хмурое лицо Дженни, уверенно поблескивающие очки Туайфорда, Дональд Фишер, точно автомат, заученно склоняющий потную лысину к собеседнику. Роджеру казалось, что он слышит густой раскатистый бас Брайанта. О господи, что за компания!

Роджер выбрал свободный стул и со стаканом в руке направился к нему; в этот момент в бар вошли четверо и сели за столик неподалеку. Мягкое кресло и выпитое виски несколько ослабили напряжение, владевшее Роджером, и он принялся наблюдать за этой четверкой — тремя мужчинами и дамой. Двое мужчин были молодые и ничем не примечательные, если не считать того, с каким почтением они относились к третьему, мужчине лет сорока с небольшим. Он был худой и длинный, и все в нем было худое и длинное, включая лицо, над которым вздымался вьющийся каштановый хохолок, отчего в фас он очень походил на петуха — только нос у него был не горбатый, а длинный и острый. Черные, близко посаженные глаза смотрели настороженно. Однако внимание Роджера привлекла не столько внешность этого мужчины, сколько его отношение к даме. Она, несомненно, была его женой — ведь сразу видно, когда люди давно привыкли друг к другу,— и в то же время он был явно влюблен в нее и гордился ею.

— Пусть Седрик отвезет тебя домой, радость моя,— произнес человек, похожий на петуха,— посмотришь телевизор, выпьешь чашечку чего-нибудь, а я через час вернусь.— Голос у него был приятный, но он жестко произносил согласные, как все жители Северного Уэльса.— Седрик в пять минут доставит тебя домой.

— С удовольствием,— сказал тот, кого звали Седриком.

— Что ж, пожалуй, я поеду,— сказала она,— если ты уверен, что недолго пробудешь здесь.

— Совсем недолго,— заверил ее супруг.

Женщина взяла свою сумочку и вместе с Седриком направилась к выходу.

Внезапно второй молодой человек, обменявшись несколькими словами с худым и длинным мужчиной, усиленно закивал головой, поднялся и исчез. Оставшись один, худой и длинный мужчина заказал еще порцию виски. Роджер заметил, что он не подходил к стойке, а лишь поднял палец, и официант, несколько минут назад появившийся неизвестно откуда, тотчас подскочил к нему. А ведь когда Роджер вошел в бар, никаких официантов не было и в помине. Впрочем, даже и сейчас официант, казалось, находился здесь случайно; все попытки Роджера подозвать его или привлечь его внимание не привели ни к чему, так что под конец Роджеру пришлось самому подойти к стойке и взять себе виски. Видно, в этом отеле одних посетителей официанты обслуживают, а других — нет. А может быть, они

просто игнорируют его, Роджера Фэрнивалла? Зная, что он работает с Гэретом, они, видно, считают его парией, который, даже если у него есть деньги, не имеет права находиться в лучшем отеле города?

Подогреваемый виски, чувствуя, как алкоголь начинает жарким пламенем гореть у него в желудке, Роджер, точно бык, уставился на человека-петуха. Почему этого долговязого мерзавца обслуживают как пассажира первого класса, а с ним, ученым и джентльменом, обращаются так, точно он подстилка под ногами у официанта? Глядя на себя как бы со стороны и наблюдая за своими реакциями (что часто с ним случалось на ранней стадии опьянения), Роджер понимал, что рассуждает грубо, прямолинейно, вопреки свойственному ему такту, но что-то (виски? несложившаяся сексуальная жизнь?) побуждало его радоваться такому настроению, потому что тогда все сразу становилось очень просто. Он поерзал на стуле и позвякал льдом в высоком стакане.

Худой и длинный мужчина, казалось, не обращал на Роджера ни малейшего внимания, хотя они были единственными посетителями бара, но, видимо, почувствовал, что вызывает раздражение. Ничем не выдавая сделанного им открытия, он вдруг повернулся, посмотрел прямо на Роджера и через все разделявшее их пространство, затянутое десятифутовым ковром, произнес:

— Иной раз это целая проблема, не так ли?

— Что именно? — искренне удивился Роджер.

— Да чтоб тебя обслужили,— сказал длинный человек.— Никто больше не бегает ради чаевых, как это было раньше. Все распустились, все.— Он поманил официанта в белой куртке.— Надо обслужить джентльмена, Фил.

— Я ни в чем не нуждаюсь,— поспешно сказал Роджер.— Я только что сам себя обслужил.

— Ну, а я хочу выпить еще, и, по-моему, мы с вами пьем одно и то же,— сказал длинный мужчина. Он кивнул на стакан Роджера.— Это ведь у вас виски, не так ли? Надеюсь, вы присоединитесь ко мне? Два двойных, Фил.

У Роджера было такое чувство, точно на ноги ему чуть повыше лодыжек умело накинули лассо. Ему вовсе не хотелось присоединяться к этому незнакомцу и беседовать с ним. Но вообще-то он сам был во всем виноват. Он позволил себе увлечься мелкой и неинтересной тайной власти, которой обладал этот человек над официантом, тогда как он, Роджер, такой властью не обладал.

— Благодарю вас,— нехотя согласился Роджер.

Длинный мужчина змееподобным движением поднялся с кресла и пересел за столик Роджера.

— Вы, надеюсь, извините мою навязчивость? Когда кончается летний сезон, здесь становится удивительно уныло. Отдыхающие разъезжаются, а местные сидят у своих телевизоров. Мерзость запустения.— Он на секунду опустил глаза и почти тотчас же снова поднял их на Роджера.— Во всяком случае, не для такого это человека, как вы.

Роджер только открыл было рот, чтобы ответить, но в эту минуту к ним подошел официант с двумя двойными виски.

— Запиши на мой счет, Фил,— сказал длинный мужчина.

— Да, сэр,— сказал официант.

— И налей себе и Шану по одной.

— Мы на работе, сэр.

— Ну, так запиши на мой счет и выпейте, когда будете не на работе.

— Хорошо, благодарю вас, сэр.

Фил отошел, поставив перед ними поднос с двумя стаканами, и они остались наедине.

— Вы сказали, что здесь нечего делать такому человеку, как я,— заметил Роджер.

— Так мне кажется,— сказал длинный мужчина.

— А что я, по-вашему, за человек?

— Ну, это вам лучше знать,— улыбнулся длинный мужчина.

И Роджер тотчас понял, с кем он говорит.

Как ни глупо, прежде всего он подумал о том, следует ли ему пить виски, которое он держал в руке, или не следует. Если он сейчас, не притронувшись к виски, поставит стакан, затем встанет и, холодно кивнув, уйдет — не покажет ли это яснее всяких слов, что он намерен и дальше сражаться на стороне Гэрета? Что он отказывается идти на компромисс, что его не запугаешь?

Нет, тут же решил он, не покажет. Дело принимало такой оборот, что подобного рода простая, не-желаю-с-вами-знаться-сэр, позиция была исключена.

Поэтому он спокойно сказал:

— Меня такая жизнь вполне устраивает. Я нахожу, что здесь даже интересно.

Длинный мужчина снова посмотрел на него — метнул быстрый взгляд прямо в зрачки и тотчас отвел глаза.

— Как продвигается валлийский? — спросил он.

— О, gweddol[1].

Последовала короткая пауза, во время которой Роджер даже слышал свое дыхание.

Затем Дик Шарп сделал глоток из стакана, аккуратно поставил его и сказал:

— Все равно.

— Что все равно?

— Вы выбрали для этого самый трудный путь.

— А я считаю этот путь легким. Во всяком случае,— как бы между прочим добавил Роджер,— он был бы легким, если бы нас оставили в покое.

— Послушайте,— сказал Дик Шарп. И вдруг пригнулся к Роджеру: — Вы ведь могли бы изучать валлийский и без всего этого... без этих треволнений и неприятностей. Если вы хотите поработать в этом районе месяца три или полгода, я готов вам помочь. Я найду вам куда более интересную и лучше оплачиваемую работу.

— Именно это вы им всем и говорите, да? — (А про себя Роджер подумал: «Значит, он не знает, что я работаю у Гэрета задаром. Это интересно».)

— Да, именно так я всем и говорю,— нимало не смущаясь, подтвердил Дик Шарп.— И все меня слушают.

— Возможно, до сих пор все слушали. Но сейчас вы наткнулись на такого, который не станет слушать.

— Но *почему?* — спросил Дик Шарп. В глазах его, скользнувших по Роджеру, внезапно вспыхнул огонек.— В чем дело? Скажите мне.

Роджер откинулся на спинку кресла и, прежде чем ответить, сделал большой глоток виски.

— Я ведь здесь ненадолго. И прямо могу признать, что все это не так уж для меня существенно.

— Значит, вы просто развлекаетесь? Убиваете время и осложняете жизнь тем, кто вынужден здесь сидеть.

---

[1] Отлично *(валл.)*.

— Вы прервали меня. Я вовсе не это хотел сказать. Моя жизненная позиция прямо противоположна тому, что вы говорите. Даже если это всего лишь эпизод в моей жизни, я хочу приносить какую-то пользу, а не просто набираться валлийского, потому что мне это нужно.

Дик Шарп пристально смотрел на него.

— Что ж, такой человек, как вы, мог бы принести здесь немало пользы. Ведь вы человек образованный. Но почему именно Гэрет Джонс?

— А почему бы и нет? Я помогаю человеку продержаться.

— Прошу меня извинить,— сказал Дик Шарп,— но нам тут было бы куда легче, если бы люди вроде вас не являлись сюда и не вмешивались в наши дела.

— Вы говорите совсем как полисмен из Алабамы,— заметил Роджер, уже сам нанося удар.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать, да и не стремлюсь. Вы являетесь сюда и начинаете болтать о том, что нужно помочь кому-то выжить. И не даете себе труда заметить самую большую беду Северного Уэльса: мы поддерживаем жизнь в трупах и гальванизируем слишком многое, что уже мертво.

— Что же, например? — резко спросил Роджер.

— Мелкие фермы. Мелкие предприятия. Мелкие идеи. Взять хотя бы этого чертова идиота Марио с его пластиковыми бомбами.

— У Марио есть пластиковые бомбы?

— Пока еще нет, но скоро будут, если не остановить его, мой друг. Раз от разу взгляд у него становится все безумнее. В один прекрасный день он положит пластиковую бомбу в чемодан и снесет кому-нибудь полголовы.

— Я не ожидал, что вы столь красноречивы,— заметил Роджер, переходя врукопашную.

— А какие у вас, собственно, основания считать меня таким или сяким?

— Не знаю. Можете назвать это дерзостью мысли, если хотите. Я считал, что вы просто прожженный местный делец, который спешит прибрать к рукам все, что может принести какой-то барыш, и ради этого не гнушается никакими средствами. Этакий мелкий жулик, работающий на задворках и использующий еще более мелких жуликов, чтобы отвинчивать гайки на колесах чужих машин. Естественно, я никак не ожидал, что у вас могут быть свои теории.

— Понятно,— сказал Дик Шарп.— Значит, так: я здесь родился, вырос и знаю тут каждый закоулок, но у меня не хватает ума, и я не достаточно начитан, чтобы обосновать свои действия. А вы являетесь, кидаете взгляд вокруг и с ходу можете все объяснить. Даже меня.

— Стойте, стойте,— сказал Роджер. Это начинало его занимать.— Возможно, я зря претендую на то, что все понял. Но вы зря претендуете на то, что вы тут все можете, а это гораздо хуже.

— Разве я на это претендую? Только на то, что у меня современные идеи и что я хороший делец — вот и все.

— Не лицемерьте. До сих пор мы были честны друг с другом. Давайте от этого не отступать. Вы прекрасно знаете, что претендуете на большую власть — все хотите прибрать к рукам. Вы тут словно маленький Цезарь, перед вами все должно отступать. Если бы эта машина, которую я брал напрокат, перекувырнулась, спускаясь с горы, и я был бы убит, вы бы и на десять минут не потеряли сна.

— Вам не дает покоя эта машина,— заметил Дик Шарп, отпивая из стакана.

— Но послушайте, ведь именно вы стояли за всем этим, как и в

тот раз, когда мне облили краской дверь. И все — по одной лишь причине. Вы считаете, что Гэрет Джонс не имеет права существовать.

— Да,— сказал Дик Шарп. И откинулся на спинку кресла.— Считаю, что не имеет.

— Ну, а я считаю иначе. Видите, как все просто.

— О нет, вовсе не просто, мой друг. Существуют ведь определенные законы.

Роджер коротко рассмеялся.

— Вот уж не думал, что услышу от вас о законах.

— Осторожнее, это уже клевета.

— Не валяйте дурака.

Они скрестили взгляды, на этот раз не скрывая вражды друг к другу.

— Когда я говорю, что существуют определенные законы,— сказал Дик Шарп, и его курчавый каштановый хохолок, вздрогнув, повис, как петушиный гребень,— я имею в виду законы, реально существующие, а не те, что записаны в сводах.

— Можете мне об этом не говорить. Законы экономики — единственные, которые приемлют люди вроде вас...

— Видели вы когда-нибудь, как еж попадает под машину? — спросил Дик Шарп.

— О, я так и знал, что вы вылезете с каким-нибудь этаким доводом. Вы думаете, это оправдает ваши...

— Так вот еж,— продолжал Дик Шарп, перебивая Роджера,— нарушил закон, сев посреди дороги, где ездят машины. Не тот закон, какой вы признаете, а тот, какой признаю я. Он свернулся клубком, когда увидел приближавшуюся машину, верно? И если бы вместо машины была лошадь, она копытом отбросила бы его с дороги. Но то была не лошадь. За это время были изобретены машины, не так ли?

— Хорошо. Не трудитесь расшифровывать. Вы — машина, а Гэрет — еж, и он должен осознать то, что вы уже изобретены и существуете.

— Что ж, можно и так сказать. Только он вовсе не обязан осознавать. В то же время, если он этого не осознает, ничто не убережет его и он будет раздавлен.

— Так,— сказал Роджер.— А вы при этом выходите сухим из воды, верно? Вы можете сломать Гэрета или другого мелкого собственника, вы можете применить любые, самые безжалостные методы, вплоть до насилия, и при этом не будете считать себя виноватым, потому что не вы повинны в этом, а законы.

— Вы тут столько всего наговорили, мистер, что я должен был бы чувствовать себя очень не в своей тарелке. Но почему-то это меня не трогает. Если бы вы больше разбирались в том, о чем идет у нас речь, вы могли бы действительно вступить со мной в схватку и задеть меня за живое. А так — контакта не получается. Одно мне ясно: сами вы никогда не занимались бизнесом.

— И это все, конечно, объясняет, не так ли?

— Не все, но многое. Вы обозвали меня душегубом и прожженным дельцом. Так вы себе меня представляете. Что ж, скажу вам, кто я на самом деле. Начинал я очень скромно. Никакого капитала. Был обычным трудягой. Но потом выделился, поработал тут, поработал там, и через некоторое время уже несколько ребят работали на меня. Знаете ли вы, каково это — начинать дело без капитала? Это все равно что открыть зоосад без клеток. Ничто не стоит на месте, ничто не ждет. И на все надо добывать деньги — и притом быстро, не так ли? А твои конкуренты — ребята, чьи отцы уже процветали, да и деды тоже, вот так-то. И у них есть акции, и ценные бумаги, и деньги в

банке, и они могут выжидать сколько угодно. А у тебя ничего этого нет. Ты засыпаешь одну яму землею, взятой из другой, а потом вырываешь третью, чтобы заполнить вторую,— иначе ты упадешь в нее. Я быстро делаю деньги. Приходится. Меня считают богатым — местные жители, те, с кем я вырос. Ну, а я не богат. Я могу завтра стать банкротом. Я зарабатываю уйму денег, но все эти деньги уходят. Я пускаю их в оборот, как только они поступают ко мне, потому что вынужден расширять дело. Возьмем, к примеру, эту историю с автобусами. Я потратил больше того, что мог, скупая автобусы у мелких владельцев. Все они получили хорошую плату. Человека два или три немного потянули, не решаясь продать свои машины,— мне пришлось их подтолкнуть. Располагай я капиталом, я мог бы позволить себе такую роскошь — вести себя как джентльмен и не нажимать. Но у меня нет капитала. Вложения не окупались, а деньги мне были нужны. Поэтому я вынужден был накинуть на всех этих мелких собственников мешок. И все они оказались в нем. Все, кроме Гэрета Джонса, моего бывшего одноклассника. Понимаете, мы вместе носили бутерброды в школу, когда учились в Лланкрвисе, потому что слишком далеко было ходить домой в гору и спускаться обратно, а в школе обедов тогда не было. И каждый день я отдавал ему часть своих бутербродов, потому что слишком уж мало ему давали из дома.

— И вы считаете, что теперь он должен отдать вам свой автобус за несколько тех самых бутербродов?

— Да вы прекрасно, черт возьми, знаете, что я считаю. У Гэрета Джонса нет никаких оснований иметь зуб против меня.

— Никаких оснований? Вот как! Просто вы пытаетесь лишить его средств к существованию — только и всего.

— О, я не просто пытаюсь, англичанин,— снисходительно заметил Дик Шарп.— Я это *делаю.* Деньги мне нужны ровно через три месяца, и я готов потратить сейчас еще немного, чтобы к определенному моменту капитал уже обернулся и я имел бы нужную сумму на руках.

— Не задумываясь над тем, справедливо вы поступаете или нет.

— Справедливости не существует,— сказал Дик Шарп.— Едва ли можно считать справедливым, когда машина переезжает ежа.

Он смотрел на Роджера с доброжелательным интересом, словно ожидая, что́ тот на это скажет. Но Роджер в этот момент поверх его плеча увидел приближавшегося к ним человека. Это был тот самый блондин, который докучал Райаннон во время ее дежурства. Пока молодой человек, покачивая на ходу плечами, шел к ним, Роджер понял, что это — любимое дитя Дика Шарпа и его дебелой блондинки-жены. Светлая шевелюра у баловня судьбы была явно от матери, агрессивность — от отца, а эгоизм выработался за годы родительской опеки.

Не обращая ни малейшего внимания на Роджера, он стал в небрежную позу перед отцом и спросил:

— Готов в путь, пап?

— Более или менее,— ответил Дик Шарп, отодвигая кресло и вставая.

— Тот человек только что звонил,— сказал Шарп-fils[1].

— Звонил, да? Все в порядке?

— В норме.

И они направились к выходу. Роджер с ненавистью посмотрел им вслед. Во время разговора с Диком Шарпом были моменты, когда он начинал чувствовать даже какую-то приязнь к нему или по крайней мере начинал понимать его точку зрения и, хотя был в корне с ним

[1] Сын *(франц.).*

не согласен, все-таки делал какие-то скидки. Но когда он увидел Дика Шарпа с этим мерзким малым, его сынком, все сразу переменилось. Дик Шарп и те из его сверстников, которые исповедуют такие же взгляды, способны превратить мир в хромированную пустыню, а потом передать эту пустыню в наследство своим отвратительным потомкам. В общем-то ведь Дик Шарп добивался создания такого мира, где молодчикам вроде его сына никогда не придется утруждать себя заботой о том, чтобы походить на людей!

Роджер поднялся и направился к выходу из отеля. На улице с легким шуршаньем падал дождь. Было уже поздно. Вечер кончился. Может быть, стоит взять такси до Лланкрвиса?

Нет, он пойдет пешком. Ему надо устать, иначе это длинное настороженное лицо, увенчанное петушиным гребнем, непременно встанет между ним и его сном. А ему надо как следует отдохнуть. Что-то непохоже было, чтобы жизнь его пошла легче.

Он проделал немалый путь и к тому времени, когда достиг самой крутой части подъема, перед Лланкрвисом, почувствовал, что его ждет крепкий сон. Дождь прекратился. Решение прошагать пешком эти четыре мили до дома было мудрым — тревога его на время улеглась.

Однако домик миссис Пайлон Джонс был ярко освещен, точно для буйной вечеринки. От каждого окна по земле тянулась желтая полоса. Последние пятьдесят ярдов, несмотря на крутой подъем, Роджер проделал почти бегом. Коричневая дверь была закрыта; он уже знал, что зеленая дверь тоже закрыта, но знал он и то, что это скорее всего объясняется нежеланием впускать холодный воздух с улицы. Дом не спал и, объятый тревогой, ждал его.

А когда он подошел ближе, то сам все увидел. В фасадном окне квартиры, которую миссис Пайлон Джонс сдавала на лето отдыхающим, зияла огромная звездообразная дыра. В его фасадном окне.

Роджер подошел к зеленой двери и открыл ее. В коридоре, равно как и во всех комнатах его квартиры, горел свет. И у него были гости. Миссис Пайлон Джонс стояла посреди его гостиной, нервно сплетая и расплетая пальцы и то и дело поглядывая на разбитое стекло. Возле нее стоял сосед — мистер Кледвин Джонс. Вихор мистера Джонса осуждающе торчал надо лбом, а в его глазах, устремленных сквозь стекла очков на Роджера, читалось удовлетворение, какое может доставить законопослушному гражданину возможность исправить вопиющее зло, и решимость извлечь из этого максимум удовольствия.

— Наконец-то явились,— сказал он.

Роджер собирался обратиться к этой паре по-валлийски, но мистер Кледвин Джонс явно счел, что английский язык больше подойдет для выражения холодной враждебности.

— Когда это случилось, я тут же побежала за мистером Кледвином Джонсом,— сказала миссис Пайлон Джонс.— Я была так перепугана. Я просто не могла оставаться здесь одна. У меня шок — вот что. Шок.— Она явно очень старалась для большей убедительности выжать из глаз несколько слезинок, но они упорно оставались сухими. Однако отчаяние ее было подлинным.

— Когда случилось — что? — спросил Роджер.— Может, мы все-таки присядем? — добавил он.

— Как что случилось? — с возмущением произнес мистер Кледвин Джонс.— Да вот это.— И он судорожным движением показал на

разбитое стекло.— Все ваши милые дружки наделали. Пока вы где-то развлекались.

Роджер устало опустился на стул.

— Вам придется съехать отсюда, мистер Фэрнивалл,— поспешно заявила миссис Пайлон Джонс. Она стояла чуть позади коренастой фигуры мистера Кледвина Джонса и, обращаясь к Роджеру, словно выглядывала из-за ствола дерева.— Мне надо было предложить вам съехать еще тогда, когда облили дверь краской. Мне следовало знать, что меня ждет. Вам придется завтра же съехать!

— Да не глупите вы! — прикрикнул на нее Роджер.— Ну как я могу завтра съехать? До следующего уик-энда у меня не будет времени ни подыскать что-то другое, ни вывезти вещи.

— Это справедливо,— тоном судьи изрек мистер Кледвин Джонс, поворачиваясь к миссис Пайлон Джонс и кивая, отчего величественно качнулся вихор у него надо лбом.

— Ну, тогда в воскресенье,— сказала миссис Пайлон Джонс, быстро-быстро сплетая и расплетая пальчики.— Я не могу держать его ни на один день дольше воскресенья. Я слишком нервная. У меня был шок, правда — шок.

Роджер решил выйти из положения с максимальным достоинством.

— Миссис Джонс,— сказал он.— Я крайне сожалею, что мое присутствие в вашем доме причинило вам столько неприятностей. Я при первой же возможности избавлю вас от себя.

Она кивнула как-то по-птичьи.

Он проводил их до зеленой двери и тут же лег в постель. Пусть возвращаются хулиганы Дика Шарпа, пусть они разобьют все стекла этого чертова дома, лишь бы ему дали спать, спать, спать.

Наступило воскресенье. Сидя за завтраком, Роджер ожидал, что миссис Пайлон Джонс вот-вот с визгом ворвется к нему и потребует, чтобы он немедленно съехал. Но вместо этого она не покидала своей половины и лишь насылала на него волны молчания сквозь занавешенную дверь. Он посидел перед электрическим камином еще около часу, буквально кожей чувствуя, как ей хочется поскорее от него избавиться, и сила ее желания была такова, что он наконец поднялся и направился к двери. Застегнув плащ, он вышел на улицу без всяких определенных намерений — просто чтобы уйти от этого гипноза.

Снаружи мир тонул в белом тумане. Он стлался длинными полосами вдоль стен, застывал озерцами в каждой выемке, а на голых склонах медленно клубился, вспугнутый овцами. Воздух был сырой и холодный. И Роджер чувствовал себя беспомощным, всеми покинутым.

Он направился к перекрестку в центре поселка. Неподалеку от него возвышался высокий стройный силуэт часовни — сейчас жесткие очертания ее были слегка затушеваны туманом. Вокруг не было ни души. Примерно через полчаса паства соберется у этой часовни, постоит несколько минут, дрожа от холода и обсуждая местные новости, а потом войдет внутрь, чтобы приобщиться к той силе, которая создала их из праха. Впервые Роджеру захотелось присоединиться к ним — просто для того, чтобы постоять на людях и вместе с ними принять участие в чем-то таком, что хотя бы на время поднимет их и его вместе с ними над острыми зазубринами личных забот. Но потом он представил себе, как они уставятся на него поверх своих молитвенников. Слишком долго он прожил среди них чужаком — так какое он имеет теперь право вдруг открыто показать, что хочет быть с ними?

А у священника была собственная маленькая машина, и он никогда не ездил на автобусе.

Роджер не останавливаясь прошел мимо часовни. И тут он увидел Райаннон, приближавшуюся к нему из тумана.

Он остановился, поджидая, пока она поравняется с ним. Она его не видела и спокойно продолжала свой путь.

— Куда это вы направляетесь? — спросил он ее, когда она подошла ближе.

— Отец попросил меня пойти с ним в часовню. А я сказала, что у меня болит голова, мне хочется прогуляться и я встречусь с ним перед началом службы.

— И вы собираетесь выполнить свое обещание?

— Не думаю. А вы куда направляетесь? — спросила она.— Я полагала, что вы отдыхаете по воскресеньям: ведь вам приходится каждое утро так рано вставать, чтобы успеть к первому рейсу.

— Меня выкинули из моей конуры,— бесцветным голосом сказал он.

— Что? Миссис Пайлон Джонс отказала вам в квартире?

— Да.— И он рассказал ей все. Пока он рассказывал, они продолжали идти по дороге и вдруг обнаружили, что ушли далеко.

— Что же теперь вы будете делать? — спросила она.

— Понятия не имею. Никто в Лланкрвисе не возьмет меня к себе на квартиру. А если кто и отважится, то его станут так же изводить, а может быть, и хуже. И меня снова выкинут на улицу. Так что лучше ни на кого не навлекать неприятностей.

Они достигли того места, где на дорогу, по которой они шли, круто сбегала вниз тропинка, вившаяся меж отвесных склонов. Райаннон свернула на нее и полезла вверх.

— Куда вы меня ведете?

— Хочу кое-что вам показать,— сказала она. Лицо у нее было сосредоточенно-серьезное, словно она подавляла в себе волнение или внезапно на что-то решилась.

Они лезли вверх по откосу, а затем тропинка повернула и стала полого огибать плечо горы. Тут поселок кончался и начинались отдельные, редко разбросанные коттеджи. Куда она его ведет? На уединенную тропинку в горы? Ах, Райаннон! Если бы можно было оказаться вдвоем с тобой в какой-нибудь впадине, наполненной светящимся туманом!

Тропинка, словно червь, ползла по крутому склону. Она осторожно заворачивала, пока не вывела их к обрыву,— внизу, под ними, лежала долина, где росли маленькие сучковатые дубы. Деревья стояли почти голые, лишь отдельные ветви были еще одеты бурой листвой. Из буро-серых зарослей то тут, то там вздымались к небу островерхие скалы. И над всем этим мягкой пеленою стлался туман. От такой красоты у Роджера захватило дух — хотелось громко выразить свой восторг, но таинственность пейзажа принуждала к молчанию. Здесь было царство друидов.

Роджер никак не мог понять, зачем Райаннон привела его сюда, но тут он заметил, что она стоит и выжидающе смотрит на него. Он не обнаружил пока ничего, что требовало бы какой-то реакции с его стороны, если не считать волшебства долины, раскинувшейся у их ног, а Райаннон, конечно, привела его сюда не затем, чтобы любоваться красивым видом. Неподалеку от них стояла маленькая заброшенная часовня, которую он заметил еще раньше, во время своих одиноких прогулок по горам. Ее окружала кирпичная ограда с железными крестами и чугунной кованой калиткой. Ограда, кресты и калитка были

в хорошем состоянии. Что же до часовни, то он ни разу по-настоящему не рассматривал ее.

— Ну и что же дальше? — спросил он.

Вместо ответа Райаннон щелкнула засовом калитки. Роджер поднялся следом за нею на две ступеньки и вошел в крошечный мощеный дворик, существовавший лишь для того, чтобы часовня — раз это храм — не стояла на голой земле. Дворик был выложен каменными плитами, хоть и сильно потрескавшимися, но плотно пригнанными друг к другу. Райаннон, шедшая впереди, завернула за угол часовни. Роджер не сразу последовал за ней, а остановился и заглянул в затянутое паутиной окно. Внутри был большой голый зал, где раньше, очевидно, стояли скамьи и кафедра, а в противоположном конце виднелась дверь, которая, должно быть, вела в заваленную церковной утварью ризницу. Сейчас там, где раньше молились, все было расчищено, прибрано и выглядело как жилое помещение. У стены стояла большая широкая кушетка; пузатая чугунная печка с длинной трубой, возможно, находилась здесь еще в те времена, когда часовня была часовней,— тем не менее она придавала залу вид студии на Монмартре. У дальней стены, там, где было меньше сырости, стояло несколько холстов в подрамниках.

— Ей-богу, да ведь тут студия! — пробормотал он, чувствуя, как в нем нарастает волнение.

В эту минуту Райаннон появилась из-за угла, огорченно покачивая головой.

— Не могу найти.

— Что?

— Ключ.

— Но кому это принадлежит? И чьи тут полотна?

— Одной фрейлейн.— Райаннон издала короткий смешок.— Она сейчас в Марокко. Но раз мы не можем проникнуть туда, нет смысла вдаваться в подробности.

— Проникнуть туда? — переспросил Роджер.— В этом вся проблема?

— В этом первая часть проблемы.

Роджер мгновенно принял решение. Он быстро обошел здание, проверяя, не стеклянная ли сзади дверь. Но нет, задняя дверь оказалась из прочного дерева. Значит, придется воспользоваться одним из окон. Он обошел часовню с той стороны, которая не видна была с дороги, и, подтянувшись, залез на выступ окна. Вот тут можно кое-что сделать. Верхняя часть окна была достаточно широкой, чтобы в нее мог пролезть не слишком полный человек; Роджер увидел шпингалет, от которого его отделяло обычное стекло в свинцовой раме. Действуя быстро и решительно, не давая себе времени на раздумье, которое потом оправдало бы его бездействие, он спрыгнул на землю, поискал подходящий камень, нашел и снова залез на выступ.

Два-три удара острым концом камня — и он смог просунуть внутрь руку. Роджер опустил шпингалет, и окно распахнулось наружу. Он услышал шаги Райаннон, огибавшей здание, и, не желая предстать перед ней в отнюдь не выгодном виде, когда ноги его будут болтаться в воздухе, просунул голову и плечи в образовавшееся отверстие, оттолкнулся изо всей силы ногами и приземлился на деревянном полу среди пыли и разбитого стекла. Он сразу вскочил и решительно направился к главному входу в часовню. Дверь он открыл без труда: как оказалось, в нее был вделан современный французский замок, который явно смазывали и держали в порядке. Затем Роджер выглянул в сгустившийся туман и тихо позвал:

— Райаннон! Входите в мои владения!

Она появилась из-за угла часовни.

— Быстро сработано. А я-то рассчитывала увидеть, как вы будете пролезать в окно.

— Я постарался побыстрее с этим справиться, чтобы вы меня не застали врасплох. В моем возрасте надо думать о достоинстве.

Произнося эти слова, он отступил от двери, чтобы пропустить ее.

— Да,— сказал он, последовав за нею и останавливаясь возле нее посредине помещения, на голом полу,— вот это сюрприз.

— А разве вы не знали о существовании этого места?

— Я видел часовню только снаружи. Мне казалось, что это обычная пустая часовня. Я понятия не имел, что она так обставлена. А кто эта фрейлейн? У нее есть какое-нибудь имя?

— Часовня многие годы пустовала,— сказала Райаннон.— Мальчишки выбили окна, шифер слетел с крыши, но все это вполне естественно. Мы с Дилвином когда-то играли тут. Он иногда говорил мне: «Давай залезем внутрь». А мне не хотелось. Я боялась лезть в часовню. Мне казалось, что господь тотчас покарает меня и я умру или со мной что-то случится. А потом мистер Робертсон начал приходить сюда с фрейлейн.

Роджер не прерывал ее.

— Сначала они встречались в гостинице. Она жила в их семье au pair[1], и он сошелся с ней. У него уйма денег. Он судовладелец. Ему принадлежит пассажирская линия «Голубая лента» или что-то в этом роде — этакое претенциозное название. Контора у него в Ливерпуле. Ну, а эту девушку зовут фрейлейн Инга Она распоряжалась мистером Робертсоном и его чековой книжкой, как хотела. К тому времени она, должно быть, уже перестала жить в их семье, но отнюдь не исчезла со сцены. Ей не нравился Ливерпуль, а мистер Робертсон не хотел селить ее в Лондоне, потому что это слишком далеко. Видимо, ему хотелось, чтобы она была у него на глазах. Ну и вот — он стал приезжать с ней сюда на уик-энды. Случалось, он возвращался в понедельник в Ливерпуль, а она оставалась в Карвенае или где-нибудь поблизости. Бродила по горам с этюдником и рисовала. Говорила, что она художница и умеет видеть горы. По-моему, это не так уж трудно. Под конец его осенила счастливая мысль. Он купил ей эту часовню и переоборудовал ее под студию. Вот только беда в том, что она не желала проводить тут зиму. Да и в Ливерпуле тоже. По последним слухам, она уговорила его отпускать ее на зиму в Марокко. Кстати, у него там тоже есть контора.

Роджер попытался представить себе эту Ингу. Перед ним возникли длинные светлые волосы и своевольный, довольно тонкий рот. А мистер Робертсон, наверное, лысый и курит сигары. Роджер подошел к стене и перевернул несколько холстов. Сплошь абстрактные картины — бессмысленные, пестрые и плоские.

— Что же, мне повезло: хорошо, что она сумела заставить мистера Робертсона оборудовать ей это гнездышко. Но скажите, он никого не присылает сюда для инспекции?

— Ключ находится на почте. Но они никогда сюда не приходят.

Роджер нагнулся и открыл дверцу печки. В ней было полно золы, среди которой торчало несколько кусочков шлака.

— Похоже, что она в порядке. Как, по-вашему, что произойдет, если я сюда перееду?

Она пожала плечами:

— А что может произойти?

[1] На пансионе *(франц.)*. Обычно это относится к девушкам-иностранкам, приезжающим в страну изучать ее языки, живущим в какой-нибудь семье, где они выполняют работу по дому в уплату за квартиру и за стол.

— Ну... с точки зрения буквы закона я совершу преступление. А найдутся люди, которым будет очень на руку, если меня отправят в тюрьму.

— Вы имеете в виду Дика Шарпа,— сказала она.— Видите ли, ему придется для этого вступить в контакт с мистером Робертсоном и фрейлейн. Но посреди зимы их из Марокко сюда не вытащишь. Она просто не приедет. А мистеру Робертсону не очень понравится, если кто-нибудь станет совать нос в его дела. Часовня, по всей вероятности, записана за ним, но это вовсе не значит, что он хочет, чтобы все знали об этом. У него есть жена и дети, он не позволит себе неосторожных поступков.

«Это уже говорит портье из отеля,— подумал Роджер.— Ничто не ускользает от ее глаз. Такая молодая и такая рассудочная».

Он направился к двери в ризницу, отворил ее и заглянул внутрь. Ризница была переоборудована в крошечную кухоньку с мойкой, кухонными шкафами и аккуратной четырехконфорочной плитой.

— Боже мой! Да я, видно, брежу!

— Они провели сюда электричество,— послышался сзади него голос Райаннон.— Оно включается с помощью рубильника. Я думаю, вы без труда его найдете.

С неожиданной, почти маниакальной энергией Роджер, точно терьер, ринулся на поиски рубильника: он заглянул в шкафчик под мойкой, стал на четвереньки, обследуя самые темные уголки. Не прошло и минуты, как он обнаружил то, что искал: две небольшие пробки и рубильник. Рывок вниз — и счетчик заработал с неизбежностью рока. Теперь точка поставлена. Они стали преступниками.

Он повернулся к Райаннон.

— Вам ясно, что мы наделали? Мы же с вами сообщники в преступлении. Я выбил окно, а теперь мы к тому же заняли чужое помещение и крадем электроэнергию.

Она спокойно и бесстрастно смотрела на него.

— Вам ведь надо где-то жить,— спокойно произнесла она,— и не ваша вина, что вы вынуждены съехать от миссис Пайлон Джонс.

— Спасибо, что вы так логично все обосновали. Теперь мне остается только переехать сюда и ждать, пока они явятся темной ночью и перережут мне горло. Никто не услышит моих криков внизу, в поселке.

Она отрицательно покачала головой:

— Они этого не сделают. Запугивать женщин они могут, но не больше. Дик Шарп — если он стоит за всем этим — может найти молодых парней, готовых бить стекла и обливать краской двери. Но это одно дело, а пойти в тюрьму на двадцать лет — другое.

— Весьма утешительно.

Они вернулись в основное помещение часовни. Здесь под потолком горела люстра о трех лампочках. Роджер, остановившись на пороге, в первый раз внимательно огляделся. Это было очень большое помещение, если воспринимать его как жилое, и совсем крошечное, если считать, что это часовня. Погруженный в свои думы, Роджер отчетливо видел перед собой темные воскресные одежды, широкие котлетообразные бакенбарды, видел суроволиких женщин в чепцах, слышал пение гимнов, разносящееся по горам, долетающее до притихших по-субботнему каменоломен... Два-три семейства посещали только эту маленькую часовенку. Из месяца в месяц, из года в год — все те же два-три семейства на протяжении всей жизни. Почему, по какой причине приходили они сюда? Только ли потому, что не так-то легко спускаться вниз, в поселок, в плохую погоду? Кое для кого из фермеров с самых высоких плато, может быть, оно и так. Но, конеч-

но, были и другие, более важные причины — тот холодный яростный огонь протестантизма, который вел таких же вот людей за Гусом и за Виклифом. И они построили эту часовню, старательно своими руками сложили ее из голых камней и скудной глины, чтобы молиться богу на свой собственный лад; в них горело то гордое упрямство европейцев, которое посылало одних людей на костер, других — в темные пучины Атлантики.

А теперь он, современный наследник европейской культуры, стоит здесь рядом с темноглазой, нежноголосой девой этих гор, которую лишь одно поколение отделяет от тех, кто своими мозолистыми руками воздвигал эти стены. И привела она его в эту часовню, руководимая простой, самой обыкновенной добротой,— пожалела его, потому что ему негде приклонить голову в непогоду; а он пошел за ней прежде всего потому, что ему хотелось сорвать с нее одежду и жестоко, по-звериному ею овладеть. Вот к чему, к какому концу мы пришли. Великая книга европейской истории захлопнулась со стуком. Его и Райаннон, столь несхожих во многом, роднило одно: они были варварами и, глядя на эти стены, не могли проникнуться духом идеи, их воздвигшей.

Роджер ухмыльнулся высокопарности своих мыслей. А в восемнадцатом веке Райаннон обрюхатил бы, соскочив с седла, какой-нибудь лихой сквайр, повстречайся она ему на пустынной дороге. Религиозный фанатизм викторианцев был всего лишь местным отклонением от общей схемы.

— А теперь я пойду.

Голос Райаннон вернул Роджера к действительности. Внезапно он понял, что не в силах перенести одиночества,— нет, только не сейчас; ему нужно ощутить хоть немного человеческого тепла, нужно хоть немного прийти в себя. А в этой часовне, примостившейся на скалистом уступе горы, ему будет невыразимо одиноко.

— О, прошу вас, не уходите! — взмолился он.— Понимаете... я так благодарен вам за то, что вы помогли мне, показали эту часовню, и это, мне кажется, разрешит все мои проблемы... но если вы уйдете... Мне сейчас очень нужно, чтобы кто-то был возле меня, чтобы я мог с кем-то поговорить. Клянусь богом, я не стану покушаться на вас: я далек от таких мыслей.— Он говорил вполне искренне.— Если я обоснуюсь здесь, мне надо протопить печку, прибрать, подмести, приготовить себе еду, и все это необходимо сделать сегодня же. Завтра у меня уже не будет на это времени... А я, правду сказать, так устал, так пал духом, и, ну, в общем, как-то так выбит из колеи, что одному мне тут нипочем не управиться. Если вы уйдете и мне не с кем будет перемолвиться словом, я просто лягу и — пропади все пропадом!

Он не таясь взывал к ее состраданию. И ему стало легче, когда он это высказал. Теперь всякому притворству пришел конец: достоинство, самоуверенность — все личины были сброшены, он был бродяга и питался милостыней.

— Мне надо в церковь,— сказала Райаннон.

— Вы знаете, что это совсем не обязательно. Вы всегда можете сказать, что вас все еще мучила мигрень и вместо церкви вы пошли прогуляться в горы.

— Меня ждут дома к часу. Мама готовит праздничный обед.

— Ну, до часу еще времени много.

Райаннон глубже засунула руки в карманы своего элегантного пальто, пожала плечами, резко повернулась, взглянула Роджеру в глаза и рассмеялась:

— Ваша взяла. Я помогу вам тут обосноваться. Сделаю одно доброе дело на сегодняшний день.

Уверившись, что она его не покинет, Роджер сразу ощутил прилив сил. Энергично и бесшумно он принялся за работу. Печурку надо было очистить от золы. В бункере он обнаружил остатки антрацита. Ни лучины, ни старых газет для растопки не нашлось, но все это он притащит от миссис Пайлон Джонс. Пора, сказал он, пойти туда и забрать свои пожитки.

— А как вы там управитесь? — спросила Райаннон. Она от нечего делать разглядывала холсты фрейлейн Инги, с коротким недоумевающим возгласом ставя их обратно одно за другим к стене.

— Просто соберу все в охапку и потащу на своих на двоих,— сказал он.— Придется пропутешествовать раз пять-шесть, но ведь не обязательно перетаскивать все сегодня. А теперь я пошел. Вы меня дождетесь?

— Да, пожалуй,— сказала она.

Роджер вышел и прикрыл за собой тяжелую дверь. На дворе посветлело, туман рассеялся — лишь кое-где еще висели последние клочья да внизу долина была затянута холодной полупрозрачной дымкой. Быстро, на глазах очищаясь от туч, голубело небо, и уже сияло солнце. Волшебный день! Неправдоподобно прекрасный! Быть может, он станет поворотным днем в его жизни? Роджер быстро зашагал по тропинке в сторону Лланкрвиса, потом приостановился на минуту и поглядел на горы, уходившие к горизонту, в глубь страны. Там на пиках лежал снег. Это белоснежное сверкание в вышине и зеленовато-коричневые тени внизу создавали впечатление призрачности, невесомости: сияющие массивы скал и снега плавали в промытом воздухе, словно эмблема рая.

Внезапно слух Роджера уловил тонкое жужжание. Он скользнул глазами вверх по склону горы. Ну, конечно, это Дилвин со своей моделью. Его худое напряженное лицо было запрокинуто к небу, в руках он держал прибор дистанционного управления с длинными усиками антенны, а над головой его бесценная игрушка, предмет такого же обожания, как Райаннон, его модель «Пайпер команче» четко выписывала круги в безоблачном полуденном небе.

Роджер с интересом следил за полетом модели. Ему импонировала творческая одержимость Дилвина, и он весело помахал юноше рукой. Но Дилвин не подал и виду, что заметил его. Он, прищурившись, глядел вверх и, казалось, не видел ничего вокруг. Или это проявление враждебности, открытое нежелание отвечать на его приветствие? Знал ли Дилвин, что Райаннон была с ним в часовне? Что она ждет его там, в той самой часовне, порога которой она когда-то не хотела переступить с Дилвином?

Что ж, тут уж ничего не поделаешь. Такой девушке, как Райаннон, суждено оставить след в жизни многих мужчин за эти несколько быстротечных лет, пока ее красота не увяла. И каждый урвет от этой красоты что сможет.

В доме миссис Пайлон Джонс Роджер упаковал свои пожитки в полной тишине, которая казалась ему густой и вязкой, как каша.

Бесшумно затворив за собой зеленую входную дверь (однако оставив пока ключ от нее у себя в кармане), Роджер обошел дом и постучал в коричневую входную дверь. На стук никто не отозвался, и он постучал снова, подождал немного, взял свой чемодан и уже хотел уйти, когда услышал, как кто-то торопливо и тихо, словно мышь, крадется к двери.

Миссис Пайлон Джонс чуть-чуть приотворила дверь. Ее разыгравшаяся фантазия уже превратила Роджера в потенциального убийцу.

— Ну вот, миссис Джонс, я отбываю. Теперь вас никто больше не потревожит.

Коричневая дверь захлопнулась неспешно и, уж конечно, без грохота, но окончательно и бесповоротно.

По дороге Роджер ломал себе голову, пытаясь понять, почему миссис Пайлон Джонс так восстановлена против него. Должно быть, по ее мнению, он наслал порчу на деревню. Следом за ним в Лланкрвис пожаловала вся эта шайка. Англичанин обосновался тут и принес с собой обычаи больших городов. А еще эта особа с голубым автомобильчиком и черными волосами — он стряпал для нее еду и хотел положить ее в постель в доме порядочной женщины, спавшей тут же, за стеной!

А вот и его часовня — его новое таинственное убежище. Жизнь была полна непредвиденного — он освободился наконец от кокона повседневности. Войдя в часовню, Роджер обнаружил, что там все чисто прибрано, но пусто. На видном месте лежал листок из блокнота, на котором Райаннон написала: «Вернусь к вечеру, должна пообедать дома».

Он едва успел разместить свои пожитки (провизию — в шкаф, чайник и чашки — на столик возле раковины, кофейник — на электрическую плитку, одежду — за дверь ризницы), когда раздался стук и снова появилась Райаннон.

— Милости просим.

Она с одобрением поглядела по сторонам.

— А у вас тут уже стало уютно.

— Это все благодаря печурке. Слава тебе господи, она топится отлично.

Райаннон опустилась на стул.

— Я принесла грелку. Вам надо проветрить эти одеяла. Но у вас же нет постельного белья!

Роджер был тронут. Грелка казалась ему ярким символом ее расположения к нему.

— Завтра я раздобуду простыни. А сегодня переночую и без белья — не помру.

— Ну вот что,— сказала она,— я-то поела, а вы нет.

— Но зато я выпил, а вы нет,— сказал Роджер, ставя на стол бутылку с джином.

— Не надо выпивать без закуски. Еще напьетесь, а я не хочу оставаться одна в пустой часовне с пьяным мужчиной.

Он отрезал толстый кусок черного хлеба, намазал его маслом, водрузил сверху несколько основательных кусков сыра и уничтожил все это у нее на глазах.

— Так-то лучше.— Она улыбнулась.

— А теперь,— сказал он,— я заслужил еще глоток спиртного.

Он плеснул джина в стакан, добавил воды, сахара.

— Ну, а вы? Выпьете со мной?

Она покорно глотнула чудовищной смеси. Она сидела на краю низенькой кушетки фрейлейн, протянув одну руку к теплу, струившемуся из открытой дверцы печки.

Он присел на кушетку рядом с ней.

— Райаннон,— сказал он. И не узнал своего голоса: он звучал так глухо от волнения.— Мне хочется понять вас.

— Зачем?

— Да ни за чем. Просто хочется.— Безотчетным жестом он взъерошил себе волосы.— Я давно перестал понимать людей. А здесь и вообще не встретил ни одного человека, которого бы мог понять хотя бы отчасти. Единственный человек, давший себе труд объяснить, что

им движет, был Дик Шарп. Но и его объяснения были крайне поверхностны — он главным образом пытался оправдать свои подлые поступки.

— Значит, вам хочется понять меня просто потому, что надо с кого-то начать?

— Нет, не потому. А потому, что вы — это вы. Расскажите мне о себе. Я хочу знать ваши взгляды на жизнь. И как она протекает, ваша жизнь? Она не может быть ограничена стенами этого славного одноэтажного домика на склоне горы, с мамой, папой и с собакой под телевизором.

— О господи, конечно нет,— сказала она беспечно.— Настоящая моя жизнь, разумеется, не в этом.

— Хорошо, а в чем? — *Чем наполнена ваша жизнь? О чем ваши мысли? Расскажите мне, Райаннон. У меня нет никаких притязаний на вас, ни малейшего права расспрашивать вас о чем бы то ни было, но все-таки расскажите.*

— Налейте мне еще джину,— неожиданно сказала она.

Роджер даже не заметил, что ее стакан уже пуст.

— А теперь рассказывайте. Здесь тепло и уютно, угли жарко пылают, и у вас благодарная аудитория в лице одного слушателя. Разве все это не пробуждает в вас желания поговорить о вашей жизни?

— Я не иду на поводу у своих желаний,— сказала она.— Иначе я бы уже давно попала в беду.

Что это нашло на нее? Роджер никак не ожидал услышать из ее уст такое полупризнание внутреннего конфликта.

Удобных кресел тут не было. Им приходилось довольствоваться кушеткой фрейлейн. Но сидеть выпрямившись, когда не к чему прислониться, довольно трудно. Повинуясь внезапному порыву, Роджер вдруг закинул ноги на кушетку и растянулся на спине. Возле него оставалось еще достаточно места.

— Идите сюда,— сказал он.

— Нет, благодарю вас.

— Когда рассказывают о себе, это всегда делают лежа. Психоаналитики...

— Не задуривайте мне голову. Вы не...

— Да, я не психоаналитик, но вы не получите удовольствия от хорошей исповеди, если будете сидеть в напряженной позе. Поверьте мне. Расслабление позвоночника творит чудеса.

— В таком случае я лучше не буду его расслаблять.

— Не расслабляйте, ладно,— успокаивающе произнес Роджер,— но приведите его в горизонтальное положение.

Он даже не успел удивиться собственной дерзости, когда его рука обхватила ее за плечи и мягко притянула на кушетку рядом с ним. На секунду тело ее напряглось, противясь, и тут же стало податливым, и пружины кушетки упруго приняли на себя его тяжесть. Подчинившись, она покорно лежала рядом с Роджером. У Роджера кровь застучала в висках.

— Если я позволила себе лечь, это еще ровно ничего не означает,— пробормотала она.

— Конечно нет. Просто так удобнее разговаривать.

С минуту они лежали молча. Потом она заговорила так тихо, что ее голос, казалось, даже не нарушил глубокого торжественного молчания часовни.

— Моя мать беспрестанно толкует мне о замужестве. Ей кажется, что только после замужества, и никак не раньше, начинается для женщины настоящая жизнь. И очень многие знакомые мне девушки

думают так же. Все, что было до замужества, кажется им чем-то ненастоящим — даром потраченным временем. Моя работа в отеле пришлась матери по сердцу: она считает, что я нахожусь там в окружении преуспевающих мужчин, которые могут предложить мне надежный домашний очаг. Послушала бы она, что они мне предлагают!

— Вы, значит, не рассказываете ей?

— Я не могу. Она не понимает, и никакая сила не заставит ее понять. Она живет в другом мире. А что касается отца...— Она пожала плечами, вернее, чуть-чуть шевельнула ими.— Ни с отцом, ни с матерью я не могу говорить ни о чем, что действительно имеет для меня значение. Мать может научить меня печь яблочный пирог, но во всем остальном я действую на свой страх и риск.

— Вам, верно, очень одиноко?

— Я привыкла доверять своему чутью. Я продумываю все с разных сторон и решаю, как надо поступить. Ведь мужчины вечно охотятся за тобой, стараются улестить, добиться своего.

Роджер молчал. Ему очень хотелось знать, удалось ли кому-нибудь из них чего-то добиться, но он слишком хорошо понимал, что спрашивать нельзя. Признание должно вырваться само.

— Порою мне кажется, что, может быть, мама права и настоящая жизнь начнется после того, как у меня будет дом, который нужно вести, и муж, о котором надо заботиться. И дети. Но я еще как-то не могу отчетливо представить себе все это. А порой мне кажется совсем другое — кажется, что лучшее время моей жизни — сейчас. Ведь все зависит от того, за кого я выйду замуж. Сейчас же у меня есть то, чего добиваются мужчины и за что они готовы платить. И какие деньги они тратят! Вначале меня это просто пугало. Но я быстро освоилась.

Роджеру показалось, что она хочет поставить на этом точку, и он негромко пробормотал:

— Вы давно работаете в отеле?

— Сначала я работала в банке — недолго, всего несколько месяцев; подвернулась работа в отеле, и мне показалось, что это куда занятнее.

Она снова примолкла, и он спросил:

— Ну и как?

— Да, занятнее,— сказала она.— По сравнению с банком тут жизнь кипит ключом. Все деловые люди останавливаются у нас. И молодые и старые. Трудно сказать, кто из них хуже, но одно я знаю твердо: ни один не оставит тебя в покое.

— А вы только этого и хотите — чтобы вас оставили в покое?

— Нет, и этого я тоже не хочу. И меня, в сущности, не так уж трогает, что все они добиваются одного и того же. А почему бы им не добиваться? Они так созданы. Но это надоедает. Ни один из них не желает мириться с отказом, и в конце концов приходишь к выводу, что надо выбрать кого-нибудь одного, кто будет ограждать тебя от притязаний остальных.

За окнами солнце уже завершило свой полукруг и, спустившись к горизонту, светило теперь с западной стороны. Близился вечер, не похожий ни на один вечер с сотворения мира. Роджер лежал тихо, слушал голос Райаннон и чувствовал, как ее хрупкое бедро мягко упирается ему в живот.

— Вот почему я сошлась с мистером Филдингом. Это не значит, что я просто вытащила из шляпы билетик с его именем. Он мне понравился. Он не был груб, умел ухаживать, мог быть мил. Даже очень мил. Он просто и честно сказал мне, что я скрасила его жизнь, принесла ему счастье, и ему хотелось бы доказать на деле, как высоко

он это счастье ценит. А поскольку единственное, чем он свободно располагает,— это деньги, то он хотел бы иметь возможность тратить их на меня и тем выразить свою признательность. Он был добр и постепенно так ко мне привязался, что не мог примириться с мыслью о том, чтобы меня потерять. В конце концов он решил развестись с женой и предложил мне выйти за него замуж, но я сказала «нет». Мы пререкались с субботы до понедельника.

— А, может быть, вы были бы счастливы с ним?

— Может быть, но брак заставил бы нас спуститься на землю. А так это было нечто иллюзорное — нечто вроде игры. Брак все изменил бы. Я стала бы миссис Филдинг, а он завел бы роман с какой-нибудь другой девушкой из отеля. А быть может, и не завел бы — это не так важно, в конце концов.

— А что же важно?

— Как вам сказать... если бы он стал моим мужем, вся моя жизнь должна была бы сосредоточиться на нем. Все, чем я живу, чем дышу,— все должно было бы вращаться вокруг него. А я не смогла бы к этому приноровиться.

— Но у вас же все было хорошо,— заметил Роджер, осторожно выбирая слова,— пока вы были просто... Пока вы просто встречались.

— Да. Тогда все было как-то иначе. Он ведь не лишил меня невинности. Это случилось раньше, когда я еще работала в банке.

«Где-нибудь в подвале, верно, после полудня, когда вы начинали томиться от безделья,— подумал Роджер.— Или после работы, на груде кредитных бланков».

— Мистер Филдинг откровенно признался мне, что он откладывал по две тысячи фунтов в год лично для себя. Чтобы повеселиться, хорошо провести время. Он много работал, сказал он, тридцать лет трудился, вырастил детей — они уже взрослые, и теперь у него достаточно денег, чтобы удовлетворять не только свои прихоти, но и чьи-то еще. Тем более что неизвестно, сколько еще суждено ему прожить. Он страдал язвой желудка, сердце у него тоже пошаливало. Я иной раз думала, что будет, если он умрет, когда мы с ним в постели?

— Не сомневаюсь, что он предпочел бы умереть именно так.

— Еще бы. А каково было бы мне?

— Нет такого закона, который запрещал бы вам с ним спать.

— Расскажите это моему отцу. Он дьякон. Когда я была девчонкой, он каждое воскресенье заставлял меня ходить в церковь, а потом еще в воскресную школу.

— Он и сейчас имеет на вас влияние?

— И сейчас,— сказала она. Ее глаза бродили по потолку, словно прослеживая какой-то узор.— От этого так быстро не освободишься.

«И тем не менее вот она лежит здесь, в часовне,— думал Роджер,— выпила изрядную порцию джина, и рука мужчины покоится на ее талии». И тут внезапно его осенило: «А может быть, как раз поэтому?»

— Мистер Филдинг брал меня с собой всюду,— сказала Райаннон. Голос ее звучал тихо, монотонно, как у сомнамбулы.— Он постоянно бывал то в Нью-Йорке, то в Чикаго. Я летала с ним туда на лайнерах и все время была при нем, пока он занимался делами. Он обычно представлял меня как свою секретаршу, и случалось, я даже помогала ему, приводила в порядок его бумаги. А покончив с делами, мы обычно отдыхали два-три дня во Флориде. Я загорала на солнце в бикини — это в феврале-то! — мои родители считали, что я гощу у своей подружки в Ливерпуле.

Внезапно боль, словно взрыв шрапнели, пронзила Роджера. Красный туман застлал ему глаза, и в этом тумане перед ним промелькнуло видение: Райаннон и мистер Филдинг, бредущие с залитого солнцем пляжа к себе в номер,— беспечные, не помышляющие ни о чем, кроме удовольствий. Он перевернулся на спину и закрыл лицо руками.

— Что случилось? — спросила Райаннон.

— Мне мучительно об этом думать,— сказал он.

— Не нужно так,— сказала она мягко. И, к его удивлению, вдруг наклонилась над ним, отвела его руки от лица и поцеловала его в губы.

На какой-то безумный миг земля опрокинулась и пошла крутиться в обратную сторону, закон притяжения был нарушен, все предметы утратили свою реальность, словно перенесенные из другой солнечной системы. Руки Роджера против воли скользнули вдоль бедер Райаннон. Она всей тяжестью лежала на нем, и он чувствовал тепло ее тела сквозь одежду.

— Зачем я это делаю? — пробормотала она и поцеловала его еще раз.

Он лежал безмолвный, онемевший.

Она улыбнулась и сказала:

— И все равно это ничего не значит.

Его руки, лежавшие на ее бедрах, становились требовательнее. Сейчас мы сожжем дотла воспоминания о мистере Филдинге. Здесь не Майами, но перед огромностью того, что сейчас произойдет, Майами ничтожно.

Злое монотонное жужжание внезапно нарушило тишину вечера. Вот оно все ближе, ближе, вот застыло на месте, стало затихать, описало круг. Что это — какое-то огромное фантастическое насекомое из фантасмагорий Кафки, какой-то шмель-великан, издающий воинственный клич, прежде чем напасть? Или это его пьяный бред? Или сон? Или он уже мертв?

Тонкое злое жужжание проникло в одно окно, потом в другое, в третье. Оно описывало круги над самой крышей. И вдруг Райаннон рассмеялась. Смех сотрясал ее, тонкая талия ее вибрировала под рукой Роджера. Еще мгновение, и она перекатилась на кушетку, выскользнув из его объятий.

— Это же Дилвин! — воскликнула она и снова рассмеялась.— Это его аэроплан!

Ну да, так оно и есть. И все сразу стало на свое место. С ужасающей отчетливостью Роджеру представилась банальность происходящего: он в Лланкрвисе, сейчас воскресный вечер, завтра в восемь пятнадцать он должен отправиться в первый рейс с автобусом, разбитое стекло еще не заделано, в печку надо подбросить угля, его колоссальное возбуждение сгорело дотла, и такие девушки, как Райаннон,— не для него, а для разных там мистеров филдингов.

А быть может, намекало жужжание, для дилвинов? Первая детская влюбленность — у нее, в конце концов, все козыри на руках.

Лежа на спине и прислушиваясь к резкому сухому жужжанию, все кружившему и кружившему над головой, Роджер вдруг подумал, что это, в сущности, самый прозаический звук на свете. Конечно же, в аэроплане Дилвина было что-то романтическое, когда он, словно чайка, нырял, взмывал вверх, реял... звуки же, которые он издавал, швыряли вас с облаков прямо на землю. И, без всякого сомнения, именно этого и добивался Дилвин. Он наблюдал, подкарауливал; он знал, что Райаннон здесь с Роджером, и решил: они уже достаточно долго пробыли вдвоем, настало время вмешаться. Что говорить, это была бле-

стящая мысль — послать сюда свою игрушку, чтобы она разрушила чары! Роджер недооценил Дилвина.

Райаннон сидела на кушетке и приводила в порядок прическу. То, что здесь произошло, больше уже не повторится никогда. Мгновение было упущено безвозвратно.

— Хотите выпить чаю? — спросил Роджер.— Я приволок сюда все необходимое.

— Это было бы неплохо,— внезапно ответила она тоном своего отца-дьякона.

Аэроплан Дилвина выпустил заряд царапающих звуков в перламутрово-голубое небо и начал спускаться вниз к своему хозяину.

А чуть позже Райаннон покинула часовню.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На следующий день, словно для того, чтобы покрепче внедрить в сознание Роджера, в каком мире он обитает, бурый автобус не давал им покоя целый день: табличка с надписью «Внерейсовый» маячила у них перед глазами на всех перегонах в город и обратно. Кондуктор-хорек неотлучно сопровождал теперь тестомордого шофера, и было похоже, что готовятся еще более агрессивные действия.

Эта парочка была необычайно хитра. Бурый автобус ни разу — ни на площади Карвеная, ни наверху, в Лланкрвисе,— не останавливался рядом с желтым автобусом. Он возникал на дороге в самых неожиданных местах — выскакивал из-за какого-нибудь проулка, на одну-две минуты опередив автобус Гэрета, и забирал всех, стоявших на остановке. В этот понедельник единственными пассажирами Гэрета и Роджера оказались те, кто пришел на конечные остановки загодя; с промежуточных же остановок всех забрал бурый пират и повез бесплатно. Последнее обстоятельство к концу дня начало тревожить совесть Роджера. Проезд из конца в конец — от Карвеная до Лланкрвиса — стоил шиллинг, и Роджеру было не по себе, когда он брал деньги из узловатой руки какого-нибудь старика пенсионера, который, выйди он чуть пораньше и пройди лишнюю сотню шагов, мог бы потратить свой драгоценный шиллинг на что-нибудь более приятное.

И в то же время здравый смысл подсказывал Роджеру, что, как только Гэрет сдастся, дорогой завладеет бездушная клика монополистов и тогда уже никому не поездить здесь на автобусе за шиллинг. Только продолжая борьбу, они могут защитить интересы тех, кто в этих случаях является извечной жертвой,— стариков и неимущих.

К тому времени, когда они совершали свой семичасовой рейс в город, застывшее в неподвижности лицо Гэрета уже походило на гранитную глыбу, а Роджер что-то гудел себе под нос, словно шершень. Бурый автобус не маячил впереди, но поскольку они приехали в город всего с тремя пассажирами, можно было не сомневаться, что где-то там, во тьме, ненавистная машина скользит, точно акула, от остановки к остановке и заглатывает доверчивых простаков в свою чудовищную багровую пасть.

Гэрет остановил автобус возле памятника сэру Неизвестно-Как-Его, выключил мотор и сидел, положив руки на баранку. Его поза, понурость его плеч — все говорило Роджеру, что надежда покидает душу Гэрета, ускользает из нее, как воздух из автомобильной камеры с незаметным проколом.

Роджер принужденно улыбнулся и хлопнул Гэрета по плечу:

— Пойдем-ка лучше выпьем.

В полном молчании — каждый чувствовал, что любое слово может выдать отчаяние, подступавшее к горлу,— они выключили свет и вышли из автобуса, оставив его на площади. Гэрет направился, как всегда, в свою пропахшую карболкой пивнушку, но Роджер не последовал за ним, а пошел к Марио.

Сам Марио был Роджеру безразличен, но его бар пришелся ему по душе, а сейчас он был рад и обществу хозяина.

Марио бросил на Роджера дружелюбный взгляд из-под хмуро нависших бровей.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Мне угодно,— сказал Роджер,— чтобы все люди были равны, свободны и доброжелательны.

На лице Марио промелькнула усмешка. Он поставил на стойку кружку пенистого пива и пододвинул ее Роджеру.

— За счет фирмы.

— Спасибо, а по какому случаю?

Марио с довольным видом пожал плечами.

— Мы сделали из вас *nazionalisto* [1]. Вы живете здесь всего три месяца, а уже начали соображать, что значит для нас самоуправление.

— Я совсем не имел в виду самоуправление,— с досадой сказал Роджер. Он поглядел на свои руки: они слегка дрожали. Гнев, подавляемый на протяжении всего дня, сказывался на нервах.— Самоуправление — чисто искусственная проблема. А я говорю о реальных проблемах — таких, как жестокость, алчность, тирания, власть богатых, которые могут припереть бедняка к стене.— Он говорил громко, не заботясь о том, что его могут услышать.— За деньги здесь, в вашем городе, можно слишком многое купить, как, впрочем, и в любом другом. И вы этого не измените, даже если вами будут править из Кардиффа.

— Нет, изменим,— спокойно сказал Марио.— С любой проблемой легче справиться, если действовать по-людски. Вот взять хотя бы вас. Я не знаю, что вас так разозлило...

— А, по-моему, вы знаете.

— Что-нибудь по части автобусов? — позволил себе предположить Марио.

— Не что-нибудь, а решительно все. Вы не можете не знать, что Гэрета Джонса, вместе с которым я работаю, кое-кто взял за горло и душит, чтобы нажиться за его счет.

Роджер выпил пиво и вернул пустую кружку.

— А теперь угощаю я. Так вот: Дик Шарп,— Роджер очень постарался, чтобы это имя было услышано во всех уголках зала,— не стал бы прибегать к гангстерским методам, чтобы завладеть безобидным предприятием Гэрета с его единственным автобусом, если бы такая крупная компания, как «Дженерал», не обладала неукротимым стремлением к монополизации, не старалась захватить все большую и большую территорию и стереть с лица земли отдельных предпринимателей. Для оправдания этих действий у них заранее заготовлены ханжеские социально-экономические клише вроде: «поднятие эффективности обслуживания», «в ногу с современностью» и тому подобное, и все эти словеса тотчас начнут слетать с языка Дика Шарпа, стоит сунуть куда нужно монету и нажать какую нужно кнопку. Но только все они идиоты. «Дженерал» — идиоты покрупнее масштабом, а Дик Шарп — помельче, и к тому же еще и жулик, о чем они якобы не догадываются. Но так или иначе, все они идиоты. Потому что частные лица уже недолго будут извлекать доход из транспортных средств — их дни сочтены. Старший Брат стоит у них за спиной и скоро проглотит их

[1] Националиста *(итал.)*.

всех. Он проглотит «Дженерал» с такой же легкостью, с какой «Дженерал» проглотит Дика Шарпа, а Дик Шарп — Гэрета.

— Я согласен с вами,— сказал Марио.— Транспорт — слишком громоздкая штука в наши дни. Он не может больше принадлежать отдельным богачам. Так же как и отдельным беднякам. Через пять, через десять лет он станет государственным. Но,— он стукнул кулаком по стойке и, став в позу, сделался похож на статую Кавура в Милане,— тем более нам нужно самоуправление. Национализирует Кардифф — у Гэрета Джонса есть шанс выжить. Национализирует Лондон — Гэрет Джонс *disfatto* [1].— И он сделал вид, что давит каблуком какое-то насекомое.

— Не вижу разницы,— сказал Роджер.— Не все ли равно Гэрету, перекупит у него дело государственное предприятие, находящееся в Кардиффе, или государственное предприятие, находящееся в Лондоне?

— Разница вот в чем,— произнес кто-то у Роджера за спиной.— Если это придет из Кардиффа, Гэрета возьмут на должность и он будет водить свой автобус по тому же маршруту. А если это придет из Лондона, на место Гэрета наймут какого-нибудь англичанина. Гэрету же предложат подметать пол в гараже.

Роджер, не оглядываясь, узнал говорившего по голосу. Это был Мэдог. А рядом с Мэдогом Роджер увидел какого-то незнакомца — молодого человека, примерно такого же возраста, как Мэдог. У него были светлые, очень коротко подстриженные волосы, очки в роговой оправе и длинная куртка из пушистого материала в крупную яркую клетку. Что-то в его внешности, бесспорно городской, наводило на мысль о тундре.

— А, привет!— сказал Роджер. В его теперешнем состоянии встреча с Мэдогом была ему не слишком приятна.— Ваша боевая черокезская раскраска еще не слиняла?

— Я укрепляю традиционные связи,— уклончиво отвечал Мэдог.— Je préseute [2],— он указал на блондина в роговых очках,— Андре...— Роджер не дал себе труда запомнить незнакомую французскую фамилию, но поздоровался с молодым человеком достаточно учтиво.

— Vous êtes de Bretagne peut-être [3],— равнодушно спросил Роджер.

— Canadien [4],— отвечал молодой человек. Произнеся это единственное слово, он сжал губы и так поглядел на Роджера, словно хотел испепелить его взглядом.

— Так что же он делает здесь, в Уэльсе?— спросил Роджер, обращаясь к Мэдогу, просто чтобы поддержать разговор, хотя занятия этого субъекта не возбуждали в нем ни малейшего интереса.— Приехал вроде меня изучать язык?

— Отчасти,— сказал Мэдог.— Он здесь по поручению своего правительства.

— Правительства? Это что же — в связи с ящуром? Он ветеринарный инспектор?

— Как я уже говорил вам, он олицетворяет собою ось Карвенай — Квебек,— спокойно объявил Мэдог.— Ему сделано официальное предложение перевести «Гвилим чероки» на французский язык.

— Позвольте...— Роджер пытался что-то понять.— Вы же сказали, что канадское правительство оплачивает его пребывание здесь.

— Именно так. Он получает государственную субсидию.

---

[1] Потерпел поражение *(итал.)*.
[2] Позвольте представить *(франц.)*.
[3] Вы, должно быть, из Бретани? *(Франц.)*
[4] Канадец *(франц.)*.

— Но ведь он же...— Роджер недоговорил.

— Вы чего-то не одобряете?— с легкой иронией спросил Мэдог.— Вас это сильно коробит — если поэт получит некоторое вспомоществование из общественного фонда?

— Ни в малейшей мере, поверьте. Нет, конечно, дело не в этом. Но вспомоществования бывают разные. Я имею в виду публикацию вашей поэмы в Квебеке. Не будет ли это немножко из пушек по воробьям? Много ли сыщется в Квебеке людей, которые всерьез интересуются валлийской поэзией?

— Я уверен, что совсем не мало,— сказал Мэдог.— В конце концов, мы ведь не ждем, что они бросятся изучать валлийский язык. Достаточно, если они прочтут перевод с валлийского на родной язык, сделанный одним из их поэтов. К тому же теперь в центр внимания попадают малые национальности. Большие державы в упадке. Англия, Америка, Франция — я имею в виду метрополии — в культурном отношении бесплодные пустыни. Все цветы расцветают на окраинах этих земель — на окраинах, где испокон веков считалось бессмысленным насаждать культуру.

— Другими словами,— с усилием проговорил Роджер,— если вы в наши дни хотите получить государственную субсидию и протолкнуть в печать ваши сочинения, вам надлежит быть драматургом из Марокко, или романистом с Барбадоса, или поэтом с Сейшельских островов.

— А лучше всего,— усмехнулся Мэдог,— эпическим поэтом из Карвеная.

Андре, который откровенно прислушивался к их разговору, усмехнулся тоже. Роджер, решив его немножко позлить, обратился к нему по-французски, давая понять, что другого языка тот не понимает.

— Et vous, monsieur,— сказал он,— vous vous intéressez à la littérature galloise depuis longtemps?[1]

Андре пожал плечами.

— C'est de la santé[2],— презрительно буркнул он.

— La santé?[3]—не унимался Роджер.

— La fertillisation mutuelle de cultures[4],— сказал Андре Он изрек это с крайне снисходительным видом, словно пытался втолковать что-то своей глухой прабабушке.

Тут Роджер отступился. Может быть, они и правы. Но так или иначе, он не мог отстаивать противоположную точку зрения, ибо было совершенно очевидно, что его немедленно запишут в разряд диков шарпов или хищников из автобусной компании «Дженерал».

— Ну что ж, желаю удачи,— сказал он, собираясь встать.

— Увидите, что будет!— с тихим ликованием произнес Мэдог.— Я только что договорился арендовать зал ратуши для большого литературного вечера: валлийские, бретонские и корнуэльские поэты выступят будущей весной с чтением стихов. Надеюсь, вы еще не покинете нас?

— Бог его знает,— сказал Роджер.

Он сделал знак Марио, чтобы тот налил ему еще, и ретировался со своей кружкой в самый дальний угол, оставив Мэдога и Андре за оживленной беседой. Все жили, все стремились к достижению какой-то своей заветной цели. Фрейлейн Инга пребывала в Марокко (где у мистера Робертсона была контора). Мэдог скоро отбудет в Квебек (по приглашению канадского правительства), Джеральд Туайфорд сейчас,

---

[1] А вы, мсье, вы давно интересуетесь валлийской литературой? *(Франц.)*

[2] Это здоровый интерес *(франц.)*.

[3] Здоровый? *(Франц.)*

[4] Взаимооплодотворение культур *(франц.)*.

вероятно, выкладывается по телевидению. Даже Дональд Фишер несомненно лижет задницу какому-нибудь влиятельному издателю.

И только трое людей стояли особняком среди этой веселой вакханалии: Гэрет, которого уже загнали в угол; Дженни, беспомощно увязшая в своем безлюбом браке; и он сам, неудачник от рождения, обреченный, в силу какой-то роковой особенности характера, ввязываться в истории, неизбежно приводящие к разочарованию.

Он торопливо и безрадостно допил свое пиво, с каждым глотком терявшее вкус. Вся эта его затея — собачья чушь, идиотизм. Пора убираться отсюда подобру-поздорову, пока он еще не совсем обанкротился со своими идеями.

Роджер медленно поднялся со стула, выбрался из своего угла и направился в мужскую уборную. Освещения во дворе не было, но верхняя часть двери, выходившей на заднее крыльцо, была стеклянная, и сквозь нее поступало достаточно света, чтобы можно было найти дорогу к уборной, где подслеповатая электрическая лампочка нехотя давала клиентам возможность не мочиться на собственные башмаки. Покончив с делом, Роджер вышел из уборной и задержался на мгновение, глядя на молодой месяц над крепостными башнями древней городской стены. Рисунок месяца был так изыскан, так тонко вычерчен в небе, а контуры старых башен так тяжеловесны и темны, что этот контраст мог бы показаться слишком грубым, если бы его не смягчало легкое кружево облаков, пронизанных серебристым светом месяца, да глухой рокот скрытого от глаз моря.

Роджер стоял, глядя вверх, замерев в эстетическом трансе. Он слышал, как за его спиной отворилась дверь и кто-то вышел во двор. Еще один клиент спешил освободиться от пива, которым он накачался в пивной. Ни стук двери, ни полоса света, упавшая во двор, не отвлекли внимания Роджера. Внезапно он почувствовал страшный удар между лопаток и, не успев ничего предпринять для самозащиты, повалился ничком, как сбитая кегля. Лицом вниз — со всей силы прямо лицом вниз,— но не на каменные плиты двора, а на угол ящика с пустыми бутылками. Боль ослепила его. Он перекатился на спину, закрыв лицо руками. Болело колено, но еще сильнее болела рассеченная губа. За его спиной послышались легкие шаги, и дверь мягко захлопнулась.

Прошло довольно много времени, и Роджер встал на колени, потом поднялся на ноги. Он стоял и глядел на молодой месяц. Все было совершенно так же, как несколько минут назад,... и все изменилось.

На площади Гэрет сидел за баранкой. В автобусе было уже несколько пассажиров, забравшихся сюда пораньше, чтобы поболтать на досуге. Роджер тяжело поднялся по ступенькам и занял свое обычное место по другую сторону от Гэрета, сбоку от капота двигателя.

Носовой платок, который Роджер прижимал к губе, привлек внимание Гэрета, и он спросил:

— Зубы болят?

— Нет,— не отнимая платка, проворчал Роджер,— какой-то пьяный налетел на меня сзади, и я упал прямо на пустой ящик.

— А кто это был, вы его видели?

— Куда там! Когда я поднялся на ноги, его уже и след простыл.

— Понятно,— сказал Гэрет. Он отвернулся от Роджера и уставился в ветровое стекло.

Пассажиров стало прибавляться. Обсуждать случившееся было не время. Роджер двинулся по проходу, прикрыв рассеченную губу платком; он собирал плату за проезд и бросал деньги в сумку, орудуя одной рукой. При каждом толчке он с трудом удерживался на ногах—

ухватиться за что-нибудь было нечем. Но сумка тяжелела от собранных монет, и Роджер чувствовал, что это — победа; хотя и маленькая, а все же победа.

Однако на следующее утро первый рейс в город они проделали без единого пассажира. Бурый автобус снова возник откуда-то и словно метлой прошелся по всем остановкам.

Они подъехали к памятнику как раз в ту минуту, когда их враг не спеша отъезжал от тротуара на противоположной стороне площади.

С минуту Гэрет сидел совершенно неподвижно. Потом повернулся к Роджеру и спросил:

— Вчера в пивной вы не заметили кого-нибудь, кто бы мог напасть на вас?

— Нет,— сказал Роджер.— Я разговаривал с Мэдогом и его приятелем, а потом сидел, думал о своем и ни на кого не обращал внимания. Но вы, кажется, в этом что-то усматриваете. Вы считаете, что это произошло не случайно?

— Могло быть и случайно,— с расстановкой произнес Гэрет.— Только мне вот что не нравится: даже если это был пьяный, все же, значит, он был не так уж пьян, раз успел смотаться, чтобы вы его не увидели.

— Но, может, он сам испугался того, что натворил.

— Все может быть,— сказал Гэрет.— А может, еще больше испугался того, что сделают с ним те, кто его послал, если его личность будет установлена.

— Вы думаете, что все обстоит так погано?

— Дела оборачиваются против нас,— сказал Гэрет,— и поэтому я склонен видеть все в черном цвете.

Они молча вылезли из автобуса и пошли через площадь выпить утреннюю чашку чая.

Остаток дня прошел как в бреду. Роджер измучился, пал духом. Губу у него саднило, колено ныло.

Однако в тот же вечер кое-что все-таки произошло. Проделав последний десятичасовой рейс из города, они загнали автобус в гараж и постояли с минуту, глядя друг на друга при свете месяца. Воздух был тих и свеж. Начинало крепко подмораживать.

Потом Гэрет сказал:

— Вот, значит, какие дела.

— Да,— сказал Роджер. Он чувствовал, как пластырь стягивает его раздувшуюся губу, когда он говорит.

— Вы небось домой сейчас?

— Домой? — Роджер решил было, что Гэрет имеет в виду Лондон, хочет сказать — обратно к цивилизованному образу жизни, прочь от этих пустынных гор и трудной, безнадежной борьбы.

— Ну, к себе, в часовню.

— А! Да, вероятно, да.

— А может,— сказал Гэрет,— если у вас нет никаких особых дел, зайдете перекусить немножко?

— Перекусить?.. Куда?

— Ко мне домой,— сказал Гэрет. Он повернулся и зашагал вверх по дороге, но тут же приостановился, чтобы Роджер мог поравняться с ним.

Они бок о бок взбирались на гору, и Роджер уже не чувствовал прежней усталости и упадка духа: только теперь он понял, до какой степени угнетала его стена, стоявшая, казалось, между ним и Гэретом.

Они уже миновали самые отдаленные, расположенные высоко на горных уступах выселки. Редкие огоньки поселка были уже далеко внизу, а впереди в бесстрастном лунном свете высилась темная громада горы. За ней с каждым шагом все отчетливее становились видны черные пики, в тайну которых никогда не проникнет человек, ибо сколько бы ни штурмовал он их каждое лето, каждую зиму они вновь утверждали свое торжествующее одиночество. Вправо, там, куда, по-видимому, направлялся Гэрет, не видно было ничего, кроме сланцевых отвалов, нагроможденных здесь сотню лет назад старой каменоломней, вызвавшей к жизни Лланкрвис.

— Каменоломня заброшена? — спросил Роджер, чтобы нарушить молчание.

— Нет,— сказал Гэрет.— Они и сейчас каждую неделю понемножку выдают на-гора.

— И много там рабочих?

— Человек сорок,— сказал Гэрет.— А когда-то, помнится, там было по меньшей мере сто.

Роджер снова примолк. Сорок человек каждое утро поднимаются сюда, к этой каменоломне, а он-то воображал, что уже знает здесь все как свои пять пальцев, он-то похвалялся перед самим собой, что так ограничил себя и принес такие жертвы ради этого знания, а сам, оказывается, даже и не подозревал о существовании этих людей! В то время, как они с Гэретом вели автобус в город, эти люди молча покидали свои жилища и под дождем, под ветром, в туман взбирались наверх, на гору, мимо овечьих пастбищ и разрушающихся домишек. Быть может, они брели по заросшим травой путям, где когда-то бегали вагончики узкоколейки и где по сей день сохранилась насыпь, покоившаяся на прочном каменном, ничуть не тронутом временем фундаменте, хотя рельсы сняли с нее лет тридцать назад, и там, где пыхтел паровозик и постукивали колеса вагонеток, теперь царила тишина.

Но где же все-таки дом Гэрета? По сторонам кое-где еще нет-нет да и мерцал огонек, но впереди, куда они направлялись, была непроглядная тьма. Все, что мог разглядеть там Роджер,— это жесткие очертания отвалов—четыре колоссальные груды битого камня и сланца, который неустанно, час за часом, еще с сороковых годов девятнадцатого столетия извлекали из недр горы, нагромождая руками человека эти огромные утесы. Отвалы стояли черные на фоне залитого лунным светом неба и глядели на залитое лунным светом море; они были уныло-однообразные, словно мраморные надгробия.

Каждый отвал походил на длинный, темный, указующий в небо перст, воздетый над холмом; они росли по мере приближения к ним, и вершины их были плоскими, как биллиардный стол. У подножия каждого из них были разбросаны убогие участки, обнесенные каменной оградой, с неизменным маленьким домишком где-нибудь в углу и двумя-тремя коровами или овцами.

Дорога, сужаясь, превратилась в каменистую тропу. Гэрет упорно шел вперед. Куда? Может, он живет где-нибудь в расселине скалы? Поглядывая сбоку на мощное уродливое тело Гэрета, на эту большую голову на козлином туловище, на оскал зубов, Роджер почувствовал вдруг холодок мистического страха, словно перед ним было какое-то горное чудище. Он потряс головой, отгоняя от себя эти дурацкие бредни. И тут Гэрет заговорил:

— Этот клочок земли обрабатывал еще мой отец. У него было девять акров.

Разглядеть что-нибудь в такой тьме было невозможно, но Роджер и не видя отчетливо представлял себе, как все это должно выглядеть:

тощий пласт земли на скалистом грунте, репейник, чертополох, неумолчное завывание ветра в расщелинах скал. Нищета, голод, нескончаемый труд, и взамен — ничего, кроме величия гор, благородных очертаний залива да веселого изящества горных цветов, каким-то чудом расцветающих на этой бесплодной земле каждое лето. Что ж, и колокольчики могли как-то вознаградить человека за год каторжного труда, если взор его был пытлив и умел видеть красоту.

— Девять акров,— повторил Роджер; он знал, что все, о чем он думает, вылилось в этих двух словах, и знал, что Гэрет его поймет.

— Это была жизнь,— сказал Гэрет.— Он не ездил на работу в город, как другие, которые обрабатывали землю только урывками. Он все свое время отдавал этому клочку земли и трудился не покладая рук. Я стал помогать ему, как только подрос, как только смог поднять охапку сена.

Они шли все дальше и дальше.

— Когда он умер, я мог бы и один вести хозяйство. Но меня больше тянуло к моторам. И мы продали овец, двух наших коров, кое-какой инвентарь, и я обзавелся автобусом.

— А-а.

— Это было пятнадцать лет назад,— сказал Гэрет.

Он говорил повернувшись к Роджеру, но голос его звучал задумчиво, словно, углубившись в свои мысли, он разговаривал сам с собой. Он умолк, и конец фразы растаял, затерялся во мраке, как эта заброшенная узкоколейка среди зарослей кустарника и ржавого лома. И казалось, одна и та же мысль, не высказанная словами, родилась одновременно у обоих: «Пятнадцать лет назад... а теперь по милости Дика Шарпа, с которым они вместе бегали в лланкрвисскую школу, прикрыть дело? Справедливо ли это?»

Внезапно Гэрет остановился и отворил железную калитку.

— Вот сюда,— сказал он.

Роджер последовал за ним, поглядывая по сторонам, ища какого-нибудь признака человеческого жилья. Однако на небольшой поляне, на которой они очутились, царила такая же непроглядная тьма, как в горах, как на гигантских, застывших в неподвижности отвалах. И снова Роджер сделал над собой усилие, подавляя страх перед чем-то неведомым. Ему хотелось спросить Гэрета, куда он его ведет. Но он удержался, храня исполненное достоинства молчание. Роджер знал: нарушь он его — и Гэрет навсегда проникнется к нему презрением, и тогда это будет уже непоправимо.

Они пересекли поляну. Месяц, снова выглянув из-за облаков, осветил темные, отвесные склоны отвала, и Роджер увидел, что они направляются к маленькому одноэтажному домику, притулившемуся, словно аккуратно высеченная в скале ступенька, у подножия отвала. Свет месяца играл на стеклах неосвещенных окон. Ни признака дыма над трубой. Дом, казалось, был пуст.

— Вашей матушки, должно быть, нет дома,— сказал Роджер.

— Дома, будьте спокойны,— немногословно ответил Гэрет.

Перед дверью домика была небольшая вымощенная камнем площадка с остатками заброшенной цветочной клумбы. Ничто не отгораживало дом от темной голой стены отвала. Гэрет шагнул к двери и, распахнув ее, крикнул:

— Это я, мать! Принимай гостя!

Роджер вошел за ним следом. Дверь вела прямо в жилое помещение, и здесь было так же темно, как и во всем доме,— темнее, чем там, на поляне, где светил месяц. Почему же Гэрет звал мать так, словно был уверен, что она его слышит?

Потому что его мать сидела там, в темноте. И ей не нужен был свет. Вернее, он был бы ей нужен, если бы она могла им воспользоваться.

Она сидела в качалке напротив двери. Комната, по всем признакам, служила гостиной. За спиной у матери была еще одна дверь — по-видимому, в кухню. Все это Роджер увидел, когда Гэрет включил свет. Он стоял на пороге, не двигаясь с места, не находя слов для приветствия. Он до того растерялся, что не мог решить, говорить ли ему по-английски или по-валлийски. Казалось, его мозг не в состоянии был родить ни одной мысли, кроме: «Как это похоже на Гэрета — не сказать мне, что у него мать слепая».

Гэрет что-то говорил матери по-валлийски, и голос его звучал менее резко, он стал мягче, глубже, и тон был успокаивающий. Мать отвечала ему по-английски — видимо, для Роджера.

— Рада познакомиться. Я говорю Гэрету: пусть приходит ужинает с нами.

Роджер постарался овладеть собой. Она смотрела прямо на него, словно знала, что он остановился в дверях. Но в каменно-неподвижных глазах не было жизни.

— A oes arnoch eisiau siarad Cymraeg[1], миссис Джонс,— сказал Роджер.

Но мать не захотела говорить с ним по-валлийски. Качнувшись раза два в своем кресле-качалке, она повторила:

— Рада познакомиться.

— Я ей все про вас рассказывал,— бросил через плечо Гэрет.

— Я говорю Гэрету: пусть приходит ужинает с нами,— твердо повторила мать.

Роджер шагнул вперед и захлопнул за собой дверь, отгораживаясь от ночного мрака. В комнате было чисто и тепло. В очаге лежала приготовленная заранее кучка угля, но комната уже была обогрета электрической печкой. Гэрет прошел на кухню. Роджер слышал, как он снял крышку с кастрюли и произнес:

— Похоже, почти доспело.

Мать ответила ему по-валлийски, и, пока они переговаривались через отворенную дверь, Роджер отыскал стул, сел и принялся наблюдать за старухой. Первое, что бросилось ему в глаза, после того как он оправился от неожиданности, был рост этой худой, высохшей от старости женщины: она обладала мощным костяком, очень длинными руками и ногами и была никак не меньше шести футов ростом. «Интересно,— подумал Роджер,— был ли отец Гэрета таким же гигантом?» Почему-то это казалось ему маловероятным: такой отпрыск, наделенный чудовищной силой, но изуродованный горбом, скорее мог родиться от союза великанши и карлика. Отец Гэрета, решил Роджер, был, верно, кривобокий гном — порождение этих окутанных туманом скал; на сильных, коротких ногах он шагал по своим девяти акрам, остро поглядывая поверх неровной каменистой ограды.

Мать с сыном продолжали разговаривать. Роджер заметил, что он довольно свободно понимает их быструю валлийскую речь.

«Шан приходила сегодня?»

«Нет, она прислала брата».

«Он же дурачок. Они и за него думают получить шиллинг?»

«Он хорошо справился. Ни разу не дал мне споткнуться и забрести в высокую траву. Я почти не промочила ног. И свинину он поставил в печь».

Гэрет сказал, обращаясь к Роджеру:

---

[1] Можно говорить по-валлийски... я немного понимаю *(валл.)*.

— Мать много хлопочет по хозяйству. Просто удивительно, сколько она успевает. Три раза в неделю ходит в лавку в Лланкрвис — пешком туда и обратно. А поводырем у нее один мальчишка. Он забегает после школы. Провожает ее вниз до самой лавки, помогает положить все в корзинку, потом провожает обратно. Она усаживается в качалку и говорит ему, что нужно сделать, а он готовит еду. Вот как это, к примеру.— Гэрет постучал по эмалированной кастрюле.— Добрый кусок свинины и потушен в самый раз.

Мать внимательно прислушивалась к его словам, потом, повернувшись в сторону Роджера, вдруг сказала:

— Я не чищу картофель, не могу. Если Гэрет не чистит, мы едим хлеб.

Роджеру хотелось, чтобы она говорила по-валлийски, но, видимо, и мать и сын твердо вбили себе в голову, что валлийский — это только для них, а с гостем надо говорить по-английски. Старуха говорила так, как и следовало ожидать от человека, за всю жизнь не сказавшего, вероятно, по-английски и двух слов. Должно быть, она научилась английскому в школе, примерно в девяностых годах прошлого столетия, и с тех пор крайне редко прибегала к нему. Когда к ней обращались, она, несомненно, понимала, что ей говорят, но сама разговаривала неуверенно, точно пугалась трудностей языка. А в употреблении глаголов твердо придерживалась настоящего времени. Роджеру очень хотелось знать, так же ли невысоко расценит она его валлийскую речь. Но выяснить это ему явно не представлялось случая.

— Да, когда у нее в помощниках только Артур или Малдвин, приходится обходиться без овощей,— сказал Гэрет.— Они ставят кастрюлю на плиту и уходят. Электричество не включают. Это мать делает сама. Время она узнает по радио и с плитой хорошо управляется: один поворот направо — небольшой жар, два поворота — умеренный, три поворота — на полную катушку.

— Я полный не даю,— вмешалась мать, внимательно прислушивавшаяся к каждому слову сына.

— Она сидит с отворенной дверью,— продолжал Гэрет,— и если на плите что убежит и запахнет горелым, идет и сразу выключает.

— Понимаю,— сказал Роджер.— Ну, а если что-нибудь испортится? Если в плите какая-нибудь неполадка и начнется пожар?

Гэрет улыбнулся.

— Гляньте, что там, возле ее стула,— сказал он.

Роджер увидел небольшой огнетушитель, поставленный так, чтобы мать, протянув свою длинную руку, легко могла его достать.

— Если от электрической плиты возникнет пожар,— сказал Гэрет,— а это такая штука, от которой, учтите, пожар возникает не чаще, чем раз в миллион лет,— ну что ж, мать сразу его унюхает, возьмет свой огнетушитель и все погасит.

— Я этого еще никогда не делаю,— сказала старая женщина,— но я всегда начеку.

— На нее можно положиться, как на самого себя,— с гордостью произнес Гэрет.— Вы просто удивитесь, сколько всего она умеет делать.

И, словно решив, что хватит уж восхищаться и разводить сантименты, он резко наклонился, чиркнул спичкой и разжег огонь в камине.

— Ну вот, когда разгорится,— сказал он выпрямляясь,— нам тут будет славно.

Роджер готов был с ним согласиться. Пока Гэрет, отклонив его помощь, ходил из кухни в гостиную и обратно, накрывал на стол,

заваривал чай, нарезал ломтями большой каравай свежего хлеба — словом, готовил добротный ужин на троих,— Роджер, откинувшись на спинку стула, смаковал контраст между теплом и светом этого жилища и ночной горной стужей за его стенами. Перед глазами у него все еще стояла темная отвесная стена отвала, и ему хотелось расспросить о нем мать. Был ли отвал всегда, все те годы, что они живут в своем доме, таким высоким? Или незаметно, месяц за месяцем, возносился он на эту чудовищную высоту? Когда мать была еще невестой и какой-то далекой, теперь уже непредставимой весной будущий отец Гэрета привез ее сюда, отшатнулась ли она в изумлении и страхе при виде этой громады, нависшей над домом, в котором ей предстояло прожить жизнь?

Он отогнал от себя эти пустые фантазии. Без сомнения, мать — из местных девушек, этот отвал знаком ей с младенческих лет, и, если даже он немного вырос за ее жизнь, она едва ли обратила на это внимание. Отвал производит такое странное впечатление только на него, потому что он чужой в этом краю.

О чем же ему с ней поговорить? Он мысленно перебрал различные темы, но подходящей не находилось и пришлось удовольствоваться молчанием. Усталость заставила его снова откинуться на спинку стула, к тому же заныла рассеченная губа. Он потрогал ее языком. Да, отек как будто уменьшился, а боль все не проходила.

— Ужин готов,— сказал Гэрет.— Придвигайтесь к столу.

Он быстро и ловко начал разрезать дымящийся кусок свинины; хлеб он еще раньше нарезал большими ломтями, намазал маслом и положил горкой возле каждой тарелки. Но прежде чем приняться за еду, он пододвинул качалку матери к столу и проверил, чтобы все было у нее под рукой. Наконец он налил всем троим по кружке чая, крепкого и черного, как колдовской отвар, и это как бы послужило сигналом приступать к ужину.

Роджер отправлял в рот горячие куски тушеной свинины и свежий, намазанный маслом хлеб, большими глотками отхлебывал живительный чай и чувствовал себя на верху блаженства. Гэрет признал его наконец своим. Преграды рухнули. Ему было так тепло и отрадно, что он от души простил Гэрету свой долгий искус. Привести чужого сюда домой, к матери — было непростым и нелегким делом. Будь его мать заурядной домашней хозяйкой, живи она в заурядном коттедже на две семьи с телевизором в гостиной и фотографией покойного супруга (канализационного инспектора с ученой степенью) на холодных изразцах каминной полки, в этом не было бы ничего необычного — привел домой, познакомил. Но привести чужака сюда, в эту уединенную берлогу среди черных скал, в эту барсучью нору у подножия огромного молчаливого отвала и представить ему старую слепую великаншу — это было нечто совсем, совсем иное. За едой Роджер продолжал приглядываться к матери Гэрета. Она ела, как едят все слепцы,— медленно, осторожно, низко наклоняясь над тарелкой. Временами кусочек мяса или хлеба падал обратно на тарелку, но ни разу ни единой крошки не упало на ее одежду. Нет, она не из тех, кто опускается и, погрязнув в нечистоплотности, ест как попало. На ней было черное платье, а поверх него, для тепла,—толстая коричневая вязаная кофта. Темные, с сильной проседью волосы стянуты узлом на затылке; на пальце — широкое старомодное золотое кольцо, которое вместе с ней будет опущено в могилу, так как распухший сустав уже не позволит его снять. Что-то в ее лице напоминало индеанку — быть может, широкие скулы и кожа, загрубевшая от горного солнца и ветра. («Черокезка»,— внезапно подумал Роджер, и ему вспомнился Мэдог.)

Ярко пылал огонь. Роджер ощущал его жар на своих щеках. Гэрет положил всем еще по куску мяса на тарелки. Как видно, это была их основная трапеза — раз в день они позволяли себе хорошо, плотно поесть. Роджера клонило ко сну, он испытывал чувство глубокого довольства. Как хорошо здесь! Чуть затуманенным от переполнявшей его благодарности взором он одобрительно поглядывал по сторонам. Дом мог быть построен пятьдесят, или сто, или триста лет назад. Тип таких построек — низких и плоских,— утвердившийся когда-то на этих продуваемых ветрами горных склонах, остался неизменным по сей день. Небольшое окно выходило на заросший сорняками двор и каменную ограду; за ней шли бесконечные гряды холмов, убегавших дальше и дальше вниз, к самому берегу, к неустанному рокоту морских волн и неумолчному шороху гальки. Все было, как столетия назад... и тем не менее не совсем, ибо тот образ жизни, какой вела эта старая женщина, был бы невозможен без современной техники, без электрических проводов, протянувшихся сюда, на склон горы, чтобы слепая, узнав время по радио и поставив возле своего кресла-качалки изрыгающий пену огнетушитель, могла готовить сыну пищу на плите. Старое и новое находилось здесь в сложном хитросплетении, но и в некоем единстве, ибо все было логически взаимосвязано. И борьба Гэрета за независимость, его решимость удержать в руках свое дело приобретали особый смысл в свете того, что открылось здесь глазам Роджера. Автобус для Гэрета был тем же, чем были девять акров для его отца. Он был его жизнью.

Подобрав последние кусочки с тарелки и откинувшись на спинку стула, Роджер уразумел наконец внутреннюю логику того, чем он занимался последние три месяца. Не без чувства гордости он потрогал свою вздувшуюся губу. Она помогла его прозрению. Он уже не сомневался, что именно эта боевая отметина, эта почетная рана, полученная им в борьбе за общее дело,— именно она побудила Гэрета привести его сюда.

Трапеза была закончена, и Гэрет, вторично отклонив предложенную Роджером помощь, отнес посуду на кухню и перемыл ее, после чего все трое — мать снова в своей качалке — уселись у ярко пылавшего камина. Подошло время для задушевной беседы? Наступила минута, когда открываются сердца? Видимо, нет. Гэрет немного поговорил о генераторе и роторе-распределителе. Растущая угроза со стороны Дика Шарпа и бурый автобус были обойдены молчанием. Роджер понял: этого требует этикет первого визита. Роджеру и так была оказана высокая честь — он сидел у домашнего очага.

Немного погодя Гэрет удалился в уборную во дворе за домом. Как только дверь за ним захлопнулась, мать слегка наклонилась в ту сторону, где, по ее расчетам, находился Роджер, тело ее напряглось, широкоскулое лицо приняло сосредоточенное выражение. Он видел, что она хочет сказать ему что-то очень для нее важное.

— Гэрет? — произнесла она.

Роджер сообразил: она проверяет, кто ушел, хочет удостовериться, действительно ли это Гэрет, а не Роджер.

— Он вышел.

Она еще ближе наклонилась к нему, тело ее еще больше напряглось.

— Мистер Фэрнивалл! — Его фамилия прозвучала в ее произношении, как имя какого-нибудь косматого предводителя клана из глухого горного селения: Фэр Ни Валл.

— Да, миссис Джонс?

Она протянула сильную морщинистую руку на звук его голоса и неожиданно стиснула его колено.

— Скажите мне!

— Сказать? Что?

Она с такой силой продолжала стискивать его колено, что он чуть не вскрикнул.

Медленно, с усилием она заговорила, при каждом слове покачивая головой:

— В лавке говорят. С автобусами плохо, говорят. Другой автобус возит. Говорят: это все Дик Шарп. Говорят: что-то будет теперь с Гэретом? Одни говорят: ему крышка. Он скоро продает автобус и закрывает дело. Скажите мне, мистер Фэрнивалл. Скажите мне, так плохо? Гэрет,— она яростно затрясла головой,— Гэрет ничего не говорит. Совсем ни слова не говорит, что у него с автобусом.

— Он не хочет вас тревожить.

— А я тревожусь. Все время. Иду вниз в лавку, и они всегда говорят мне плохое.

Роджер торопливо собирался с мыслями. Гэрет мог вернуться каждую минуту. И если он услышит, что Роджер просвещает его мать по поводу испытываемых им трудностей, Роджер навсегда станет врагом в его глазах.

— Миссис Джонс,— сказал он, понизив голос.— Не тревожьтесь. Дик Шарп хотел бы купить автобус. Он хочет заставить нас прикрыть дело. Он вытворяет разные штуки, думает, что может таким путем заставить нас отступиться. Пока что ему удалось немного понизить нашу выручку, но мы победим. Мы победим,— с силой повторил он.— Fe nown ni ennil.[1]

Щелкнула задвижка — Гэрет возвращался. Мать снова откинулась в качалке. Роджеру вдруг показалось, что он на миг задремал и этот короткий, напряженный разговор пригрезился ему во сне. Но колено еще ныло: оно помнило стиснувшие его с мольбою пальцы.

Положенный по этикету разговор возобновился, но ненадолго. Утром надо было подниматься рано, и Роджер, пробормотав слова благодарности, стал через несколько минут прощаться.

— Мы надеемся, вы навещаете нас еще разок,— сказала мать, снова полностью войдя в роль радушной матроны.

— В любое время, как только вы пожелаете,— сказал Роджер.

Гэрет проводил его до калитки. Он был настроен благодушно.

— Найдете дорогу? Сделайте что-нибудь с губой. Придете домой, промойте ее.

— Да она уже подживает.

— Ну, до завтра.

— До завтра. Спокойной ночи. Спасибо.

Роджер повернулся и начал спускаться по твердой, каменистой тропинке.

Чугунная печурка была лучшим другом Роджера. Она не только дарила телу тепло — она согревала душу. Возвращаясь домой по вечерам или днем — отдохнуть между рейсами, он приближался к этому пузатому потрескивающему божеству с молитвенным благоговением и с чувством благодарности. Несложный ритуал жертвоприношения был всегда одинаков: всунуть гладкий металлический совок в утробу божка и поворочать им так, чтобы порастрясти немного внутренности; затем вынести во двор маленький аккуратный ночной горшок и тут же подкормить тлеющий жар кишок хорошенькими овальными брикетиками спрессованной антрацитовой пыли. Эти брикетики носи-

[1] Мы его одолеем *(валл.)*.

ли название «печные орешки», но для Роджера, когда он задумчиво глядел на брикетики, держа их на черной от угольной пыли ладони, в каждом из них, как в яйце, был заключен эмбрион благодатного тепла. А маленькая победоносная печурка была инкубатором, в котором из яйца рождалась птица-феникс — живительное тепло.

Поначалу Роджер принял печурку из-за ее европейской внешности за импортный продукт, собственность фрейлейн. Но мало-помалу, ближе узнавая фрейлейн по эманации ее души, заключенной в оставшихся после нее предметах, он понял, что печурка относится к более древней эпохе — к последней стадии религиозной жизни часовни.

Сидя перед печуркой, иной раз широко распахнув ее маленькие щедрые дверцы, иной раз бережливо их притворив, Роджер понимал, почему любая цивилизация чтила очаг как священное место, как воплощение домашнего благополучия и почему современный человек, обогревающийся тяжелым, затхлым воздухом от печей, пламени которых он никогда не видит, обуян тревогой и утратил дух созидания.

Все было прекрасно, но запас животворных «печных орешков» иссякал. Придется пойти на угольный склад и попросить хозяина прислать ему грузовик брикетов. Роджер понимал, что это необходимо, но решиться на такой шаг никак не мог. Сделать заказ у торговца углем — указать часовню как место доставки, получить счет и уплатить по нему,— нет, нельзя действовать так открыто в его положении. Ведь он продолжал жить в часовне по одной-единственной причине: ни у кого пока что не доходили руки вытурить его отсюда.

Но вот однажды морозным утром Роджер с трудом наскреб в бункере последний совок. Он экономно растопил печурку. Этого топлива хватит на четыре, может быть, на пять часов, учитывая, что день был не ветреный. После чего сюда проникнет стужа, и часовня перестанет быть домашним очагом, превратится в обиталище дрожащего от холода неандертальца. Браня себя вполголоса за малодушие, Роджер нахлобучил кепку, надел пальто и двинулся вниз, чтобы присоединиться к Гэрету и в восемь пятнадцать выехать в рейс.

Бурый автобус опережал их в это утро дважды, но Роджеру было не до него. Его внутренний мир сейчас сузился до интересов чугунного чрева, медленно переваривавшего свою последнюю пищу. В крайне подавленном состоянии он зашел к Марио в обеденный перерыв. Марио только что поставил пинту пива перед молчаливым коренастым Гито, который по каким-то причинам был на этот раз один, без своего alter ego[1]. Взглянув на Роджера, хозяин пивной сделал соболезнующий жест.

— У вас что-то случилось? Вы недовольны жизнью... cattivo umore[2].

— Да,— сказал Роджер, взбираясь на высокий табурет.— Настроение гнусное, черт побери. Налейте мне пинту самого дешевого и самого крепкого.

— Говорят, вы перебрались куда-то,— сказал Гито. Он придвинул свой квадратный торс поближе к Роджеру, чтобы можно было спокойнее потолковать. Его лицо, увенчанное бледным лысым куполом, было добродушно и приветливо.

— По-моему, это уже всем известно,— равнодушно промолвил Роджер.— Мне пришлось покинуть миссис Пайлон Джонс, потому что некто, именуемый Дик Шарп и пожелавший остаться неизвестным, подкупил шайку хулиганов, чтобы они сделали мою жизнь там невозможной.

[1] Второго «я» *(лат.)*.

[2] Плохое настроение *(итал.)*

Марио быстрым настороженным взглядом окинул бар. Народу было еще немного, но при имени Дика Шарпа две-три головы повернулись в их сторону.

— Вам непременно хочется втравить меня в историю,— с укором сказал Марио.

— Дик Шарп здесь не хозяин,— с вызовом ответил Роджер.

— А похозяйничать здесь он все-таки может,— вставил Гито.— Вам самому пришлось убедиться в этом однажды вечером,— добавил он, пристально, хотя и мягко глядя на Роджера.

Роджер потрогал пальцем губу. Отек уже почти прошел. Он молча кивнул.

— Ну так вот.

— Что — вот? — огрызнулся Роджер.— Мы все поджали хвосты. Позволяем ему распоряжаться здесь и даже пикнуть про него в общественном месте боимся, так или нет?

— Да, если это может навлечь неприятности на наших друзей.

Безнадежно пожав плечами, Роджер взял кружку и отхлебнул пива. Он чувствовал свою полную беспомощность. Ему вспомнилась его тихо, но неотвратимо догоравшая печурка.

— Ну, в таком случае, может быть, нам тоже надо складывать оружие,— сказал он.

— Я этого не говорил,— сказал Гито. Марио ушел обслужить посетителя в другом зале, и они остались вдвоем.— По-моему, вы можете многого добиться, если не сдрейфите.

— Чего, например? — угрюмо спросил Роджер.

— Принести большую пользу. И крепко навредить Дику Шарпу. Айво толковал на днях с одним парнем из транспортной компании. Тот говорит, что если только Дик Шарп быстро — в месяц-полтора — не приберет к рукам гэретовский автобус, у него не хватит денег продолжать борьбу и ему придется продать все свои автобусы.

Роджер задумался.

— А сколько их у него?

— Да штук пятнадцать — двадцать. Некоторые он откупил у владельцев, но оставил в их пользовании, так что они сами их водят и сами обслуживают. Какая разница, казалось бы? Верно? Да только эти автобусы теперь собственность Дика Шарпа, и он может в любую минуту их продать, а бывшему владельцу придется работать на другого хозяина или вообще остаться без работы.

— А вам он тоже предлагал такие условия?

— Да, старина, предлагал. Но мы на это не пошли. Мы его заставили крепко с нами повозиться, а когда наконец вышли из игры, так вышли вчистую. Мы с Айво все обсудили, и он сказал: «Нет, пускайка он помучится, поищет себе шофера и механика, который будет обслуживать нашу старушку».— Гито опустил глаза и уставился на свое пиво. Лицо его внезапно затуманилось.— В жизни не найти ему никого, кто умел бы с ней так управляться, как я. Ну, да что там.— Он глотнул пива.— Денег, которые мы за нее выручили, нам хватило на покупку грузовика. Теперь работаем на нем, перевозим товары.

— Ну, а если бы представилась возможность, вы бы снова стали водить автобус?

— Ясное дело, старина. Лишь бы он нам продал.

Роджер начинал понимать: не за одного Гэрета он борется. Только бы им продержаться до тех пор, пока Дик Шарп будет вынужден сложить оружие, и тогда вся сеть мелких предприятий перейдет обратно в руки бывших владельцев и натиск безымянных хищников будет остановлен, быть может, на годы. Роджер расправил плечи. Его существование не было таким уж бесцельным, в конце-то концов;

защита жизненных интересов этих людей придавала ему смысл. И — мелькнула у него мысль — давала право ждать и от них помощи.

— Гито,— приступил он к делу.— Ваш грузовик далеко?

— Внизу, на пристани,— сказал Гито, вгрызаясь зубами в бутерброд с сыром.

— Поможете мне перевезти кое-что?

— Помогу,— без малейшего раздумья ответил Гито и кивнул, продолжая жевать.

— Видите ли, у меня вышло все топливо. Нужно поехать на склад и взять несколько мешков угля.

— Чего проще. Только в три часа мне надо быть за перевалом — Айво будет ждать. Он там по делам.

Роджер улыбнулся.

— Поспеете,— сказал он.— Будьте добры, Марио, нам еще по пинте пива и по куску мясного пирога.

Через полчаса Гито повел Роджера вниз, где у пристани стоял его грузовик. Гавань казалась вымершей, как и автомобильная стоянка,— ни яхт, ни катамаранов: летний сезон был позади. Две-три мачты вздымались кое-где над водой, да рыбачья лодка готовилась отчалить с послеполуденным отливом. Под плоским серо-стальным небом Карвенай был погружен в заслуженную зимнюю спячку.

Машина Айво и Гито оказалась канадским «доджем». Она знавала лучшие времена лет двенадцать назад, но короткие терпеливые пальцы Гито неустанно копались в ее внутренностях, что-то регулируя, что-то налаживая, и когда он сел за баранку и запустил мотор, тот заработал вполне исправно. И, что ни говори, тускло-зеленый грузовик, хотя и немало послуживший на своем веку, все же производил внушительное впечатление. Он двинулся из гавани по тихим улицам городка, словно большая грузовая баржа, снявшаяся с якоря.

— Лучший торговец углем — Уильямс, его склад там, на холме,— сказал Гито.— Нас быстро обслужат и товар отпустят первосортный. Вам какой уголь нужен?

— «Печной орех». Такие похожие на яйца брикетики.

— Понятно,— сказал Гито.— Я позабыл. Знаю я эту печурку. Не раз старался сесть к ней поближе и во время проповеди засыпал от тепла.

Роджер был удивлен и обрадован:

— Так вы знаете эту часовню? Посещали ее?

— Вся семья наша ее посещала, пока отец не перешел на другую работу и мы не переехали за шесть миль отсюда. Мне тогда десять лет было. Часовню я плохо помню — только печку. С ней-то я близко знаком. Можно сказать, друзьями были. Зимой утрами холодно, так сколько раз, бывало, проклинаешь проповедь и благословляешь печку.— Он негромко рассмеялся, но шум мотора заглушил смех.

На угольном складе Гито, перекинувшись несколькими словами с богом огня Уильямсом, бросил в кузов грузовика пять стокилограммовых мешков отборного брикета. Он только махнул рукой, отстраняя предложенную Роджером помощь, а когда тот подошел к торговцу, чтобы узнать, сколько надо платить, поспешно сказал:

— Это за наш счет, Бен. Завтра мы притащим тебе заднюю ось.

— Мне нужна проволока для курятника,— сказал Бен Уильямс.— Ярдов пятнадцать — двадцать. Двадцать будет в самый раз.

— Достанем тебе двадцать,— пообещал Гито.— Ну, пошли,— сказал он, обращаясь к Роджеру.

— Но я хочу заплатить за...

— Это в кредит,— сказал Уильямс и показал на Гито.

— Ладно, не спорьте,— сказал Гито и мотнул головой в сторону грузовика.— Садитесь, поехали.

Они медленно ползли в гору на первой передаче, мотор рычал и фыркал. Наконец Роджер заговорил:

— Не понимаю, почему вы должны поставлять мне топливо бесплатно.

— Часовню надо отапливать.

— Тем не менее мне неясно...

— Мне тоже неясно,— сказал Гито.— Мне неясно, зачем кому-то понадобилось наскакивать на вас из-за спины и сшибать с ног, да так, что вы рассекли себе губу. Или отвинчивать гайки на ваших скатах. Очень многое мне неясно.

— Ну, этому есть объяснение,— сказал Роджер.— Дик Шарп.

— Что ж, и этому есть объяснение: Гито и Айво.

Роджер улыбнулся, пожал плечами и умолк.

Они сгрузили брикеты, и Гито зашел вместе с Роджером в часовню; он стоял, глядя, как Роджер любовно растапливает печурку — выгребает золу и засыпает внутрь черные орешки,— а когда Роджер выпрямился, спросил:

— Что вы теперь собираетесь делать?

— Спущусь вниз,— сказал Роджер,— и доеду на автобусе «Дженерал» до Карвеная, чтобы в четыре пятнадцать встретиться с Гэретом.

Гито задумался.

— Значит, у вас сейчас еще есть свободное время?

— Да, часа полтора, а что?

— Вот я подумал...— сказал Гито.— Если вы свободны, может, поедете со мной, я могу показать вам кое-что интересное.

Гито вел грузовик вверх по крутой дороге, уходившей из Ллан-крвиса и зигзагообразно взбегавшей на седловину горы, откуда они с выключенным мотором покатили вниз в долину.

Наконец вдали показалась деревенька в одну длинную улицу, с беспорядочно разбросанными домиками и каменным мостом через бешеную, полную острых камней и белую от пены речку.

Гито выключил мотор, и в наступившей тишине Роджер спросил:

— Ну, так что же вы хотели мне показать?

Гито кивком головы указал куда-то в сторону.

— Этот дом сносят,— сказал Гито.— Дорогу расширяют. Внутри почти все разобрали. Мы с Айво тоже раздобыли там для себя кое-что. Чугунные плиты, трубы, каминные решетки, много кой-чего нужного. Слушайте,— он поглядел на ботинки Роджера,— вы не боитесь пройтись по грязи?

— Нет.

— Ладно, тогда идем.

Они прошли по развороченной земле и обогнули дом. На заднем дворе стояла когда-то оранжерея, но ее тоже разобрали, а на ее гладкие каменные плиты была навалена груда каких-то обломков, и Гито горделиво указал на них пальцем.

— Паркет,— сказал он.— Его выкинули. Это считается вроде как мусор, который надо куда-то вывезти. А дерево хорошее. Дуб. Теперь такого не достанешь.

Дуб! Роджер мгновенно увидел, как эти паркетины превратятся в тонкую золу, ощутил приятное, ровное тепло, которое они будут излучать.

— Мы в самом деле можем? — Он недоговорил.

— Грузовик под рукой,— сказал Гито.

Они разом нагнулись и быстро набрали по полной охапке каж-

дый. Жаль, нет мешков. Но ничего не поделаешь. Роджер чувствовал себя богачом, наваливая в грузовик добротные красивые деревянные планки. А глядя, как Гито тащит охапку в своих мощных объятиях, он почувствовал себя вдвойне богачом: он приобрел друга. И теперь огонь в печке будет весело пылать, и все это — даром, подарок, чья-то доброта. Сердце Роджера преисполнилось благодарностью.

Работа подходила к концу. Скоро можно будет отправиться в обратный путь. Роджер с огромной охапкой паркетных планок шел к грузовику, и тут его внимание привлекла машина — быстро приближавшаяся по деревенской улице машина. Малолитражка. Ярко-голубая малолитражка, и за баранкой — Дженни.

Машина Дженни. Двое ее ребятишек. Взгляд Дженни устремлен прямо на него из-под темной густой челки.

Их глаза встретились. Роджер крепче прижал к груди охапку и приготовился к тому, что должно было сейчас произойти. Но ничего не произошло. Ее лицо, глаза за стеклами очков проплыли мимо, ее рука легла на рычаг переключения скоростей. Мэри и Робин на заднем сиденье равнодушно скользнули по нему взглядом. И машина проехала.

— Осталось ровно на один раз,— проговорил Гито за его спиной.

— Да,— сказал Роджер. И бросил свою охапку в грузовик.

Потом он обернулся и поглядел на длинную деревенскую улицу, но машина уже завернула за угол, и жизнь его снова была так же пуста, как прежде. Он тупо зашагал к разрушенному дому, чтобы взять последнюю охапку паркетных планок... Зима сразу надвинулась на него. Он чувствовал ее в своих костях.

На той же неделе, когда они совершали свой одиннадцатичасовой рейс в город, в автобусе оказалась миссис Пайлон Джонс. Роджер подошел к ней, чтобы получить плату за проезд, и она глянула на него исподлобья, как злая гномиха.

— Вот, пришло для вас,— сказала она и протянула ему письмо.

— О,— произнес он,— спасибо. С вас десять пенсов.

У письма был неприятно казенный вид, оно лежало в кармане и источало угрозу. Как только они прибыли в Карвенай, Роджер вскрыл конверт. Конечно, подтвердились худшие его опасения. Письмо было от фирмы по прокату автомобилей. Поскольку не было представлено ни одного свидетельства в пользу того, что авария произошла не по вине Роджера, страховая компания отказывалась платить по страховке, и Роджеру предлагалось возместить убытки в размере семидесяти двух фунтов стерлингов.

— Дурные вести? — спросил Гэрет. Повернувшись на сиденье, он наблюдал за Роджером и, казалось, прочел его мысли.

— Да, деньги,— сказал Роджер.— А точнее — отсутствие таковых. С меня взыскивают семьдесят два фунта за этот автомобиль, который помяло, когда у меня сорвалось колесо.

Гэрет впился глазами в Роджера. От напряжения взгляд его на мгновение стал незрячим, как у матери.

— Но ведь это произошло не по вашей вине,— сказал он.

— Страховая компания считает, что по моей. Есть две женщины, которые могли бы подтвердить, что колесо отскочило не по моей вине, но они отказались засвидетельствовать это.

Гэрет молчал.

— Так что, похоже, придется мне выложить семьдесят два фунта. И поделом: буду теперь знать, как брать автомобили напрокат.

Пальцы Гэрета забарабанили по баранке, взгляд беспокойно убежал в сторону, потом снова уперся в Роджера.

— Нелегко сводить концы с концами?

— Я проживаю около шести фунтов в неделю,— сказал Роджер,— и могу, пожалуй, уложиться и в меньшую сумму, поскольку жилье у меня теперь бесплатное, но, с другой стороны, меня всегда могут притянуть к ответу и оштрафовать за то, что я вселился туда в отсутствие владельца. И это еще если повезет, а то могут и за решетку посадить.

— Не думаю, чтобы до этого дошло. Вы же не нанесли никакого ущерба владельцу, и притом судимость-то у вас будет первая.

— Вы так полагаете? Что ж, спасибо. Между прочим, вы не ошиблись. Но тем не менее... Выглядеть это будет довольно неприглядно, и меня могут попросить из университета. Но я такую мысль стараюсь насколько возможно отогнать от себя; не хочу об этом думать — и все. Пока что у меня хватит денег: на пять-шесть фунтов в неделю я протяну до февраля, а может, и до марта.

Гэрет перестал барабанить пальцами по баранке.

— Тогда все в порядке,— сказал он.— Потому что к тому времени мы уже, верно, прикроем дело.

— Что, так плохо?

— Я могу продержаться еще три месяца,— сказал Гэрет.— Даже несмотря на...— Он мотнул головой куда-то в сторону, где за ветровым стеклом притаился бурый автобус и весь враждебный ему мир.— Но тут небольшая загвоздка — лицензия. Страховка у меня уплачена за несколько месяцев вперед, но лицензия истекает первого января. Второго января я уже не буду иметь права вывести автобус в рейс. Вот тут-то и начнется. Денежки на кон — и все.

— А сколько надо денег?

— Восемнадцать фунтов десять шиллингов,— сказал Гэрет.— Это за такой, тридцатидвухместный. А будь он сорокаместным, как почти все остальные, еще на четыре фунта дороже бы стоило.

Голос его звучал мягко, ласково, словно он был благодарен машине за то, что она сделала все, от нее зависящее, чтобы им помочь и не разрастись до размеров сорокаместной.

— А у вас нет восемнадцати фунтов?

— Есть,— сказал Гэрет.— Но они отложены для другого, понимаете? Если я отдам их за лицензию, мне не на что будет покупать бензин и запчасти, так что все равно дело придется сворачивать.

— Гэрет,— перебил его Роджер,— нам при всех обстоятельствах надо продержаться до февраля, а за лицензию я заплачу.

— Нет, вам и так уже это недешево обошлось.

— А я сказал «заплачу» и больше не желаю ничего слушать.

В первую минуту Роджеру показалось, что Гэрет заупрямится. Он подвигал плечами под вытертой кожаной курткой, словно изготовляясь к бою. Но прежде, чем он успел вступить в схватку, Роджер нанес решающий удар:

— Слушайте, вы обязаны это сделать хотя бы ради вашей машины, которая всегда верой и правдой служила вам. Постыдились бы ставить ее на прикол гнить или отдавать в чужие руки из-за какой-то чертовой лицензии.

Гэрет помолчал, раздумывая. Потом кивнул. Не промолвив ни слова, он вылез из-за баранки, подошел к двери, открыл ее и только тут обернулся к Роджеру.

— Я возьму деньги,— сказал он.— Но только взаймы. Если мы выдержим, я смогу возвратить их вам в мае или в июне. Ну, а не выдержим,— он опять помолчал,— тогда наймусь куда-нибудь на работу и выплачу из своего жалованья. Если вас здесь уже не будет, пришлите мне ваш адрес.

— Договорились.

— Ладно,— сказал Гэрет.

Маленькая пузатая печурка никогда не гасла. Порой казалось, что в ее черном чреве совсем нет больше жизни, но стоило Роджеру пошуровать в поддувале, а потом распахнуть дверцу, и все вокруг дивно озарялось сочетанием неяркого света и палящего жара. Он проделал это еще раз в три часа пополуночи. И на следующую ночь он лежал, даже не пытаясь уснуть, на кушетке фрейлейн Инги и глядел на потолок, которого не мог видеть в темноте. Непроглядный мрак царил вокруг и в нем самом.

Внезапно мысль о Дженни с такой силой пронзила все его существо, что он уже не мог больше оставаться в покое. Он вскочил, сбросив одеяло, и прежде всего подошел к печке, чтобы не дать ей затухнуть, а потом — к окну. Он *чувствовал,* как горы теснятся вокруг него, вздымая к небу свои гигантские черные черепа. Кровью, мышцами, суставами ощущал он, как там, куда был направлен его незрячий взор, стремительно падают вниз отвесные склоны навстречу вершинам могучих узловатых дубов, среди которых когда-то с пением разгуливали друиды, чей дух царит там и поныне и будет царить из века в век, не изменяясь, не слабея, пока не свалят последнего дерева.

Игра чувств. Игра воображения. Игра фантазии. Роджер подошел и включил свет, резко ощутив потребность изгнать мрак, одиночество, неподвижность дубов и хоровод друидов.

Сон был невозможен. Надо говорить, надо нарушить тишину. Но речь, чтобы не стать бессмысленной, должна быть обращена к женщине, любовь к которой готова была им завладеть. Он быстро схватил блокнот, карандаш, пододвинул стул поближе к свету и печке. Пиши, пиши, скажи ей все. Пусть наденет очки и прочтет. Наденет свои очки в толстой черной оправе, которые делают ее еще моложе — похожей на хрупкого котенка.

«*Дженни,*— написал Роджер.

Мне нужно с Вами поговорить. Не пугайтесь, просто склоните ко мне Ваш слух и слушайте. Я люблю Вас, Дженни, но это Вас ни к чему не обязывает. Это единственный путь установить добрые отношения с людьми — ничего у них не просить. Тогда, случается, они сами к тебе приходят.

Ну, хватит об этом. Я хочу поговорить с Вами совсем о другом. О Джеффри. Мой язык был так скован, я так боялся говорить о Джеффри, когда случай дал мне возможность беседовать с Вами с глазу на глаз. Когда, помните, мы сидели на кушетке в квартире миссис Пайлон Джонс. Когда Вы сказали, что смерть Джеффри была в какой-то мере избавлением для меня, а я сказал, что все это не так просто, а потом струсил и перевел разговор на другое.

Я больше не живу у миссис Пайлон Джонс. Мне пришлось съехать оттуда, потому что кое-кто подкупил хулиганов и они выбили стекло у меня в окне и вымазали краской дверь. Но это опять особый разговор. Это связано с Гэретом и его желтым автобусом. Впрочем, это тоже неотделимо от Джеффри. Если бы в моей жизни не было Джеффри, то теперь в ней не было бы и Гэрета. Мне нужно многое рассказать Вам, и я хочу и должен начать с самого главного. Это имеет для Вас значение, потому что я люблю Вас, и Вам не мешает знать, что, собственно, представляет собой человек, который Вас любит. А для меня это — способ как-то приблизиться к Вам и преодолеть свое одиночество. Я теперь живу в старой часовне. Вы набредете на нее, если за околицей Лланкрвиса пойдете вверх по маленькой тропинке на север вдоль горного кряжа, обращенного к морю. Я живу здесь в окружении чужой мебели и чужих холстов. Но печные орешки, кото-

рыми я топлю печку,— мои собственные, и у меня хороший запас дивных дубовых паркетин, и я непременно изобрету какой-нибудь способ уплатить за электричество. Здесь внизу под горой есть заколдованный лес, населенный призраками. Может быть, Джеффри тоже там, среди друидов. Но я знаю, что он не причинит мне зла, я не думаю, чтобы кто-нибудь желал мне зла — даже Дик Шарп. Я хочу сказать — мне лично. Я для него просто бельмо на глазу. И он хочет, чтобы меня не было. Но я не думаю, чтобы он испытывал ко мне ненависть. Я не могу ни в ком вызывать таких сильных чувств, потому что ни с кем не связан так близко: я совершенно одинок. Широкая кушетка, на которой я лежу, настраивает меня на сексуальный лад, но, по-видимому, все это для меня позади. По чести говоря, я не думаю, что еще когда-нибудь сближусь с женщиной. Я вполне для этого гожусь, но те, кто мне нужен, как видно, не хотят меня.

Эти мысли приводят мне на память Марго. Она была самой большой любовью в моей жизни, пока я не встретил Вас. А быть может, это была вовсе не любовь. Во всяком случае, это было очень мало похоже на чувство, которое я испытываю к Вам. Позвольте мне говорить об этом совсем откровенно, потому что я стараюсь разобраться в очень сложных вещах и могу запутаться, если не буду совершенно честен и прям.

Почему Марго так много значила для меня? И почему все это рухнуло? Мне кажется, одно вытекало из другого: накал страстей, потом разрыв. Официальной же, так сказать, причиной, как я уже говорил Вам, был Джеффри. Я хотел жениться на Марго, а она этого не хотела, потому что знала: я никогда не отдам Джеффри в лечебницу. И тем не менее только ли в этом причина? Не потому ли я избрал Марго и готов был погружаться целиком в загадочную ее сущность, не потому ли — да, не потому ли, что я никак не мог приручить ее, не мог повернуть ее жизнь по-своему? Вот почему ее глаза так притягивали меня к себе. Да, у нее были такие странные зеленые глаза — по крайней мере, мне они казались зелеными. Льдисто-зелеными. Бессчетное число раз я смотрел в ее глаза, в самую их глубь; мне хотелось погрузиться в них и потеряться там навсегда, но я никогда не мог разгадать до конца, что я в них видел. И это сводило меня с ума.

Когда мы разошлись из-за Джеффри, я очень горевал. Не думаю, чтобы это был самообман. Ведь из меня без всякой анестезии вырвали с кровью огромный кусок моей жизни. Быть может, подсознательно я шел к этому по доброй воле, но мы же по доброй воле идем иной раз и на крестную муку. Марго была мне нужна, даже если Джеффри был нужнее, даже если я, избрав Марго, все же в глубине души не хотел делить Джеффри ни с одной женщиной на свете. Он был мой брат, и моя кара, и моя жертва, и моя опора — все вместе.

Вижу, что несу какой-то бред. Что означает весь этот набор слов? Я сам не знаю, Дженни, не знаю толком. Но я постараюсь понять, что к чему, насколько это возможно. И спасибо Вам, любовь моя, что Вы меня слушаете и помогаете мне излиться. Бог его знает, может быть, я даже не отправлю этого письма. Может быть, Ваши прелестные глаза никогда не увидят этих строк, Ваши глаза, такие же прелестные, как глаза Марго, только совсем другие — тоскующие и открытые. Я умею прочесть то, что вижу в Ваших глазах: жажду, и боль, и смех — все проносится в вихре. Да, и гордость еще — гордость, которая покорится только высокой цели.

Обождите минутку, любовь моя, я сейчас подброшу в печку еще немного орешков. Не хочу, чтобы здесь выстудило. К тому времени, когда Ваша северная поздняя заря расползется по небу, я должен уже все сказать.

Печка набита до отказа, и я снова за своим столом. Позвольте мне рассказать все про Джеффри. Ему бы это было приятно. Если он там, в дубовом лесу, то может при желании подняться сюда, стать за моей спиной и прочесть, что я пишу. Если он хочет принять в этом участие, милости просим.

Почему Джеффри был мне так необходим? Не потому ли, что я был ему многим обязан? Это звучит странно: я годами ухаживал за ним, всю мою жизнь построил, исходя из его интересов, бросал ради него работу, отказался от всякой надежды на счастливый очаг и близость женщины. Казалось бы, что он был всем обязан мне. Да, по виду это было так. Но ведь никто со стороны не мог бы понять, что произошло в течение тех девятнадцати часов.

Каких девятнадцати часов? Моя дорогая девочка, моя Дженни, которую я буду любить вечно, даже если мы никогда больше не увидимся. Я говорю о девятнадцати часах, начиная с пятницы, с самого рассвета, и кончая глубокой ночью с субботы на воскресенье, в год одна тысяча девятьсот сорок четвертый от рождества Христова. Вы уже родились тогда, Дженни? Вы были, должно быть, маленькой девочкой, пили полезный для здоровья апельсиновый сок и играли в куклы в тихой детской хорошо налаженного буржуазного дома на севере Англии. Надеюсь, Вы были вполне счастливы в ту пятницу утром, съели свой завтрак и чинно углубились в игру, и Ваш папочка был дома и в столовой за обедом посадил Вас к себе на колени. А теперь слушайте, что делал я. Я лежал, скрюченный в три погибели, под грудой кирпича, стропил и прочих строительных обломков весом в несколько тонн. Я мог дышать, но не мог шевельнуться и на протяжении десяти часов так страдал от судорог, что мне казалось, я этого не выдержу, умру от этой муки, даже если приток воздуха не иссякнет. Он не иссяк. И судороги часов через десять прекратились, перешли в онемение, а я все лежал, придавленный, и дышал, но не надеялся взглянуть еще когда-нибудь на белый свет. Мне было шестнадцать лет, и я думал: «Шестнадцать лет — это не так уж плохо, множество людей не доживают до этого возраста. Многие виды животных живут меньше». Вероятно, сознание мое было несколько затуманено и искажено. Я был не только придавлен, но и контужен. Но мне почему-то не было жаль себя. Мне было жаль Джеффри. Он находился в одной комнате со мной — у нас была большая общая спальня,— и я знал, что его тоже завалило где-то тут, рядом, потому что я его слышал. Множество разнообразных звуков долетало до меня. Он пострадал гораздо сильнее, чем я. Он то громко рыдал, то еле слышно всхлипывал, то затихал совсем, а потом вдруг начинал выть, да, выть, совсем по-волчьи. Он терял рассудок и, теряя его, прощался с жизнью.

Самолет-снаряд — вот что сотворило весь этот ужас, Дженни. Вы, вероятно, не помните, что немцы прекратили воздушные налеты в конце сорок первого и мы на два с чем-то года получили передышку, а потом в последний период войны они стали посылать на нас эти самолеты-снаряды — так сказать, игрушечные модели тех более солидных подарков, которые мы будем получать в следующий раз, когда все начнется сызнова. Отчасти эти налеты были не так уж и страшны, как прежние, потому что это были одиночные, беспорядочно падавшие бомбы — одна здесь, другая там, и никто даже не находил нужным объявлять воздушную тревогу: какой, казалось, смысл из-за одной бомбы будоражить весь город, тем более что и времени на это не было. Эта штука просто появлялась в небе и, погудев немного, падала в чудовищной тишине, за которой следовал ужасающий грохот. Народ к ним привык. Мой отец видел раз, как одна такая бомба угодила прямо на очередь за рыбой. Минуту назад они все стояли там со своими пле-

тенями корзинками и бумажными пакетами, а еще минуту спустя их разорвало в клочья, а отец пришел домой и сел пить чай. В те дни дорожили каждым куском.

Так вот, в ту пятницу пришел наш черед. Мой отец и мать спали на своем супружеском ложе. Мы с Джеффри спали в детской, рядом с их спальней. Было четыре часа утра, и Джеффри находился в отпуске. Ему исполнился двадцать один год, он проходил какую-то очередную военную переподготовку, и его должны были со дня на день произвести в офицеры. Мы оба поздно легли накануне — было небольшое семейное празднество. А когда в субботу, примерно около часу ночи, спасательная бригада извлекла нас наконец из-под обломков, и отец и мать были уже мертвы. Я же остался почти невредим, хотя мне и пришлось довольно долго пролежать в больнице. А Джеффри? Ну, что Вам сказать о Джеффри? Это был уже новый Джеффри, тот, что вступил в свою vita nuova[1]*, прорыдав прости-прощай молодому, здоровому, энергичному, высоко одаренному будущему офицеру и всей своей прежней жизни.*

Это был несчастный случай, понимаете? Почему балки и кирпичи должны были упасть так, что меня почти не изувечило, а Джеффри попал в эту страшную ловушку, из которой он вышел уже неизлечимо больным? Почему одному выпала злая, а другому счастливая участь? Ни характерами нашими, ни поведением нельзя было этого объяснить. Так бывает — в военное время чаще, чем в мирное: один человек остается жив, а другой, рядом с ним, погибает. И будь это обычная и быстрая смерть, я бы больше не размышлял над ней. Я бы пристойно похоронил Джеффри, так же как (с помощью причитающих родственников из Полперро) я похоронил своих родителей, и все бы на этом кончилось. Осталось бы только имя на военном монументе — имя человека, который когда-то был моим братом. Но те девятнадцать часов изменили все: ко мне все это время неумолчно долетали звуки оттуда, от Джеффри; я все слышал и понимал, каково ему. Лишь позднее, на какие-то короткие промежутки, я стал терять сознание. И пока этот кошмар длился, я уже не мог освободиться от мысли: все это выпало на его долю вместо меня. О, я знаю, что тут нет ни крупицы логики. Это был случай, несчастный случай — и ничего больше. Спи я там, где Джеффри, со мной было бы то же, что с ним. И если на то пошло, я действительно иной раз спал в его постели, когда он не ночевал дома. Его кровать стояла возле окна, и мне там нравилось больше. Он был старше и потому пользовался правом выбора и выбрал эту кровать. Вот что решило его судьбу. Час за часом я слушал доносившиеся до меня звуки и думал: встретимся ли мы в какой-то новой жизни, обретя новую форму существования? «В мире ином»,— думал я. И мир действительно стал для нас иным, когда глухой субботней ночью Джеффри и меня вытащили из-под обломков. И главным моим желанием в этом новом мире было одно: переложить на себя какую-то долю страданий Джеффри, потому что страдания, которые он принял в ту ночь, могли бы выпасть на мою долю.

Прошли, разумеется, годы, прежде чем я закончил образование, получил профессию, стал зарабатывать. Я оборудовал нечто, похожее на домашний очаг, и обратился в лечебницу с просьбой выписать Джеффри, чтобы он мог поселиться со мной. Они, возможно, и не отпустили бы его — ведь я был еще так молод и неопытен,— но у них положение было отчаянное, и они отпускали каждого, у кого был дом, даже если этот «дом» походил на трущобу.

Так я взял Джеффри, и вся моя жизнь сосредоточилась на нем. Он

[1] Новую жизнь *(итал.)*.

был моей вечной заботой и тревогой, но в нем же я черпал и силу: по правде говоря, я даже не знаю, бывает ли другой источник силы у людей. Вознаградить Джеффри за все, чем я ему обязан,— вот что засело у меня в мозгу.

Удивительно, как люди вгоняют свою жизнь в ту или иную колею. Вам, Дженни, я мог бы этого и не говорить, потому что Вы сами в такой колее и достаточно трезво оцениваете это. Колея, по которой текла моя жизнь, была очень глубока. Я уцепился за свое сострадание к Джеффри, потому что если бы я не опекал его и не расплачивался за это чистоганом самоотречения, я бы считал, что не имею права жить. Ведь то же самое происходит и с Вами: Вы считаете, что не имеете права жить, если оставите мужа и заберете детей, лишив их надежной пристани, где о них пекутся двое родителей. Поэтому Вы поймете меня — я не рисуюсь и не пускаю слов на ветер. С людьми бывает и так: возникает убежденность в том, что ты не имеешь права жить, и тогда кончают самоубийством. Это болезнь со смертельным исходом. Человек чувствует, что ему нет места на жизненном пиру, что он стоит в стороне, как незваный гость, и ни у кого нет охоты перекинуться с ним словом или предложить ему кусок хлеба и стакан вина, и он обречен стоять у двери, на сквозняке и чувствовать себя лишним. И тогда он, тихонько перешагнув через порог, уходит.

Если конец моей исповеди наведет Вас на мысль, что я собираюсь покончить с собой, мне следует исправить это впечатление. Так далеко я еще никогда не заходил. Прежде всего, Джеффри был отнят у меня самой деликатной из всех разлучающих сил, ибо смерть легче перенести, чем предательство или отторжение. Я ухаживал за ним все дни и ночи, которые были ему отсчитаны. До самого конца я черпал в нем силу — силу и самооправдание — и получал прощение. Не в прямом смысле в нем — ведь он даже не подозревал, что я нуждаюсь в каком-то оправдании. Но мне это было нужно. Я должен был получить прощение за то, что мне повезло.

Я расскажу Вам, отчего умер Джеффри. Врачи обрушили на меня кучу медицинских терминов, но я ни секунды не сомневаюсь в том, что Джеффри умер просто потому, что он двадцать лет был Джеффри, тем Джеффри, который девятнадцать часов провел в аду, пока его не извлекли из-под обломков. И двадцать лет он страдал церебральной ишемией — так обычно называют это врачи. А потом развились различные осложнения — все с очень длинными названиями,— и все эти длинные названия означали только одно: он устал. Он больше не мог бороться за жизнь.

Словом, понимаете, Дженни, его смерть не была таким уж тяжелым потрясением для меня, я держался спокойно. Надел чехлы на мебель, тихонько запер дверь и приехал сюда, чтобы претворить в жизнь одну свою научную идею, а сверх того была у меня и другая мыслишка — попытаться устроить свою личную жизнь. Если не брать в расчет Джеффри, то во всем остальном я всегда был весьма эгоистичным субъектом. Я приехал в Карвенай с обдуманным решением дать полную волю своему эгоизму — прежде всего позаботиться о себе самом и сделать это, черт побери, осмысленно и с толком.

И вот сейчас я сижу здесь в предрассветных сумерках, словно бродяга, случайно забредший в покинутую часовню, которая уже даже и не часовня, а чье-то любовное гнездышко, и ясно понимаю только одно: все мои хорошо продуманные маленькие планы рухнули. Мне казалось, что я слишком стар, чтобы меняться, и радовался этому. Всякая перемена — страдание, так я говорил себе, а апрель самый жестокий месяц в году. Но сейчас, прежде чем я закончу это письмо и разорву его, или, быть может, брошу в печку, или, любовь моя, даже

отправлю его Вам, чтобы Вы надели свои большие черные очки и прочли его, когда никого не будет рядом,— прежде я хочу смиренно и радостно сделать Вам признание: я изменился; я не слишком стар, не слишком высох, не слишком очерствел — горы изменили меня, и море, и круча дороги в Лланкрвис и обратно, и Гэрет, и его мать, и Мэдог, и «Гвилим чероки», и Марио с его копной волос, и Райаннон, к которой я вожделел, и Вы, которую я люблю и к которой вожделею, и Айво, и Гито — вы все сделали меня другим. Я не стал умнее, после того как сошел в октябре здесь с поезда, но я стал мудрее, и чуточку храбрее, и много, много свободнее.

И за это за все примите мое благословение. Примите его, и да пребудет оно с Вами навечно и освещает Вашу жизнь, потому что невозможно так уж точно разграничить, где кончается то, что именуется Вами, и где начинается то, что я отдаю Вам. А теперь у меня уже занемели пальцы и стали слипаться глаза, и я ложусь в постель и буду спать, пока не придет время встать и приступить к работе, к моей нелепой, печальной, отважной, безнадежной, роботоподобной псевдоработе, которая тем не менее важнее всего сейчас для меня, кроме моей любви к Вам».

Не перечитывая, он крупными буквами подмахнул в конце письма «Роджер», бросил кучу смятых листков на стул и, повалившись на кушетку фрейлейн, уснул. Когда звон будильника поднял его с постели, он медленно, с трудом встал, медленно двигаясь, помешал в печке, приготовил себе чай, оделся и только минут через пятнадцать вспомнил про письмо; тогда, кое-как расправив листки и даже не проверив, в каком они лежат порядке, он сунул их в конверт. Он сделал это не потому, что решил отправить письмо, а, скорее, чтобы отделаться от него, чтобы оно больше не лезло ему в глаза. Однако днем, в перерыве между рейсами, он зашел на почту, отыскал в телефонной книжке адрес Дженни — адрес Туайфорда, Дж. Р.,— нацарапал его на конверте и торопливо бросил письмо в ящик. Когда оно уже непоправимо скользнуло в щель, ему тотчас захотелось извлечь его обратно. Но потом он подумал: «Я мог бы его сжечь, но она прочтет и сожжет сама. Почему бы ей не узнать, кто он такой, этот человек, который ее любит?»

В тот вечер Роджер был весел. Он больше, чем обычно, засиделся в пивной, слегка захмелел и, обслуживая рейс, неправильно отсчитал сдачу двум-трем пассажирам.

Дни стали короче, быстрее смеркалось, и желтые прямоугольные соты витрин увереннее утверждали свое ослепительное господство над промозглой сыростью улицы, когда неподвижные облака стояли над ней, едва не цепляясь за коньки крыш. Приближалось рождество, и на узких тротуарах день ото дня становилось все больше пешеходов, а в автобусах — все больше пассажиров и у каждого — все больше кульков в руках, пока наконец автобусы не оказались забитыми до отказа, и хотя бурый пират старался вовсю, неуклонно и неутомимо на две минуты опережая автобус Гэрета, люди, ждавшие в длинных очередях на остановках, были рады втиснуться в любую машину, которая повезет их — бесплатно или за деньги,— куда им надо, и на протяжении двух-трех недель желтый автобус не раз был так же переполнен, как и бурый мародер, а кожаная сумка приятно оттягивала плечо Роджера. Но лицо Гэрета было по-прежнему замкнуто и угрюмо, и резкие черты его не смягчала улыбка. Роджер понимал, что увеличившаяся выручка — это ненадолго.

Собирался дождь, но еще не накрапывало. Роджер и Гэрет стояли возле автобуса, и Роджеру почему-то бросилось в глаза, что лысоватый

череп Гэрета покачивается как раз на одном уровне с пробкой радиатора.

— Рождество,— проронил Гэрет, словно разговаривая с самим собой и глядя на пешеходов, которые медленно приближались к ним с охапками мелких свертков в руках. Он повернулся и в упор поглядел на Роджера.— Что вы собираетесь делать?

— Возьму бутылку, заберусь к себе в часовню, напьюсь и залягу спать,— не задумываясь, ответил Роджер.

— А-а,— Гэрет сосредоточенно обдумывал его ответ. — Я думал, вы уедете на денек-другой. К вашей семье.

— Нет.

— Не годится сидеть одному на рождество,— сказал Гэрет.— Приходите, проведете праздник у нас с матерью.

Роджер почувствовал стеснение в груди. Он вдруг понял, что, сам себе в том не признаваясь, боялся, панически боялся рождественских праздников.

— Буду очень рад,— сказал он.

— Отпразднуем чем бог пошлет, уж не взыщите,— сказал Гэрет.— Но что-нибудь соорудим.

С этой минуты все помыслы Роджера сосредоточились на предстоящем посещении Гэрета. Он снова и снова тщательно обдумывал, какую следует внести лепту и какие сделать подарки. Не обидит ли это Гэрета, если он приковыляет к двери их домика, таща огромный, не в обхват, пакет с роскошными явствами? Ему захотелось, отчаянно захотелось, снять со счета остаток своих жалких сбережений и потратить его весь целиком на такое пиршество для Гэрета и его матери, какое им и не снилось: чтоб было все — оранжерейные фрукты, настоящее, хорошее вино, и притом в изобилии, индюшка, финики, орехи, добрый старый портвейн и французский коньяк, сигары... Какой толк от этих несчастных денег, которые лежат на его счету в банке? Их хватит ему, чтобы продержаться на нищенском бюджете до тех пор, пока Дик Шарп не заключет насмерть Гэрета, но так ли уж приятно это наблюдать? Не лучше ли разом истратить все до последнего пенни за один ослепительный день беспечного кутежа, а на следующее утро, в холодном сумраке занимающейся зари, закрыть часовню и уползти отсюда прочь, оставив Гэрета потихоньку идти ко дну, куда за ним не последует ничей посторонний взор, кроме сострадающего взора незрячих глаз той, что вскормила его своим молоком?

Роджера очень подмывало сделать этот широкий бесшабашный жест; временами он даже всерьез начинал его обдумывать. Сидя у своей печурки, он решал, что наутро, как только откроют банк, нужно отправиться туда. Но наступало утро, и у него не хватало духа привести в исполнение свой план. И не из опасения быть неправильно понятым — он уже не боялся, что его широкий жест пропадет впустую. Он все-таки достаточно хорошо знал Гэрета и был уверен, что горбун примет, как надо, любое идущее от сердца доброе намерение. Нет, его удерживало другое. Гэрет был слишком прозорлив, слишком умен — он мыслил ясно и четко, не растратив своего мозга по пустякам. Он сразу поймет: если Роджер забрал все деньги из банка и бросил их на ветер, на совместную пирушку, значит, он сложил оружие. Деньги эти — боевой фонд Роджера, и потратить их впустую равносильно объявлению капитуляции. Этого Роджер допустить не мог. Ему не хотелось быть свидетелем того, как Гэрета положат на обе лопатки, но пока в его зарядниках еще оставалось два-три патрона, он не мог бросить Гэрета одного, окруженного врагами.

В конце концов он решил купить бутылку хорошего сухого вина и бутылку виски.

Лежа в темноте и прислушиваясь, как гуляет ветер в горах, как тяжко вздыхает он в верхушках деревьев в лесу, где живут друиды, Роджер думал о том, что такт, который он старался проявить, вся эта осторожная стратегия, боязнь обидеть, совсем не свойственны его натуре. Долгие годы жизни с Джеффри привили ему это.

Первый день рождества занялся в белом льдистом тумане. Роджер шагал по дороге к дому Гэрета; бутылки оттягивали ему карманы. Туман заволакивал все, вплоть до самого неба, и низко над землей висел красный диск солнца. Даже вершины гор едва проступали в густом тумане.

Роджер отворил калитку, прошел поляну и постучал в дверь. Было одиннадцать часов утра.Он тщательно обдумал время своего прихода — ему хотелось успеть помочь по хозяйству и вместе с тем явиться не слишком рано в праздничный день, когда приятно подольше поваляться в постели. По-видимому, он рассчитал правильно: Гэрет в рубашке, но уже чисто выбритый и причесанный, тотчас отворил дверь.

— Веселого рождества,— торжественно произнес он.

— И вам того же,— сказал Роджер.

Он вошел в дом. Мать сидела на своем обычном месте. На ней была все та же толстая коричневая кофта, но поверх нее она накинула на свои широкие костлявые плечи красивую шаль с бахромой и тонкой ручной вышивкой. Быть может, эти сотни стежков были положены когда-то, полсотни лет назад, ее собственной терпеливой рукой; быть может, ее глаза, когда они еще не утратили остроты зрения, часами любовно разглядывали этот узор.

— Nadolig Llawen [1],— сказала она.

Роджер почувствовал себя на седьмом небе. Ее валлийское приветствие и эта вышитая шаль еще больше подняли его настроение. Да, конечно, это будет памятный день.

С этой минуты все трое разговаривали только по-валлийски.

«Садитесь»,— скомандовал Гэрет, пододвигая Роджеру стул.

Жарко, весело пылал очаг. Огонь разожгли здесь по меньшей мере часа два назад.

«Но я хочу помочь»,— запротестовал Роджер.

«Составьте матери компанию — это и будет ваша помощь. Доступ в кухню закрыт для всех. Я готовлю сюрприз и, пока не подам на стол, не открою секрета».

Роджер повесил пальто, охотно предоставив Гэрету быть командиром на своем корабле, и хотел было сесть. Но сначала (почему бы нет?) достал бутылку вина — превосходного сухого вина, на котором он остановил свой выбор, тщательно обследовав запасы лучшего винного торговца в округе.

«Вот для начала — чтоб промочить горло. Его надо остудить, так я вынесу наружу».

Гэрет взял бутылку, подержал в своей лапище.

«Вино? Хм»,— произнес он.

«Мне хотелось принести что-нибудь»,— сказал Роджер просто.

«Я-то больше насчет пива. Но отступить от своих привычек иной раз тоже неплохо. Я припас две-три бутылочки пива и, сказать по правде, уже откупорил парочку, пока возился на кухне, готовил овощи. Если начну мешать, как бы вам не пришлось укладывать меня в постель».

Гулкие раскаты смеха выплеснулись из его широкой грудной клетки.

[1] Веселого рождества *(валл.)*.

«Все повара пьют,— сказал Роджер.— Жар плиты выгоняет из них градусы пòтом».

Он отворил дверь и выставил бутылку наружу, в туманную прохладу. Одинокая ворона спорхнула с ветки, оглядела бутылку и улетела, разочарованная.

Роджер захлопнул дверь, подошел и сел возле матери. Гэрет уже скрылся в кухне, плотно притворив за собой дверь.

«Мистер Фэрнивалл?» — сказала старая женщина.

«Я здесь».

«Хочу попросить вас об одолжении».

Мгновенно, как бы в предчувствии чего-то, Роджер ощутил легкий укол там, где в прошлое посещение крепкие старые пальцы матери впились в его колено, настойчиво требуя, чтобы он поведал ей о тревогах сына. Однако на этот раз в ее поведении не было ни беспокойства, ни настойчивости, а скорее какая-то торжественная величавость.

«В столе есть маленький ящик».

Роджер поискал, нашел ящик.

«Да»,— сказал он.

«Пожалуйста, откройте его и скажите мне, что там лежит».

Он выдвинул ящик и достал два объемистых, круглых, шуршащих свертка. Что это — марлевые бинты? Нет, бумажные ленты, черт побери!

«Гэрет ничего не принес, чтобы украсить комнату,— сказала старая женщина, с улыбкой уставившись в огонь.— Верно, решил, что это ни к чему, поскольку я все равно не увижу, а его такие вещи не интересуют. Но когда я в последний раз была в лавке с Малдвином, аккурат в канун сочельника, там сказали, что у них остались две большие связки бумажных лент, которые теперь уже никто не купит, и не хочу ли я взять их в подарок. Я, понятно, сказала—хорошо, возьму. Я подумала, что это большая любезность с их стороны, они же могли убрать их на склад до следующего рождества».

Роджер повертел неуклюже связки в руках.

«Подвесить их?» — спросил он.

«Да, да,— оживленно сказала она.— Подвесьте, пока Гэрет на кухне. В буфете у меня за спиной вы найдете молоток и гвозди».

Роджер достал молоток и гвозди, распаковал первую связку, стал на стул и принялся быстро и аккуратно развешивать ленты. Через несколько минут он уже прикрепил первую связку, протянув ленты вдоль всех четырех стен под потолком. Затем взял вторую связку и протянул ленты от центра к углам.

«Ну, как получилось?» — спросила мать.

«По-моему, очень красиво,— сказал он, ставя стул обратно к стене.— Конечно, может быть, у женщины вышло бы лучше».

«Какого они цвета?»

«Одна — красная с серебром, а другая — зеленая с желтым».

Мать удовлетворенно вздохнула и сложила руки на коленях.

«Я все слышал! — крикнул Гэрет из кухни.— Что это вы там стучите молотком? Что вы затеяли?»

«Ничего, просто колем орехи,— отозвался Роджер.— Занимайтесь своим делом».

Они сидели у камина, точно два заговорщика, и слышали, как Гэрет негромко посмеивается на кухне.

Несколько минут царило молчание, и Роджер подумал, не собирается ли мать возобновить свои расспросы о положении дел сына. Однако, поглядев на ее спокойное лицо, он понял, что его предположение ошибочно. Ничто не заставит ее испортить этот торжественный день суетными повседневными заботами.

Подыскивая тему для беседы, которая была бы ей приятна, он заговорил об ее покойном муже, стал расспрашивать о том, как они жили в этом доме при его жизни. Она отвечала охотно.

Гэрет уже рассказывал Роджеру, когда они в первый раз шли к нему домой, что его отец скончался пятнадцать лет назад. Теперь мать присовокупила к этому один существенный штрих: Роджер узнал, что она потеряла зрение после смерти мужа. Он понял, что их совместная жизнь была счастливой; бывало, правда, порой и туговато, приходилось экономить, мясо ели только по воскресеньям и в праздники, но судьба была к ним милостива: ни больших разочарований, ни трагедий не выпало на их долю, если, конечно, не считать того, думал Роджер, что их единственный сын родился калекой. Впрочем, было ли это таким уж ударом для родителей? Быть может, он был для них — для матери во всяком случае — просто ее дитя, просто Гэрет. Да и отец, если поначалу ему и больно было глядеть на искривленное тельце младенца в люльке, утешился с годами, когда увидел, что сын вырастает на диво сильным, словно корявый, но крепкий дубок, которого ничто не сломит.

«Есть у вас фотография вашего мужа?» — спросил он мать.

«У меня в комнате»,— отвечала она.

Ему приятно было думать, что она держит фотографию своего Геранта возле кровати, чтобы, проснувшись, можно было коснуться ее рукой. Конечно так, для чего бы иначе она ее там держала? И он не стал больше расспрашивать. Был ли Герант крупным мужчиной, ей под стать, или могучим гномом, каким первоначально всегда рисовался ему отец Гэрета, останется пока неразгаданной тайной. И это правильно: не все надо непременно вытаскивать на свет.

Возглас Гэрета, донесшийся из кухни, оповестил Роджера, что пора накрывать на стол. Под руководством матери он достал грубую белую скатерть, столовые ножи и вилки и большую вилку и нож для разрезания мяса. Винных бокалов не было, но Роджер обнаружил на полке нечто вроде стеклянной пробирки и поставил ее у прибора матери, а для себя и Гэрета достал обычные полупинтовые кружки.

«Проголодались? — крикнул Гэрет из кухни.— Через две минуты приступим».

Роджер поспешил во двор. На морозном воздухе вино остыло как раз до нужной температуры. Торопливо расспросив мать, он нашел штопор. Быстро откупорил бутылку и едва успел разлить вино, как Гэрет широко распахнул дверь кухни.

«Дорогу! — крикнул он.— Дорогу главному повару его королевского величества».

Он торжественно шагнул вперед, гордо подняв над головой большое блюдо, на котором лежало нечто коричневое и дымящееся. Восхитительный аромат жареного мяса и трав сопровождал его приближение к столу.

«Заяц! — воскликнула слепая.— Я чую по запаху, Гэрет. Конечно, заяц!»

Гэрет любовно и горделиво поставил блюдо на стол.

«Нет, не просто заяц,— сказал он.— Горный заяц. Я сам поймал его в силок. Дней пять возился с этим. Правда сказать, я поймал трех зайцев, но первые два не годились для такого праздничного стола. Один был совсем маленький зайчонок, а другой — старая зайчиха, жутко костлявая. Но этот — ух!..»

Роджер с благоговейным восторгом взирал на зайца.

«Сейчас принесу овощи,— сказал Гэрет,— а вы пока помогите матери сесть к столу и поглядите, чтобы у нее все было под рукой».

Он снова скрылся в кухню и возвратился с огромной сковородой

жареного картофеля, блюдом отварной брюссельской капусты и тремя тарелками, нагретыми до такой температуры, что даже он не мог держать их в своих мозолистых ладонях без салфетки.

Роджер, усадив мать на стул поближе к очагу, уже хотел было сесть сам, но тут заметил, что мать сидит, выпрямившись на стуле, подняв вверх руку и как бы призывая к молчанию.

«Гэрет?»

«Да, мама?»

«Ты все приготовил, я могу прочесть молитву?»

Гэрет положил нож для разрезания мяса и замер возле своего стула.

«Читай, мама».

«Господи боже наш,—произнесла старая женщина,—мы собрались здесь за рождественским столом по милости твоей и благости. Семьдесят второе рождество встречаю я сегодня, и всегда, с тех пор как прорезались у меня первые зубы, ты, господи, по милости твоей и благости посылал мне добрую еду в этот день».

Аппетитный запах жареного мяса щекотал Роджеру ноздри. Он проглотил слюну — голод уже давал себя знать,— но тишина была так глубока и торжественна, что ему не хотелось, чтобы ее что-нибудь нарушило.

«Сегодня не обычное рождество, и ты это ведаешь, господи,— продолжала мать.— Жизнь наша стала труднее в этом году и, может быть, станет еще труднее, но ты, господи, послал нам нового друга, который пришел к нам, мы не знаем откуда, и протянул нам руку помощи, мы не знаем почему, но для нас большая радость, господи, что он сегодня здесь, чтобы разделить с нами нашу трапезу...»

«Аминь»,— произнес Гэрет.

«...и вспомнить вместе с нами рожденного в Вифлееме»,— заключила свою молитву мать.

Они стояли тихо, боясь нарушить чары молитвы, а потом мать сказала громко, деловито:

«Теперь, Гэрет, разрезай!»

И Гэрет принялся разрезать.

«Вот уж никогда бы не подумал,— сказал Роджер с набитым ртом,— что вы можете приготовить зайца».

«Научился помаленьку,— сказал Гэрет.— Сначала я пробовал тушить и шпиговать свиным салом, но, по-моему, они вкуснее всего жареные».

Он отхлебнул вина.

«Хорошо идет, неплохая штука».

«Выпейте еще»,— сказал Роджер, подливая.

«Я правильно убил этого зайца,— сказал Гэрет.— Свернул ему шею — раз и готово, ни капли крови не пропало даром».

«Сколько он весил?» — спросила мать.

«Пока я не отрезал ему голову и не освежевал его,— сказал Гэрет, склонив голову набок и прикидывая,— думаю, фунтов шесть, верно, не меньше».

Несколько минут они ели в полном молчании.

«Большое счастье, что Гэрет научился так славно стряпать,— сказала мать, по-видимому, для Роджера.— Он в жизни не приготовил ни одного блюда, пока я не начала слепнуть».

«Ну, так ведь это не сразу случилось,— сказал Гэрет.— У тебя было время натаскать меня, пока ты еще не совсем ослепла».

Допивая вино, Роджер быстро окинул взглядом лица матери и сына. Какие они сильные, какие рассудительно-трезвые и безжалостные к себе. Слепота матери была фактом, и они его приняли, и, как ни

велика была их мука, они примирились со случившимся и тем победили. То, что мать слепа, стало для них просто одним из условий существования, как то, что горы круты, камни тверды и ветер с моря всегда дует в лицо.

Когда они подобрали последние кусочки, что были на блюде, и отодвинули от себя тарелки, Гэрет встал.

«Надеюсь, у вас еще отыщется местечко для рождественского пудинга».

«Великий боже! — сказал Роджер.— Вы гений!»

«Нет, это из лавки,— поспешно сказал Гэрет.— Тут я пасую. Но мне казалось, что рождество без пудинга — это негоже. Да и пудинг-то маленький».

Теперь самое время, решил Роджер, пойти достать бутылку виски из кармана пальто.

Он и Гэрет возвратились к столу одновременно.

«А это вот, чтобы полить на пудинг»,— сказал он, откупоривая бутылку.

«Так это вы — гений»,— сказал Гэрет просто.

Роджер полил виски на крошечный пудинг, а Гэрет чиркнул спичкой. С минуту они торжественно смотрели на дрожащий голубой венчик пламени.

«По-настоящему надо бы мне притащить коньяку»,— сокрушенно сказал Роджер.

«Думается, это ничуть не хуже, старина!»

Разделавшись с пудингом и слегка захмелев, они собрали посуду и уселись у огня с приятным ощущением сытости, тепла и покоя.

«Тебя не просквозит, мать?»

«Нисколечко».

За окнами короткий зимний день шел на убыль. Скоро овцы, ища тепла, будут сбиваться в кучки в загонах и туман, сгустившись, осядет льдистыми каплями на вереск. Год неотвратимо поворачивался, поворачивался вокруг своей невидимой оси, сотканной из мрака и холода.

Роджер и Гэрет потихоньку потягивали виски из кружек.

«Еще глоток?»

«Да, эта штука не даст замерзнуть»,— признался Гэрет.

«Не мели чепуху, Гэрет,— сказала мать.— Как это можно замерзнуть у огня».

«Так ведь это все равно что хорошая смазка,— спокойно пояснил Гэрет, подливая себе еще в кружку.— Как в машине. Хорошая смазка не застывает, и двигатель работает исправно».

И, отдавая напитку должное, он выпил еще.

Минуты две-три они молчали. Роджер заметил, что свет в окне, выходившем на море, стал уже не желтоватый, как сырная корка, а мягкий, теплый, розовый. Он чуть было не сообщил всем о своем наблюдении, но мысль о слепоте матери заставила прикусить язык.

Закат разгорался. Нежно-розовые оттенки сгустились, и на беленой стене за спиной Гэрета, над его дремотно склонившейся к плечу массивной головой расцвел ярко-багряный квадрат окна. Поднимая свою кружку, Роджер увидел, что на его руке играют те же багряные блики. И тут он заметил, что взгляд широко открытых глаз Гэрета неподвижно устремлен куда-то в окно.

«Мистер Идрис, мать»,— неожиданно произнес Гэрет.

«Где? К нам идет?» — спросила мать.

«Нет,— сказал Гэрет,— прошел мимо калитки. С собакой».

«Пошел прогуляться после рождественского обеда»,— сказала мать.

«И надоедать родственникам своей жены»,— присовокупил Гэрет.

«Будет тебе, Гэрет. Нечего смеяться над мистером Идрисом. Он твой друг. И может еще очень тебе пригодиться».

Роджер, отвернувшись, смотрел на невообразимый закат. На фоне пылающего небосвода неспешно двигался темный силуэт съежившегося от холода человека и по пятам за ним — силуэт собаки.

«Кто такой этот мистер Идрис?» — спросил Роджер.

«Подрывник, работает в каменоломне»,— коротко сообщил Гэрет. Он налил себе еще виски и поставил бутылку на пол поближе к Роджеру.

«Это добрый друг Гэрета»,— сказала мать. Она говорила спокойно, но с оттенком настойчивости.

Роджер почувствовал: речь идет о каких-то отношениях, подоплека которых ему неясна. Наступило молчание, и он подумал, что, вероятно, следует перевести разговор на другое. И тут Гэрет заговорил:

«Мать вот что хочет сказать. Я умею работать со взрывчаткой. Как-то раз я почти год с ней возился, работал там, наверху,— он мотнул головой в сторону каменоломни,— и здорово насобачился взрывать. Могу взорвать ровно такую площадь, какая требуется, ни на камушек больше. У меня на это природное чутье, понимаете. Ну, а мистер Идрис — он тогда только начинал — работал со мной. Так вот он на будущий год уходит на пенсию. И заглядывал сюда к нам уже два-три раза — узнать, не пойду ли я на его место».

«Понимаю»,— сказал Роджер.

«Конечно, Гэрет не пойдет в каменоломню, если будет по-прежнему водить автобус,— сказала мать. Багряные отблески падали на ее незрячее лицо, натруженные работой руки тихо покоились на коленях.— Но когда такое положение, хорошо знать, что есть еще кое-что другое на примете».

Роджер не находил ответа, а сказать что-то было нужно. Он поглядел на огонь и сказал:

«Кое-что другое всегда найдется».

«Только не для меня; для меня — нет,— сказал Гэрет.— Мне трудно угодить».

Роджер увидел, что он улыбается,— редкая неожиданность.

«Если я не смогу больше работать на автобусе,— продолжал Гэрет,— надо будет искать работу. А это все в городе. Я же хочу остаться здесь».

«Разве это так важно?» — спросил Роджер.

Гэрет решительно кивнул.

«Здесь мой дом»,— сказал он.

«А когда я умру, Гэрет, как тогда? — озабоченно сказала слепая.— Ты же не можешь оставаться здесь совсем один. Тебе нужно иметь свой угол в городе».

«Я останусь здесь,— сказал Гэрет.— Мне хорошо только здесь».

Багряный квадрат окна медленно продвигался по стене за спиной Гэрета и ложился на его плечо, на край лица. Роджер наблюдал за Гэретом и уже не находил в нем сходства ни с ястребом, ни с орлом, сейчас Гэрет казался ему похожим на барсука. На мощного серого барсука. Даже редкие рыжеватые волосы не мешали этому сходству. Да, на барсука. Гордого, скромного, укрывшегося здесь, у подножия отвала — в своей норе, как в крепости.

И затравленного.

«Если я пойду на взрывные работы,— сказал Гэрет,— тогда можно остаться в горах. Буду ходить в каменоломню на работу, а жить здесь. В Карвенае меня больше не увидят».

«Тебе придется спускаться вниз, в лавку»,— сказала мать.

«Это зачем? — сказал Гэрет.— Все, что нужно, я раздобуду в Лланкрвисе, а туда, вниз, зачем мне? Разве что поохотиться на кроликов на берегу в зарослях или поискать яиц в гнездах чаек — я знаю местечки, откуда не уйдешь с пустыми руками, пока ты еще можешь карабкаться на скалы. А все остальное у меня здесь есть».

«Яйца чаек и кролики»,— думал Роджер. Совсем не трудно было вообразить, как Гэрет, если у него отнимут автобус, скроется от мира в горы и найдет там не только пропитание, но и глубокое, не высказанное словами удовлетворение, все больше и больше уходя в себя, взрывая скалы, образуя в них пещеры — глубокие норы, где можно жить укрыто и тайно.

«Мы не должны думать об этом,— сказал Роджер.— Придет и наш черед! Дик Шарп делает последнюю ставку. Если мы продержимся еще несколько недель, он сложит оружие».

Мать и сын молча изумленно поглядели на него, и он понял, как поразило их, что он упомянул запретное имя у их очага, да еще в рождественский день!

«Гэрет! Миссис Джонс! — воскликнул Роджер.— Выпейте со мной за нашу победу!»

«Выпей, мать,— сказал Гэрет.— Роджер прав. Он предлагает тост за самое лучшее, что мы имеем: за нашу волю к борьбе».

«Рождество,— вздохнула мать,— а вы о борьбе».

«Мы пьем за то, чтобы выстоять, миссис Джонс»,— сказал Роджер.

«Ах, Гэрет,— тихо произнесла она.— Как ты похож на своего отца».

«Надо думать».

Гэрет улыбнулся матери, и Роджеру, наблюдавшему за ними, показалось, что он вдруг уловил сходство сына с матерью.

«Помнишь, как Принц лягнул меня?» — спросил Гэрет.

«Помню. Я здорово испугалась».

«Я никогда не говорил тебе, что было потом,— сказал Гэрет.— Все эти годы я молчал. А теперь расскажу».

Гэрет повернулся к Роджеру.

«У нас был жеребец по кличке Принц. Мы на нем работали, пока не обзавелись трактором. Это был добрый старый трудяга, он знал каждый камень во дворе, каждую травинку в поле лучше, чем мой отец. Но как-то раз, когда я был совсем мальчонкой, лет шести-семи, случилась странная вещь: Принц лягнул меня. Верно, я вертелся возле его задних ног. Лягнул он меня основательно — костей не поломал, но руку в плече вывихнул. Ну и, понятно, я был весь в синяках и меня уложили в постель и продержали в ней дня три-четыре. Когда меня спустили с постели и разрешили бегать по двору, я старался держаться подальше от Принца, и, верно, отец заприметил это, потому что как-то раз утром подозвал меня к себе; он стоял у дверей конюшни, а возле него стоял Принц. «Гэрет»,— говорит он. «Да, папа?» «Хочешь заработать шиллинг?» — говорит он. Для меня шиллинг — это было целое состояние, а он вынул монету из кармана и повертел в пальцах, так что она заблестела на солнышке. «Она твоя,— говорит,— ты только ее подыми». И бросает монету прямо под копыта лошади. Я гляжу на нее, вижу, как она там поблескивает, вижу копыта Принца, и они кажутся мне жуть какими тяжелыми и острыми, и плечо у меня все еще ноет от его удара, но мне до смерти хочется заполучить этот шиллинг и еще чего-то хочется — даже больше, чем раздобыть шиллинг, понятно?»

Роджер кивнул.

«Ну, я пролез между ногами Принца и поднял этот шиллинг,— сказал Гэрет. Он повернулся и говорил уже, обращаясь к матери: —

Земля была сырая, и сначала я немного поскользнулся и выронил шиллинг, но тут же схватил его снова, а Принц стоял тихо, как мышь, и я выбрался из-под него и закричал: «Я сделал это, папа! Сделал!»

Гэрет удовлетворенно рассмеялся.

Наступила пауза. Роджер отчетливо увидел перед собой маленького горбуна, еще в синяках, дрожащего от страха и все же ползущего на четвереньках по раскисшей земле за блестящей монеткой, которая станет символом его мужества и будет вечно светить ему в тайниках его души. Пронзительный, испуганный, но торжествующий крик звенел в его ушах: *Я сделал это, папа! Я сделал!*

Багряный закат тускнел, и небо за окнами теряло свои колдовские чары.

«Давайте-ка зажжем свет,— предложил Гэрет, вскакивая со стула,— и выпьем по чашке крепкого, горячего чая».

Магия сумерек была нарушена. Прежняя веселая, хлопотливая обыденность вступила в свои права. Трезвый электрический свет поставил все на место, назвал вещи своими именами, и Гэрет был уже не барсук и не ястреб, а просто горбун, и Роджер — просто жалкий обносившийся чудак с интеллектуальным лицом, а мать — символ мирно угасающей жизни в кресле-качалке.

Они сели пить чай, и Гэрет преподнес им еще один сюрприз, притащив из таинственной кухни, куда никто, кроме него, не имел доступа, сдобный, украшенный марципанами рождественский пирог.

Роджеру вдруг стало весело и беспечно. Должно быть, он захмелел. Но если даже и так, то захмелел он не столько от виски, сколько от необычности этого дня, от нежности заячьего мяса, от мрачного великолепия заката, от неповторимости этих лиц — Гэрета и матери — и от поразительного богатства жизни с ее многообразными хитросплетениями, которых никому не дано распутать до конца.

«Последний раз я ел такой пирог на свадьбе,— сказал он. Это была неправда, но он с интересом прислушивался к своим словам и думал: ну, что я им еще преподнесу теперь? И что такое истина? Правда ума или правда сердца? — Я был на этой свадьбе как раз перед тем, как приехать сюда,— продолжал он.— Это было неописуемо счастливое событие. Мой брат Джеффри женился на изумительной девушке. Ее звали Марго. Мне кажется, они будут идеально счастливы. Марго — самая красивая девушка на свете. У нее золотисто-рыжие волосы и удивительные зеленые глаза. К ней сваталась уйма женихов, но она избрала лучшего».

«А вы,— сказала мать, нарушая благостную тишину,— вы тоже будете подыскивать себе невесту?»

«Со временем непременно,— сказал Роджер.— Я даже приглядывался тут к одной-другой, но все как будто заняты».

«Райаннон занята, это точно,— сказал Гэрет сухо.— Этот малый с авиамоделями нипочем не оставит ее в покое».

«Дилвин? Вы думаете, он в конце концов добьется своего?»

Гэрет кивнул.

«Когда Райаннон решит выйти замуж,— сказал он,— она вернется к Дилвину».

«Да, мне надо жениться,— сказал Роджер.— Иначе я буду чувствовать себя очень неприкаянным теперь, когда Джеффри с Марго устраиваются своим домом».

Он встал, беспокойно прошелся по комнате и остановился, глядя в окно на темное Ирландское море и серебристую кромку пены.

«Да,— произнес он так тихо, что они едва расслышали его.— Мне теперь надо привыкнуть обходиться без Джеффри. Но ему будет хо-

рошо с Марго. И приятно видеть, когда двое людей так счастливы вместе».

Он с улыбкой обернулся к Гэрету и матери.

«Ну, хватит обо мне»,— сказал он.

Они допили виски, поели немного холодной ветчины и в блаженном отупении снова расположились у очага. Гэрет достал потрепанную колоду карт, и они с Роджером не очень умело, но с неиссякаемым запасом дружелюбных шуток сыграли несколько партий в рамс. Была уже полночь, когда Роджер заметил, что мать задремала в своей качалке, и решил: пора и честь знать. Гэрет проводил его до калитки.

— Завтра не работаем,— сказал он.— Поваляйтесь подольше в постели.

— Непременно,— сказал Роджер.— И еще раз большое спасибо.

Он повернулся и зашагал прочь, но его не оставляло ощущение чего-то странно неуместного. И только пройдя ярдов сто в свежей ночной прохладе, он понял, откуда это взялось. Как только праздничный день пришел к концу и мысли возвратились к работе, и он и Гэрет — оба снова заговорили по-английски.

•

Двадцать седьмого декабря они приступили к работе, как обычно. Бурый автобус — тоже, как обычно,— взялся за дело, но, к их великой радости, им удалось испортить ему всю музыку во время самого важного восьмичасового утреннего рейса в город. На окраине Карвеная образовалась большая пробка, и бурый автобус, набитый перехваченными у них пассажирами, оказался зажатым между легковыми машинами и тяжелым грузовиком, который упрямо вылез на середину проезжей части. Гэрет, пригромыхав туда на своем полупустом автобусе, изловчился просунуться в образовавшийся на мгновение просвет во встречном потоке машин, с громким презрительным ревом промчался мимо бурого автобуса и значительно раньше него прикатил на площадь.

Радость одержанной победы не оставляла их целый день, хотя мало-помалу стало ясно, что бурому автобусу дан приказ вытеснять их с линии любыми способами. Он маячил впереди них на всех перегонах, и выручка их за этот день была ниже, чем всегда. Но и Роджер и Гэрет избегали касаться этой темы.

Было без пяти минут десять, когда Роджер вышел из пивной Марио, застегивая на ходу кожаную куртку, спасаясь от пронизывающей стужи. Ночь была ясная, безветренная, подмораживало. В огнях Карвеная тускнело мерцание звезд, но, поглядев на черное небо, Роджер понял, что там, в горах, где ничто не мешает их блеску, он увидит, как они, неправдоподобно огромные, сияют и мерцают на темном небосклоне. Он быстро зашагал по направлению к площади. Желтый автобус стоял на своем обычном месте, уже наполовину заполненный пассажирами, но без огня: пассажиры довольствовались светом, проникавшим с площади. Значит, Гэрет еще не пришел. Это было необычно: Гэрет всегда приходил к автобусу первым.

Роджер поднялся в автобус и включил освещение. Десять часов, а где же Гэрет? Роджер беспокойно прошелся по автобусу, поглядывая в окна. Площадь была почти пустынна. Лишь несколько автобусов компании «Дженерал» стояли с включенным светом, готовые двинуться в путь, или вдруг мелькала закутанная в пальто фигура, спешащая к вожделенному теплу очага. Какая-то одинокая витрина отбрасывала на мостовую квадрат света. В одиннадцать часов и она погаснет.

Затем Роджер увидел приземистую фигуру, направляющуюся через площадь к их автобусу. Конечно, это был не Гэрет, но кто-то такой же коренастый и столь же хорошо знакомый, и на какую-то секунду Роджеру померещилось, что это Гэрет, только шагает он как-то по-другому — крепче ступает, несет свое тело на более сильных ногах. И тут же Роджер понял, что это Гито.

Гито подошел прямо к автобусу и поднялся по ступенькам. Лицо его было угрюмо. Сделав уступку стуже, он надел старую фетровую шляпу с узкими полями, которая скрывала лысину и молодила его. Гито поглядел на Роджера, наклонил свою большую голову, обвел глазами автобус, словно проверяя, к кому он будет обращаться, и проговорил негромко, сурово:

— Я пришел, чтобы повести автобус.

— А где же Гэрет? — спросил Роджер.

— В больнице,— сказал Гито. Он сел за баранку и пошарил в кармане.— Гэрет дал мне ключи,— сказал он.

— Но...— проговорил Роджер и глотнул слюну.— Но что же с Гэретом? Откуда вы знаете, что он в больнице? Вы были там, видели его?

— Мы доставили его туда. Я и Айво.

— Да что с ним? — воскликнул Роджер.

Почти все пассажиры, за исключением двух-трех на заднем сиденье, перестали разговаривать и глядели на него и на Гито. В автобусе воцарилась настороженная атмосфера, все понимали: что-то произошло.

— У него перелом запястья,— сказал Гито.— И ушибы. Там его обследуют. Мы его подобрали — я и Айво. И доставили прямо в больницу. Он дал мне ключи и сказал, что в десять часов надо отправить автобус. Похоже, драка была,— добавил Гито, давая понять, что он при ней не присутствовал. Он включил зажигание, стартер заработал, и свет в автобусе на мгновение потускнел. Но вот уже равномерно загудел мотор, и свет стал снова ярок.

Гито явно был не расположен продолжать разговор, пока они не прибудут в Лланкрвис. А может быть, и вообще. Он развернул машину на площади и выехал на шоссе. Роджер, оглушенный известием, со щемящим чувством в груди начал обходить пассажиров, собирая плату за проезд. Почти каждый спрашивал его, где Гэрет. И у каждого он молча принимал деньги, давал, если требовалось, сдачу и после этого отвечал:

— Отлучился.

Наконец они добрались до Лланкрвиса, сделали две-три остановки и стали возле гаража из рифленого железа. Машине пора было на отдых. Роджер молча вылез из автобуса, отворил двери гаража и остановился в ожидании. Гито не торопясь поставил машину в гараж, заглушил мотор, запер одну створку дверей изнутри, вышел, запер вторую створку и тоже остановился, глядя на Роджера в темноте, пронизанной светом звезд.

— Ну, так что? — сказал Роджер.— Кто напал на Гэрета?

— Я не видел,— сказал Гито.— Мы нашли его в проулке за пивной. Какой-то человек услышал шум, вышел, а он там лежит. Тогда этот человек позвал нас с Айво: все знают ведь, что Гэрет наш друг, правильно? Мы сразу пошли прямо туда. Они его оглушили, но он уже поднимался на ноги, только очень медленно. Правое запястье у него было сломано. Он не мог двинуть рукой.

— Кто же это сделал?

— Не знаю,— сказал Гито.— А кто натравил — знаю, да и вы тоже.

— Да,— сказал Роджер.

Наступило молчание. Где-то далеко, в горном ущелье залаяла собака или, быть может, лисица.

— Ну ладно, автобус в целости и сохранности,— деловито сказал Гито.— А вот, верно, и Айво,— добавил он. Слышно было, как грузовик, тяжело пыхтя, взбирается на гору.— Он пообещал заехать за мной.

— Вы, значит, сейчас уедете? — сказал Роджер.

— Надо бы оповестить миссис Джонс,— раздумчиво проговорил Гито.

— Я оповещу.

Айво на грузовике подъехал к гаражу. Гито подошел, забрался в кабину рядом с Айво, и грузовик стал разворачиваться.

Когда он скрылся из глаз, на горы легла такая тишина, что Роджер подумал: «Словно на вымершей планете». Никогда одиночество не тяготило его так. Но предаваться размышлениям на эту тему было бессмысленно. Там, в горах, у подножия черного отвала мать Гэрета сидит, ждет в оковах двойного мрака — своих мертвых глаз и темной комнаты. Вот кому он все-таки нужен. Роджер решительно зашагал вверх по узкой дороге и заметил, что на ней поблескивает иней.

Луна еще не взошла, но в прозрачном тихом воздухе хорошо была видна искрившаяся от инея дорога, отражавшая холодный слабый свет звезд. А чуть дальше, по обе стороны дороги, был мрак — тяжелый, гнетущий, настороженный. И горы — черные массивы безмолвия.

Роджер шел быстро. Поселок кончился — последний фонарь отбрасывал бледное пятно света на землю. Дальше — темная тропа, молчащие горы, черная громада отвала, нависшая над одиноким домом, стоящим на отшибе.

Роджер все шагал, уже и сам толком не зная, спешит ли он к берлоге Гэрета, чтобы оказать поддержку старой женщине, или надеется найти у этой женщины защиту и почерпнуть мужество. Но одно он знал твердо: сегодня ночью он не вернется в часовню. Быть может, он никогда уже больше туда не вернется.

Звякнула щеколда калитки. Роджер пересек поляну и подошел к дому. Низкие беленые стены слабо забрезжили во мраке у подножия темного, руками людей воздвигнутого утеса. Если бы хоть свет в окне — гостеприимный желтый квадрат света, сулящий тепло, безопасность, домашний уют! Но старая женщина в вечной темноте своей слепоты сидит там одна в темной комнате, среди темных гор и смотрит на темное море. И он сейчас из одного мрака погрузится в другой.

Роджер призвал на помощь все мужество, какое еще оставалось в его груди. Но овладевший им страх был непреодолим. На середине поляны его ноги приросли к земле. Черный отвал встал перед ним, закрыв звезды; горные кручи отталкивали его от себя; холод, мрак, одиночество ширились — поглощая все, они опоясывали землю плотными концентрическими кольцами. Все напрасно, все его усилия тщетны, горы не хотят его, скалы отвергают, ни одна крыша не даст ему приюта, и повсюду на темных склонах его подстерегают убийцы.

Сделав над собой последнее судорожное усилие, он пересек тридцать ярдов, остававшиеся до двери, и постучал в нее несколько раз. У него все-таки хватило выдержки не замолотить в дверь кулаком изо всей мочи. Тем не менее стук его был громок и нетерпелив, и старая женщина, сидевшая там в своем добровольном затворничест-

ве, не могла не понять, что случилось что-то дурное. Но голос ее был, как всегда, тверд, когда она откликнулась из своей качалки у очага:

— Dowch i mewn[1].

Роджер нажал на ручку, и дверь сразу отворилась. Как эта женщина одинока, как беззащитна, как легко ее обидеть, когда она сидит тут, словно куропатка в своем гнезде!

«Миссис Джонс»,— произнес он, тихонько притворяя за собой дверь.

«Гэрет с вами?» — спросила она.

«Нет,— сказал он.— Гэрет остался сегодня на ночь в Карвенае».

«Зажгите свет,— сказала она,— подойдите сюда и расскажите мне, что случилось».

Роджер повиновался. Она сидела, как всегда, возле электрического камина, а в очаге был приготовлен уголь, чтобы Гэрет, как только придет, мог его растопить. Роджер сел и протянул руки к камину. Тепло успокоило его; он уже не чувствовал себя как дикий зверь, затравленный в ночи.

«Прежде всего — с Гэретом все в порядке»,— сказал он.

«Но его обидели. Его кто-то обидел»,— тихо сказала мать.

«У него сломано запястье»,— сказал Роджер.

«Он попал в аварию?»

«Нет, это не авария».

Она молча ждала, но видеть, как нервно стиснуты ее пальцы, было невыносимо.

«Я не хочу вас обманывать,— сказал Роджер.— На него напали».

«Где он?» — спросила она громче и как-то более звонко.

«Он — в больнице».

Она поднесла руку к горлу, но тут же тихо опустила ее на колени.

«Кто это сделал?» — спросила она.

«Они удрали. Но, понятно, все знают, кто их натравил».

«Это Дик Шарп,— сказала мать. Она тихонько покачивалась в своей качалке. Лицо ее было сведено болью.— Гэрет-bach[2], Гэрет-bach»,— прошептала она.

«Я переночую сегодня здесь».

«Переночуете здесь? — переспросила она.— Почему?»

«Чтобы не оставлять вас одну,— сказал он твердо.— И Гэрет так хотел бы».

«Я сама справлюсь,— сказала она.— У меня все под рукой».

«Вам, может быть, неприятно, что я тут останусь?»

«Нет,— сказала она и немного помолчала.— Нет, я не потому».

«Мне бы хотелось остаться у вас — спокойнее было бы на душе,— сказал он.— И Гэрет, я знаю, тоже этого хотел бы».

«Ну что ж,— сказала она.— Вы можете расположиться на кушетке».

У Роджера отлегло от сердца. Только тут он осознал, как велик был страх, который он старался подавить в себе. Кажется, ему легче было бы умереть, чем окунуться снова в эту черную ночь, пойти навстречу тому неведомому, что подстерегало его там.

«Можно, я задерну занавески и разожгу огонь?» — спросил он мать.

«Да,— сказала она.— И можете вскипятить чайник, выпьем с вами по чашечке чая».

Он разжег огонь и, когда убедился, что пламя хорошо занялось,

---

[1] Войдите *(валл.)*.

[2] Малыш *(валл.)*.

прошел в кухню — кухню Гэрета, аккуратно прибранную и чистую, как корабельная палуба.

Чайник, чай, молоко и сахар — все оказалось наготове. Через несколько минут Роджер и мать уже держали в руках по дымящейся чашке чая.

«А как насчет ужина?» — спросил Роджер.

«Поужинайте,— сказала она.— Если не хотите возиться со стряпней, есть хлеб, свежий сыр».

При упоминании о сыре Роджер внезапно почувствовал голод и вскочил, чтобы пойти на кухню.

«А вы бы что поели?» — спросил он.

«Я есть не хочу»,— сказала мать.

Он отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, положил сверху кусок сыра и вернулся к очагу.

«Извините, что я буду есть один, без вас»,— сказал он.

«Вам же надо работать»,— сказала она просто.

Годы суровой трудовой жизни породили эти слова — тот жизненный обиход, когда мужчина должен быть накормлен, что бы ни случилось, должен подкрепить силы для нескончаемой работы — источника их существования. Работы? О какой работе могла теперь идти для них речь?

«Гэрет пока еще не сможет водить автобус»,— сказал Роджер.

«Какое запястье у него сломано?» — спросила мать.

«Я не знаю. Но автобусом нужно управлять двумя руками, одной нечего и думать».

«Значит, конец? — тихо спросила она.— Дик Шарп победил?»

Роджер молча жевал хлеб с сыром.

«По правде говоря, не знаю,— сказал он.— Автобус пока что в полной целости и сохранности стоит в гараже. Но он не выйдет на линию, пока Гэрет не сможет снова сесть за баранку, а когда это будет, я понятия не имею».

«А вы не умеете с ним управляться?» — спросила она.

«Я бы мог,— сказал он, вспомнив один далекий вечер, потоки дождя, шорох шин на мокром асфальте.— Я бы мог, но у меня нет профессиональных прав, а чтобы их получить, потребуется время».

«Понимаю»,— сказала она.

Роджер молчал. Он не пытался обманывать себя: сейчас его главной целью было находиться там, где безопаснее. Нет, пожалуй, это слишком сильно сказано. Если бы безопасность была единственным, к чему он стремился, тогда ему следовало завтра же при первом проблеске зари отправиться в Карвенай на вокзал и сесть в поезд, который увезет его из этих мест, сделав недосягаемым для наемников Дика Шарпа. Но такая мысль ни на минуту не приходила ему в голову; не думал он об этом и сейчас. Пока он может хоть чем-то быть полезен делу «Гэрет versus[1] Дик Шарп», он не уйдет со сцены. Но, конечно, это еще не значит, что надо преподносить им себя на блюде, как цыпленка. Очень может быть, что те, кто напал на Гэрета (Роджер не сомневался, что там был не один человек), уже сейчас подкарауливают его возле часовни, заглядывают в окна, пробуют дверные запоры... При одной мысли об этом у него похолодело внутри. А когда они поймут, что его там нет, как они поступят тогда? Явятся сюда?

Может быть, а может, и нет. Оставалось только надеяться, что они не станут трогать его, пока он здесь, с матерью. Конечно, слепая женщина не свидетель! Но вместе с тем она хоть и старуха, а все

[1] Против *(лат.)*.

же может оказать сопротивление, и они вынуждены будут ее утихомирить, а тогда, если их поймают, закон за такие дела по головке не погладит. Роджеру очень хотелось бы внушить им (кто бы они ни были) эти холодные, трезвые доводы рассудка.

Но тут мать неторопливо, но решительно поднялась со своего кресла-качалки.

«Спать пора,— сказала она.— Вы оставайтесь здесь, мистер Фэрнивалл. Мне кажется, вам на кушетке будет удобно. И вы знаете, где у нас что».

«Да, миссис Джонс. Спасибо».

Мать взяла легкую трость, прислоненную к ее креслу, и направилась в кухню, а он смотрел, как она нащупывает привычную дорогу, уверенно постукивая тростью. Замерев в неподвижности, он слышал, что она отворила заднюю дверь и вышла наружу. Может быть, пойти за ней? Постоять на страже? Нет, ни к чему: ведь если они подкарауливают там, в темноте, так его, а не мать.

Она, постукивая палкой, возвратилась в дом, просунула незрячую голову в дверь и сказала:

«Спокойной ночи».

«Спокойной ночи,— отозвался Роджер.— И спасибо, что вы позволили мне остаться».

«Это вам спасибо,— сказала она.— А теперь ложитесь поспите».

Когда мать скрылась у себя в спальне, Роджер подошел к входной двери и запер ее. Потом, пройдя через весь дом, запер и заднюю дверь. В кухне горел свет, и он не стал его выключать. Так же, как и в гостиной. Мать, с ее обостренным слепотой слухом, будет, возможно, удивлена, не услышав щелчка выключателя, когда он уляжется спать. Ну что ж, пусть удивляется. В таком состоянии он не может лежать в темноте.

Роджер подбросил угля в камин: теперь, даже если он уснет, огонь не потухнет еще часа три-четыре. Ему вспомнилась при этом его маленькая печурка в часовне, и он почувствовал легкий укор совести. Она, должно быть, затухает сейчас, умирает последнее тепло, гаснут последние тлеющие угольки, воцаряются холод, ночь, тьма... У него было такое чувство, словно он оставил верного ослика ненапоенным, ненакормленным в стойле. Ладно, он вернется туда днем и растопит печурку. А пока здесь, в доме Гэрета, он сделал все, что мог. Если они с матерью не проспят ночь спокойно, это уж будет не его вина. Роджер расшнуровал ботинки, чтобы ногам было посвободней, но разуваться не стал. Ему казалось, что он будет чувствовать себя слишком беспомощным в одних носках. После этого он прилег на кушетку, покрылся одеялом и сверху набросил свое пальто.

А теперь спать. Или, может, поискать какое-нибудь оружие? Возле камина стояла короткая увесистая кочерга. Он положил ее на пол у изголовья. Ну вот, пусть теперь приходят, если посмеют.

Когда на следующее утро яркий солнечный свет залил землю, Роджер и мать держались друг с другом как два дружелюбных незнакомца. Мать уговорила его зажарить яичницу и, уступив его настояниям, съела за чаем кусочек хлеба с маслом. И все-таки между ними лежала пропасть. Мать все еще была погружена в события прошлой ночи, а он уже готов был воспринять новый день. Солнечный свет будоражил его кровь: надо было приниматься за дело, что-то начинать заново. Ночью он спал — сначала тревожно, потом сон стал глубок, а убийцы не пришли. Горы уже не таили в себе угроз, море сверкало.

Он пообещал матери, что будет время от времени ее навещать.

«Скоро я принесу вам весточку от Гэрета,— сказал он.— Когда точно — не скажу, потому что автобус пока не ходит, и кто знает, как быстро я смогу добраться туда и обратно».

«Я буду вам очень признательна, если вы сообщите мне, что там и как»,— сказала мать.

«Хорошо,— сказал Роджер, надевая пальто.— А теперь мне надо бежать. Надо быть на месте хотя бы для того, чтобы объяснить людям, почему автобус временно не будет курсировать».

«Да, конечно»,— сказала мать.

Роджер вышел и притворил за собой дверь. Он оставлял старую сивиллу одну в непроглядном мраке ее страданий. Ему было жаль ее. Но он и завидовал ей слегка. Мрак, в котором она жила, был трагичен, но с какой силой проявлялась при этом недюжинность ее личности!

Роджер быстро шагал по дороге, спеша попасть в гараж. Солнце уже заметно поднялось над горизонтом, и горы стояли, залитые ясным, ровным светом. На чистом голубом небе — два-три плотных ослепительно-белых облака. Все вокруг блистало холодной красотой.

Рифленая крыша гэретовского гаража ярко блестела под солнцем. Но, торопливо приближаясь к нему, Роджер заметил не только это. Дверь гаража была открыта. Когда Гэрет ставил автобус на ночь, он всегда запирал одну половину двери изнутри на щеколды наверху и внизу, потом замыкал дверь снаружи на замок и приваливал большим камнем. Накануне вечером Гито сделал то же самое. А теперь камень был отвален, замок отперт и одна половина двери стояла неплотно притворенная. Кто-то проник в гараж, а затем, чтобы это не слишком бросалось в глаза, притворил дверь, но не потрудился даже закрыть ее плотно.

Сердце у Роджера бешено заколотилось. Он с силой потянул на себя правую, не закрепленную на щеколды половину двери. Раздался торопливый шорох — словно разбежались вспугнутые крысы, и в полумраке гаража Роджер увидел две мужские фигуры, согнувшиеся над правым задним колесом автобуса. При его появлении они быстро выпрямились. После хрустальной прозрачности пронизанных светом гор его глаза не сразу привыкли к темноте, тогда как глаза тех двоих, что возились с автобусом, уже освоились с полумраком гаража, и у Роджера было ощущение, что устремленный на него недобрый взгляд этих двух пар маленьких острых глаз фиксирует все до малейших деталей, в то время как он сам лишь смутно различает очертания мужских фигур. Но два бледных, зловещих лица он видел отчетливо: один из них был тестомордый шофер бурого автобуса. Другой мужчина держал в руке гаечный ключ. Этот ключ больше походил на оружие, чем на инструмент, и человек сжимал его в руке, как оружие.

Роджер попятился к двери: он хотел выскочить из гаража и прихлопнуть их там. Рассчитывать на то, что он сможет удержать дверь, если они вдвоем на него навалятся, было, конечно, трудно, но в этот утренний час даже здесь, на самом верху, в конце поселка, кто-нибудь мог оказаться поблизости и прийти к нему на помощь. Роджер почувствовал, что в гараже творится что-то темное, злое и нужно, закрыв дверь, прихлопнуть их там без церемоний, как крыс в ловушке. Отступив назад, он схватился за ручки двери, но сделал это недостаточно проворно. Те двое были худые, юркие и двигались с быстротой молнии. Когда они проскочили в дверь мимо Роджера, он схватил одного сзади за куртку, но грубая ткань выскользнула у него из рук. Обернувшись, он увидел, как оба улепетывают вниз по дороге.

За гаражом стояло пять-шесть домиков, а дальше дорога круто

сворачивала и пропадала между высоких холмов, и обе бегущие фигуры почти мгновенно скрылись из глаз. Не раздумывая ни секунды, Роджер припустился за ними. Его испуг прошел: яркий солнечный свет разогнал все страхи. Больше всего на свете ему хотелось сейчас поймать одного из них и притянуть к ответу. Тогда эта мерзкая история выплывет наружу, Дик Шарп будет разоблачен, и все наконец вздохнут спокойно; Роджер опрометью промчался мимо домов и там, где дорога делала изгиб, остановился как вкопанный.

Те двое поджидали его. Теперь он вдруг сразу понял, что это были те самые, что избили Гэрета, и, конечно, они избили бы и его этой ночью, попадись он им в лапы. И убежали они сейчас не потому, что испугались, а потому что хотели заманить его туда, где никто не помешает им разделаться с ним без свидетелей. Они стояли всего ярдах в ста от гаража, но вокруг не было ни души. Дорога спускалась вниз в ложбину между холмами, и все трое стояли теперь в этом углублении, у подножия высоких холмов и каменных оград, словно в чаше, полной солнечного света.

Роджер смотрел на этих двоих, а в мозгу у него сами собой складывались слова: *И все было кончено в одну минуту.* Эти слова стояли перед его глазами, словно набранные крупным шрифтом в газете. Роджер был в том состоянии смертельного страха, когда мозг словно отъединяется от тела и фиксирует происходящее как бы со стороны, видит его, точно картину в раме. Так велик был страх, что Роджер почти бесстрастно воспринимал все окружающее. Он отметил про себя, например, что те двое были значительно моложе его — каждому лет по двадцать с небольшим,— и он внезапно почувствовал на плечах весь груз своих сорока лет. Однако это не были желторотые юнцы, забияки, которых отводят в участок, где дюжая матрона в полицейской форме делает им материнское внушение; это были закоренелые преступники, настоящие бандиты, от которых пощады не жди. Все с тем же холодным удивлением Роджер подумал: «Интересно, где это Дик Шарп навербовал таких?»

Не произнося ни слова, тот, что держал гаечный ключ, двинулся к Роджеру и замахнулся, нацелившись ему в ребра. Роджер успел отскочить, и ключ просвистел в полудюйме от него. Но человек продолжал наступать, яростно размахивая гаечным ключом, а второй в это время, забежав с другой стороны, старался прижать Роджера спиной к стене. Спасения не было; в пронизанном солнцем воздухе гаечный ключ вился вокруг Роджера, словно злое насекомое.

Роджер не помнил себя от страха, и в то же время какая-то частица его «я» бесстрастно регистрировала происходящее и делала выводы. *Сейчас они меня убьют? Если убьют, я рад, что мне довелось увидеть зарождение этого дивного дня в горах.*

Второй из нападающих, шофер автобуса, наклонился, поднял камень, отвалившийся от каменной кладки, и замахнулся. Страх, животный страх бросил Роджера вперед навстречу опасности — обеими руками он схватил нападающего за горло и сдавил что было мочи. Используя свое превосходство в весе и продолжая держать человека за горло, Роджер сумел загородиться им от его дружка с гаечным ключом. Он держал шофера автобуса за горло, и оба они бешено раскачивались из стороны в сторону. Шофер молотил его кулаками куда попало, но большинство ударов не достигало цели. У Роджера появилась надежда, что ему удастся придушить его совсем и тогда другой, увидав бездыханное тело, испугается и убежит. Он был слишком испуган, чтобы почувствовать хоть малейшее угрызение совести при мысли, что может убить человека. Сейчас для него понятие смерти сводилось к одному: смерть — это то, чего он может избежать, только убив другого.

Человек с гаечным ключом подобрался к Роджеру с другого боку и ударил его в правое плечо. По-видимому, он норовил сломать ему ключицу и вывести из строя руку. Но удар был нанесен не очень ловко, а Роджер, хотя и испугался, горла шофера все же не выпустил, и по всему было видно, что тому приходится плохо. Роджер и сам не знал, так ли сильно сжимает он горло, чтобы доступ воздуха в легкие прекратился. Быть может, ценой ужасных усилий его жертве все же удавалось как-то дышать. Иначе почему он не теряет сознания?

Тот, другой, снова замахнулся гаечным ключом, норовя раскроить Роджеру череп. Роджер вобрал голову в плечи и, еще крепче сдавив пальцами горло шофера, что было сил отпихнул его от себя прямо на того, с гаечным ключом, и все трое закачались из стороны в сторону, сплетясь в каком-то кошмарном танце. Шофер ловчился ударить его коленом в пах. Роджер отклонился и с силой лягнул его ногой в голень. *Господи, какое яркое солнце!* — мелькнуло у него в голове.

Шофер выронил камень, и Роджер увидел, что камень валяется у его ног. Потеряв надежду придушить этого человека, Роджер внезапно отпустил его, нагнулся и подобрал камень. Шофер отшатнулся, а Роджер со всей мочи запустил в него камнем. Разбить к черту это бледное злобное лицо!

Должно быть, руки уже совсем не слушались его от усталости, потому что он ухитрился промахнуться на расстоянии трех-четырех футов, и камень, никого не задев, пролетел над плечом шофера. В тишине было отчетливо слышно, как он ударился о противоположную ограду, покатился вниз по откосу холма и снова мирно лег на дорогу. Стук упавшего камня подействовал на Роджера, как сигнал проигранного сражения. В это свое последнее усилие он вложил все, а его враги по-прежнему были живы — он даже не нанес им серьезных увечий. Теперь они его одолеют. *Слышат ли овцы, как мы тут возимся?* — прозвучал голос, размышлявший вслух в его мозгу.— *Есть ли им дело до людской драки?*

Овцы, решил Роджер, будут, конечно, просто наблюдать. Они не перестанут жевать свою жвачку, когда его начнут избивать, превращая в калеку, до конца жизни прикованного к инвалидной коляске, или в идиота с отбитыми мозгами, лепечущего всякий вздор в какой-нибудь безвестной больнице для умалишенных. *Ну вот, я скоро сравняюсь с тобой, Джеффри. А может быть, это будет смерть? Уж лучше смерть. Смерть, приди, возьми меня, опереди гаечный ключ!*

Те двое не спеша надвигались на него. Они, казалось, отлично понимали, что сопротивление Роджера сломлено. Роджер опустил глаза и посмотрел на свои руки. Как мог он вообразить, что в этих руках достаточно силы, чтобы задушить человека? Это нервные руки, с тонкими длинными пальцами. Если бы он занимался физическим трудом, руки у него были бы сильнее. Но ведь даже огромные, узловатые руки Гэрета были накануне вечером беспомощно распластаны на мостовой. Все так же ярко светило солнце, и было очень тихо. И в этой тишине Роджер отчетливо слышал легкий шорох — убийцы надвигались, чтобы разделаться с ним. Но он услышал еще и другой, металлический звук. Где-то неподалеку, за поворотом дороги, звякнула железная калитка. Кто-то шел.

Те двое тоже услышали стук калитки и разом ринулись на Роджера. Несколько сокрушительных ударов, несколько пинков, когда он уже валялся бы на земле и им оставалось бы только скрыться. Калиткой могла стукнуть женщина или даже ребенок. Какая-нибудь фермерша, собравшаяся на деревенский базар за овощами.

Но стук калитки вывел Роджера из летаргии, порожденной отчаянием. Стук означал — люди. В мире не только он, двое кровожадных

убийц, солнце, тишина и овцы. Эти горы обитаемы, здесь живут люди, у них есть имена, лица, они улыбаются, помогают друг другу, испытывают человеческие чувства. Ему бы только остаться в живых, уцелеть еще несколько секунд, пока тот, кто хлопнул калиткой, не покажется из-за поворота дороги... Собравшись с силами, Роджер бросился на парня с гаечным ключом и попытался выхватить у него это оружие. Тщетно. Тот был сильнее Роджера, особенно руки, кисти рук у него были крепче. Однако внезапность нападения ошеломила его, а Роджер отчаянно вцепился в ключ и, вырывая его, едва не повалил парня. Другой парень, шофер, старался схватить Роджера, но тот, что боролся с Роджером, мешал ему. Шофер попытался ударить Роджера кулаком и промахнулся. Человек, стукнувший калиткой, появился из-за поворота дороги. Это был Йорверт.

На какое-то черное, страшное мгновение беспросветное отчаяние, еще более глубокое, чем прежде, овладело Роджером. Это был Йорверт, который при встречах с Роджером глядел на него волком, которому было наплевать на Гэрета и на его автобус и для которого Роджер был всего лишь презренный чужак. Йорверт! Быть может, он даже получит садистское удовольствие, наблюдая, как эти двое будут приканчивать чужака!

Но Йорверт удивил Роджера. Удивил и заставил почувствовать угрызения совести и радость: на земле, в конце концов, не все так уж враждебно человеку, иногда, глядишь, ему неслыханно повезет, в какой-нибудь ослепительно-солнечный зимний день.

Парень, боровшийся с Роджером, внезапно выпустил гаечный ключ из рук. От неожиданности пальцы Роджера слегка разжались, а парень с быстротою молнии снова вцепился в ключ и вырвал его у Роджера. Старая, как мир, уловка, знакомая каждому со школьных лет! Но она сработала. И в тот же миг парень огрел Роджера ключом по ребрам. Роджер согнулся пополам от боли, а те двое уже навалились на него, молотя кулаками, пиная. Роджер не удержался на ногах. В ушах у него стоял какой-то адский гул. И вдруг избиение прекратилось — так же внезапно, как началось. Роджер открыл глаза. Он все еще был жив. И то, что он увидел, лежа на земле и оглядевшись по сторонам, заставило его забыть про боль в боку — он поднялся и, упершись локтями в землю, сел.

Йорверт, зажав голову шофера под мышкой, ритмично бил его кулаком по лицу. При каждом ударе тяжелого кулака человек издавал пронзительные вопли. После пятого-шестого удара другой парень поднял гаечный ключ и обошел Йорверта сзади, норовя ударить его по затылку, но Йорверт безостановочно крутил массивной головой то вправо, то влево, и, откуда бы ни пришла опасность, он, как видно, был начеку. Когда гаечный ключ взлетел в воздух, Йорверт попятился назад и с силой ударил стоявшего сзади ногой в голень. Затем, не выпуская шофера, он схватил второго за ворот куртки, отступил немного, чтобы покрепче утвердиться на ногах, и сшиб обе головы лбами.

Роджер подумал, что от такого удара не могут не треснуть кости. В мертвой тишине звук удара прозвучал неправдоподобно громко. Йорверт схватил парня, который пытался ударить его гаечным ключом, и начал бить его по лицу и туловищу своими огромными каменными кулачищами. Через несколько секунд Роджер отвел глаза. Плевать он хотел, если Йорверт убьет подонка, но смотреть, как это произойдет, у него не было охоты. Когда Роджер отвернулся, Йорверт уже прижал парня к ограде и методически бил его по зубам. При каждом ударе голова парня стукалась затылком о камень.

Роджер закрыл глаза. Яркое солнце пробивалось сквозь сомкнутые веки, и в глазах плавал багровый туман. Сильно болели ребра; при

каждом вздохе боль делалась нестерпимой, распространялась по всему телу. Все еще сидя на дороге и не открывая глаз, Роджер пощупал бок. Похоже, ребра были целы. Может быть, просто трещина. Он почувствовал позыв к рвоте и наклонился вперед.

А Йорверт оказался уже возле него и помог ему подняться на ноги, Роджер услышал его низкий, густой голос, услышал валлийскую речь:

«Вам плохо? Позвать доктора?»

Роджер открыл глаза.

«Нет, могло быть хуже,— сказал он.— Вы подоспели как раз вовремя».

«Попробуйте встать»,— сказал Йорверт.

Роджер поднялся на ноги. Дышать стало как будто легче. Возможно даже, ребра не треснули, синяки будут — и все. Толстая кожаная куртка, в которую он облачился накануне, идя на работу, и которая и сейчас была на нем, порядком смягчила удары.

«Ничего, все будет в порядке»,— сказал Роджер.

За спиной у Йорверта один из тех двоих — тот, кому особенно крепко досталось,— медленно поднимался на ноги. На дороге видны были пятна крови. А шофер уже ковылял прочь, не дожидаясь своего приятеля. Он сошел с дороги и шагал напрямик по холму в сторону Карвеная и моря. Другой, пошатываясь, побрел следом за ним.

«Может, надо задержать их? — слабым голосом произнес Роджер.— Полиция...»

«Бросьте, на что вам полиция,— сказал Йорверт.— Я их хорошо проучил. Пускай теперь покажутся Дику Шарпу в этаком виде».

«Да,— согласился Роджер.— Пожалуй, так лучше».

Йорверт пристально поглядел на Роджера.

«Вам бы надо отдохнуть,— сказал он.— Вы что-то побледнели».

«Очень может быть»,— сказал Роджер. Он провел рукой по лбу: лоб был холодный и клейкий от пота.

«Сегодня утром автобус не будет курсировать,— сказал Йорверт.— Я слышал про Гэрета. А вам бы лучше отдохнуть. Вы пока все равно ничем помочь не можете».

Роджер вдруг почувствовал, что его клонит ко сну. Это нападение так его потрясло, что мозг работал непривычно медленно, но надо всем преобладало чувство вины перед жителями Лланкрвиса, которым придется идти на работу пешком.

«Обидно, что не будет рейса,— сказал он.— Автобус-то вроде бы в порядке. Мне кажется, они не успели там ничего испортить, я им помешал. А вот повести его некому».

«Я подвезу, кого встречу»,— сказал Йорверт.

«Если вы увидите, что кто-то ждет автобуса,— пробормотал Роджер,— объясните, что произошло...»

«Ладно, я пошел,— сказал Йорверт.— Эти двое больше не будут попадаться у вас на дороге».

Он не без гордости поглядел на костяшки своих пальцев.

«Кожу содрал»,— сказал он.

«Мне очень жаль...» — пробормотал Роджер.

Йорверт ухмыльнулся, засунул руки в карманы пальто и начал спускаться вниз по дороге. Роджер присел на траву у обочины и поглядел ему вслед. Он только сейчас сообразил, что не сказал спасибо Йорверту. Он набрал в легкие побольше воздуха, чтобы крикнуть «Спасибо!» вслед удалявшейся фигуре, но почувствовал острую боль и медленно, осторожно выпустил воздух, не издав ни звука. Затем поднялся и зашагал в золотистой утренней тишине в сторону часовни.

Когда Роджер добрался до часовни и отворил дверь, на него сразу пахнуло холодом, хотя благодаря ярким солнечным лучам, падавшим из окон, на первый взгляд, казалось, что в помещении тепло. Печка, разумеется, потухла. Он подошел прямо к ней, присел на корточки, отворил дверцу, выгреб золу и принялся растапливать. Прикрыв дверцу, он открыл поддувало, чтобы пламя загудело и разгорелось поярче. Вот так. Теперь хорошо занялось. Тепло, доброе, приветливое тепло будет постепенно распространяться все дальше и дальше, пока вся часовня не обогреется. Здесь, в этом своем убежище, в логове этом, он был в безопасности.

Он сидел не шевелясь, прислушиваясь к безветренной зимней тишине. Затем — подсознательно — его мозг отметил, что тишина чем-то нарушена. Каким-то звуком, похожим на гудение пчелы, но изменчивым, ибо он становился то выше тоном, то ниже и с каждой секундой все громче и громче. Потом затих, замер совсем. Автомобиль. Легковой автомобиль подъехал к часовне. Вот выключили мотор, отворилась дверца автомобиля, за ней другая; в морозном воздухе голоса.

Он уже знал, что это Дженни, знал, даже еще не различив ее голоса. Быть может, в душе он все время ждал, что голубая малолитражка подъедет и остановится возле часовни. Нет, вернее даже так: он ждал, что ему это пригрезится. Быть может, именно это с ним и происходило сейчас: он сидел в кресле, среди солнечных лучей и пыли, и грезил наяву.

Она постучала, и в тот же миг он распахнул дверь. Она стояла спиной к всемогущему солнцу, и он не мог видеть выражения ее лица. А по бокам стояли Мэри и Робин; девочка держала в руках куклу, мальчик — небольшую книжку в мягкой обложке.

— Мы даже не знали, застанем ли вас дома,— сказала Дженни.

— Входите,— сказал он.— Меня на сегодня освободили от работы.

Он пошире распахнул дверь, и они вошли.

— Я собирался произвести весеннюю уборку,— сказал он.— Но здесь хоть и пыльно, а присесть, мне кажется, все-таки можно.

Он пододвинул Дженни кресло, и она села. Мэри протянула ему куклу.

— Это моя самая любимая кукла.

— Отличная кукла,— сказал Роджер.— Может быть, ты посадишь ее куда-нибудь?

— Она сядет поближе к огоньку. Она замерзла.

Робин молча протянул ему книгу.

— Что это за книжка, Робин?

— Головоломки,— сказал мальчик.

Роджер наклонился, чтобы получше разглядеть.

— Иди сюда, садись,— Роджер присел на кушетку и усадил Робина себе на колени, стараясь по возможности оберегать ушибленные ребра.

— Тут нужно дорисовать,— объяснил Робин.

Роджер перелистал несколько страниц. На каждой был рисунок — либо незаконченный, либо намеренно запутанный.

— Я некоторые картинки уже сделал,— сказал Робин.— Одну картинку я испортил, но она у меня карандашом, можно взять резинку и стереть.

— Правильно.

— Теперь мне хочется сделать вот эту,— сказал Робин.

Он показал Роджеру картинку, на которой маленький мальчик, снисходительно улыбаясь, нес в руках какой-то непонятный предмет, состоявший из точек, обозначенных цифрами.

— Прекрасно, сделай эту,— сказал Роджер.— Обведи каранда-

шом все точки, соедини их линией. Начинай вот отсюда — от цифры один, потом сюда, видишь,— два...

— Я не понимаю, как это делать,— сказал Робин.

— Он еще не умеет считать,— сказала Дженни.— Ему надо написать порядок цифр на бумажке. Он будет смотреть на бумажку и сделает все правильно.

— Великолепно,— сказал Роджер.— На рисунке проставлены цифры от одного до двадцати трех. Сейчас я напишу их все по порядку.— Он поднял валявшуюся на полу газету и написал на полях колонку цифр.— Ты смотри сюда, потом ищи такую же цифру на картинке и соединяй эти цифры карандашом, и тогда мы увидим, что этот мальчик несет в руках.

— Хорошо,— сказал Робин.— Мне подарили эту книжку на рождество. Я получил много больших подарков и много маленьких. Это маленький подарок, но я ее очень люблю.

— Все большие подарки запакованы,— сказала Мэри.— А эти мы взяли с собой в дорогу.

Робин устроился в углу кушетки, приткнул книжку к изголовью и не спеша, пользуясь списком Роджера, начал соединять цифры, проводя карандашом линии. Мэри причесывала свою куклу. Роджер получил возможность переключить внимание на Дженни.

— Итак,— сказал он и пересел на край кушетки, поближе к ее креслу.

— Что итак?

— Вы куда-то собрались. Я слышу про упакованные игрушки и дорогу. Едете отдохнуть?

— Так тоже можно это назвать.— Голос ее звучал бесцветно, почти угрюмо.

Роджер заметил, что она бледна и под глазами у нее темные круги.

— Я убежала от него. Я никогда не возвращусь обратно.

— Рад за вас.

Она обернулась и поглядела на него почти гневно.

— Вам легко говорить. Перед вами не стоит таких проблем.

— Вы неправы. Вы должны были бы сказать, что мне не дозволено заниматься этими проблемами. Вы же знаете, что я с радостью разделил бы с вами все.

Она помолчала, потом спросила:

— Вы это серьезно говорите?

— Вы получили мое письмо, разве нет?

Она снова кивнула.

— Должно быть, поэтому я и приехала сюда. Но ваше письмо могло быть написано под влиянием минуты. В три часа пополуночи могут иногда появляться такие настроения.

— Смена дня и ночи никак не влияет на мое чувство к вам.

— Отлично, Роджер Фэрнивалл,— сказала она.— Вот я на этот раз и поймаю вас на слове.

— «На этот раз» — несправедливо. Я всегда готов отвечать за свои слова.

— Но не всегда это происходит так быстро,— сказала она.— Или так безоговорочно. Но я в отчаянии, я в тупике и собираюсь навязать себя вам.

— Навязать себя кому попало? — сказал он.

— Я не могу больше оставаться с Джеральдом, не могу, ни единой минуты. Сейчас не время входить в подробности, и, возможно, я никогда и не стану в них входить. Я знаю одно: пути обратно мне нет. Вчера он привел домой к ужину этого слизняка, Дональда Фише-

ра, и после отвратительного вечера, когда я не знала, куда деваться от тоски, мы, как только Фишер ушел, начали ссориться, потом кое-как помирились, потом снова начали ссориться, и в конце концов я вынуждена была признать, что не вижу никакой возможности наладить наши отношения, потому что ненавижу его и ненавижу жизнь, в которую он меня втянул. Ах, господи, наверно, я не сумею это объяснить. Ведь я не столько самого Джеральда ненавижу, сколько то, во что он меня превратил.

— Обычно так оно и бывает,— сказал Роджер,— насколько я мог наблюдать.

— Ну вот, а теперь мне страшно. Я это сделала, а теперь мне страшно. После завтрака Джеральд ушел, не обмолвившись со мной ни словом, а я тут же, чтобы не дать себе времени передумать, заявила детям, что мы поедем проведать бабушку с дедушкой и они останутся там погостить. Я позвонила маме, она сказала: ну, конечно, привози их. Вероятно, по моему голосу она догадалась, что я в ужасном состоянии, хотя я ничего не стала объяснять. Сказала только, что нам нужно подбросить ей ребятишек на несколько дней — у нас возникла такая необходимость. Я старалась, чтобы это звучало так, как если бы Джеральда внезапно пригласили на конференцию куда-нибудь на Багамские острова и он решил взять меня с собой. Но плести всю эту чепуху я была просто не в силах. Язык не поворачивался. В общем, так или иначе, я тут же собрала все детские вещи и вот отвожу ребят.

— А сами вы?

— А я пришла к вам,— сказала она.

Сердце Роджера бешено заколотилось в его помятой грудной клетке. На мгновение ему показалось, что он сейчас задохнется. Но через секунду он все-таки втянул в легкие воздух и сказал:

— Милости просим.

— Я переберусь к вам сюда на неделю,— произнесла она ровным сухим тоном, в котором, однако, он без труда улавливал ее тревогу, ее растерянность.— Джеральд не будет знать, где я. Недели, верно, будет нам достаточно, чтоб решить, можем ли мы остаться вместе. Во всяком случае, неделя — это все, чем я располагаю.

— Пусть будет для начала неделя,— сказал Роджер. Он вскочил с кушетки.— Где живут ваши родители?

— Возле Нантвича.

— Туда и обратно на машине — конец не малый. А если начнется непогода, вам туго придется. К тому же вы слишком утомлены, чтобы пускаться сейчас в путь. Лучше я поеду с вами, и мы будем вести машину попеременно.

— Да, но...

— Может быть, мы не будем начинать все с пререканий?

Она улыбнулась. И сразу лицо ее утратило свою омертвелость — она улыбнулась ему благодарно и чуточку беспомощно. Он любил в ней все, каждую ее неповторимую черточку и особенно — эту ее ранимость.

— Так вот: до Нантвича путь неблизкий,— сказал он.— И лучше нам сняться с якоря немедля. Но сначала глоток чего-нибудь горячего.

Он засуетился, приготовил кофе. У Дженни в машине отыскалась бутылка молока, и Роджер подогрел его и заставил детей выпить понемножку. Роджер в роли главы семейства. Еще несколько слов с ребятишками (старания Робина воссоздать самолет — предмет, который держал в руках мальчик на картинке,— получили должное признание), и вот уже все было готово к отъезду.

Прежде чем уйти, Роджер особенно тщательно набил печурку

углем до отказа. Она должна стоять на страже его крова, хранительницей жизни и тепла в те долгие часы, когда его здесь не будет. Потому что... потому что... потому что сегодня вечером он привезет сюда Дженни. Пока он сознавал это только умом, и мысль не будоражила кровь.

Голубая малолитражка ждала возле часовни. Чемоданы были уложены в решетку на крыше кузова.

— Может быть, сначала поведу машину я, а вы потом? — спросил Роджер.— Там дальше дорога вам лучше известна.

— Отлично.— Она протянула ему ключи.

Все забрались в машину. Ребятишки — прижимая к груди свои сокровища.

— Можно я посижу у тебя на коленях, мамочка?

— Сейчас нет. А там видно будет. Нельзя же сразу взгромождаться на колени.

Роджер включил послушный маленький двигатель и вывел похожую на спичечную коробку машину на дорогу.

— Нантвич, принимай гостей,— сказал он.

Дженни молчала, съежившись в углу. Часа полтора Роджер вел машину, не тревожа Дженни вопросами. Потом стал подумывать, что, может быть, следует осторожно нарушить ее молчание, изменить ход ее мыслей.

— Чем занимается ваш отец? — спросил он.

— Отец на пенсии.

— А чем он занимался раньше?

— Он землемер.

Эта тема была, по-видимому, исчерпана. Роджер искоса метнул взгляд на Дженни. Лицо ее было сумрачно, замкнуто, встревожено.

— Что-нибудь неладно? Я хочу сказать, помимо того, что вообще все неладно?

Она подарила его улыбкой, которая тут же погасла.

— Я бы не сказала, что все неладно, Роджер. Это далеко не так. Когда я выползу из этой трясины, в которой увязла, вы увидите, как я вам благодарна.

— Не об этом речь,— сказал он.— Вы, конечно, не можете сразу всплыть на поверхность после такой передряги, даже если это по существу не катастрофа, а благо.

— А я все жду, когда будет благо, которое бы не выглядело как катастрофа,— возразила она.

— О,— произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно небрежней,— такое тоже иногда случается.

Некоторое время они молчали, потом Дженни неуверенно заговорила:

— Есть одно обстоятельство, которое очень смущает меня, Роджер.

— Давайте выкладывайте, что это такое,— сказал он, искусно входя в длинный крутой вираж и не снижая скорости.

— Я не хочу брать вас с собой к моим родителям.

— Не хотите, и не надо,— сказал он.— Но почему бы, между прочим, не рассказать им все, как оно есть, напрямик?

— Я не могу. Мне нужно сначала немного прийти в себя и собраться с духом, чтобы хватило решимости спокойно сообщить им, что я ухожу от Джеральда, ухожу навсегда. Они учинят мне настоящий допрос с пристрастием, а сейчас я его просто не выдержу, не смогу.

— Понимаю. Глупо было даже предлагать. Невозможно брать все барьеры сразу, без передышки.

— Ну вот, вы же понимаете, правда?

— Да, дорогая.

— А я боялась заговорить с вами об этом,— сказала она.— Я знаю, что должна была предупредить вас, прежде чем мы отправимся, но боялась, что вы откажетесь поехать со мной, если я скажу, что мне бы не хотелось приглашать вас в дом, а вы были мне необходимы, и я не могла вынести...

— О, Дженни,— сказал он и обхватил рукой ее вздрагивающие плечи.— Я здесь и всегда буду здесь, если только я вам нужен.

— Маме холодно? — прозвучал голос Мэри у них за спиной.

— Да,— сказал Роджер,— маме холодно, и я стараюсь ее согреть.

— Кукле тоже холодно.

— А ты на что? Согрей ее.

— И мне тоже холодно,— захныкала Мэри.

— Возьми меня на колени, мамочка,— сказал Робин и весьма решительно начал протискиваться между передними сиденьями.

Роджер свернул к обочине, чтобы распутать этот клубок противоречий и рассортировать своих пассажиров.

Весь остальной путь был проделан спокойно, без всяких приключений, и вскоре после полудня они въехали в Нантвич.

— Высадите меня где-нибудь,— сказал Роджер.

— Но... Что же вы будете делать?

— Вы мне только скажите, в какое время и на каком углу я должен вас ждать, об остальном не беспокойтесь. Для меня тут найдется куча всяких дел. Прогуляюсь по городу, погляжу, какой он. Я люблю маленькие чеширские городки, они мне всегда нравились.

Дженни остановила машину, и Роджер вышел.

— Желаю удачи,— сказал он.

— О, господи,— сказала она.— Как все это ужасно.

— Может быть, есть все же какой-то проблеск света в этом мраке? — спросил он.

— Единственный проблеск света — это вы,— сказала она, и машина тронулась с места.

Густо падал мокрый снег. Надо было куда-нибудь укрыться. Поглядев по сторонам, Роджер увидел большую, ярко освещенную переполненную народом пивную на углу через дорогу и внезапно понял, что больше всего на свете ему сейчас необходимо выпить.

— Прогулка по городу была интересной? — спросила Дженни.

— Я сидел в пивной, пока меня оттуда не выставили. После этого в моем распоряжении оставалось еще три часа. К этому времени снег перестал валить, и я побродил по улицам, стараясь дышать поглубже, чтобы алкоголь немного выветрился.

— Судя по всему, вы весело провели денек.

— Очень весело. А вы?

— О, у меня все в порядке.

Стемнело, они выехали на главное шоссе. Удобно устроившись на переднем сиденье, вытянув ноги, пристегнувшись ремнем, Роджер смотрел, как ложится под колеса дорога, и чувствовал, что внешние обстоятельства направляют в новое русло поток его мыслей. Утром, когда они ехали в Нантвич, держа путь к родительскому дому Дженни, и на заднем сиденье болтали дети, а на крыше автомобиля были размещены их пожитки, как-то само собой получалось, что все его мысли были заняты Дженни и ее судьбой, а теперь, когда они возвращались в Карвенай, позывные в его мозгу зазвучали уже на другой, ставшей для него привычной за последние три месяца волне. Ему ка-

залось вполне естественным, что теперь он думал и говорил о Гэрете и Дике Шарпе, о миссис Пайлон Джонс, об Айво и Гито. Все это пока что было пустым звуком для Дженни. Но другая сторона его жизни была ей уже отчасти знакома. Она, например, знала Мэдога и, прожив в этих краях не один год, подсознательно научилась понимать этих людей и их обычаи, в то время как он еще недавно бродил среди них, словно пришелец с другой планеты. Она, к слову сказать, раскусила бы Райаннон с первого взгляда. Да если на то пошло, и Марио. И тех двух женщин, которые отказались выступить свидетельницами происшедшего.

— Теперь я намерен говорить,— сказал он,— долго говорить, не закрывая рта.

— О себе самом, я надеюсь,— сказала она, глядя сквозь очки в темной оправе на бегущую навстречу дорогу.

— Да, о себе и о том, что происходило со мной с тех пор, как я приехал сюда прошлой осенью. Жизнь моя сплелась с судьбой людей, которые в обычных обстоятельствах остались бы мне очень далеки. Все это было крайне поучительно для меня, а порой и не так просто. С главными персонажами вам придется встретиться в ближайшие дни, а с некоторыми — даже в ближайшие часы, поэтому я хочу рассказать вам про каждого.

Он говорил, она слушала.

Как ни странно, вопрос его дальнейших взаимоотношений с Дженни в более серьезном и глубоком смысле, их будущей совместной — или не совместной — судьбы не слишком занимал сейчас Роджера. Пока для него было достаточно того, что они вместе.

— Нам надо заглянуть к Гэрету,— сказал он.— Это необходимо сделать, прежде чем мы поедем ко мне.

— Хорошо,— покорно согласилась Дженни.

Роджер вел машину, наслаждаясь своим умением, плавно выписывая виражи, переключая скорости с четкостью хорошо отрегулированного автомата и притормаживая с безошибочным чувством дистанции. Он мог все, он был Король Роджер. Лишь на одно мгновение, когда красный глаз светофора задержал их на перекрестке, его немыслимый подъем духа ослабел и он почувствовал вдруг, что достиг того предела усталости, когда она уже перестает ощущаться, и что его состояние эйфории держится на страшном напряжении, в котором он пребывает с самого утра.

В пяти милях от Карвеная он свернул с шоссе на узкую дорогу, петлявшую по темному склону горы, и они спустились прямо в Лланкрвис.

— Теперь мы поедем к Гэрету? — спросила Дженни.

— Сначала нужно заглянуть в часовню,— сказал Роджер,— посмотреть, что там с печкой.

Дженни ждала в машине, не выключая мотора и обогревателя, а он быстро прошел в часовню и разжег огонь — подбросил в печурку «орешков» и три паркетные планки. Теперь она будет жарко пылать еще час.

— А сейчас,— сказал он, садясь за баранку,— к Гэрету.

Было уже почти десять часов — время позднее.

Они проехали через поселок, за последним домом поднялись круто в гору, и Роджер остановил машину там, где мощенная щебнем дорога кончалась. Он заглушил мотор, и тишина гор звоном отдалась в ушах. Они вышли из машины и зашагали по неровной дороге. Возле ограды Гэрета, пропуская Дженни в калитку, Роджер сказал:

— Вон его домик. У подножия этого огромного отвала.

— Видите, Гэрет уже дома,— сказала она.— В окнах огонь.

Роджер понял, что она старается замаскировать свое волнение, и на секунду ободряюще обнял ее за плечи.

— Они примут меня? — шепнула Дженни.

— Они примут вас в той же мере, в какой приняли меня. Как далеко будет простираться их дружелюбие, мне с точностью неизвестно. Но съесть вас они во всяком случае не съедят.

— Пусть попробуют — у них будет такая горечь во рту, что не обрадуются,— сказала она.— Горечь, кислятина и вся эта невообразимая мерзость последних дней.

Они подошли к двери и постучали. Стук прозвучал в тишине, словно выстрел.

Гэрет отворил дверь. Он был без пиджака, одна рука в лубке; в лицо им из-за его спины пахнуло гостеприимным теплом и светом. Забинтованная рука в лубке казалась огромной.

— Я рад, что вы пришли, Роджер,— сказал он.— Избавили кое-кого от необходимости ехать разыскивать вас.

— Я привел к вам своего друга,— сказал Роджер.

Гэрет отступил в сторону.

— Прошу. Входите.

Роджер и Дженни вошли. Мать сидела на своем обычном месте. Рядом с ней на деревянном стуле, принесенном из кухни, сидел Айво и в старом потертом кресле — Гито.

— Это Роджер Фэрнивалл, мать,— сказал Гэрет.— И с ним молодая дама.

Все взгляды были устремлены на Дженни, даже слепая повернулась в ее сторону. Дженни степенно прошла через всю комнату, наклонилась и взяла руку матери.

— Меня зовут Дженни Грейфилд,— сказала она.— Очень рада познакомиться с вами, миссис Джонс.

Все чувства Роджера пришли в волнение, когда он услышал, что Дженни, представляясь матери, назвала не фамилию мужа, а другую — по-видимому, свою девичью фамилию. Он внезапно как бы воочию увидел всю полноту ее отречения от Джеральда Туайфорда, ее отказ принадлежать ему и его среде.

— Милости просим,— сказала мать.— Час поздний и холодно, и путь к нам сюда, в горы, долгий.

— Очень рад видеть вас снова дома, Гэрет,— сказал Роджер.— Я боялся, как бы вас не оставили в больнице.

— Я и так долго там проторчал,— сказал Гэрет.

— Мы тут держали военный совет,— объявил Гито.

— Разобрались в положении вещей,— сказал Айво,— и выработали план действий. Самое главное, что все сейчас оборачивается в нашу пользу, так ведь? Когда Дик Шарп направил своих молодчиков, чтобы они вывели из строя автобус, и они напали на вас, а накануне вечером на Гэрета напали, понятное дело, тоже они,— так вот, когда Дик Шарп это сделал, он малость хватил через край, и если мы сейчас накроем его с поличным, пока он не ушел в кусты, ему крышка.

— Крышка ему тогда,— произнес Гито своим хрипловатым фальцетом.

— Не подлежит сомнению, что он нарушил закон,— произнес Айво, с наслаждением смакуя эти торжественно звучащие слова.— Он стал на путь преступления. Пока он только старался вытеснить Гэрета, не совершая ничего противозаконного, юридически он был вправе так поступать. Автобусные линии еще никем не монополизированы, не так ли? Имеешь лицензию и страховку — езди себе, где хочешь, лишь бы были пассажиры. Но так просто у него ничего не получалось. Вытеснить Гэрета он не смог.

Мать неожиданно зашевелилась в своем кресле и произнесла громко и твердо:

— И мы знаем, кому за это надо сказать спасибо.

— Да, мы знаем, кому за это надо сказать спасибо,— подхватил Айво.— И если мы сейчас упустим случай, когда Дик Шарп прямотаки пойман с поличным, и не возьмемся за дело все сообща, значит, мы предадим не только Гэрета, но и Роджера.

— И самих себя,— сказал Гито, отхлебнув из кружки.

— Этим лихим молодчикам сегодня утром удалось улизнуть,— продолжал Айво.— Никому, видно, не пришло в голову, что их следовало бы задержать и препроводить в полицию.

— У меня мелькнула эта мысль,— сказал Роджер,— но я был слишком...

— Ну, а Йорверту это, конечно, совсем ни к чему,— сказал Айво.— Он считает, что хороший удар в челюсть лучше разрешает любую проблему, чем всякие там полицейские участки, магистраты и суды. Если бы этих молодчиков притянули к суду, ему бы пришлось давать свидетельские показания, а я не думаю, чтобы нашему Йорверту это пришлось по вкусу.

Он обвел глазами своих слушателей. «До чего же ему нравится такая роль,— подумал Роджер.— Анализировать, суммировать, проявлять остроту и ясность своего ума. Ему бы адвокатом быть.— Но тут же родилась совсем иная мысль: — Адвокатов много, а таких, как Айво, мало».

— Мы встретили Йорверта в городе,— сказал Айво,— и он все нам рассказал. И между прочим — очень важную вещь, верно? Один из этих молодчиков — шофер автобуса. Значит, теперь он выходит из игры. Он сюда больше носа не сунет. Во-первых, потому, что ему слишком крепко досталось и он сейчас не сможет приступить к работе, а главное — потому, что он побоится показать здесь свою мерзкую харю. Его накрыли с поличным, и самое лучшее для него — смотаться из наших мест куда-нибудь подальше.

— Да только нам довелось услышать, что болтает сыночек Дика Шарпа,— неуместно поторопился Гито.

— Верно,— сказал Айво.— Мы в обед зашли выпить пива к Рыбаку и слышали, как этот прыщавый сыночек Дика Шарпа, вонючая задница, разглагольствовал там у стойки.

— Ты, кажется, забыл, Айво, что я здесь,— сказала мать.

— Опечатка, миссис Джонс. Сорвалось с языка. Прошу прощения. Ну, словом, этот красавчик был в салуне, пьяный вдрызг. До того, прошу прощения, похабно упился, что совсем потерял рассудок. В общем-то вся эта чушь, которую он там нес, нас никак не касалась, но кое-что узнать было невредно. Он, между прочим, все время твердил, что скоро они нас прикончат.

— Ты хочешь сказать, прикончат меня,— вставил Гэрет.

— Нет, Гэрет, нас. Тут мы все связаны одной веревочкой, друг.— Айво взял свою пустую кружку, поглядел на нее и поставил обратно.— Так вот, он заявил, что этот их пиратский автобус завтра утром выедет на линию и будет выезжать каждое утро. Гэрет, дескать, не сможет водить машину еще месяц, а за это время они разделаются с ним раз и навсегда.

— Ну, это мы еще посмотрим,— сказал Роджер.

— Правильно, это мы еще посмотрим,— сказал Айво.— А теперь слушайте, что мы надумали. Мы подготовили маленький сюрприз в двух актах для того, кто поведет ихний автобус. Акт первый — мы собираемся прокатиться на его автобусе вместе с ним.

— Прокатиться вместе с ним? — как эхо, отозвался Роджер.

— Да, в качестве пассажиров,— ухмыльнулся Айво.

— Но он же никогда не остановит для вас автобус. Как только увидит, что вы стоите, тут же...

— А вот мы и хотим, чтобы нам немножко помогли,— сказал Айво. Он внезапно подчеркнуто театрально повернулся к Дженни. Теперь все его внимание было сосредоточено на ней.— Мисс... Простите, я не совсем расслышал ваше имя... мисс...

— Дженни,— сказала она.

— Дженни,— повторил Айво.— Нам всем дьявольски повезло, что Роджер привел вас сегодня сюда.

Он не спускал с Дженни глаз. Роджер придвинулся ближе. Когда Айво разговаривал с женщиной, тут было чему поучиться.

— Ведь это разрешает нашу проблему,— продолжал Айво.— Теперь вопрос только в том, сумеем ли мы уговорить вас подняться в восемь часов утра.

— А это так уж нужно?— спросила Дженни.

— Это очень нужно. Но мы не хотим требовать невозможного. Далеко ли отсюда будете вы завтра в восемь часов утра?

— Я буду у Роджера,— сказала Дженни.

Говоря это, она спокойно встретила взгляд Айво, голос ее звучал буднично, бесстрастно. Роджер чуть не захлопал в ладоши. Она выбила шпагу из рук Айво, лишила его возможности делать прозрачные намеки, она просто выложила карты на стол и заставила противника играть в открытую.

Айво был слишком умен, чтобы не понять этого.

— Отлично. Тогда примерно без десяти восемь я заеду за вами на грузовике. И за вами тоже, Роджер.

Роджер молча кивнул.

— Значит, план таков. Около восьми часов утра мы сажаем вас в грузовик, заблаговременно спускаемся вниз — так, чтобы не напороться на этого говнюка, прошу прощения, миссис Джонс, на этого бандита, и занимаем удобную позицию где-нибудь на полпути, у остановки автобуса.

Он умолк, и в наступившей тишине Дженни спросила:

— Я жду, когда вы мне объясните, почему вам кажется, что меня послало сюда само провидение.

— Именно это я и собирался сделать,— сказал Айво.— Я сказал: «у остановки автобуса», но, конечно, имел в виду просто такое место, где, как повелось, обычно собираются пассажиры. Просто неширокий перекресток — от шоссе ответвляется проселок, и на проселке пять-шесть домов. Место холмистое, в ложбине будет где укрыться. Я хочу сказать — тем из нас, чей вид может насторожить шофера, если он окажется из местных.

— Понимаю. Значит, я стою и делаю знак шоферу, чтобы он меня посадил, а когда автобус остановится...

— А когда он остановится,— удовлетворенно улыбаясь в предвосхищении этой минуты, сказал Айво,— тогда мы все выскакиваем и забираемся в него вместе с вами. Я, Гэрет, Роджер. Мы не делаем ничего — объясняем, куда нам надо, оплачиваем проезд, если шофер этого потребует. Ему уже, конечно, будет не по себе, но поделать он ничего не сможет.

— Вы, я и Гэрет,— повторил Роджер.— А Гито? Что же он?

— Что будет делать Гито,— сказал Айво,— это уже акт второй нашего маленького сюрприза. Пожалуй, пока я лучше об этом умолчу.

— А почему, собственно, это лучше?— без обиняков спросила Дженни.

— Потому что,— невозмутимо отвечал Айво,— сюрпризы только тогда хороши и забавны, когда они действительно сюрпризы. А вы и Роджер, если к восьми часам утра вы успеете уже встать, одеться, умыться и поесть, заслуживаете того, чтобы этот маленький спектакль вас позабавил.

— Ну что ж,— сказал Роджер,— если мы должны пораньше приниматься за дело, пора нам всем немножко отдохнуть.

Мать внезапно поглядела куда-то вверх своими незрячими глазами и воскликнула по-валлийски:

«Гэрет, чуешь — пахнет фиалками!»

«Ты уверена?» — помедлив, спросил Гэрет.

«Не сойти мне с этого места»,— сказала мать.

«Что она имеет в виду? — спросил Роджер.— Какие фиалки?»

Ответ он получил от Гито.

«Наши старики, живущие по стародавним обычаям,— сказал он,— чувствуют приближение снегопада. Они утверждают, что в воздухе при этом появляется запах фиалок».

«А я, между прочим, как раз оставил заднюю дверь открытой»,— сказал Гэрет.

Все от волнения перешли на валлийский язык, только Айво не изменила выдержка, и он продолжал разговаривать на чистейшем английском (можно подумать, что ни капли валлийской крови не течет в его жилах, говорил про него Мэдог) и не спускал глаз с Дженни.

— Если начнется сильный снегопад, мисс Грейфилд, автобус не сможет курсировать. В этом случае наше мероприятие будет откладываться со дня на день, пока не наступит такой день, когда автобус выйдет на линию.

— Понимаю,— сказала Дженни.

Гэрет тем временем быстро подошел к входной двери и выглянул наружу.

«Уже падают первые хлопья»,— сказал он.

Роджер из-за его плеча поглядел во мрак. На темной траве кое-где появились тусклые блестки.

«Сильный будет снегопад?»— спросил он.

«Если мать учуяла запах фиалок, значит, сильный»,— сказал Гэрет. И затворил дверь.

— Пожалуй, вам надо поторапливаться, мисс,— сказал он, повернувшись к Дженни.— Иначе вы застрянете здесь, в горах, как в ловушке. Да, да,— настойчиво проговорил он, заметив ее недоверчивую улыбку,— даже до часовни Роджера не доберетесь.

Перебрасываясь шутками, все надели пальто, пожелали Гэрету и матери спокойной ночи и вышли в черный, густой от снежных хлопьев мрак.

— А дело-то пошло всерьез,— сказал Айво.— Снежный буран в горах. Езжайте скорей, Роджер, пока еще не поздно.

Роджер, Роджер!.. Никогда еще не приходилось ему так часто слышать свое имя из их уст. Словно до этой минуты они стыдились произносить его, чурались могущего возникнуть панибратства.

— Значит, договорились, Айво,— сказал он.— Буду ждать вас без десяти восемь, если машина пройдет.

— Теперь уж будь что будет,— сказал Айво, исчезая за пеленой белых хлопьев.— Но как только станет возможно, в первое же утро я у вас.

Айво и Гито помахали Роджеру рукой и пропали.

— Идемте,— сказал Роджер Дженни.

Они захлопнули калитку, наугад спустились по невидимой тропинке и разыскали малолитражку, терпеливо их поджидавшую под тяжелой шапкой наметенного на крышу снега.

— О господи,— неожиданно вздохнула Дженни.— После такого дня да еще застрять в горах — я бы просто умерла, умерла бы с тоски по теплу, крову, постели.

Она открыла дверцу машины и протянула Роджеру ключи. Он завел мотор, включил передачу и стал осторожно отпускать сцепление. Маленькие толстые колесики мгновенно начали вращаться и буксовать.

— Нам, пожалуй, никуда на ней не добраться,— сказала Дженни.

— Ничего. Проедем, сколько она вытянет.

Весь мир был бел и влажен. Снежные хлопья сыпались так густо, перегоняя друг друга, что уже, казалось, невозможно было отличить, где под этим пушистым неулежавшимся покровом земля и где небо за пеленой огромных крутящихся хлопьев.

Они продвигались медленно, тяжело, увязая в рыхлом снегу, словно в жидкой среде, и машина, казалось, была не машина, а лодка и плохо слушалась руля.

— Надеюсь, здесь нет глубоких кюветов,— сказала Дженни, вглядываясь в крутящийся, взвихренный мрак.

Временами им казалось, что дальше машина не поплывет; но вот где-то сбоку проступили наконец очертания часовни, и Роджер, свернув с дороги, поставил малолитражку у обочины.

Они вышли из машины. Хоровод вальсирующих снежинок заглушал все звуки, и обе дверцы захлопнулись одна за другой почти неслышно. А минуту спустя Роджер и Дженни уже стояли перед часовней, и Роджер шарил по карманам, ища ключ.

— Нашел. Входите.

Она послушно шагнула через порог. Ну вот, наконец-то он благополучно доставил ее сюда, в свое логово. Но он еще не мог по-настоящему почувствовать это: слишком много событий произошло, слишком многое должно было произойти. Пока это была лишь интерлюдия, всего лишь интерлюдия.

— Обождите,— он включил свет.— Ну, теперь располагайтесь. А я разожгу печурку.

Он был рад необходимости заняться этим прозаическим делом. Он выгреб золу, насыпал свежих «орешков» и выпрямился, торжествующий и удовлетворенный.

— Сейчас разгорится,— сказал он, притворяя дверцы и открывая поддувало,— минут через пять будет совсем славно.

— Я знаю. У моей матери такая же печурка.

— А теперь,— сказал он, расстегивая пальто,— выпьем чаю?

Она покачала головой.

— Два раза за вечер и в такой поздний час — это чересчур. Я не сомкну глаз...

Она умолкла на полуслове. На мгновение лицо у нее стало растерянным, смущенным, но почти тут же оба расхохотались. Невольно сорвавшиеся с языка слова так исчерпывающе, так точно охарактеризовали ее внутреннее состояние. Собираясь в первый раз лечь в постель с человеком, который мог изменить все в ее судьбе, она прежде всего хотела выспаться. Так много было сказано и передумано, так много пережито, что все это оттеснило любовь на задний план. Вернее, сейчас любовь для нее означала совсем иное — быть вместе, помогать, утешать. Страсть была из мира других измерений.

— Я рад, что вы так настроены,— сказал Роджер.

— Как — так?

— Не романтично. Обыденно. Эта ночь для вас такая же, как все: позади — долгий утомительный день, впереди — сон. Я рад, потому что и сам настроен так же.

Она не поняла: ей почудилась в его голосе ирония. Присев на кушетку фрейлейн, она поглядела на него сквозь стекла очков.

— Я очень устала, Роджер. Я едва стою на ногах.

— Так не стойте,— сказал он.— Если вам хочется отдохнуть, отдыхайте.

— Вы разочарованы?

На мгновение Роджер весь похолодел: ему показалось, что она собирается предложить ему провести ночь в кресле или на полу, предоставив постель в ее единоличное распоряжение.

— Это же ваш дом, Роджер,— сказала она просто.— Теплая, маленькая норка, которую вы отыскали среди этих холодных гор. И в ней — да и в вашей жизни тоже — нашлось место для женщины, которая может стать черт знает какой обузой... Для женщины с грузом прожитой жизни за плечами, обремененной прошлым, а ведь оно пригибает к земле.

— Изучать прошлое — моя специальность,— сказал он.

За окнами — неустанный, безликий — падал и падал снег, заметая следы, воздвигая заслон, отгораживая их от мира.

— Знаете, я все говорю,— сказала она,— а сама этого не чувствую. Мое прошлое не вошло сюда вместе со мной, да и ваше тоже... Сейчас — это только сейчас, и этот снег, и ваша чудесная жаркая печурка, и постель.

— Да,— сказал он.— Моя печурка и моя постель.— Наклонившись, он распахнул дверцу печки, и на них пахнуло малиновым теплом.

— Чудесно! — Она, как ребенок, захлопала в ладоши и просто, как ребенок, начала расстегивать платье.— Я ужасно устала, Роджер.— Она зевнула, потом улыбнулась.— У вас теплая постель?

— Как печка. Не одну сбившуюся с дороги странницу спасал я в ней от страшной участи замерзнуть насмерть.

Дженни достала ночную сорочку из чемоданчика.

— Надо бы почистить зубы, но я не могу — очень уж устала. Просто надену вот это — и все.— Она встряхнула рубашку.— Роджер, ложитесь в постель.

— Сейчас лягу,— сказал он.

Он разделся и скользнул между прохладными фланелевыми простынями.

— Видите, какой я послушный,— сказал он.

Она неторопливо разделась, подержала секунду в руках ночную рубашку, потом отбросила ее и легла с ним нагая.

За окном снежинки продолжали свой таинственный танец, и умиротворенный дух Джеффри неслышно прошел мимо и скрылся, не оставив следа на белом саване гор.

Наутро за окнами лежали сугробы — молочно-белые, пышные, выше оград; снег заполнял все впадины, сглаживая резкие очертания скал. Роджер подошел к окну, поглядел, и приятная дрожь пробежала по его телу.

— На сегодня — отдых от трудов,— сказал он, обернувшись и глядя через плечо на мягкие складки одеяла, под которыми угадывалась Дженни.

— Что ты сказал? — спросила Дженни, поворачиваясь лицом к утреннему свету. Ее не защищенные очками глаза внимательно огля-

дели помещение, словно постепенно узнавая окружающие ее предметы, она вспоминала, где находится.

Он подошел, нырнул в постель рядом с ней и накинул одеяло ей на голову.

— Я сказал, сегодня нерабочий день. Снегу столько навалило, что никакой транспорт не пройдет. Мы остаемся здесь.

И они остались.

Снег отъединил их от всего мира; он не только нарушил контакт с окружающим — он еще и преобразил этот мир за окнами, сделав его новым, незнакомым и таинственным. И целые сутки, а потом еще сутки они жили, отгородившись от реальности — во всяком случае, от той реальности, что лежала за пределами их отчужденного мирка. Часовня была островом среди не нанесенного на карту моря белизны, поглотившего мир повседневности, разлившегося через все границы и дороги, сломавшего все барьеры, сокрушившего все обязательства. Роджер ждал, что Дженни будет говорить до изнеможения о своих делах, и приготовился внимательно слушать, входить во все подробности, помогать ей все пережить, преодолеть и почувствовать себя на другом берегу. Но Дженни даже и не упомянула ни о чем. Двое суток они были поглощены исключительно друг другом, взаимными открытиями души и тела и совместным разрешением мелких задач домашнего обихода в условиях стихийного бедствия. У них был хороший запас топлива, и, хотя кое-какие продукты иссякли почти мгновенно (хлеба у них не было ни крошки с самого начала, а сахар вышел примерно через полдня), всего остального пока хватало, так что к вечеру второго дня они еще сумели устроить себе довольно обильную, хотя и несколько причудливую, трапезу: сардины, картофельное пюре, консервированный горошек с корнфлексом, бананы на десерт и напоследок еще по чашке крепкого черного кофе. Снег чистым, туго накрахмаленным покрывалом лежал на склонах гор, и безмятежно-счастливые они легли в постель. Однако между ними уже было решено, что их отшельничеству наступает конец: наутро отсутствие почти всего самого необходимого вынуждало их предпринять экспедицию в деревенские лавки.

Когда они проснулись (довольно поздно) и поднялись (еще того позже) и когда наконец кое-как позавтракали тем, что удалось наскрести, Роджер принялся разыскивать свои самые основательные башмаки и наиболее надежный непромокаемый плащ.

— Хочешь пойти со мной? — спросил он.

— Нет уж, спасибо. У меня нет обуви, чтобы ходить по такому глубокому снегу. Но если ты не вернешься через три часа, я пошлю за тобой сенбернаров. А теперь поцелуй меня и отправляйся.

Роджер поцеловал ее и ушел.

В Лланкрвисе люди, пустив в ход лопаты, а, может быть, кое-где и снегоочистительные машины, убрали заносы, и вдоль домов среди ослепительно-белого сверкания садов и крыш протянулись грязноватые, протоптанные в снегу дорожки, а посредине каждой улицы отпечатался аккуратный узор автомобильных шин. Роджер зашагал быстрее, помахивая корзинкой. И тут он увидел Райаннон. Она переходила улицу, направляясь к родительскому дому. Прелестная куколка! Он стал прямо на ее пути и ждал. Она еще издали улыбнулась ему: она явно числила его в друзьях, он был у нее на хорошем счету.

— Привет, Роджер!

— Привет, Райаннон. Как вы очаровательны сегодня.

— Лесть вам не поможет,— сказала она,— но слышать это приятно. Скажите еще что-нибудь в таком же духе.

— Это получилось непроизвольно: сегодня изумительное утро, все, что я вижу вокруг, прекрасно. Море, небо, белизна этих холмов. Внизу на склонах лежит туман, и вершины гор парят в воздухе, словно призраки. А какие облака! И в довершение всего появляетесь вы! Чего же еще желать.

— Разве только дилвиновского аэроплана,— сказала она, и глазом не моргнув.

— Не надо! — Он поморщился.— Дайте мне забыть мои поражения.

— Кстати, о поражениях,— сказала она.— С вашим автобусом дело плохо.

— Да вот, снежные заносы,— сказал он уклончиво.

— Я не о заносах. Завтра все войдет в свою колею. Вызваны снегоочистители, и они прибудут сюда сегодня днем. Ну, вы сами понимаете, что это значит.

— Это значит,— с расстановкой произнес Роджер,— что автобус Гэрета получит возможность снова совершать свои рейсы, но использовать эту возможность ему не удастся, потому что Гэрету сломали руку.

— Гэретовский автобус не выйдет завтра в рейс, а вот автобус Дика Шарпа выйдет. Дик Шарп знает, что дороги будут расчищены, и в восемь часов утра его автобус начнет курсировать.

— А шофер? — спросил Роджер.— Этот малый, который водил его автобус? Его же не будет, я знаю.

— Да, его не будет. Вместо него автобус поведет другой, тот, что раньше был кондуктором.

— Откуда вы это знаете?

— Неважно. Я знаю все. Пора бы уж вам это усвоить. Не знаю только, можете ли вы тут что-нибудь предпринять, но...

— Да, можем. У нас есть кое-какой план, и мы собираемся привести его в исполнение завтра утром.

— Кто это вы? Вы и Гэрет?

— Гэрет, я и еще двое. Наша команда, скажем так. Видите, у нас тоже есть друзья,— не без гордости добавил он.

— Конечно. И я один из них. Разве я не сообщила вам сейчас весьма ценные сведения?

— Сообщили, моя радость,— сказал он.— И от этого я люблю вас еще сильнее, если только это возможно.

Лукаво погрозив ему пальцем, Райаннон пошла дальше. Игриво-легкомысленное настроение Роджера как рукой сняло: он решил отложить покупки и первым долгом сообщить полученные сведения Гэрету. Скользя, спотыкаясь, он со всех ног помчался к домику у подножия сланцевого отвала, где нашел Гэрета бесцельно сидящим у тлеющего камина, а мать — в ее неизменной качалке, терпеливо внимающей передаче по радио. У Гэрета был унылый вид — бездействие начинало угнетать его, но, услышав о снегоочистителях, он сразу оживился.

«Надо сообщить Айво и Гито,— сказал он.— Пойду позвоню. Обождите, сейчас обуюсь и пойдем вместе».

Гэрет вышел из телефонной будки, стеклянная дверь бешено закачалась у него за спиной. Роджер впервые видел его в таком возбуждении.

«Ребята готовы,— сказал он.— Завтра без четверти восемь».

«А я и Дженни?» — осторожно спросил Роджер.

«Айво приедет за вами. На грузовике. Все так, как мы решили».

«А если грузовик не проедет к часовне?»

«Проедет. Гито знает парня, который работает на снегоочистителе. Он велит ему расчистить до часовни».

«Ну что ж, да сопутствует нам удача!» — сказал Роджер.

Теперь надо сделать покупки и — домой. Он вдруг почувствовал, что уже стосковался по Дженни.

На другое утро будильник Роджера, отдыхавший уже несколько суток вместе с хозяином, вернулся к исполнению своих обязанностей, сварливо задребезжав на самой высокой ноте, и в семь часов утра в предрассветном сумраке Роджер уже расхаживал взад и вперед, шебаршил кочергой в печурке, заваривал крепкий чай.

— Какая темень на дворе,— ворчливо сказала Дженни.— Ты уверен, что сейчас утро, а не вечер?

— И мои часы и будильник утверждают, что сейчас без четверти восемь.

— Должно быть, грузовик не может проехать.

И в ту же секунду они услышали тарахтенье старого «доджа», постепенно затихающее, переходящее в ровный глухой рокот. Голос Айво долетел к ним из темноты:

— Роджер! Мы здесь!

— Пошли,— сказал Роджер Дженни.— За дело!

Первые холодные лучи рассвета расползались по белым склонам холмов. Гито сидел в кабине грузовика, из-за высокого борта кузова выглядывали Айво и Гэрет.

— Полезайте в кабину,— сказал Айво, мотнув головой.

Снегоочиститель расчистил дорогу ровно настолько, чтобы провести по ней машину, но развернуться было негде. Глядя в зеркальце и руководствуясь время от времени предостерегающими возгласами Айво и Гэрета, Гито осторожно вел громоздкую машину задним ходом. Проехав ярдов триста, он притормозил у расчищенного въезда на чей-то участок и ловко развернул грузовик.

Дальше они уже ехали быстро по мерзлому, укатанному снегу, направляясь к центру Лланкрвиса. Роджер и Дженни плечо к плечу в тесной кабине держались за руки и с непривычной высоты при непривычном резком свете зари смотрели в ветровое стекло на знакомый пейзаж. Гито спокойно, сосредоточенно вел машину среди высоких сугробов. Они миновали гараж Гэрета, где желтый автобус вынужденно отдыхал под рифленой крышей, в центре поселка свернули на перекрестке и покатили вниз. Рассвет выхватил из мрака зеленую и коричневую двери домика миссис Пайлон Джонс, остались позади последние редко разбросанные домики на окраине, и Гито начал сбавлять газ и осторожно притормаживать перед узким боковым проездом.

— Здесь вам надо сойти,— сказал он Дженни и Роджеру.

— Хорошо.

Отворив дверцу кабины, они спрыгнули на землю. Айво и Гэрет уже вылезли из кузова, откинув задний борт, и Гэрет прилаживал его на место.

— Все в порядке, Гито! — крикнул он.

Гито дал газ, и «додж» покатил дальше вниз по дороге в сторону моря.

— Вот здесь мы будем ждать,— командирским тоном сказал Айво.

Они пошли следом за ним за угол дома и стали у стены, откуда их не было видно. Снегоочистители не проходили по этому проезду, но люди и животные протоптали посредине тропку в снегу, а возле стены дома кто-то расчистил лопатой небольшую площадку.

— А я что должна делать? — заговорщическим шепотом спросила Дженни, захваченная таинственностью этих приготовлений.— Мне нужно стоять на виду?

— Пока нет,— сказал Гэрет.— Он сначала проедет в ту сторону. Не надо, чтобы он заранее кого-то увидел.

Они стояли, сбившись в кучку, у занесенной снегом стены. Прошло несколько минут. Роджер замер, уловив какой-то звук, и сказал:

— Мне кажется, я что-то слышу.

Все прислушались: автобус поднимался в гору. Доносился шум мотора.

— Едет,— с трудом сдерживая возбуждение, сказал Гэрет.— Заберет наверху пассажиров и поедет обратно.

Все еще плотнее прижались к стене. Высокий сугроб скрывал их от дороги. Когда автобус прогромыхал мимо, Айво на секунду высунулся поглядеть.

— Он самый,— сказал Айво.

— А кто за баранкой? — спросил Гэрет.

— Не рассмотрел.

— Сейчас узнаем,— сказал Роджер. Он чувствовал, как его охватывает воинственный задор. Ах, вот это жизнь! Наконец-то!

Скоро — даже не верилось, что машина могла так быстро взобраться наверх к центру поселка и повернуть обратно,— они услышали, что автобус возвращается.

— Ну, Дженни, давай,— сказал Роджер.

Дженни отделилась от их группы, прошла вперед и стала на виду, повернувшись лицом в сторону Лланкрвиса.

Судя по шуму, автобус был уже близко и притормаживал в ответ на поднятую Дженни руку. Им видно было только качающееся продолговатое пятно света, за которым угадывались очертания машины, словно какого-то крупного животного. Это было пиратское судно Дика Шарпа, его разбойничий притон на колесах, это был враг.

— Пошли,— скомандовал Гэрет.

Его час настал. Теперь Роджер и Айво отступили, давая ему дорогу. Проворные коротышки ноги неожиданно быстро пронесли его мощный бизоний торс через пять ярдов снега, отделивших их всех от автобуса, и вот он уже поднимался по ступенькам, а за ним — Айво, а за Айво — Роджер.

Сведения, полученные от Райаннон, подтверждались. За баранкой автобуса сидел кондуктор-хорек. Плату за проезд он, разумеется, не брал.

Дженни прошла вперед и села где-то в середине. В автобусе было человек десять—двенадцать, все молча, напряженно наблюдали за происходящим. Роджер, перебегая взглядом по лицам, заметил мистера Кледвина Джонса и еще двух-трех столпов общества.

Роджер снова поглядел на шофера. Гэрет стоял у него за спиной; левой здоровой рукой держась за поручень, сделанный для удобства стоящих пассажиров, он всем корпусом наклонился вперед и почти вплотную приблизил свое лицо к лицу шофера. Повязанный вокруг головы шарф придавал ему странно зловещий вид.

— Чего...— пискнул было хорек, но голос его сорвался.

— Что — чего? — глухо переспросил Гэрет тоном, не предвещавшим добра.

Пассажиры насторожились.

— Чего... вам надо? — выдохнул хорек сквозь сведенные страхом челюсти.

— Хорошенько на тебя наглядеться,— сказал Гэрет. Он улыбался вкрадчиво, почти слащаво.— Я давно хотел познакомиться с тобой.

— Езжай, парень,— сказал Айво из-за глыбы гэретовских плеч.— Если ты водишь рейсовый автобус, так веди его.

Пассажиры глухо забормотали, выражая одобрение, а мистер Кледвин Джонс крикнул:

— Некоторые из нас, между прочим, едут на работу!

Шофер тронул автобус с места; лицо его было белым как бумага.

— Гэрет,— сказал Айво, наклоняясь вперед,— ты лучше сядь, безопасней будет.

Гэрет поглядел на Айво так, словно видел его впервые в жизни. Он усмехнулся и покачал головой.

— Ничего, я постою,— сказал он.

— Лучше сядь,— сказал Айво.

И тут это произошло.

Автобус со скоростью примерно двадцати пяти миль в час спускался под сравнительно пологий уклон; дорога вилась между высоких заметенных снегом холмов. В нескольких ярдах впереди от нее ответвлялась другая, более узкая дорога, но в такую погоду она, конечно, была непроезжей, и никакой транспорт появиться оттуда, несомненно, не мог. Несомненно? Как несомненно все, что есть несомненного в нашем мире. Внезапно дикий ужас исказил лицо шофера-хорька, лапы его судорожно вцепились в баранку. Из бокового проезда прямо на дорогу, словно боевой корабль, выплывший на встречу с противником, выдвинулся серовато-зеленый нос канадского «доджа». Слишком близко, свернуть некуда. Напряженное лицо Гито. Крепкие, видавшие виды борта кузова.

Шофер-хорек мгновенно потерял самообладание. Он отчаянно крутанул баранку вправо, и автобус на скользкой дороге сразу стало заносить, колеса пошли юзом. Кто-то из пассажиров испуганно вскрикнул. Шофер крутанул баранку в обратную сторону, и автобус закачался. Раздался звонкий удар металла о дерево. Затем скрежет и треск. В наступившей тишине автобус накренился под углом в сорок градусов. Его правое переднее колесо съехало в кювет и увязло в рыхлом снегу. Двигатель кашлянул и заглох.

Гэрет крикнул:

— Отворите дверь запасного выхода!

Пассажиры начали вылезать на свет божий.

Обернувшись, Роджер увидел, что Гэрет держит хорька за шиворот, приподняв над сиденьем. Айво, стоя спиной к Роджеру, громко говорил:

— Неквалифицированный шофер. Ему нельзя доверять управление автобусом. Он не может отвечать за безопасность пассажиров.

— Так он же выскочил мне наперерез,— верещал хорек.— Куда мне было деваться? Он прямо на меня выехал. Вы же все видели.

— Мы ничего не видели,— сказал Гэрет. Он основательно тряхнул хорька.— Заткни глотку. Объясняться будешь в суде.

— Он нарочно наскочил на нас,— твердил хорек.

Гэрет отпустил ворот и, размахнувшись, легонько смазал хорька по физиономии.

— Не имеете права! — всхлипнул хорек и повалился на сиденье.

Роджер поглядел поверх его головы в ветровое стекло на дорогу. «Додж» стоял впереди футах в двенадцати от автобуса. У него было помято крыло и разбита фара, но он твердо стоял всеми четырьмя колесами на дороге, и, по-видимому, в любую минуту мог продол-

жать путь. Гито вылез из кабины и спокойно остановился возле автобуса, наблюдая в окно за происходящим.

— Ты за это ответишь, парень,— сказал Айво хорьку. Он обернулся к Роджеру: — Кто-нибудь позвонил в полицию?

— У меня есть свидетели,— сказал хорек, шныряя глазами по лицам.— Все видели.

— Правильно,— весело сказал Роджер.— Я ехал в этом автобусе и могу засвидетельствовать, что вы нарушили правила безопасности движения, ехали под уклон слишком быстро, не учитывая условий дороги. А когда из бокового проезда появился грузовик, вы растерялись и не сумели вовремя затормозить. Счастье еще, что никто не пострадал.

— А вот надо выяснить, что с этой дамой, которая так перепугалась,— сказал Айво.— Вон, она все еще плачет. У нее нервный шок — это нескоро пройдет. Вашему хозяину придется еще выложить кругленькую сумму на лечение.

— Моему хозяину...— начал было хорек и осекся.

— Да, теперь все выплывет наружу,— сказал Гэрет.— Ступайте позвоните в полицию, Роджер. А я погляжу, чтобы он не смылся.

— Послушайте,— быстро заговорил хорек.— Мой хозяин не захочет иметь неприятности. Не к чему звонить в полицию. Хозяин заплатит владельцу грузовика за повреждение. И сам, за свой счет, уберет отсюда автобус. И все будет тихо, мирно, понимаете?

— А мы не хотим, чтобы тихо и мирно,— сказал Гэрет.

— Мой хозяин позаботится, чтобы вы не остались в накладе, если мы все это уладим по-хорошему,— сказал хорек.— Он даст каждому по пять монет, если вы не будете свидетельствовать против.

Гэрет упер в него каменный взгляд.

— Десять,— сказал хорек.

Гэрет снова отпустил ему оплеуху.

— Ступайте, Роджер, звоните,— сказал он.

Роджер ушел.

Сержант полиции был желт и сух, как песок, и волосы у него были желтые, как песок, и голос скрипел, как песок под ногой. У него были плоские, лопатками пальцы и твердый, оценивающий взгляд. Он привел с собой констебля — здоровенного детину, которому с виду было никак не больше восемнадцати лет и на которого были возложены все менее ответственные обязанности, как-то: управлять машиной, вести записи в блокноте, измерять шагами тормозной путь. Установить длину последнего на обледенелой горной дороге было невозможно, но констебль с ученым видом прикинул что-то в уме и занес в свой блокнот.

Сержант же первым долгом заявил пассажирам, что они все будут свободны и смогут отправиться по своим домам, как только он снимет с них показания. После этого ему понадобятся лишь главные действующие лица: оба шофера и любой, кто пожелает заявить о причиненном ему увечье или материальном ущербе.

— Попрошу всех, кто был свидетелем аварии,— сказал сержант,— сообщить констеблю свое имя и адрес, а мне расскажите, что вы видели.

Он стоял перед ними, как ефрейтор перед взводом неуклюжих новобранцев.

Роджер ждал, что шофер-хорек начнет истерически взывать к пассажирам, ища у них поддержки. Но этот малый, казалось, совсем

очумел, словно гусеница, ужаленная осой. Вид двух синих мундиров нагнал на него такого страху, что, по-видимому, совершенно лишил его способности думать, действовать и даже осознавать окружающее.

Затем наступила тишина, и стало ясно, что никто из пассажиров не намерен давать никаких показаний. Они или и в самом деле ничего не видели, так как авария произошла внезапно и через пять секунд все было кончено, или у них просто не было ни малейшего желания терять время на показания и причинять себе беспокойство.

Не давая им передумать, Роджер сказал решительно:

— Я был свидетелем аварии.

— Ваша фамилия и адрес, сэр? — спросил констебль.

Роджер назвал себя и продолжал:

— На мой взгляд, шофер автобуса ехал под уклон с недозволенной скоростью. Принимая во внимание дорожные условия.— Этот последний штрих очень понравился ему самому: «принимая во внимание дорожные условия» звучало вполне в духе английских полицейских протоколов.— А когда впереди из бокового проезда выехал грузовик...

— Как далеко впереди? — прервал его сержант.

— Точно сказать не могу.

— Но вы же говорите, что видели, как произошла авария.

— Да, видел, но утверждать с точностью, на каком расстоянии находился грузовик, когда шофер его заметил, не могу.

— А предположить вы можете?

Роджер задумался.

— Точных цифр назвать не могу.

— Грузовик появился внезапно?

— Не более внезапно, чем всякий другой местный транспорт в обычных условиях. Видимость здесь ограничена холмами, на дороге много пересечений, и у каждого вырабатывается шестое чувство. Но, разумеется, это не относится к тем, кто не привычен к здешним местам.

Песочный сержант окинул Роджера скептическим взглядом:

— Я бы сказал, что это довольно уклончивый ответ, сэр.

— Я видел, как это произошло,— внезапно сказал Гэрет. Он решительно протолкался вперед и с вызывающим видом встал перед полицейским.

— Ах, вы видели? — сказал сержант, вложив в эту реплику максимум вежливого сарказма. Ведь в обязанности полиции входит знать обо всем, что творится во вверенном ей районе.

— Вы мою фамилию и адрес знаете,— сказал Гэрет констеблю.— Так я все видел. Автобус был еще далеко, когда грузовик выехал из проезда. Вполне можно было бы избежать аварии, если бы за баранкой сидел квалифицированный шофер, который умеет водить автобус.

— На каком расстоянии появился грузовик? — спросил сержант, впившись в Гэрета взглядом.

— За семьдесят пять ярдов,— тотчас без запинки ответил Гэрет.

— За семьдесят пять? — холодно переспросил сержант.— Может быть, за восемьдесят?

— За семьдесят пять,— повторил Гэрет.

Констебль записал показания.

Сержант не спеша повернулся ко всем спиной и зашагал к перекрестку, откуда появился грузовик. Он постоял немного, глядя на занесенный снегом проезд. Солнце взошло, и на твердом белом насте протянулись длинные голубоватые тени.

— Странно,— произнес сержант, разговаривая сам с собой. Он зашагал обратно и обратился к Гито: — Эта дорога непроезжая. Там

расчищено совсем небольшое пространство. Вы не могли проезжать там. Вы должны были с какой-то целью намеренно заехать туда.

— Да,— сказал Гито.— Я заехал туда, чтобы развернуться.

— Вам нужно было развернуться? Вы приехали сюда в такой ранний час, и вам уже понадобилось ехать обратно?

— Да. Я кое-что позабыл.

— Что же вы позабыли?

— Свой завтрак,— сказал Гито.

Сержант резко повернулся к стоявшим в ожидании пассажирам.

— Ну, люди добрые, вы свободны, можете идти по своим делам,— сказал он.— Свидетели нашлись, и мы вас больше не задерживаем.

— А как нам теперь добираться? — крикнул мистер Идрис Джонс.

— Спуститесь с холма, там внизу курсируют автобусы компании «Дженерал»,— сказал сержант.— Идти под горку нетрудно.

— Нам это крайне неудобно,— сказал мистер Идрис Джонс.— Здесь, между прочим, есть лица, занимающие ответственные должности. А нас тут заставили попусту терять время.

— Если бы полиция при всех дорожных происшествиях принимала на себя ответственность за доставку того или иного лица к тому или иному месту назначения, всем нам вместо исполнения наших прямых обязанностей пришлось бы идти работать на такси.

— И куда больше было бы пользы для населения,— негромко, но достаточно внятно произнес мистер Кледвин Джонс, удаляясь.

— Когда вы позволяете себе любезные замечания такого сорта, мистер Джонс,— сказал сержант,— потрудитесь говорить по-валлийски. Тогда я могу сделать вид, что это не предназначалось для моих ушей. Замечания, сделанные на английском языке, считаются официальными и заносятся в протокол.

— Пока вы тут стоите,— ядовито сказал мистер Кледвин Джонс,— может быть, с полдюжины водопроводных труб уже вышли из строя и несколько человек будут найдены мертвыми в своих постелях.

И он повел свою мятежную кучку пассажиров вниз с холма.

— Итак,— сказал сержант,— мне нужны вы и вы.— Он указал на Гито и на хорька.— Явитесь в участок. Дадите объяснения. Остальные свободны.

— Я тоже видела, как это произошло,— заявила Дженни.

— И я видел все от начала до конца,— заявил Айво.

— Я сказал: остальные свободны, *свободны*,— отрезал сержант.— Если мы найдем нужным вынести решение о нарушении правил безопасности движения, тогда вы можете нам понадобиться. Но, учитывая состояние погоды, судья едва ли сочтет возможным притянуть шофера к ответу. В такую погоду, как сегодня, небольшие аварии подобного рода будут зарегистрированы по всему Северному Уэльсу. Впрочем,— многозначительно добавил он,— сдается мне, что тут может быть выдвинуто и более серьезное обвинение.— Внезапно он резко повернулся к хорьку: — У вас есть шоферские права?

Несколько секунд хорек стоял не шевелясь, затем с мучительной медлительностью руки его пришли в движение, он достал маленькую красную книжечку и протянул ее полицейскому. Едва взглянув на документ, полицейский вернул его хорьку.

— Не морочь мне голову, парень,— сказал он.— Это же не то. Дает право управлять мотоциклом — и только.

Хорек сделал жалкую попытку изобразить удивление.

— Я, верно, по ошибке захватил с собой не то удостоверение,— пробормотал он еле слышно.

— Ты еще будешь иметь возможность предъявить настоящее удостоверение на право управления общественным транспортом, если, конечно, оно у тебя есть,— сказал сержант.— В этом случае обвинение будет менее тяжелым, ответишь только за то, что сел за баранку, не имея удостоверения при себе. Где страховка? Есть у тебя квитанция об уплате страховки?

Лапы хорька беспомощно болтались, как плети.

— Нет,— сказал он.

— Он предъявит ее вместе со своим шоферским удостоверением,— сказал Айво.— А заодно еще и бриллианты из королевской короны.

Сержант указал на стоявший в ожидании полицейский автомобиль.

— К сожалению, интересы налогоплательщиков требуют, чтобы мы отправились в участок, хотя, может быть, было бы и приятнее,— он отвесил легкий поклон в сторону Айво,— стоять тут на снегу и изощряться в остроумии.

Айво галантно улыбнулся.

— Если вы отправляетесь в полицейский участок,— сказал он,— пожалуй, я проследую туда тоже.— Я совладелец грузовика, и это дорожное происшествие непосредственно затрагивает мои интересы.

Сержант впился в него долгим оценивающим взглядом. Затем сказал:

— Вы совладелец грузовика?

— Да.

— Но вы не ехали на грузовике?

— Нет.

— Вы ехали в автобусе?

— Да.

— Вы ехали в город,— с расстановкой произнес сержант,— и поэтому воспользовались автобусом?

— Да.

— Надо полагать,— сказал сержант,— что вы тоже позабыли свой завтрак?

Айво промолчал.

Сержант знаком предложил им сесть в полицейский автомобиль. Айво, Гито и шофер-хорек разместились на заднем сиденье. Оба полицейских сели впереди, констебль — за баранку. В морозном воздухе звонко разнесся стук захлопнувшихся одна за другой дверец автомобиля, и машина скрылась из виду за поворотом дороги.

И снова, почти мгновенно, первозданная тишина опустилась на горы. Покрытые снегом откосы, лишь кое-где тронутые следами легких птичьих лап, стояли безмолвные в бледном утреннем свете. Бурый автобус, похожий на мертвого динозавра, тяжело привалился к краю кювета. Старый «додж» твердо, всеми четырьмя колесами, стоял на дороге, и только помятое крыло и разбитая фара, словно почетные боевые шрамы, служили напоминанием о недавней схватке.

Гэрет подошел к грузовику.

— Двигатель, надо думать, в исправности,— сказал он. Забравшись в кабину, он повозился немного с зажиганием и переключением скоростей, и через минуту Роджер и Дженни услышали ровное, чуть-чуть натужное пофыркивание двигателя.— Полезайте сюда,— крикнул Гэрет, перекрывая шум,— прикатим в город с ветерком.

Когда все уселись, Гэрет левой рукой твердо взялся за баранку, а гипсовую култышку правой руки прижал к животу.

— Давайте-ка, Роджер, поведем его вместе,— сказал он.

— Переключать скорости? — спросил Роджер, глядя вниз на короткий неуклюжий рычаг.

— Ну да. Все остальное я сам могу.

— А ручной тормоз?

— Правильно, отпускайте.

Роджер отпустил ручной тормоз, и тяжелый грузовик медленно пополз вниз по сверкающему снегу. Снова, в который уже раз с тех пор, как он очутился здесь, среди этих гор, Роджер почувствовал, как по жилам у него пробежал огонек азарта. А рядом сидела Дженни, увлеченная приключением, как дитя.

— Первую передачу,— скомандовал Гэрет. Он выжал сцепление, и Роджер аккуратно включил передачу.— Так. Теперь вторую.

Гэрет отдавал приказания, точно хирург во время операции: «пинцет... тампон... зажимы».

Они лихо влетели по расчищенному шоссе в Карвенай. Поставив «додж» под увенчанной снежными шапками замковой стеной, они зашли в кафе на площади — подождать там Айво и Гито.

— Долго будут их держать в полицейском участке? — спросила Дженни.

— Минут десять, думаю, не больше,— сказал Роджер.— Запишут показания и отпустят.

— А что будет с этим парнем — у него же не было ни прав, ни страховки?

— Ему дадут двадцать четыре часа сроку, чтобы предъявить эти документы, а не предъявит — оштрафуют.

Гэрет дул на горячий чай и молчал. Роджер почувствовал в нем отчужденность. Вероятно, присутствие Дженни заставляло Гэрета замыкаться в себе.

И вдруг Роджер впервые задумался над интимной стороной жизни самого Гэрета. Может быть, ему каким-то образом удалось исключить секс из своей жизни? Или, может быть, где-то, в каком-то диком ущелье, среди скал, существует безвестная *она* и, когда молодой месяц плывет в вышине, Гэрет спешит через горы на свидание?

Случайно бросив взгляд в окно, Роджер увидел на площади несколько машин, которые двигались медленно, так как пути их следования пересекались. Одна из машин — длинный, серый, сверкающий отполированным кузовом лимузин — начала плавно подруливать к тротуару, и Роджер мгновенно и безошибочно узнал острый петушиный профиль Дика Шарпа, сидевшего за рулем.

— Взгляните! — воскликнул он.

Все поглядели в окно.

— Так, едет, значит, в полицейский участок,— негромко пробормотал Гэрет.

Полицейский участок находился неподалеку — ярдах в ста. Серая машина стала, и Дик Шарп вышел. Не взглянув по сторонам, он направился прямо к полицейскому участку и поднялся по ступенькам.

— Да,— сказал Роджер,— пошел туда.

— Что-то там, значит, затевается,— сказал Гэрет.

Он говорил с напускным спокойствием, но Роджер, казалось, видел, как напряглись мускулы Гэрета под старой кожаной курткой.

Томительно текли минуты. Чтобы разрядить напряжение, Роджер встал и принес еще три большие толстые белые чашки с чаем. Время близилось к обеду. Один за другим начали появляться посетители.

В ту минуту, когда Роджер почувствовал, что больше он не в силах этого выдержать, дверь кафе отворилась и первым вошел Айво.

Он был хмур и мрачен. За его спиной беспокойно мельтешил лысый череп Гито. Ни радости, ни торжества не было написано на их лицах, да и походка была унылой.

Они направились к Гэрету, а он каменно сидел на стуле. Взгляд его был прикован к Айво, и, пока тот подходил, зрачки у него сузились, но он не шевельнулся и ни один мускул не дрогнул на его лице. Айво остановился и молча сверху вниз поглядел на Гэрета.

— Ну? — почти шепотом произнес Гэрет.— Что там стряслось?

— Ничего не стряслось,— сказал Айво.

— А что было не так?

— Ничего.

На некоторое время воцарилось молчание. Роджер быстро переводил взгляд с одного лица на другое. Лицо Айво было замкнуто, лунообразное лицо Гито — печально, лицо Гэрета — каменно-бесстрастно, словно изображение, высеченное в скале.

Наконец Гэрет заговорил снова:

— У нас все в порядке или нет?

— У нас все в порядке,— сказал Айво.

— Тогда в чем же дело? — требовательно спросил Гэрет.— Глядя на ваши рожи, можно подумать, что Дик Шарп как-то исхитрился вызволить этого молодчика, снять его с крючка.

— Нет,— сказал Айво.— Дик Шарп не вызволил его. Он оставил его на крючке.

— Посмотрите,— сказала вдруг Дженни, показывая в окно: длинная серая машина отъезжала.

— А, вильнула хвостом акула,— пробормотал Гито.

— Я хочу выпить,— резко сказал Айво.— Пошли отсюда. Идемте к Марио, он уже, верно, открыл.

— Ладно, пошли,— сказал Гэрет. Он встал, отодвинув стул.— Только сначала скажите мне одно: кому поверила полиция? Вам или Дику Шарпу, тому, что он там наврал?

— А Дик Шарп тут ни при чем,— сказал Айво.— Малый этот сказал, что столкновение произошло по нашей вине, а мы сказали — что по его. Полиция приняла наши объяснения, потому что мы старые, опытные шоферы, двадцать лет водим тяжелые машины по здешним дорогам и ни разу не попадали в аварию, а он просто мальчишка, неизвестно откуда взялся и водил автобус, не имея шоферских прав. А теперь пошли, выпьем, и я расскажу вам еще кое-что, если у меня повернется язык об этом говорить.

Они вышли из кафе и молча зашагали по тротуару. Дженни и Роджер замыкали шествие.

Когда они подходили к пивной, Марио снимал с двери замок, и в зале царила та первозданная атмосфера свежести и чистоты, какая бывает в ресторанах, пока все бутылки и стаканы еще стоят нетронутыми, пока никто еще не загрязнил воздуха своим дыханием, не нарушил ни единым словом прозрачной настороженной тишины. Предводительствуемые Айво, они тесной кучкой сбились у стойки.

— Buon giorno [1],— приветствовал их Марио, сверкая глазами и зубами.— Большие события происходили сегодня утром.

— Ты, значит, уже все слышал? — угрюмо спросил Айво.

— Ну, не все,— сказал Марио.— Как оно на самом деле было, я надеюсь узнать от вас. Я слышал только, что автобус Дика Шарпа попал в аварию.

— Пинту горького,— сказал Айво.

Марио молча нацедил первую пинту и поставил ее перед Айво

[1] Добрый день *(итал.)*.

Айво нарочито неторопливо взял кружку, медленно поднес ее к губам и вдруг резко опрокинул в глотку янтарную пенистую струю.

— Помимо автобуса Дика Шарпа,— сказал он,— аварию потерпел еще кое-кто. Шофер Дика Шарпа.

— Вот как? — сказал Марио.

— Да,— сказал Айво.— Его засунули головой вниз в сортир и спустили воду. Теперь он бултыхается где-нибудь в канализационной трубе, и всем на это наплевать.

Гэрет придвинулся к Айво. Он сверлил Айво взглядом, словно пытаясь проникнуть в его тайные мысли.

— Потому-то вы оба и пришли с такими постными рожами? — грубо спросил он.— Потому что этот прохвост будет теперь отвечать по закону?

— Да,— сказал Айво. Он взял кружку, осушил ее до дна.— Повтори, Марио.

— Ну что ж,— сказал Гэрет.— ваше великодушие делает вам честь. А я бы так собственными руками свернул ему шею.

— Если бы ты это сделал,— неожиданно сказал Гито, выглядывая из-за плеча Айво,— это было бы куда чище, чем та мерзость, которую с ним там сотворили.

— А мне наплевать на то, что с ним сотворили,— сказал Гэрет. Лицо его снова стало маской, резко обозначились все прямые линии.— Если вы такие жалостливые, объявите для него сбор пожертвований.

— Ты ведь даже не знаешь, что произошло.— В голосе Гито звучало предостережение.

— А, черт побери! — взорвался Гэрет.— В кои-то веки мне удалось одержать над ними победу, и я желаю знать, победил я или не победил.

— Ладно, ты это заслужил, Гэрет,— сказал Айво. Он произнес эти слова легко, небрежно, чуть иронично.— Не думай, что мы не на твоей стороне, дружище. Мы ведь все солдаты, не забывай. Сражение выиграно, и мы отпразднуем победу пивом и будем праздновать весь день до поздней ночи. Но мы с Гито только что собственными глазами видели, как удав проглотил кролика, и вблизи это не такое приятное зрелище.

Теперь уже у всех были в руках кружки с пивом, и Айво снова входил в свою привычную роль средневекового фигляра, сейчас он даст им спектакль: возмущение, гнев, омерзение — все будет дано остраненно, приподнято, преображено силой искусства. Роджер смотрел, слушал, и ему открывалось то, чего он раньше не понимал: он увидел истоки темного, упорного предубеждения против искусства, предубеждения, проявляющегося почти в каждом поколении,— этот леденящий страх перед его могуществом, которое, как знать, может быть, все-таки от лукавого.

«Вначале,— говорил Айво,— несчастный этот бедолага был так испуган, что твердил только одно: «Вы упрячете меня за решетку?»— Айво безошибочно имитировал бирмингамский акцент хорька и его испуганные возгласы.— Страх перед тюремной камерой заслонил для него все. Он едва не лишился чувств, пока они вели его по ступенькам в участок. Ему не верилось, что он когда-нибудь выйдет оттуда обратно: «Вы упрячете меня за решетку?» Полицейский пытался втолковать ему, что его привели туда, чтобы он дал объяснения, после чего его отпустят на все четыре стороны, а дело будет разбираться потом. Но он был вне себя от страха и не понимал, что ему говорят. Пот лил с него ручьями.— Рассказывая, Айво весь съежился, худое лицо его, казалось, еще больше заострилось. Он сгибался в три поги-

бели, сжимался в комочек, словно стараясь стать невидимым.— «Мой хозяин...— сказал он голосом хорька,— надо сообщить об этом моему хозяину. У меня есть номер его телефона».— Айво судорожно повертел в руках воображаемый клочок бумажки.— «Если ты ищешь телефон мистера Джонса...— Айво распрямил плечи, он говорил теперь бесстрастно, голосом песочного сержанта: — Мы можем связаться с ним по телефону».— Айво менялся на глазах, попеременно изображая всех в лицах: он был хорьком, потел и хныкал; он был сержантом-олимпийцем; он был молодым констеблем и записывал показания отработанным жестом, то и дело окуная перо в чернильницу и всякий раз, прежде чем окунуть, щеголевато оправлял манжету; он был самим собой; он был Гито; он был всем полицейским участком — всеми, кто в нем присутствовал; он был снегом за его стенами; он был грузовиком с помятым крылом и бурым автобусом, брошенным на горной дороге. Его жилистая, напряженная фигура и подвижное лицо воссоздавали картину всего происшествия.

В общем-то история была как история, ничего из ряда вон выходящего, непредвиденного не произошло. Из полицейского участка позвонили Дику Шарпу как владельцу автобуса и спросили, не желает ли он самолично присутствовать при показаниях той и другой стороны. Он дал согласие и прибыл — учтивый, настороженный (можно было не сомневаться, что ему тем или иным путем сразу же все стало известно, и для него исход дела был уже предрешен); выражение его лица казалось в меру решительным и вежливо-непреклонным. Картина, нарисованная Айво, не оставляла сомнений, что с той секунды, как Дик Шарп переступил порог полицейского участка, хорек был обречен: он будут принесен в жертву. Айво мгновенно преобразился в Дика Шарпа, входящего в участок. Он прошелся походкой Дика Шарпа, он держался как Дик Шарп, говорил с его интонацией: «Он действовал вопреки моим инструкциям. Я был крайне изумлен, узнав о случившемся. Шофер автобуса заболел, и я строго-настрого приказал, чтобы автобус не выпускали на линию». И Айво тут же снова стал хорьком. Он не верил своим ушам; недоумение, негодование и наконец ярость и злоба, словно острия ножей, начали прорывать затуманившую его сознание пелену страха: «Да все же знают, что это вы приказали мне вывести машину из гаража!»—«Кто это знает?» — «Как кто? Все. Все знают!» «Вы отрицаете, что вами было дано распоряжение вывести автобус на линию?» — спросил Айво-сержант хрустящим, песочным голосом. «Разумеется, я это отрицаю»,— отвечал Айво — Дик Шарп, изумленным выражением лица и тоном давая понять, насколько подобный вопрос неуместен. «Он велел мне!.. Он сказал, что я буду водить машину, пока не вернется Берт, и его жалованье будет идти мне. Жалованье Берта!» — бессвязно восклицал Айво-хорек. «Какую линию обслуживал этот автобус?» — спросил Айво-сержант. «Он был внерейсовый,— отвечал Айво — Дик Шарп.— Обслуживал те участки, где регулярный транспорт выходил из строя». «Скажите лучше: где вывели из строя Гэрета Джонса, когда кто-то напал на него и перешиб ему руку свинчаткой!» — тонким голосом Гито внезапно выкрикнул Айво. «Потрудитесь молчать, пока вас не спрашивают»,— оборвал Айво—Гито Айво-сержант, в то время как подлинный Гито, страшно довольный лицезрением самого себя в этой роли, все же не удержался и шепнул Роджеру на ухо:

— Так-то складно у меня, конечно, не получилось. Это я бы тогда так сказал, будь у меня такая голова на плечах, как у Айво.

— Попрошу соблюдать тишину в зале,— сказал Айво.— Еще всем по кружке.— Его кружка, вновь наполненная, уже стояла перед ним.

Айво-хорек теперь снова начал сжиматься, уходить в себя. Его землистое, потное от страха лицо блестело. С юности приучившийся ненавидеть и бояться стражей закона, он теперь почувствовал себя в цепких лапах полиции, а единственный человек, который мог бы вызволить его отсюда, вместо помощи подставил ему подножку, отчего он окончательно слетел с катушек. Он судорожно дергался, глазки-бусинки перебегали с лица на лицо, потом его взгляд метнулся к двери (словно в отчаянной надежде одним рывком вырваться на свободу).

Дверь за спиной Айво почти ежесекундно отворялась и затворялась, пивная постепенно заполнялась посетителями. Но представление шло своим чередом: Дик Шарп уверенно-спокойно устранялся; хорек с каждой минутой становился все более косноязычным и жалким; Айво и Гито совсем утратили всякие очертания; сержант и выбрыкивающий рукой констебль продолжали играть свои безучастные роли. Наконец сержант сказал: «Ну, пока все, приятель. Мы тебя известим». Поначалу Айво-хорек не поверил своим ушам: ему казалось невероятным, что его могут отпустить отсюда подобру-поздорову, но когда Айво-сержант сказал: «Значит, мы дадим тебе знать, как только ты нам понадобишься — в конце квартала, надо думать» — и кивнул, давая понять, что разговор окончен, Айво-хорек, бросив на Айво — Дика Шарпа горящий ненавистью взгляд, суетливо ринулся к двери.

Смех, аплодисменты. И у всех отлегло от сердца. Низость и жестокость сцены в полицейском участке, отвратительное, бесстыдное измывательство над жалким, беззащитным человечком, преданным весьма могущественным по сравнению с ним лицом, — все то, что так потрясло Айво и Гито, проложив угрюмые складки на их лицах, заставив их оплакивать свою судьбу и судьбу всех обездоленных, засверкало иными красками в лучах веселого, яркого таланта Айво. Марио хохотал и возбужденно говорил что-то, Дженни улыбалась во весь рот, и даже лицо Гэрета утратило свою напряженность. Снова пошли в ход кружки, снова посыпались шутки.

Незаметно пролетел час, другой. Роджеру казалось, что он никогда еще не был в такой веселой компании. Трудности оставались, но перестали представляться неразрешимыми: всесильному Дику Шарпу был нанесен сокрушительный удар. И об этом говорили не таясь. Имя Дика Шарпа было у всех на устах, многократно повторялось во всех уголках бара.

Наконец, устав от шумных проявлений радости, Роджер отыскал для себя и Дженни укромный уголок. У них еще ни крошки не было во рту с той немыслимо далекой незапамятной зари, когда за ними приехал грузовик и из мрака донесся голос Айво. Роджер удобно усадил Дженни с кружкой свежего пива и пирожком, и они принялись за еду. И почти тут же он почувствовал — что-то неладно: на лицо Дженни набежало облачко. Она откусила кусочек пирога, нахмурилась, отодвинула тарелку и погрузилась в угрюмое молчание. Он молча наблюдал за ней: она достала из сумочки очки, надела их и снова сняла. Потом отхлебнула из кружки, но как-то машинально.

— Ты плохо себя чувствуешь? — прошептал он, наклонившись к ее уху.

— М-м?

— Я спрашиваю: как ты себя чувствуешь?

Ничего не ответив, она встала, легонько отпихнув от себя стол.

— Мне нужно... Я скоро вернусь.

Решив, что она хочет пройти в туалет, Роджер отодвинулся, пропуская ее.

Он ждал, болтая с Гито, но минуты ползли медленно. Вопреки напряженности ожидания и уже снедавшей его тревоге он все-таки заставил себя проглотить несколько кусочков пирога. Он медленно доедал пирог, а Дженни все не возвращалась. Наконец он встал, чтобы отправиться на розыски, и в это мгновение она появилась в дверях.

Он сразу увидел: если ее и раньше что-то тревожило, то теперь эта тревога усилилась. Может быть, она нездорова? Может, у нее что-то болит? Лицо ее было замкнуто, тонкая полоска крепко сжатых губ совсем побелела.

Пробормотав извинение, Роджер оставил Гэрета и Гито и подошел к ней.

— Что случилось, дорогая? — спросил он.

— Я хочу домой,— сказала она.

Чувствуя, как все холодеет у него внутри, Роджер вдруг с испугом осознал непрочность их отношений. Он горячо любил Дженни. Но их любовь еще не материализовалась в житейских обиходных вещах — она была как соломинка, внезапно вспыхнувшая ярким пламенем на жарких углях очага.

— Поехали,— сказал он.— Я отвезу тебя.— Он решил, пока она не запротестует, делать вид, что слово «домой» означает часовню.

Когда они вышли на улицу, он не удержался и спросил напрямик:

— Ну, что такое вдруг произошло?

Но она продолжала идти, как будто не слышала вопроса. А может быть, и вправду не слышала.

Дурные предчувствия Роджера росли, и он все больше падал духом. Всякий раз, взглянув на Дженни, он встречал все тот же мертвый, остановившийся взгляд.

Когда они уже подходили к часовне, она тихо опустила голову и заплакала — негромко, надсадно. Роджер обхватил ее за плечи и попытался притянуть к себе, но, все так же безмолвно плача, закрывая лицо руками, она медленно высвободилась из его объятий, подошла к двери часовни, остановилась и терпеливо, немо ждала, когда он отопрет замок.

Войдя в часовню, она опустилась в кресло. Она больше не плакала и смотрела прямо перед собой тяжелым, напряженным взглядом, не вытирая блестевших на щеках слез.

Неожиданно Роджер почувствовал голод. Это показалось ему чудовищным, каким-то извращением: в минуту такого горя — ее горя и его — пустой желудок решил напомнить о себе. И тем не менее это было так. Таинственная парадоксальность человеческой натуры распорядилась по-своему.

— Может, ты поешь чего-нибудь? — робко предложил он.

Она едва заметно, нетерпеливо качнула головой — вряд ли даже его слова дошли до ее сознания.

— Дженни, скажи мне, что случилось?

Она повернула голову и остановила на нем безжизненный затуманенный болью взгляд.

— Да, конечно. Ты имеешь на это право.— Она говорила медленно, с мучительным трудом. Наступило довольно продолжительное молчание, потом Роджер снова услышал ее голос — мертвый, резкий, монотонный: —Я ходила не только в туалет. Я звонила по телефону.

— О!

— Я говорила с мамой.

— Понимаю.

— Нет, ты не понимаешь,— сказала она вдруг почти свирепо.— У тебя нет детей, Роджер.

— Да, детей у меня нет. И это обстоятельство делает меня чем-то вроде Макбета, так, что ли?

— Ты просто не можешь знать, какая это мука.— Лицо ее сморщилось, затем снова окаменело.— Джеральд не терял времени даром.

— Что же он сделал?

— Он отправился туда вечером и сказал моей матери *в присутствии Мэри и Робина,* что я ушла из дома и он понятия не имеет куда. Мэри и Робин расплакались и никак не могли успокоиться, дошли просто до истерики. А Джеральд, по-видимому, не особенно старался их успокоить — ни их, ни моих родителей, кстати. Он добился того, что ему было нужно: поставил детей перед собой на коврике у камина и сказал, что их мать убежала из дома и, если она не вернется, он наймет экономку и няньку, которые будут за ними присматривать до тех пор, пока он не подыщет им другой матери. Дети подняли дикий рев, а он уехал, так и оставив их в этом состоянии.

— О, господи! — Роджер скрипнул зубами.— Неужели он не мог хотя бы побыть там, чтобы успокоить их?

— Мама говорит, что он был «подавлен»,— продолжала Дженни. Она произнесла это слово с гадливостью, старательно взяв его в кавычки.— Насколько я понимаю, он был в состоянии холодной ярости. А больше я ничего не знаю. Я годами уходила от него все дальше и дальше, так что теперь совсем перестала понимать его. Возможно, он вне себя просто потому, что нанесен ужасный удар по его самолюбию. Я ранила его чувство собственного достоинства и смешала ему все карты. Вероятно, у него сейчас такое ощущение, как если бы вдруг какой-нибудь стол или стул вышел из повиновения и бросил ему вызов. А может быть, я не права. Может быть, у него и вправду еще сохранилась любовь ко мне где-то глубоко-глубоко, может быть, он все еще любит меня, на свой лад.

— Такая любовь, если она даже есть, не больше как довесок себялюбия,— холодно сказал Роджер.

— Ах, откуда нам знать? Я вижу одно: дети еще не могут без него, они к нему привязаны. Им сейчас плохо, а я до боли тоскую по ним, тоскую дикой звериной тоской. Вынести это я не в состоянии. Я положила телефонную трубку и сразу почувствовала: больше мне ни секунды не будет покоя, я не смогу думать ни о чем, пока не утешу их, пока не налажу снова их жизнь.

— Твоя мать их утешит.

— Нет, она не сможет. Она совершенно выбита из колеи.

— Ну что ж, если ты чувствуешь, что тебе надо быть с ними, поезжай и забери их,— сказал Роджер, отчаянно стараясь предотвратить катастрофу.

— *Забрать их?* — Сколько презрения прозвучало в этих брошенных ему в лицо словах! — Куда — сюда?

— По-моему,— сказал он неуверенно, упавшим голосом,— временно они могли бы, пока мы...

— Нет,— сказала Дженни,— *они не могут.* Я была идиоткой, безответственной идиоткой! Как я могла свалить их на родителей, а сама явиться сюда!.. Для бездетной девчонки это в общем-то все равно. Она может спать с мужчиной, который ей нужен, на соломе в амбаре. Или в такой дыре, как эта, на чужой кушетке. Но привести сюда Мэри и Робина — да как это возможно? Я тебя не виню,— сказала она и поглядела на него с глубоким укором,— но ты не понимаешь, каково мне. Кто не имел детей, тот никогда этого не поймет.

— Джеральд имеет детей, однако он не очень-то понимает...

— А может быть, Джеральд сошел с ума от муки, вот как я сейчас схожу с ума? — сказала она.— Не приплетай сюда Джеральда, ты же совершенно не можешь понять, что он, должно быть, чувствует.

— Ты только одно и твердишь все время, что я чего-то не могу по-

нять. Откуда у тебя такая уверенность? Откуда ты знаешь, что я не схожу с ума от желания иметь свой семейный очаг, иметь детей, что я не страдал оттого, что у меня нет детей, не менее сильно, чем ты страдаешь от разлуки с детьми, которые у тебя есть... Откуда ты знаешь, что я понимаю и чего не понимаю? — Роджер уже кричал, он был вне себя от бешенства и тревоги.

— Не надо так сердиться. Я не хотела тебя обидеть. Я просто констатировала факт. Ты не понимаешь.

Роджер беспомощно молчал, стоя возле ее стула. Потом сказал:

— Хорошо, Дженни. Что я могу для тебя сделать?

— Не знаю,— сказала она.— Вероятно, никто из нас — ни ты, ни я — ничего не может сделать. Сегодня вечером, во всяком случае. А как только рассветет, я поеду в Нантвич, заберу детей и отвезу их обратно домой.

— Домой к Джеральду?

Она подняла на него мертвый, пустой, потухший взгляд.

— А куда же еще?

— Но ты же не можешь...— Он недоговорил. Она явно, явно могла.

— Дети растерянны, Роджер. Им плохо, а ни отца, ни матери с ними нет. Их прежде всего нужно отвезти туда, где я могла бы быть возле и успокоить их. Мне грустно покидать тебя, нам так хорошо было вместе, но это слишком мучительно — быть в такую минуту далеко от детей. Я просто не могу этого вынести, вот и все. А отвезти их куда-нибудь еще — на это у меня нет денег. Значит, надо возвращаться к себе домой, хотя этот дом мне и ненавистен.

Роджер отчаянно старался что-нибудь придумать.

— У меня есть маленькая квартирка в Лондоне. Уезжая сюда, я ее запер. Мне кажется, квартирка вполне пригодна для жилья. Отвези детей туда.

Дженни покачала головой.

— Беглая жена с двумя несчастными перепуганными детьми в лондонской квартире своего холостого приятеля? А на что мы будем жить?

— Ну, несколько фунтов я могу наскрести...

— Нет, Роджер, из этого ничего не получится.

С минуту он молчал.

— Значит, все рухнуло? — сказал он.— Когда счастье нам улыбнулось, когда начала осуществляться мечта...

— О, твоя мечта еще осуществится,— сказала она упавшим голосом.— Ты встретишь другую. Ты хочешь счастья, значит, ты его найдешь. Только в следующий раз выбирай бездетную.

— Но ведь я могу полюбить твоих детей, Дженни. Я уже полюбил их.

Она прилегла на кушетку фрейлейн и закрыла лицо руками.

— Роджер, уходи. Возьми машину, поезжай в Карвенай, выпей, тебе станет легче.

— Если я уеду,— сказал он,— обещай, что я найду тебя здесь, когда вернусь.

— Ты же берешь машину,— бесцветным голосом произнесла она.

Роджер вышел и окунулся в холодный вечерний полумрак. Уже сильно таяло, и по обочинам дороги среди жидкого месива текли ручейки грязной воды.

Дорогу развезло, и стоило порезче дать газ, маленький автомобильчик тотчас начинало заносить, но все же Роджеру удалось вырваться на береговое шоссе, а там пошло легче.

Он бесцельно ехал по улице, не имея ни малейшего представле-

ния о том, куда он держит путь, как вдруг впереди выросло здание отеля «Палас» — арена его первого поражения в этом сезоне поражений, дворец унылой похоти, где царствует Райаннон и воздух заражен дыханием Дика Шарпа. А почему бы и нет? Там он сможет хотя бы посмеяться над самим собой, держа стакан в безвольной руке и окидывая взглядом зал, где он впервые увидел Дженни, где он подцепил Беверли.

Роджер развернул малолитражку на автомобильной стоянке перед отелем «Палас» и, слегка забуксовав на талом снегу, затормозил. Чему-то улыбаясь омертвевшими губами, он хотел было вылезти из машины, но вдруг застыл на своем сиденье, неподвижно глядя в проем автомобильной дверцы.

Всего в нескольких ярдах от него стоял длинный, черный, дорогой автомобиль. Его вызывающе-обтекаемые линии громко вопили о том, что это «роллс-ройс» или, быть может, «бэнтли». В ту самую минуту, когда Роджер подъехал на своей малолитражке, шофер в форме сбежал по ступенькам отеля и распахнул заднюю дверцу машины. Следом за шофером закутанный в толстую шубу, тяжело переваливаясь, шел человек в очках и черной фетровой шляпе. Мэдог в дождевом плаще и без шляпы следовал за человеком в шубе, склонив голову в учтивом поклоне.

Они подошли к автомобилю с другой стороны, и за огромным туловищем «роллс-ройса» затихли их голоса. Но несколько слов все же долетело до Роджера. «Желаю вам всяческого успеха в этом начинании»,— произнес человек в шляпе, а Мэдог сказал: «Двадцать лет я буду пожинать его плоды, вот увидите».

Они обменялись еще несколькими фразами, учтиво распрощались, шофер захлопнул дверцу и, обойдя автомобиль, сел за баранку. Мэдог, не замечая Роджера, стоял и глядел вслед длинной черной машине так, словно ему было видение; затем, сцепив пухлые пальцы, он потряс руками над головой и начал раскланиваться налево и направо, как бы отвечая на громовые аплодисменты невидимых зрителей. Заметив наконец, что на него устремлен чей-то взгляд, он подошел к малолитражке и оперся локтем о крышу.

— Привет, Гайавата,— сказал он.

— У вас что, день рождения? — небрежно спросил Роджер.

— В некотором смысле да,— сказал Мэдог. Он обошел малолитражку, отворил дверцу и сел рядом с Роджером.— Поехали к Марио. Я ставлю выпивку. Грандиозную. Такую, что вам и не снилось.

— Идет,— сказал Роджер. Загадочное ликование Мэдога внезапно высекло в его душе ответную искру. Он отвел машину от стоянки, и по заснеженным улицам они поехали к Марио.

В пивной Мэдог без задержки направился прямо к стойке и сказал Марио по-валлийски:

«Ну-ка, наливай, приятель».

«Он приезжал?» — спросил Марио, весь загоревшись от любопытства.

«Приезжал»,— ответил Мэдог.

«И обо всем договорились?»

«И обо всем договорились,— неожиданно звонко сказал Мэдог, отчеканивая каждый слог.— А теперь тащи сюда бутылку».

«У меня все готово,— восторженно сказал Марио,— и остужено в самый раз».

Он торопливо сбежал по ступенькам в погреб и почти тут же вернулся обратно с бутылкой шампанского.

«Сколько бокалов?» — спросил он.

«Один для тебя,— торжественно произнес Мэдог,— потому что

ты — живое воплощение наших чаяний. Средиземноморский genius loci[1], явившийся, чтобы возглавить нашу борьбу за валлийское становление».

«Полпинты крепкого и полпинты слабого!» — возмущенно закричал мужчина в бумажной кепке и застучал кружкой по стойке.

«Обождите,— величественно произнес Мэдог.— Бокал для меня, потому что я — бард и продолжаю искусство бардов, и бокал для Роджера Фэрнивалла, потому что он — ученый и желает добра любой цивилизации».

«Благодарствуйте»,— сказал Роджер.

Марио быстро разлил шампанское по бокалам и поднес свой бокал к губам.

«За Мэдога! — закричал он, вызывающе поглядывая по сторонам.— За короля Мэдога!»

«Ну, это уж чересчур,— улыбнулся Мэдог. Он взял бокал, а другой протянул Роджеру.— Однако спасибо на добром слове».

Роджер отхлебнул шампанского. Оно было сухое, чуть остуженное, превосходного качества.

«По-видимому, только я один не имею ни малейшего представления о том, что здесь происходит»,— сказал он.

«Совсем напротив,— сказал Мэдог.— Никому, кроме нас с Марио, это не известно».

«Такое вино пьют только в самых торжественных случаях»,— сказал Марио.

Роджер и Мэдог, снова наполнив бокалы, отошли в укромный уголок, чтобы не торопясь, без помех допить там шампанское. Мэдог, опустившись на стул, выжидающе поглядел на Роджера, явно готовый отвечать на вопросы. Роджеру совсем не хотелось его разочаровывать, но слова как-то не шли с языка. Приподнятое настроение передалось ему от Мэдога ненадолго. Он не должен был оставлять Дженни одну там, высоко, на темном склоне холма, покидать ее в горе. Он трус. И если овладевшее ею отчаяние безысходно, если она не сможет его побороть, если их совместная жизнь лишь пригрезилась им в ослепительном сне трех блаженных дней и трех ночей — что же, тогда и подавно в эти последние несколько часов перед разлукой он должен был бы оставаться возле нее, поддерживать и утешать.

Вот какие мысли проносились у Роджера в голове, когда он, поставив бокал, потерянно поглядел на Мэдога.

— Не обижайтесь,— пробормотал он. Такой мрак царил в его душе, что он даже не мог говорить по-валлийски. Он пытался сказать что-то в свое оправдание, объяснить, почему он не в состоянии разделить радость Мэдога, но снова, не найдя других слов, повторил:— Не обижайтесь...

— Боже милостивый,— сказал Мэдог.— Простите, Роджер, я только сейчас заметил... Простите, я был слишком поглощен собой... Вы совсем больны, что с вами?

— Нет,— сказал Роджер,— нет, я не болен. Это не телесный недуг, Мэдог. Занедужила моя удача.

— Может быть, вы расскажете мне, что у вас стряслось? — спросил Мэдог.— Если понадобится, я весь к вашим услугам.

— Жаль портить ваше торжество, хоть я и не знаю, по какому оно поводу.

— Ну, это сейчас не имеет значения,— сказал Мэдог.— Мои дела действительно в настоящее время идут очень успешно, но об этом мы можем поговорить потом. Мне больно видеть вас таким убитым.

[1] Добрый дух этих мест *(лат.)*.

— Я люблю Дженни Грейфилд,— сказал Роджер. Мэдог, знавший Дженни лишь по фамилии мужа, с недоумением поглядел на Роджера.— Жену этого ничтожества, Джеральда Туайфорда,— пояснил Роджер.

— А он ничтожество?

— Мне так кажется.

— Окружение у него действительно премерзкое,— сказал Мэдог.— Но жена его всегда казалась мне очень умной и славной.

— Так оно и есть. И я люблю ее и до сегодняшнего вечера думал, что и она любит меня. Может быть, и любит. Она решила уйти от мужа — они совсем чужие друг другу. Она даже ушла из дома и отвезла ребятишек к своей матери, чтобы на свободе все обдумать, и перебралась ко мне. А потом вдруг испугалась. Панически испугалась, и этот страх парализовал ее. Теперь она думает только об одном — о детях, о том, что их надо возвратить к отцу, в нормальную семейную обстановку, и как можно скорее, а самой навсегда похоронить все эти бредовые фантазии о счастье.

— Почему у нее такие мысли? — спросил Мэдог, внимательно разглядывая ножку своего бокала.

— Я не знаю. Может быть, дело во мне. Я не сумел вдохнуть в нее решимость пройти через весь этот ужас — развод и необходимость терпеливо, изо дня в день объяснять детям, что у них теперь другой папа. У этого откормленного борова все козыри на руках, и он сумеет пустить их в ход. Не потому, что ему так уж нужно вернуть ее, а потому, что он не любит проигрывать.

— Значит, она вернется к нему?

— Она вернется к нему, если я не сумею вывести ее из этого состояния. А у меня нет никакой надежды на это. Вы понимаете, ведь все преимущества на его стороне. У Туайфорда удобный обжитой дом, готовый принять в свои объятия заблудшую жену и несчастных, заброшенных ребятишек. У меня же нет ничего, кроме продуваемой сквозняком часовенки в горах, кое-как приспособленной под жилье. Куда как увлекательно! Будь Дженни семнадцатилетней девчонкой, взбунтовавшейся против респектабельного дома, жаждущей свободы и la vie de Bohème [1], вероятно, все преимущества были бы на моей стороне. Но у нее дети, Мэдог. Она свила себе гнездо и начала растить в нем своих птенцов. И я не могу увести ее из этого гнезда, не предложив ей другого взамен. Моя часовенка недостаточно для этого хороша, и пройдут недели и месяцы, прежде чем я смогу найти для Дженни что-то другое, даже если завтра же брошу все, чем я тут занимаюсь, предам Гэрета и каждую секунду своего времени посвящу этой задаче... Да что с вами такое, черт побери?

Мэдог начал раскачиваться на стуле, лицо его сияло.

— Объясните же, в чем дело? — резко сказал Роджер.

Мэдог встал, подошел к стойке, схватил бутылку шампанского. Он плеснул немного в бокал Марио, вернулся к столику и наполнил бокал Роджера и свой.

— Пейте! — сказал он.— Всем вашим бедам теперь конец.

— Что это вам вздумалось...

— *Пейте!* — прикрикнул на него Мэдог.

Какие-то нотки в голосе Мэдога заставили Роджера повиноваться. Слабая искорка надежды затеплилась в его сердце, и он осушил бокал. Они поставили пустые бокалы на столик и поглядели друг на друга.

— Ну, так что? — спросил Роджер.

---

[1] Богемной жизни *(франц.)*.

— А очень просто,— сказал Мэдог,— у меня есть возможность разрешить все ваши затруднения. Этой весной у нас здесь состоится съезд кельтских поэтов, которые выступят с чтением своих стихов перед завороженной аудиторией. Я организатор этого дела, я буду их принимать. Это будет нечто грандиозное, небывалое по размаху. Съедутся валлийские, бретонские, корнуэльские и ирландские поэты. Да, да, и даже несколько шотландцев, говорящих на гэльском языке, если мы сумеем раздобыть таких.

— Очень интересно,— сказал Роджер.— Но мои мысли почему-то все обращаются к Дженни.

— И мои тоже. Этот съезд будет крупным событием. Начнется он в пятницу днем и закончится только в субботу вечером. Съедутся поэты, критики, ученые и, конечно, целая свита кино- и телерепортеров и журналистов, падких на всякую сенсацию. Так вот. Теперь я перехожу к Дженни. Я знаю ее достаточно хорошо, знаю, что она образованная, способная и энергичная молодая женщина. Я не думаю, чтобы она знала хоть один из кельтских языков, но смысл мероприятия будет ей понятен. Мне не придется каждые пять минут растолковывать ей по слогам, что мы делаем и для чего, если она возьмется мне помогать.

— Помогать вам?

— Если она примет на себя обязанности секретаря съезда,— сказал Мэдог.— И называться эта должность будет...— На секунду он задумался: — Координатор.

— А может быть, все-таки вы объясните мне, каким образом, если она будет называться «координатором», это разрешит ее проблемы?

— Охотно,— сказал Мэдог.— Прежде всего она будет получать солидное жалованье.

— Вот как? Теперь вы уже дело говорите.

— Разумеется, я дело говорю. Для начала мы получаем грандиозную субсидию от ЮНЕСКО и, кроме того, весьма основательную сумму от валлийского Совета искусства и от такой же организации в Дублине. Французы пока еще ничего не внесли, но делегация бретонских поэтов направляется сюда за государственный счет. Вы видите, во всем мире начинает пробуждаться интерес к культурам малых народов, все начинают понимать их значение. Отчасти тут играет роль и чувство вины...

— Да, да, понимаю. Но что же Дженни?

— Как только Дженни согласится принять на себя обязанности координатора съезда кельтских поэтов,— сказал Мэдог,— она тотчас же может переехать в отель «Палас» в приготовленные для нее апартаменты. Там хватит места и для нее, и для ее детей, а если они уже ходят в школу, она может отвозить их туда каждое утро, чтобы жизнь их текла в привычном русле. Только жить они будут не дома, а вместе со своей матерью в отеле. Конечно, не спорю, это тоже внесет перемену в их жизнь, но не столь уж катастрофическую.

— А как долго будет все это продолжаться?

— Съезд откроется в день святого Давида[1], первого марта. Второго марта миссия Дженни будет окончена, и она получит свое последнее жалованье.

— Второго марта, вы говорите? — сказал Роджер. Все как будто вполне совпадало с его личными планами.— А ведь это может получиться. Да, это может получиться,— сказал он, стараясь подавить захлестывавшую его радость, желание обнять Мэдога, хлопнуть его по спине, пуститься в пляс по всему залу, перепрыгивая через столики.

[1] Святой Давид считается покровителем Уэльса.

— Конечно, получится,— сказал Мэдог.— Почему бы вам не поехать к ней прямо сейчас с этим предложением?

— А я так и сделаю,— сказал Роджер, вскакивая со стула.— И считайте, что с этой минуты она у вас в штате. Теперь я уже вижу, что все образуется. Вы нашли выход. И знаете, Мэдог... я вам очень благодарен.

— Поэзия спасает людям жизнь,— сказал Мэдог.— Она сильна своим высоким гуманизмом.

Поднимаясь на машине в гору, Роджер все время жал на газ. Его слегка заносило на поворотах; он напевал валлийскую песенку, вглядываясь во мрак...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Дженни так и лежала на кушетке одетая; казалось, она за все это время даже не шевельнулась. Роджер разбудил ее и, с трудом сдерживая радостное волнение, рассказал о предложении Мэдога. Но вывести ее из состояния тупого отчаяния было невозможно — она слушала Роджера так, словно все, что он говорил, не имело к ней никакого отношения. По счастью, Роджер достаточно хорошо знал женщин, чтобы не пытаться сразу идти напролом: пусть его доводы постепенно дойдут до ее сознания. Он усадил ее возле печки, заставил немножко поесть, потом раздел и уложил в постель. Он ждал, что ее тут же сморит сон, но она сразу молча, жадно приникла к нему, и эта безудержная вспышка чувственности озадачила его. То ли она прощалась с ним и хотела в последний раз испытать свою власть, то ли в ней наконец тоже пробудилась надежда, и она требовала подтверждения их неотъемлемости друг от друга.

Потом они долго не спали и разговаривали.

— Но это же глупая затея! Какое я имею ко всему этому отношение?

— Это дает возможность все понемногу наладить. Ты переберешься отсюда и возьмешь с собой ребятишек.

— В отель?

— Детям нравится жить в отелях, когда это не навсегда.

— Не знаю, право. Вероятно, надо попробовать.

Как только Дженни с Мэри и Робином водворились в отеле «Палас», весь ритм жизни Роджера круто изменился. Напряжение ослабло. Теперь уже все его душевные силы не были направлены на холодную упорную борьбу с Диком Шарпом, и часовенка в горах перестала быть его единственным одиноким приютом. Он по-прежнему ездил с Гэретом на его автобусе — не пропустил почти ни одного рейса, но между ними уже возникла безмолвная договоренность о том, что их сотрудничество подходит к концу. Когда Дик Шарп окончательно сложит оружие, Роджер будет знать, что он может считать себя свободным. А так как Дженни предстояло проработать с Мэдогом до первого марта, проще всего было до того времени оставить все как есть.

Но многое, конечно, изменилось. Роджер теперь уже куда меньше бывал в своей часовне. Он наведывался туда между рейсами, чтобы поддерживать огонь в печурке, а потом приходил ночевать. Один раз очень осторожно он пробовал уговорить Дженни разрешить ему переехать в отель и открыто поселиться вместе с ней, но она реши-

тельно наложила на это запрет. Это взволнует детей и будет противоречить истории, которую она для них выдумала. Уложив детей спать, она нередко просила доброжелательную горничную приглядеть за ними, а сама уезжала на два-три часа в горы к Роджеру в его одинокую обитель. Кроме того, они урывками встречались несколько раз на дню, и этим он должен был довольствоваться. Они всегда обедали вместе в отеле, и после семичасового рейса он снова забегал в отель, чтобы поужинать с ней. К этому времени дети обычно были уже в постели, и в эти часы — от четверти восьмого до десяти — они могли без помех побыть вдвоем. А потом, если Мэри и Робин крепко спали и Дженни не чувствовала себя слишком усталой после целого дня работы с Мэдогом, она садилась в свою малолитражку, ехала следом за желтым автобусом до Лланкрвиса и оставалась у Роджера до полуночи. Суматошная жизнь, но она давала им радость. Они знали, что это всего лишь прелюдия к другой, более прочной совместной жизни, и был в ней налет неожиданного, драгоценный для них обоих после долгих лет уныло-однообразного существования.

Дни бежали, радостные, похожие на сон. Порой Роджер просыпался среди ночи с чувством тревоги: отпечаток нереальности лежал на всем... Но по большей части он жил, не задумываясь, не заглядывая вперед, довольный тем, что принес ему сегодняшний день.

Мэдог заставлял Дженни работать не покладая рук, но и сам работал как бешеный. Писалось несчетное число писем, снимались номера в гостинице, принимались представители всевозможных организаций, устраивались обеды и ужины, журналистам давались интервью. День съезда кельтских поэтов приближался, и это мероприятие приобретало все более внушительный размах и все более четкие контуры. Был уже снят зал муниципалитета, в местных газетах появились статьи — одни приветствовали начинание, другие выступали против, —и Мэдог теперь так мало уделял времени своей работе в конторе, словно нарочно добивался, чтобы его уволили. Он то и дело появлялся в отеле «Палас» и тут же исчезал; из всех карманов у него торчали телеграммы и письма. Все это мало-помалу начало производить впечатление на служащих отеля, весьма скептически настроенных поначалу. Тон задал управляющий отелем, воочию увидевший цвет денег ЮНЕСКО у Мэдога в руках и изо дня в день не без удовлетворения наблюдавший, какое количество первоклассных и дорогостоящих обедов и ужинов исчезает в глотках всевозможных literati[1], чиновников и посредников.

Даже Райаннон, хотя глаза ее и поблескивали насмешливо всякий раз, когда она смотрела на Роджера,— даже она не осталась безучастной к охватившему всех волнению. Роджер был благодарен ей за это и за то, что она, в отличие от английских девушек, не рассматривала съезд поэтов как нечто среднее между клубком змей и детским садом.

Так шли недели. Дружба Роджера с Гэретом была нерушима. Он даже провел несколько воскресных дней у Гэрета вместе с Дженни и детьми.

И вот настал день, когда Роджер предупредил Гэрета: ему придется уехать на три дня.

— Дела? — спросил Гэрет, вытирая ветровое стекло замшей.

— Да. Я решил взять быка за рога, поехать в Лондон и поглядеть, стоит ли еще на месте моя квартира. Вы понимаете, мне ведь нужно будет где-то...

«Разместить Дженни и ребятишек»,— хотел он сказать, но умолк

[1] Литераторов *(валл.)*.

на полуслове. Касаться этой стороны своей жизни в разговорах с Гэретом он почему-то не мог. Его дружба с Гэретом была крепкой и подлинной, но она существовала как бы внутри некоего магического круга, за пределами которого теряла свою реальность. Поэтому Роджер недоговорил, а Гэрет ограничился кивком.

Вечером Роджер все обсудил с Дженни. Его лондонская квартира не могла стать их постоянным домом, но, что ни говори, а там имелись две просторные спальни, и она вполне могла послужить им пристанищем, пока Роджер найдет что-нибудь более подходящее. Работу он тоже подыщет себе получше. Они могут уехать: он устроится на два-три года где-нибудь за границей. Лондон совсем не казался им подходящим местом для подрастающих детей.

— Но рано или поздно мы все-таки вернемся сюда.

— Да, Дженни, и это будет не поздно. Обещаю тебе.

— Даже если Джеральд все еще будет здесь? — спросила она.

— Его здесь не будет. Его влекут к себе деньги и власть. Северный Уэльс его не удержит.

— Это верно. А мы, когда захотим осесть, вернемся сюда, верно?

— И это будет прекрасно.— Он поцеловал ее.

На следующий день поезд доставил Роджера в Лондон, а такси — до его квартиры. Комнаты предстали перед ним холодными, необжитыми, бездушными, но он понял, что устроиться тут можно. Впервые осматривая все глазами семейного человека, он увидел недостатки этого жилья, но также и заложенные в нем возможности. Разместиться в этой квартире можно будет без особого труда.

После гор Лондон поразил его какой-то своей невсамделишностью. Некрасивые улицы, бесцветные толпы людей, спешащих куда-то, словно спугнутые призраки, безвкусная еда, всепоглощающий, торжествующий эрзац и подделка. Город был похож на одноцветное изображение, промелькнувшее на экране. И не раз, вдруг замерев среди торопливого потока улицы, Роджер вспоминал горы, сверкающую гладь моря, дым, вьющийся над трубой дома Гэрета под отвесной стеной отвала. Там звучала людская речь, здесь — бормотанье сумасшедших.

И тем не менее ему предстояло войти в сделку с этим городом-призраком и отслужить ему свой положенный срок, прежде чем освободиться от его пут. Он поехал в университет и подтвердил, что возвратится к началу весеннего семестра и приступит к исполнению своих обязанностей; про себя же решил, что начнет тотчас подыскивать себе другую работу. В Упсале? А почему бы и нет? Хотя блондинки теперь для него излишняя роскошь, подумал он, и его обдало теплом спокойной уверенности в себе.

На третий день Роджер решил, что все его дела завершены, и поехал на вокзал, чтобы вернуться в Уэльс. Уютно устроившись на сиденье, он открыл книгу. Диванчик был мягкий, ногам просторно, и Роджер предвкушал несколько блаженных часов, когда он сможет предаться законному безделью и дать отдых своим костям. Но не успел он раскрыть книгу, как почувствовал на себе чей-то взгляд. Он оторвался от книги. Поезд только что отошел от платформы, и по коридору, как всегда, двигалась вереница запоздавших пассажиров, которые заглядывали в каждое купе в поисках свободного места. Но один из пассажиров застрял в дверях не только потому, что искал место: на пороге купе стоял и в упор смотрел на Роджера Дональд Фишер.

Беззвучно застонав, Роджер снова опустил глаза и упрямо продолжал читать. В сущности, это Фишер должен был бы избегать встречи с ним. Он принадлежал к враждебному лагерю — он был из

клики Туайфорда, а следовательно, и Дика Шарпа. У него не могло быть никаких точек соприкосновения с Роджером. И в то же время Роджер был не настолько наивен, чтобы не понимать: Дональд Фишер нипочем не упустит возможности завязать разговор в надежде выудить хоть какую-нибудь, хоть самую пустяковую информацию, которая может ему пригодиться. Этот человек жил контактами. Не обремененный каким-либо талантом, он компенсировал его отсутствие тем, что «знал всех». Он обладал даром появляться в нужное время в нужном месте, даже если его там не ждали и не желали видеть.

Роджер сосредоточенно-яростно продолжал читать, и, постояв немного, Дональд Фишер ушел. По счастью, в купе не оказалось ни одного свободного места. Роджер был спасен и находился в безопасности, однако жажда заставила его часа через два покинуть свое убежище и направиться в вагон-ресторан. Посетителей в ресторане было немного; Роджер взял кружку пива и уселся за свободный столик. Украдкой поглядев по сторонам, он нигде не обнаружил Фишера, однако минуты через две тот уже оказался возле стойки, откуда, с кружкой в руке, направился прямо к Роджеру, улыбаясь с фальшивым bonhomie[1], и мгновенно начал источать наигранную слащавую приветливость.

— Значит, обратно — в край первобытных сырых лесов,— сказал он, с отвращением поглядывая на бегущий за окнами сельский пейзаж.— Мне, слава тебе господи, удалось на три дня вырваться в город, так что на некоторое время мой рассудок спасен. Вчера вечером особенно хорошо повеселились. Американский атташе давал прием в честь Дитгофа Бэквокса (или что-то в этом роде). Вы, конечно, слышали про «Пейлфейс ревью»? Так вот, Бэквокс не только возглавляет этот журнал, но, кроме того, занимает крупный пост в издательстве Брэндингайронского университета. Вы, вероятно, знаете, что «Пейлфейс» — одно из субсидируемых Брэндингайронским университетом изданий?

— Нет, представьте, не знаю.

— Да ну! Словом, это так. Поразительно, какими они располагают средствами! Говорят, что Бэквокс получает баснословное жалованье! А ведь он у них там лет пять-шесть, не больше, можете себе представить. До этого он работал в Мюнхене, ведал литературным отделом в журнале «Кунст».

Алчные искорки вспыхивали в глазах Дональда Фишера. Его блестящий голый череп — низменное подобие величественного черепа Гито — нервически вертелся из стороны в сторону.

— Там были все,— сказал он.— В общем-то ни для кого не секрет, что Бэквоксу нужен был парад-алле. Мне кажется, он подыскивает себе людей.

Роджер начинал понимать. Фишер снова лизал кому-то зад. Ему хотелось добиться того, чего добился этот Бэквокс — пробраться туда, где деньги и синекура, и укрепить свое положение среди «лучших людей», подразумевая под этим не обедневшую аристократию, а богатых предпринимателей.

— Такая работа устраивает меня во всех отношениях,— продолжал Фишер.— Выпускать книги куда интереснее, чем преподавать, а если к тому же издательство академическое и вы гарантированы от убытка, так это же просто самое беспечальное житье.

— Значит, вы отправились на этот прием и попросились к нему на работу? — сказал Роджер.

Дональд Фишер усмехнулся.

---

[1] Добродушием *(франц.)*.

— Ну, не так уж прямо в лоб. Я не спешу. Там было два-три человека, не буду называть имен, которые, как мне кажется, слишком наседали на Бэквокса, и это вызвало отрицательную реакцию. Но я все же дал ему почувствовать мою заинтересованность.

«Зачем это мерзкое насекомое рассказывает мне про свои дела?» — с удивлением думал Роджер.

Наступила пауза. А затем Фишер сказал:

— Мне кажется, вы довольно хорошо знаете этого малого — Мэдога.

— Да, я его знаю.

Фишер с заговорщическим видом наклонился вперед и зашептал так тихо, что его слова были едва различимы в шуме поезда:

— Эта его затея — действительно стоящее дело?

— Вы имеете в виду съезд кельтских поэтов?

— Да,— сказал Фишер. Он язвительно улыбнулся.— Сдается мне, что просто кучка ловких националистов пытается нагреть себе руки.

— Мне это представляется в несколько ином свете.

— В каком же свете представляется это вам? — не унимался Фишер.

— Ну...— Роджер зевнул.— У меня сегодня было много хлопот, и я устал. Если вас это интересует, почему не спросить Мэдога? Он вам все растолкует.

— Спросить Мэдога? Хм, хм,— произнес Дональд Фишер.— В том-то и заковыка. Понимаете, мы с Мэдогом немного не сошлись характерами.

— Вы, верно, держались слишком покровительственно по отношению к нему?

— Просто я не очень верю в то, что он проповедует. Вы, вероятно, это имели в виду?

— Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, что для вас он смешной, ничтожный валлиец в старомодном синем костюмчике, кропающий стишки на языке, которого не знает ни один человек в редакции «Нью стейтсмен», и поэтому Джеральд Туайфорд и иже с ним не считают его за человека. И вам этого вполне достаточно.

— Смотрите-ка, а вы, я вижу, очень яростный его сторонник,— сказал Дональд Фишер.

— А, бросьте,— сказал Роджер.— Начать с того, что вам совсем не улыбалось приезжать в Уэльс. Вы приехали только потому, что это единственное место, где вы могли раздобыть работу, и с первого же дня вас нисколько не интересовало, как и чем там люди дышат. Мне-то что, но будьте же, бога ради, последовательны. Если до сих пор вы совершенно не интересовались местными делами, так и продолжайте не интересоваться ими.

— Да, но дело-то в том,— сказал Дональд Фишер, и его глазки забегали по сторонам, временами на мгновение останавливаясь на Роджере,—...дело в том, что я сказал Бэквоксу...

— Понятно! — перебил его Роджер. Он едва не расхохотался.— Вы представились Бэквоксу как знаток современной кельтской культуры, и теперь он хочет получить от вас статью или еще что-нибудь в этом роде, и вы пропали, если мозг Мэдога не придет вам на помощь.

— Нет, это не совсем так,— сказал Дональд Фишер.— Но действительно беседа с Мэдогом могла бы меня устроить. Мне ведь нужно установить только одно: насколько реальна эта его затея.

— А зачем вам это знать? Вы бы лучше не темнили.

— А мне нечего темнить,— с большим, как ему казалось, достоинством произнес Дональд Фишер.— Бэквокс публикует в «Пейлфейс ревью» серию статей своих корреспондентов с мест. Сообщения о

том, что происходит в области литературы и искусства во всех частях страны. Вполне естественно, что я хотел бы написать о городе, который знаю как свои пять пальцев...

«Как пять задниц, которые ты тут лижешь»,— подумал Роджер. И сказал:

— А когда этот ваш Бэквокс услышал, что вы живете в Северном Уэльсе, он предложил вам дать о нем заметку, и вы тотчас сообразили, что это щель, через которую можно пролезть дальше, и дали согласие, а теперь вам вынь да положь нужно поговорить с Мэдогом.

— Я уже сказал вам, что беседа с ним могла бы быть мне полезна. В конце концов, если я напишу про него в «Пейлфейс», небольшая реклама, вероятно, ему не повредит.

— Не знаю. Если Мэдогу понадобится реклама, ему могут помочь в этом люди куда более сведущие, чем вы. И еще одно: сейчас он действительно может протежировать, но зачем он будет делать это для тех, кто годами издевался над ним?

— Ну, кто старое помянет, тому глаз вон.

— Согласен. В том смысле, что он, конечно, воздержится и при встрече не заедет вам в челюсть. Но я не вижу причин, почему бы он вдруг начал осыпать вас благодеяниями.

Фишер нахмурился.

— Ну что ж, если он хочет воевать, будем воевать. Я могу здорово ему навредить.

— Нет, не можете. Вы способны, конечно, написать несколько лживых заметок в одну из лондонских газет и попытаться высмеять его и кельтских поэтов. Но сейчас никто уже не попадется на эту удочку. Скорее наоборот. Все сейчас исполнены слишком большой веры в это начинание. Годами поэты, подобные Мэдогу, пребывали в безвестности, и теперь их стремятся вознаградить за это. Издательство Брэндингайронского университета, вероятно, уже ассигновало не один миллион долларов на издание полного собрания сочинений всех кельтских поэтов с факсимиле из черновиков и записных книжек начиная с того времени, когда эти поэты впервые взялись за перо. Приготовьтесь к тому, что мэдогская корзинка для бумаг будет стоить дороже, чем все хитроумные статейки, которые вам еще удастся нацарапать до конца вашей жизни.

— Очень занятно,— сказал Дональд Фишер.— Это, конечно, весьма субъективная оценка ситуации. Но мне было интересно познакомиться с вашей точкой зрения. Она, безусловно, проливает свет на ваши действия.

— Как это понять?

— Да очень просто,— с расстановкой произнес Дональд Фишер.— Это дает объяснение вашим поступкам за последнее время. Если вы решили, что вся эта кельтская шумиха имеет большое будущее, понятно, почему вы приехали сюда изучать валлийский язык. И понятно также, каким образом вам удалось уговорить жену Джеральда Туайфорда перебежать к вам.

Роджер встал. Ему совсем не хотелось ввязываться в драку, но в то же время он отлично понимал, что если продолжать сидеть здесь и слушать, как Фишер рисует картину мира и жизни в своем понимании, да еще втискивает в нее Дженни, удержаться и не съездить ему по физиономии будет выше его сил.

— Признайтесь, что я прав,— сказал Фишер, осклабясь.— Вы не думайте, я вас не осуждаю. Каждый имеет право плыть в собственной лодке.

— Но в вашу лодку я бы теперь не сел,— сказал Роджер, выходя из-за стола.— Она дала течь.

Когда он проходил мимо Фишера, тот поймал его за рукав:

— Вы что-то очень довольны собой. Знай вы то, что знаю я, ваша спесь поубавилась бы.

— Не думаю. Отпустите мой рукав или я...

— Когда Джеральд Туайфорд разделается с вами, ваша лодка пойдет прямехонько ко дну.

Роджер перестал выдергивать свой рукав. Он придвинулся к Фишеру, близко наклонился к его лицу.

— Если вы угрожаете мне от его имени, то не трудитесь понапрасну,— сказал он.— От него можно ждать любой гадости, и я к этому готов.

— Это вы так думаете.— Фишер ухмыльнулся.— Подождите, вы еще не знаете, что он для вас приготовил. Он ведь может нанять очень хороших адвокатов, да будет вам известно.

— Послушайте, Фишер,— сказал Роджер.— Было время, когда меня можно было напугать, натравив свору ловких адвокатов. Но теперь я уже не так пуглив. Я стал много сильнее за последние месяцы.

— Вот как,— насмешливо протянул Фишер.— Принимали участие в соревновании штангистов?

— Да, что-то в этом роде,— сказал Роджер. Он рывком высвободил рукав и вернулся к себе в купе.

Дженни купала ребятишек в ванне, а он рассказывал ей об этой встрече.

— Я уже давно это предчувствовала,— сказала она.— Значит, он хочет натравить на меня адвокатов.

— Мамочка, мне мыло попало в глаза,— сказал Робин.

— Не трогай, я сейчас промою.

— Я вылезу, я уже чистая, мамочка,— сказала Мэри.

— Обожди минутку. Посиди пока, намылься еще разок.

Дженни прошла из ванной комнаты к себе в спальню и поманила Роджера за собой.

— Я не хочу разговаривать в их присутствии. Робин считает, что отец уехал путешествовать и мы живем здесь потому, что я помогаю Мэдогу. Но этот чертенок Мэри абсолютно уверена, что между нами что-то есть. Она все время пристает ко мне, спрашивает, люблю ли я тебя. А сегодня задала вопрос, которого я уже давно ждала и страшилась.

— Попробую угадать,— сказал Роджер.— Она спросила, любишь ли ты меня больше, чем папочку.

— Слово в слово,— сказала Дженни.— А вчера у меня чуть не остановилось сердце. Я везла их домой на машине из школы. Мы выехали чуточку раньше и только тронулись, не проехали и пятидесяти ярдов, как гляжу — Джеральд шагает по тротуару.

— По направлению к школе?

— Ну да. Не думаю, чтобы это было случайным совпадением. Мне кажется, он хотел появиться как бы невзначай и встретить меня с детьми у ворот школы, когда я буду связана их присутствием по рукам и ногам. Если бы ему удалось довести их до истерики при всех, кто там был, он получил бы отличное оружие против меня. Я бросила мужа. Если дети страдают, то исключительно по моей вине.

Роджер не успел ничего сказать — появилась Мэри. Она завернулась в полотенце, из которого торчала только ее головенка и босые ноги.

— Я знаю, о чем вы тут говорите, мама,— спокойно сказала она.

— Вот как! — сказала Дженни.

— Да,— сказала Мэри.— Ты хочешь, чтобы Роджер был нашим новым папочкой. Но папа очень умный и всегда зарабатывал много денег, и мы жили в очень красивом доме.— Она повернулась к Роджеру: — А вы ведь не можете заработать очень много денег, не можете?

— Могу,— сказал Роджер.

— Но вы же работаете на автобусе. Умный человек не станет там работать. Мой папочка не стал бы работать на автобусе.

— О да, он не стал бы.

— А вы работаете, и у вас нет красивого дома. Я же видела, где вы живете. Мне очень там понравилось, но для семейной жизни это не годится.

— Да, я действительно работал последнее время на автобусе,— сказал Роджер.— Но я не только это умею делать.— Он посадил Мэри к себе на колени, она не сопротивлялась.— Я могу заработать много денег, и у меня будет красивый дом. Ты захочешь тогда жить со мной?

— Да,— сказала Мэри.— Если у вас все это будет.

— Будет. Подожди, увидишь.

— А как же папа? — спросила Дженни.

— Я об этом тоже думала,— сказала Мэри.— Он может навещать нас по воскресеньям. Я все равно больше люблю его по воскресеньям. Он тогда надевает свою красивую меховую шапку, и мы ходим гулять.

Она спокойно, не спеша соскользнула с колен Роджера.

— Надо пойти поглядеть, как там Робин,— сказала она.

Роджер поглядел на Дженни и увидел, что она плачет.

— Не плачь, любимая,— сказал он, подходя к ней.— Все будет хорошо, я вижу добрые предзнаменования.

— Да,— сказала она, пряча лицо у него на груди,— я потому и плачу. Кажется, мы сумеем все наладить, Роджер, кажется, сумеем...

(Окончание следует)

Критика

Н. ФЕДОРЕНКО

ЛЕНИН И ВОСТОЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Великие ленинские идеи, ознаменовавшие гигантский прогресс в истории человеческой мысли, нашли глубокий отклик и понимание среди восточных народов, оказали громадное влияние на духовную их жизнь.

Воздействие Ленина и ленинизма на литературу и искусство зарубежных стран Востока велико и многообразно. Но поддается ли оно измерению, установлению горизонтов, хотя бы мысленному охвату? Едва ли здесь правомерно ограничиваться лишь первыми годами потрясения и пафоса, вызванных революционным взрывом. Разве в наше время не стало яснее, чем прежде, значение всего совершенного?

Вышедший недавно в свет сборник статей «В. И. Ленин и литература зарубежного Востока» [1] посвящен исследованию ленинской темы в художественном творчестве и литературоведении в странах Востока. Он свидетельствует о новом этапе в разработке ленинского наследия. Большая заслуга авторов сборника — привлечение свежего литературного материала, произведений, ранее мало известных или вовсе неизвестных. Накопленные факты получили обстоятельное теоретическое осмысление. В статьях показана историческая закономерность приобщения восточных и африканских народов к революционным событиям мирового значения, нерасторжимо связанных с именем и образом Ленина.

Среди творцов живой ленинианы — художники едва ли не всех стран Азии и Африки, великих и малых: вьетнамцы, китайцы, монголы, японцы, индийцы, корейцы, непальцы, иранцы, турки, арабы, африканцы.

Отношение к Ленину стало своеобразным ключом к пониманию классовой позиции, на которой стоит писатель, изображая окружающую реальность. Это справедливо и в отношении литературы той или иной страны, когда показателем идейной зрелости может служить ее способность достоверно и художественно полноценно воссоздать ленинский образ.

События давних дней оживают в памяти вновь, когда знакомишься с содержанием статей этого сборника. Материалы его наглядно свидетельствуют о влиянии личности и идей вождя Октябрьской революции и практики социалистического строительства в СССР на новейшую историю мира, на судьбы народов и стран Востока. При этом обнаруживается своеобразие в подходе писателей к ленинской теме в свете национальной самобытности, традиций и особенностей каждой из литератур. Как к величайшей драгоценности, всегда исполненной жизнеутверждения, относились и относятся к ленинскому наследию в творческих кругах различных стран Востока.

Тема всемирного значения ленинизма приобретает дополнительные аспекты, обусловленные национальными культурными традициями.

Не одно поколение художественной интеллигенции в странах Востока вдохновлялось ленинским учением, созревало, вливаясь в «железный поток» революционных сражений.

Примечательно, что ленинская тема сопутствовала многим писателям восточных стран на наиболее трудных этапах их творческого и жизненного пути.

[1] М., «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1971. 272 стр.

Страстную энергию и воодушевление вселяют заветные ленинские идеи. Именно под воздействием ленинских мыслей многие художники слова критически пересматривали свой жизненный и художественный опыт, стремясь по-иному оценить окружавшую их социальную реальность, многосложность явлений жизни.

С этим органически взаимосвязана и проблема ленинского эстетического наследия, которое приобретает все большее значение для развития прогрессивной литературы, вдохновляет писателей на создание идейно значительных, подлинно художественных произведений, способствует утверждению марксистской методологии в литературоведении и критике.

Весьма интересные наблюдения в этом отношении содержатся в статьях Е. П. Челышева «Образ В. И. Ленина в поэзии народов Индии», Л. Е. Черкасского и М. Е. Шнейдера «Ленинские идеи и образ В. И. Ленина в китайской литературе», Н. И. Никулина «Гений Ленина зарею воссиял. Образ Ленина во вьетнамской литературе и советская лениниана во Вьетнаме», А. И. Мамонова «Ты живешь и во мне!» (Японские поэты о Ленине)», В. И. Ивановой «Стихи современных корейских поэтов о В. И. Ленине», К. Н. Яцковской «Монгольские писатели о Ленине», Д. С. Комиссарова «Ленин и Иран», Л. А. Аганиной «Поэты Непала о Ленине», А. А. Бабаева «В. И. Ленин в турецкой литературе», М. А. Курганцева «Ленин в африканской поэзии», Г. Ш. Шарбатова «Образ В. И. Ленина в арабской поэзии», К. Рехо «Наследие Ленина и японское литературоведение» и др.

Примечательны наблюдения авторов сборника в отношении эволюции восприятия различными писателями афро-азиатских стран образа Ленина, процесса его художественного осмысления — от фольклорно-мифологического, отвлеченного порой идеала до создания конкретного лирического образа. Явление это характерно для народного творчества в различных странах. Именно о нем говорил Горький на Первом съезде писателей СССР: «Фольклор в наши дни возвел Ленина на высоту мифического героя древности, равного Прометею».

Образ Ленина ассоциировался с неким сказочным богатырем, наделенным чудодейственной силой, перед которой отступает любое зло, всякая несправедливость:

«Звезды» по-русски — Владимир.
«Луна» по-русски — Ильич.
«Солнце» по-русски — Ленин,—

обучал русскому языку учитель мальчика-сироту в балладе корейского поэта Хон Джон Рина «О солнце, луне и звездах».

Дальние-дальние горы, дальние-дальние реки,
Вознеслись удивительные кручи.
Вот животворная река Ленина, там — пик Маркса.
Обеими руками созидаем будущее родных гор и рек! —

писал Хо Ши Мин, прибегая к аллегории, столь свойственной вьетнамской поэтической традиции.

Материалы сборника свидетельствуют о том, что художники слова в странах Востока шли в разработке выразительных средств от монументальности и романтического осмысления ленинского образа к реалистическому его восприятию. Перед нами раскрываются все новые грани этого образа, возникают все новые ассоциации и аспекты могучих ленинских идей, которые подтверждаются течением жизни, движением истории.

■

Поэты стран Востока, стремясь осмыслить роль деятельности Ленина для народов России, пытались одновременно глубже понять значение ленинизма для будущего своих стран.

В среде прогрессивной общественности многих стран Востока имя Ленина стало широко известно сразу же после победы Великого Октября. Тогда появились и первые стихотворения о Ленине. Поэты писали о вожде пролетариата; идеи социальной революции, провозглашенные Лениным, пришли в поэзию стран Востока раньше, чем образ Ленина-человека. Стихи эпического склада, воспевающие могучего защитника угнетенных и обездоленных, не сразу сменились произведениями, где речь шла о роли Ленина в судьбе отдельного человека, произведениями, где авторы пытались создать образ Ленина — живого человека, «самого земного изо всех прошедших по земле людей». Лирическое восприятие образа Ленина шло от более близкого знакомства с его жизнью, с местами, связанными с его деятельностью, с людьми, с которыми Ленину доводилось общаться, с предметами и вещами, побывавшими в его руках, наконец от более углубленного изучения ленинских книг. Поэты и прозаики различных стран и континентов, посещая нашу страну, непременно бывали в ленинских местах и, вдохновленные этими поездками, создавали взволнованные лирические строки.

В рецензируемом сборнике показана эволюция поэтической лениниана. Выделение героического начала в образе В. И. Ленина было характерно для поэзии Востока в пору зарождения интереса к этому образу. В этих первых стихах, отмечает В. И. Иванова применительно к корейской литературе,— это верно и по отношению к другим восточным литературам — «Ленин предстает как личность титаническая, как человек, перевернувший мир и положивший начало новой эпохе в мировой истории».

«Поэты воссоздавали образ Ленина, опираясь порой на классические национальные традиции, связанные с религиозно-философскими идеями. Они наделяли вождя народной революции,— пишет Е. П. Челышев об индийской литературе,— сверхъестественной силой, сравнивали его с мифологическими героями». К фольклору, к народным песням

Н. ФЕДОРЕНКО
ЛЕНИН И ВОСТОЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

и сказаниям обращались поэты Монголии, Вьетнама и других стран.

С годами поэты стали осмысливать отдельные этапы ленинской жизни, совпадающие с этапами истории революции, более конкретно, сочетая документальность с очень личным восприятием фактов истории.

В поэзии стран Востока чаще всего упоминаются приезд вождя в Петроград в апреле 1917 года, знаменитый шалаш в Разливе, крейсер «Аврора», штурм Зимнего дворца. Много лирических строк создано о деревне Горки, где жил больной Ильич. Торжественно-суровы стихи о Мавзолее, в них боль и скорбь, в них уверенность в торжестве великого дела Ленина.

Индийский поэт К. Валлатхол пишет:

Для всех людей
священно место это,
кто жаждет справедливости и света,

И мы склоняем наши головы седые
пред тем,
кто жизнь за наше счастье отдал.

А вот строки китайца Гэ Би-чжоу:

Встает сооруженье величаво,
Кремлевских стен касается плечами,
Вот красный мрамор, рядом черный
мрамор...
Могила? Нет! — сердца твердят упрямо.
Да ведь сюда со всех концов планеты,
В грядущий день чтобы идти верней,
Спешат бойцы за ленинским советом
Все триста шестьдесят кипучих дней.

В поэзии литераторов Востока выражены мысли о неодолимости ленинских идей, о том, что в трудный час испытаний и в дни народных торжеств образ Ленина, мысль Ленина, сердце Ленина — с народами мира.

Особое внимание в сборнике привлекают материалы, рассказывающие о глубоко национальной и одновременно истинно общечеловеческой, интернациональной публицистике Хо Ши Мина, посвященной Ленину, о стихах, созданных турецким поэтом Назымом Хикметом.

«Лучше всех и больше всех писал о Ленине в турецкой литературе Назым Хикмет,— читаем в статье А. Бабаева «В. И. Ленин и турецкая литература».— А писал он о Ленине всю жизнь».

В сутки двадцать четыре часа — Ленин,
двадцать четыре часа — Маркс,
двадцать четыре часа — Энгельс,
в сутки — сто граммов черного хлеба,
двадцать тонн книг...

Малый объем статьи не позволил автору широко аргументировать свою мысль, но его рассказ убедителен и эмоционален.

Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Созданию восточной ленинианы в огромной мере способствовали переводы трудов В. И. Ленина на восточные языки, а также произведений о Ленине советских писателей, драматургов и поэтов, прежде всего В. Маяковского. Исследование взаимосвязей литератур стран Востока с ленинским наследием и с советской ленинианой, их воздействия на художественную практику литераторов этих стран — важная задача. Отрадно, что в сборнике эта тема нашла свое, пусть пока неполное, отображение.

В книге убедительно показано, что с ленинскими идеями к народам всего мира пришло ясное сознание и ощущение великих исторических перемен в судьбах человечества.

Как великан непокорный, сказочный.
Земля одарила его всеми силами природы
И потом...
Ему покорилась,—

говорит Ридван аш-Шаххаль в поэме «Ленин. Гимн во славу Человека и Земли».

«Ленин — это могучий набат, ключ бури морской, зовущей к заре, свету и цветам»,— читаем у иранского поэта Альфреда Самана.

По-иному раскрылся людям смысл их существования на земле.

«Ленин — солнце, зажженное среди ночи. Ленин — струящийся вечно источник»,— говорит о вожде поэт аль-Баяти.

Для угнетенных народов Востока Ленин — олицетворение спасителя, легенда, которая переходит из хижины в хижину, песнь, не перестающая звучать на плантациях и в городах.

«Много гениев-звезд восходило во мгле, но таких удивительно ярких, как Ленин, не бывало еще никогда на земле»,— говорит молодой нигерийский поэт Бандели Молокву в стихотворении «Ильичу».

Яркой палитрой национальных красок, эмоциональной взволнованностью исполнена поэтическая сокровищница восточной ленинианы.

В этот мир, где вера и свобода
проданы на рынке без стыда,
с незапятнанного небосвода
упади, алмазная звезда! —

призывает Гауссу Диавара в стихах о рождении Ленина, обращаясь к мотивам африканского фольклора.

Бенгальский поэт Вишну Де в стихотворении «Ленин» называет его «высочайшей вершиной Гималаев, взметнувшейся над всей землей»; египетский поэт Назир Хисами обращается к вождю: «Ленин, ты — символ, заря, ты — рассвет!», а монгольские и персидские поэты писали: «Ленин — солнце, Ленин — стихия», «заслуги Ленина — свет золотого солнца», используя олицетворения для усиления образа, делающего его более реальным, более выразительным, величественным.

Да, Ленин — спаситель, легенда, пророк, гениальное предвидение которого оказалось неизмеримо выше предсказаний прорицателей прошлого. Ленин предвидел — и не только предвидел. Он добился цели. Свою мечту он сумел воплотить в жизнь и показать людям реальные пути осуществления их чаяний. Ленин знает, что солнце и радость на земле — для всех, и каждому бедняку он дает частицу солнца и счастья.

В духе традиционной национальной поэзии ленинский образ создается иранским писателем Хасаном ибн Мохаммедом Касем Вахидом Дастгарди: «Навек он украсил собою просторы вселенной. Как пламенной розой — в тоске увядающий сад».

Никогда еще ни один человек так нерасторжимо не соединялся с народами всей земли, как Ленин. Ни одно имя не приобретало такого масштаба всемирности и всечеловечности.

Вместе со словом «Октябрь» в страны Востока пришло слово «Ленин». Уже в первые дни Октябрьской революции еще мало известное имя Ленина облетело всю землю, возвестило человечеству о наступлении новой эры: «Он мир от спячки пробудил». И одного этого оказалось достаточно, чтобы вызвать к жизни множество легенд — одна другой удивительнее.

Вся нынешняя жизнь, все пути, которые в ней открываются, все думы народные начали соотноситься с именем великого русского революционера. Отсюда главная тональность поэтических выступлений — пафос, воодушевление, исторический оптимизм.

В творчестве восточных писателей Ленин встает как защитник всех угнетенных, пророк возрождения народов, истерзанных войнами, как «друг всех рабочих на свете». Он одновременно огромен и обыкновенен. Легендарный лик вождя в «простой рабочей одежде». И в этом нельзя не видеть новый тип взаимосвязей между политиком и народом, взаимосвязей, возникавших в революционной практике.

Ленинские идеи, обладающие великой силой убеждения, вызвали в людях внутреннюю потребность изменить жизнь, вырваться из мира насилия, страданий, взаимоуничтожения.

Силой творческого гения Ленин возродил великую веру в человека, веру в жизнь, в созидательную мудрость народа. «Бьется сердце твое в груди у любого. В жилах каждого кровь струится твоя»,— обращается к вождю Н. Саба в поэме «Ленин». И это признание предельно искренне.

Лейтмотивом произведений японского писателя Акутагава Рюноскэ о Ленине является мысль: «Наш Восток породил великого человека».

Ты один из нас, восточных людей.
Ты один из нас, японцев...
Ты живешь и во мне!

В стихотворении монгольского поэта Луванцэрэна «Где Ленин родился?» находим задушевные слова: «Ленин родился в Монголии нашей».

Он понял страданье земли нашей древней,
Как будто родился в китайской деревне,—

читаем у китайского поэта Ли Цзы в стихотворении «Ленин».

Ленинские идеи, как они воплощены в произведениях азиатских и африканских писателей, объемлют многообразие окружающей реальности, содержат ответ на непрестанно возникающие проблемы жизни, воспитывают в человеке революционное сознание, творческое мышление, воодушевление. Именно об этом сложены строки корейского поэта Цой Ен Ира: «В коротком слове «Ленин» воедино слился разум миллионов, думы и стремления всех угнетенных».

Образ Ленина в восточной поэзии воссоздан живо, зримо. Образ гениального мыслителя, страстного революционера, человека. Между тем мало кому из авторов произведений посчастливилось встречаться с В. И. Лениным, лично видеть его, слышать хотя бы однажды. И все же они гордятся своими встречами с ним. Это были встречи с образом Ленина, всесильными его мыслями, с великим его сердцем. И это осталось с ними навсегда.

Японский писатель Хироси Нома, впервые услышавший имя Ленина в средней школе, пишет, что Ленин прекрасно понимал всю сложность современного мира и доказал важность и необходимость его изменения. «И с особой остротой я чувствую, что для уничтожения империализма и порожденных им колониализма и неоколониализма необходимо вооружиться трудами Ленина о национальном суверенитете и независимости. Всей душой ощущаю необходимость интернационализма, к которому призывал Ленин».

В стихотворении «Ленин» корейского поэта Чхве Ен Иля, который обращается к образу вождя, читаем такие строки:

И, как всегда,—
быть может, это снится?—
он подошел и сел со мною рядом.

Первые певцы рабочего класса, творившие в 20-е годы и в начале 30-х годов в Китае, в условиях жесточайшего террора, отмечает Л. Е. Черкасский, такие как Инь Фу и Ху Е-пинь, казненные гоминьдановцами, рассказывали в волнующих строках о человеке, «которого страшились все богатые и знатные», эти поэты никогда не прибегали к нарочитой гиперболичности, искусственности, помпезности, стремясь показать в Ленине органическое сочетание великого и простого.

Росло то поколение, которое не только сменит предшествующее. Оно выросло и восстало. Восстало и взялось за неизбежную ломку отжившего общественного уклада, ненавистного социального строя угнетения, человеконенавистнического мира.

Ленин был еще более велик, чем многим тогда представлялось. Лишь время, громада лет и событий помогают осознать величие вождя мировой революции, раскрывают перед человечеством небывалые перспективы. Ленинизм продолжает идти по двадцатому столетию все той же твердой поступью. В этом — всевременность и всемирность ленинизма, неукротимое существо самой жизни.

Но донесся, послышался радостный
клич...
Это нас на борьбу призывает Ильич.
И проснулся, воспрянул Восток
угнетенный,
Засияла над миром звезда бедняков,—

читаем строки арабского поэта Нифона Сабы. Угнетенные народы почувствовали, что стоят в начале нового исторического процесса.

Н. ФЕДОРЕНКО
ЛЕНИН И ВОСТОЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Тема Ленина — верного друга угнетенных народов красной нитью проходит через творчество писателей многих поколений.

«Ты — враг тиранов на всей земле, любимец всех угнетенных ты, отец революции в Октябре, осуществивший наши мечты»,— пишет современный сирийский поэт Назир аль-Хусами.

Образ великой русской революции возникает в стремительном и бурном развитии, ознаменовавшем изменение самого лица мира.

Гуджарский поэт Свапнастхи в сборнике стихов о Ленине «Огненное солнце» воспел ленинский гений, его бессмертие:

Там, где черная ночь угнетения и нужды,
Рабочий и крестьянин помнят тебя,
Ленин!
Где золотое солнце смеется
И сердца людей вместе с ним,
И там помнят тебя, Ленин!

Советский народ, пишет Свапнастхи в предисловии к своему сборнику, завоевал признание миллионов индийцев. О людях советской России с любовью писали Тагор и Прем Чанд, Валлатхол и Джош Малихабади, Кришан Чандар и Али Сардар Джафри: «Я присоединяюсь к ним от лица гуджарского народа. Эти стихи — голос моего сердца».

В многочисленных произведениях писателей стран Азии и Африки воссоздается нравственный облик борца, деятеля революции, с его бесстрашием и мужеством, с его убежденностью и преданностью идее коммунизма. Он как бы вырастает из ленинских строк: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами...» [1]

...как Ленина родное слово,
как Ленина всепобеждающее слово! —

восклицает японский поэт Усами Наоки, движимый чувством сопричастности к ленинскому живому слову и делу.

В успехах, которых добился Советский Союз, в грандиозных преобразованиях во всех областях духовной и материальной жизни народы зарубежного Востока видят осуществление ленинских пророческих предсказаний.

Москва! Ты — родина людей свободных,
Чьи силы пробудил могучий Ленин,
Прогнавший ночь и подаривший утро
Родной земле, которая всем сердцем
Откликнулась на смелый зов вождя! —

читаем строки поэта Н. Сабы.

«Виток за витком, виток за витком... Шьют одежду Земли из звездных нитей посланцы Ленина — космонавты, внуки нищих крестьян, властелины Вселенной»,— вторит ему Абд аль-Ваххаб аль-Баяти.

Ленинские идеи продолжают оказывать воздействие и теперь с тою же силой, как и ранее. Ленин знал, что победа — за миром его идей, и ясно видел путь к ней, потому что жил всеми человеческими жизнями, интересовался положением, судьбой людей труда во всех странах.

«Бессмертие Ленина,— писал Цюй Цю-бо в статье «Ленин и социализм»,— в корне отличается от бессмертия всех других героев и великих личностей. Ленин оставил после себя не только доброе имя, не только память о своей личности, о своих добродетелях, о своем духе, перед которым будут благоговеть грядущие поколения. Он оставил после себя пролетарскую революционную партию, новое пролетарское государство, международную организацию пролетариата... И никакой силе на свете не вытравить Ленина из сознания человечества!»

Для Ленина, труды которого проникнуты интернациональным духом русского рабочего движения, не существовало враждебных и разобщенных народов. Он нес идеи грядущего великого братства людей, мира справедливости и правды.

И весь этот мир тревожный,
Полный борьбы и гнева,
Словно открытая книга,
Распахнут был перед ним,—

пишет арабский поэт Р. аш-Шаххаль в своей поэме «К самой глубокой тайне владел он верным ключом», отображая всесилие ленинского гения.

■

Поэтические творения художников слова стран Азии и Африки вызывают доверие и симпатию читателя взволнованностью и искренностью чувств. Они словно открывают свой мир, полный неповторимых красок и звуков, напоминая еще раз, что художественное творчество мертво без страсти, без живой идеи, устремленности, призыва. Велика роль и индивидуального творческого своеобразия. Но стиль писателя — не просто верный отпечаток его натуры. Ясность письма порождается духовной ясностью автора, величественность стиля — величественностью миропонимания. И многое здесь связано с образом великого вождя. Ленинская ясность стиля своими путями отзывается в творчестве поэта. Усилия прогрессивных художников слова стран Азии и Африки направлены на поиски литературного стиля, который в полной мере соответствовал бы революционному мировоззрению, объединял бы в себе дерзновение сражений и ясную целеустремленность.

Рецензируемый сборник дает представление о жанровом многообразии стихотворений о Ленине. Мы знакомимся с поэмами и японскими хокку, с арабскими касыдами и традиционными вьетнамскими восьмистишиями, с народными балладами телугу — бурракахта и другими жанрами восточных литератур.

Здесь, пожалуй, уместно отметить щедрое привлечение самих произведений поэтов стран зарубежного Востока на страницы сборника, что, естественно, не вызывает возражений. Скорее наоборот. Многие произведения о Ленине, цитируемые в статьях,

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 6, стр. 9.

на русский язык переведены впервые и представляют самостоятельный литературный интерес. Жаль только, что редколлегия и авторы статей не всегда достаточно строго подходили к отбору цитат, а ведь цитаты — не только прекрасный иллюстративный материал, но и весомый научный аргумент! Если, к примеру, переводы стихотворений японских или китайских поэтов отобраны, как правило, умело и со вкусом, то в переводах корейских и персидских поэтов встречаются не очень удачно переведенные строки, которые нуждаются в тщательной шлифовке. Авторы сборника недостаточно внимания, на наш взгляд, уделили жанрам документального и художественного очерка, сыгравших важную роль в распространении в странах Востока идей ленинизма и в создании образа вождя. В этом смысле полезные разыскания провели Н. И. Никулин, М. Е. Шнейдер, К. Н. Яцковская и другие, рассказав о вьетнамской эссеистике, об очерках Цюй Цю-бо, о документальной художественной прозе С. Буяннэмэха и др.

Ленинская тема в литературах Востока не сводится лишь к воплощению образа великого вождя в поэзии и прозе — она значительно шире и многообразнее. Заслуга авторского коллектива рецензируемого сборника — в решительном повороте к рассмотрению ряда аспектов, подтверждающих историческую закономерность приобщения народов Азии и Африки, а следовательно и их литератур, к революционному процессу всемирно-исторического значения, неразрывно связанных с именем В. И. Ленина, его идеями. Это и появление под воздействием ленинских идей, идей Октября новых героев-революционеров и новой проблематики в творчестве писателей восточных стран. Это и благотворное влияние советской литературы на прогрессивных писателей стран зарубежного Востока. Это и значение ленинского эстетического наследия, способствовавшего становлению и развитию во многих странах марксистско-ленинского литературоведения и критики. Наконец значительное внимание в сборнике уделено той борьбе, которая шла в недавнем прошлом и еще идет вокруг философского наследия Ленина, ленинской теории отражения. Разоблачаются попытки искажения этого наследия «справа» и «слева», дается убедительный отпор идеологам антикоммунизма, отрицающим ленинское учение о партийности и народности литературы и искусства.

Рост революционной сознательности индийского народа, поднявшегося на борьбу против социального угнетения, за национальную независимость своей страны, З. Н. Петруничева непосредственно связывает с влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, идей научного социализма. В статье «Идеи ленинизма и роман Уннавы Лакшминараяны «Деревня неприкасаемых» она подчеркивает, что этот социальный реалистический роман, написанный в 1922 году,— первое произведение литературы телугу, в котором изображены жизнь и борьба сельскохозяйственных рабочих и в котором воссоздан образ Ленина — «человека великого, как океан». Рассказ о политике советской власти первых послеоктябрьских лет не носит в романе, по мысли автора статьи, характера простой информации, а является зачином одной из главных его сюжетных линий — истории крестьянского сына Венкадатаса, возглавившего борьбу бедняков против богачей и провозгласившего «царство справедливости» на земле. Социальная утопия в романе носит на себе следы влияния древнеиндийской эгалитарной традиции, а также идей раннего христианства и буддизма Вместе с тем изображение утопической социальной революции не было бы столь конкретным без учета реального опыта Октября. Так утопия писателя — активного участника национально-освободительного движения против британского владычества в Индии — оказалась оплодотворенной идеями научного социализма, идеями ленинизма.

«Сага о восставшем Телингане» — так называется статья И. С. Рабиновича. В ней дан анализ народной эпопеи писателя урду Кришана Чандара «Когда пробудились поля» (1951) о революционном восстании крестьян княжества Хайдарабад в 1946—1951 годах. Исследователь приходит к обоснованному, с нашей точки зрения, выводу о том, что это произведение писателя, черпающего вдохновение в героических деяниях своего народа,— смелое новаторское открытие на путях утверждения социалистического реализма в индийских литературах. Немаловажны для подтверждения этого вывода и другие наблюдения автора статьи: и высокий революционный пафос эпопеи, вызывающий в памяти слова: революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых, принадлежащие В. И. Ленину; и созданные в романе-эпопее образы революционных руководителей, которым свойственны многие черты героев книг советских писателей о революции; и сходство эстетических взглядов Кришана Чандара с воззрениями Горького и Маяковского, оказавшими заметное влияние на индийского писателя. В статье «Отображение ленинских идей в литературе урду» А. С. Сухочев раскрыл роль, которую сыграла созданная в 1936 году Ассоциация прогрессивных писателей Индии в распространении идей ленинизма. Входившие в Ассоциацию писатели — прозаики и поэты — стремились воплотить в своем творчестве эстетические взгляды В. И. Ленина, в публицистических статьях разрабатывали вопросы партийности и народности литературы. Заметный вклад в оценку индийского национального культурного наследия, в частности творчества Прем Чанда и Тагора, внес Али Сардар Джафри, опиравшийся на ленинское учение о двух культурах в обществе, разделенном на антагонистические классы, на статьи В. И. Ленина о Л. Толстом.

Л. Е. Черкасский и М. Е. Шнейдер в статье «Ленинские идеи и образ В. И. Лени-

---

Н. ФЕДОРЕНКО
ЛЕНИН И ВОСТОЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

на в китайской литературе» уделили значительное внимание проблеме распространения в 20—30-е годы марксистско-ленинской эстетики в кругах китайской творческой интеллигенции и деятельности в этой области Лиги левых писателей Китая, руководимой Лу Синем Освоение ленинских эстетических воззрений в Китае тех лет сопровождалось острой идеологической борьбой. Литературно-критическое наследие выдающегося китайского революционера и публициста Цюй Цю-бо, справедливо считают авторы статьи, свидетельствует о воздействии на литературно-художественную критику в Китае таких трудов В. И. Ленина, как «Партийная организация и партийная литература», «Задачи союза молодежи», «О пролетарской культуре», «Памяти Герцена», его статей о Л. Толстом. Марксистское литературоведение в Китае пробивало себе дорогу, преодолевая нигилизм по отношению к классическому наследию, вульгаризаторство и схематизм в оценке явлений современной литературы, закаляясь и мужая в борьбе с буржуазными концепциями «свободы творчества» и «искусства для искусства». Впоследствии, однако, в Китае, как известно, снова возобладал леваческий, вульгарно-примитивистский подход к литературе и искусству, нигилистическое отношение к культурному наследию — национальному и зарубежному.

Примечательно, что в своем исследовании М. Е. Шнейдер обнаружил также, что наряду с идейным влиянием ленинского наследия Цюй Цю-бо испытал на себе воздействие системы образов в трудах В. И. Ленина, его публицистики. Под влиянием содержания и самой формы статьи В. И. Ленина «Памяти Герцена», например, китайский критик написал «Предисловие к сборнику избранных публицистических произведений Лу Синя» — первую в китайском и мировом литературоведении марксистскую работу о великом китайском писателе. И в своих политических статьях Цюй Цю-бо также следовал образцам ленинской публицистики.

Ожесточенной борьбе, которая ведется в наши дни вокруг ленинских идей, посвящена статья К. Рехо «Наследие Ленина и японское литературоведение». Автор подчеркивает, что рост влияния марксизма-ленинизма и мирового социалистического искусства в художественной жизни Японии в послевоенный период встречает все возрастающее сопротивление реакции. Литературные дискуссии в стране концентрируются сейчас главным образом на двух проблемах — ленинском принципе партийности искусства и ленинской теории отражения. Так, Масамити Асукай тщится доказать, будто идеи ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература» касаются лишь задач собственно партийной печати. Еще дальше идет критик-антикоммунист Окуно Такэо — один из главных оппонентов марксистского литературоведения в Японии По его мнению, современного художника должен интересовать не реальный человек, не реальное общество, а лишь личность и мир, существующие в гипотетических построениях «автономного» художественного сознания, и поэтому, мол, художник, стоящий над политикой и моралью, имеет полное право на субъективный произвол по отношению к внешнему миру. «Опровержением» материалистической теории отражения усиленно занимается и такой столп антикоммунизма, как Такахаси Еситака. Он и его единомышленники пытаются доказать, что искусство, отражая реальную действительность, теряет якобы свой подлинный облик, и твердят об «ограниченности» реализма, не способного будто бы постигнуть закономерности реального мира.

Однако вылады реакционных идеологов против ленинской эстетики — и это убедительно показано в статье — успешно отражаются прогрессивными силами японской литературы, в частности, известным критиком-марксистом Курахара Корэхито. В борьбе против антикоммунизма и реакции надежным компасом служит им великое наследие В. И. Ленина.

Сборник статей «В. И. Ленин и литература зарубежного Востока» приближает нас к осмыслению всемирной ленинианы, многие проблемы, связанные с образом В. И. Ленина в поэзии и прозе литератур стран Востока, с влиянием ленинской эстетики на ход развития восточных литератур, требуют дополнительных разысканий и анализа. Очевидны элементы фрагментарности, описательности, проистекающие от неполноты информации. Некоторые темы, как, например, тема «Ленин в африканской поэзии», точнее, в поэзии стран Тропической Африки, разрабатываются сравнительно недавно, и поэтому особый интерес вызывает статья М. А. Курганцева, затрагивающая данную тему.

Сборнику в отдельных его частях недостает теоретической углубленности и аналитичности. Книга оставляет, на наш взгляд, достаточно простора для изучения жанрового многообразия восточной ленинианы, художественных особенностей прозаических и поэтических произведений, связанных с традициями восточных литератур.

Сборник работ советских востоковедов, посвященный проблеме воссоздания образа Ленина в художественных литературах стран Азии и Африки, представляет собой существенный вклад в разработку ленинской темы. А тема эта заслуживает того, чтобы ей были отданы и вдохновение, и любовь, и талант.

Лениниана в восточных литературах продолжается, неповторимые главы ее создаются все новыми поколениями художников слова, приходящими в жизнь и революцию.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ВИВИСЕКТОРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

(Заметки об австралийской литературе)

Австралийской литературе, как и самой Австралии, везло на хлесткие определения. «Австралия едет верхом на овце», «Австралия держится на трех китах — шерсти, золоте и пшенице», «струны австралийской лиры — из конского волоса»... Афоризмы эти безнадежно устарели. Конечно, пятый континент и сейчас славится золотым руном своих мериносов. Но бывшие аграрные колонии Англии, где в конце XIX века на заводах и фабриках было занято всего 3—4% населения, превратились в страну высокоразвитой промышленности. Граждане ее живут преимущественно в городах, причем свыше половины — в столицах штатов. И в австралийской литературе больше не царят ни лихой всадник, отчаянный поселенец, воспетый поэтами-балладистами минувшего столетия, прославленными и безымянными, ни старатель, ни странствующий стригаль. Попробуем внимательнее всмотреться в лицо сегодняшней Австралии.

«Возлюбленная господом богом страна», «государство всеобщего процветания», «однородное общество, члены которого составляют сплошной средний класс», где каждый ничем не хуже соседа, а просто кое-кто оказывается удачливее. Такая оценка австралийского общества достаточно распространена на Западе. Дискуссия под названием «Богоданная страна», развернувшаяся несколько лет назад на страницах ведущего австралийского литературного журнала «Миэнджин»,— свидетельство того, что в самой Австралии многие деятели культуры придерживаются иной точки зрения. «В сущности,— заметил участник дискуссии писатель Аллан Эшболт,— мы весьма и весьма далеки от равенства, но в нравах, в манере разговаривать и вести себя мы настаиваем на единообразии. Босс должен говорить и выглядеть как рабочий, он должен казаться одним из наших — тогда его недосягаемое богатство и статус не будут вызывать чувства обиды». Американское «каждый чистильщик может стать миллионером» звучит на австралийский лад примерно так: каждый получит возможность проявить себя при условии, что «лодку не будут раскачивать». Но острые углы здесь и там прорывают камуфляж однородности.

«Минеральный бум» 60-х, о котором заговорили во всем мире. Открыты богатейшие залежи железной руды, бокситов, цветных металлов, нефть. Как мухи на мед слетаются представители иностранных, прежде всего американских и японских, фирм, протягивая руки к богатствам австралийских недр. Рост экономического потенциала страны ведет и к росту зависимости от заокеанских монополий.

Приток иммигрантов. Предполагается, что в ближайшем будущем он достигнет четверти миллиона в год. На улицах слышится итальянская, греческая, турецкая речь. Всем ли из «новоавстралийцев» ласково светит солнце? Только в течение года (июнь 1969 — июнь 1970) 26 000 иммигрантов возвратились к себе на родину. «Они выполняют работы, которых не хотим делать мы, они отстранены от занятий, которые мы принимаем как должное»,— писал в недавно вышедшей книге «В самой мрачной Австралии» Стенли Мур, мельбурнский пастор.

Расизм. С одной стороны — претензии на роль доброжелательного советчика, помощника, цивилизатора азиатских стран (вплоть до готовности считать себя частью Азии, по крайней мере в стратегическом отношении); уже в 1964 году свыше 12 000 студентов из стран Азии обучались в австралийских уни-

верситетах. Английский журнал «Экономист» пророчит, что Австралия, «важный фактор в любых расчетах, касающихся Восточной Азии», к 1980 году будет, вероятно, «наиболее активной и эффективной силой к западу от Сан-Франциско, к югу от Кантона и к востоку от Дели (может быть, даже к востоку от Кейптауна)». С другой стороны — неизжитая расистская политика «белой Австралии», миссия сохранения «белого острова» в океане «черных», «желтых» и «коричневых». Новогвинейцы — формально австралийские граждане, но чтобы совершить поездку на континент, им требуется специальное разрешение. Британские подданные с темным цветом кожи принадлежат к категории нежелательных иммигрантов, льготы не для них.

Отмена в 1967 году статей конституции Австралийского Союза, дискриминирующих аборигенов, не решила окончательно проблему «черных австралийцев». Коренные жители Австралии по-прежнему составляют самую необеспеченную и бесправную часть населения.

Наконец, постыдное участие в грязной войне во Вьетнаме на правах младшего партнера США, подчинение американскому диктату, которое способствует американизации австралийской культуры.

До второй мировой войны Австралия была теснее всего связана с Англией — узами экономики, политики, идеологии. Школа воспитывала верность британской короне. Но Англия оказалась не в силах защитить свой доминион, когда на австралийском побережье начали рваться японские бомбы. «Австралия устремляет свои взоры к Америке» — эти слова тогдашнего премьер-министра Джона Кэртина, обратившегося за помощью к США, знаменуют поворот во внешней политике страны, закрепленный в послевоенные годы усиленным проникновением американского капитала в ее экономику. «Повсюду за Линдоном Джонсоном»,— провозгласил Гарольд Холт. Сменивший Холта на посту премьера Гортон, хоть и называл себя австралийцем с головы до пят, заверял Вашингтон, что австралиец со своей «вальсирующей Матильдой», легендарной скаткой за плечами, отправится вместе с ним. Подыгрывая сторонникам политики «страхового полиса» (поддержка США в компенсацию за оборонительные гарантии на случай агрессии против Австралии), владельцам автомобильных фирм и магазинов-супермаркетов, индустрия развлечений и рекламы (телеэкран на 80% заполнен американской продукцией) широко пропагандирует в Австралии американский образ жизни. В 1966 году количество американских журналов, распространявшихся в Австралии, превысило тиражи наиболее читаемых австралийских изданий.

Последствия массового импорта американской «массовой культуры» вселяют глубокую тревогу: отравляя сознание тысяч и миллионов людей, он одновременно глушит местные культурные начинания, подавляет их своей коммерческой мощью. «Мы со счастливым — или флегматичным — видом обменниваем одну колониальную ситуацию на другую... Мы намереваемся стать всего лишь несколько иным сортом американцев»,— пишет Джефри Серль, преподаватель истории в Монашском университете (Мельбурн).

Умножается число книг, посвященных современной Австралии: «Счастливая страна» (1964) и «Австралия на новом этапе» (1970) Д. Хорна, «Профиль Австралии» (1966) К. Макгрегора, «Австралийцы» (1966) Дж. Джонстона и Р. Гудмена. В разной пропорции смешаны в них одобрение и критика. Но в общем взгляд австралийцев на самих себя стал более проницательным, иронически-анализирующим. В литературе это получило отражение в романах молодых писателей: «Трэп» (1966) Питера Мэзерса, «Не человек, а осел» (1968) и «Привет великому Маккарти!» (1970) Барри Оукли, в свифтианских путешествиях по разным странам — «Трое могут создать тигра» (1968) Дэла Стивенса, видного прозаика, пришедшего в литературу еще в 30-е годы. Мы позволим себе привести цитату из книги Колина Макгрегора «Профиль Австралии», характерную стремлением избавиться от социальных иллюзий.

«В течение последних десятилетий,— пишет К. Макгрегор,— Австралия становится все меньше и меньше похожа на тот идеал, которого, как все еще кажется австралийцам, они достигли; она все больше и больше отстает от других стран в области социального обеспечения, в уничтожении привилегий и социальной несправедливости, в создании подлинного равенства — не только возможностей, но и в области вознаграждения.

...Страна, которая любит считать себя прогрессивной, все еще сохраняет смертную казнь, телесные наказания, неравную оплату женского труда... Она отказывает в праве голоса многим аборигенам и в гражданстве всякому, у кого не «тот» цвет кожи.

...Стремление демократизировать общество ушло в песок; сегодня бездна между правителями и управляемыми, боссом и рабочим, элитой и массой ощутима всюду и приводит к такой же коррупции, что и раньше».

Так кто же он, «хомо аустралис» 60—70-х годов? Быть может, это обезличенный раб массового производства и манипуляций массами, гордый мелкий собственник? Участок земли, кирпичный дом, машина для стрижки газона — «что еще ему нужно,— спрашивает Аллан Эшболт,— кроме «холдена», который можно было бы полировать, кружки пива с друзьями, супружеского секса по субботам, двух-трех адюльтеров потихоньку, да еще время от времени игра на скачках или лотерея, футбольные обряды, а на экране телевизора в гостиной — мерцающие тени полицейских и воров, паинек и бяк, славных малых и красоток?» Косный, невежественный накопитель, жестокий ко всем, кто отклоняется от усвоенных им социальных стандартов, препарирован с отвращением, переходящим во вселенскую мизантропию, в рассказах и романах Пат-

рика Уайта, его можно встретить и у Димфны Кьюсак, и у Питера Кауэна. Он — близкий родственник американских сабурбанитов[1], запечатленных Джоном Чивером в романе «Буллет-парк». Но разве он тождествен «человеку нации»?

Кадры напряженной исторической ленты последних лет показали нам и другого австралийца. Того, кто не раз возвышал свой голос, требуя прекратить кровопролитие и отозвать австралийские войска из Вьетнама. Студента Сиднейского университета, бросившего в костер воинскую повестку. Или директора колледжа, приславшего в газету «Сидней морнинг геральд» письмо: «Как бывший военнослужащий, гражданин, юрист и человек, уважающий закон, я публично призываю двадцатилетних... игнорировать указ о мобилизации». Семьдесят тысяч человек собрались в Мельбурне на митинг в дни вьетнамского моратория (май 1970 года), когда остановился городской транспорт, закрылись магазины и в рядах демонстрантов вместе шли профсоюзные организаторы и священники, профессора и писатели, докеры и студенты. Протест против войны во Вьетнаме выразили писатели различных убеждений — от Джуды Уотена и Димфны Кьюсак до Томаса Кенилли и Патрика Уайта. Последние годы показали нам австралийца, который выступает против дискриминации австралийских аборигенов, солидарен с новогвинейцами в их стремлении к независимости, образованию, уничтожению наследия колониализма, демонстрирует свое отрицательное отношение к апартеиду, объявляя бойкот южноафриканским спортивным командам, сформированным по принципу «только для белых». Оставляя в стороне все эти факты, невозможно понять, насколько усложнила картину австралийской литературы поляризация сил к концу 60-х годов.

■

Напомним, что австралийская литература сложилась в конце прошлого века как литература с доминирующей демократической и даже социалистической традицией. Реализм, демократическая точка зрения, интерес к рядовому труженику — эти черты на протяжении полувека и более отличали в той или иной степени почти всех крупных писателей Австралии. Так это было еще в 1958 году, когда вышла книга литературоведа Артура Филлипса «Австралийская традиция». В 60-е годы один за другим уходили ветераны, стойкие хранители традиции — Вэнс Палмер, Мэри Гилмор, Нетти Палмер, Гэвин Кейси, Катарина Сусанна Причард, в 1970 г. умер Фрэнк Долби Дэвисон.

В обстановке теоретического разброда и раскола в рядах австралийской компартии кое-кто из писателей, стоявших на левом фланге, утратил почву под ногами, заколебался, отошел от борьбы, изменил и политические, и эстетические ориентиры. Тем не менее и во второй половине 60-х годов были созданы произведения реалистического плана. Роман Бетти Коллинз «В медном котле» (1966)[1] ввел читателя в мир медных рудников Маунт-Айзы — забастовок, локаутов, тяжелейшего быта рабочих, трений в «смешанных» семьях, где у мужа-иммигранта и жены-австралийки различное понимание семейного уклада. Роман Джуды Уотена «Пора молодости» (1966) — о молодом австралийце 20—30-х годов, будущем писателе, который еще ищет свое призвание. Роман Катарины Сусанны Причард «Потаенный огонь» (1967)[2] посвящен борьбе за мир — 84-летняя писательница до последнего часа продолжала служить великим целям своей жизни.

Критическое острие романов «Солнце — это еще не все» (1967) и «Обгоревшее дерево» (1969) Димфны Кьюсак направлено против расовой дискриминации в Австралии, милитаризма, неонацизма, агрессии во Вьетнаме. Подчеркнем антифашистскую актуальность романа «Солнце — это еще не все». Коллаборационисты, обосновавшиеся на австралийской земле, не бездействуют: нагло обещают награды за убийство лиц, включенных ими в список смертников, выпускают свой журнал, устраивают диверсии. Вместе с доморощенными фашистами, с группами национал-социалистской партии Австралии они пытались в дни вьетнамского моратория провести контрдемонстрацию, разбрасывали листовки со свастикой, требовавшие «решительной победы» во Вьетнаме и уничтожения «красной пятой колонны».

Тема романа Мины Колсорп «Перебежчики» (1969) — борьба между правыми и левыми внутри лейбористской партии Австралии. Это история предательства профсоюзного организатора Стива Трегора, ставшего пешкой в чужой игре. Одна из демаркационных линий между персонажами романа — отношение к войне во Вьетнаме.

Появление почти всех из названных здесь произведений австралийской прогрессивной литературы было отмечено в советской печати, три романа переведены на русский язык. В этой же статье нам хотелось бы остановиться на модернистских тенденциях, усилившихся в литературе Австралии как никогда раньше. Эта литература не имеет четких границ «школы» или «группы», главный ее отличительный признак — замена широкого, социально-масштабного взгляда на мир сугубо личным видением. О ней говорят как о психологическом, или «персоналистском», направлении. Она пользуется всемерной, настойчивой поддержкой критики. Хор прессы, апробация книг в университетских кругах, премии — все поощряет изгнание из литературы социально-критиче-

[1] Suburbanite *(англ.)* — житель предместья.

[1] См. «Иностранную литературу» №№ 7—8, 1969 г.

[2] Там же, №№ 3—4, 1971 г.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ВИВИСЕКТОРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

ского содержания, уход в интроспекцию. Возьмем составленный писательницей Теа Эстли очередной сборник рассказов «От побережья к побережью» (это издание выходит периодически, начиная с 1941 года). Он охватывает австралийские рассказы 1969—1970 годов. С какими сюжетами, образами, коллизиями мы встретимся?

...Два брата, подростки, ездят на велосипедах к соседям, Олби Фьюстеру и его жене, учиться танцевать. Когда Олби умирает, родители посылают мальчиков выразить соболезнование вдове. К их удивлению, миссис Фьюстер говорит, что чувствует себя прекрасно, освободившейся, — покойный мучил и даже бил ее,— и приглашает потанцевать с ней. Что это — помешательство или всплывшие на поверхность обломки скрытой трагедии — не совсем ясно. Очевидно, автор, ошеломляя своих юных героев, пытался передать сложность и загадочность внутренней жизни даже хорошо знакомых людей (Меррей Бейл. «Олби»).

...Хозяйка меблированных комнат в Сан-Франциско, старуха, увешанная всевозможными военными наградами — медалями и ленточками, уверяет, что эти регалии принадлежат ее покойному сыну Альберту, воевавшему на Тихом океане. Ночью она врывается в комнату нового постояльца с криками: «Альберт, Альберт, Альберт, дорогой, отчего ты не вернулся раньше?» Но подлинный Альберт никогда не держал в руках оружия — тихий наборщик, он живет в этом же пансионе под кличкой, придуманной матерью. «Военная мания» развилась у женщины под влиянием газетных реляций и хвастовства соседок (Энтони Кэм. «Герой»).

...Влюбленные школьники, золотоволосая Черил и звезда футбола Билл, зверски уничтожают ящерицу, специально пойманную для этого, выкалывают ей глаза и топчут ногами в экстазе насилия (Гвен Келли. «Мини-юбки»).

Такие произведения, разумеется, отражают в какой-то мере реально существующие явления — повышенную невротичность, ущербную психику человека. которого воспитывают на суррогатах культуры, в климате насилия, сексуальности, благотворном для низменных инстинктов. Но они не ставят перед собой задачи глубокого исследования причинно-следственных связей, они не заставляют читателя искать источник света, ибо авторы его не видят.

Центр тяжести переносится с разрушающего воздействия среды на саморазрушение личности. Страдания не рождают потребность в борьбе и преодолении - - это путь самопознания, смирения, духовного очищения. Причем последнее нередко означает приобщение к богу. «Бог превращается,— удачно заметил писатель Дон Крик,— в удобный крючок. на который можно повесить духовные ценности и сделать вывод, что они являются исключительно прерогативой какого-нибудь религиозного или мистического опыта». Итак, не достижение счастья для всех и тем самым для каждого, а личное спасение, отпущение грехов. Чтобы увидеть, к чему приводит противоречие между сугубо личностной ориентацией писателя и невозможностью уловить желанную «диалектику души», выключая ее из гражданских сфер, мы обратимся к творчеству двух австралийских романистов — маститого Патрика Уайта и молодого Томаса Кенилли.

■

Имя Патрика Уайта известно во многих, и прежде всего в англоязычных странах. Он не из числа писателей широко читаемых, популярных, но если вы попросите английского интеллигента назвать кого-либо из современных австралийских литераторов, он скорее всего назовет Уайта. Австралийская критика отводит ему очень высокое место на Олимпе. Уайт, утверждает литературовед Гарри Хезелтайн,— «первый неоспоримо великий романист, которого дала Австралия первый, чье творчество может быть должным образом оценено на международном, а не на национальном форуме».

Патрик Уайт родился в 1912 году в состоятельной семье австралийского скваттера. Учился в Кембридже. Во время второй мировой войны работал в разведывательном отделе английских военно-воздушных сил, принимал участие в операциях в Греции и на Ближнем Востоке.

Ни первый роман Уайта, «Счастливая долина» (1939), ни последовавшие за ним «Живые и мертвые» (1941) и «Тетушкина история» (1948) не вызвали сенсации. Уайт был вознесен австралийской критикой, когда увидели свет романы «Древо человеческое» (1955) и «Восс» (1957). «Прежде всего,— писал Уайт в 1958 году,— я решил доказать, что австралийский роман — совсем не обязательно унылый, мрачного цвета плод журналистского реализма».

Патрик Уайт — незаурядный мастер, чуткий к трудно уловимым душевным движениям. Его фраза, своеобразная, эллиптичная, с неожиданной метафорой, значительна (бывает, претенциозна). Но главные черты его художественного мира — это отчуждение, граничащее с психологическими аномалиями, индивидуализм по-ницшеански сильной личности, навязывающей окружающим свою волю, духовное родство избранных, богоискательство, тема искупительной жертвы, приятие страдания как неизбежности. Что дало основания говорить об Уайте как о социальном критике? Неприязнь к «обществу», злые сатирические интонации в изображении среднего класса, особенно австралийского мещанина, вульгарно-практичного, расчетливо-жестокого, с претензиями выскочки, отрицательное отношение писателя к фашизму, расизму. Но критические мотивы втянуты в общее русло аллегорического воплощения универсальной борьбы добра и зла, религиозных откровений. Так, в романе «Всадники на колеснице» (1961), произведении, в котором немецкий фашизм, равно как и жестокость австралийской «сабурбии» к чужакам, осужден с наибольшей определенностью, все в целом подчинено ре-

лигиозно-мистической идее. И полусумасшедшая старая дева мисс Хейр, и прачка миссис Годболд — простая душа, и художник-абориген Олф Дуббо, и еврей — профессор Химмельфарб, уцелевший в гитлеровском аду, чтобы быть «в шутку» распятым в демократической Австралии, каждый из них — духовный избранник, каждому является загадочное, грозное, ослепительное видение божественной колесницы.

В романе «Древо человеческое», вероятно, лучшем своем произведении, Уайт широко прибегал к символике природы (наводнение, пожар, засуха и другие опасности, угрожающие поселенцу), открывая глубинный, «вечный» смысл обычной жизни мужчины и женщины, двух тружеников буша. И хотел того автор или нет, но здесь он ближе всего к традиционной для австралийской литературы героике пионерства.

Новый роман Уайта, «Вивисектор» (1970), снабжен четырьмя эпиграфами. Два из них — о сущности творчества и творца. «Живопись и религиозное переживание — одно и то же»,— утверждает Бен Николсон, глава «геометрической» школы абстрактной живописи. Слова Рембо — о «великом Больном, великом Преступнике, великом Проклятом». Четверостишия Вильяма Блейка — «форма и содержание» человека:

У жестокости — сердце человека,
У ревности — лицо человека...
Лицо человеческое — печь, наглухо закрытая,
Сердце человеческое — жадная пасть.

Цитата из св. Августина — о тех, кто «любит истину, когда она обнаруживает себя, и ненавидит ее, когда она обнаруживает их самих».

Творческие поиски и поиски божественного начала связаны в романе воедино. Идея духовной исключительности художника — центральная. Ядовитую фразу отца церкви Уайт адресует филистерам. Пожалуй, наименее оправданы текстом поэтические формулы Блейка. Ибо диалектики страстей в романе нет, хотя на его портале и начертано: главное — внутри, за наглухо закрытой дверью лица.

Хертл Даффилд, художник, начал свой жизненный путь в убогом доме на окраине Сиднея. Мать Хертла — прачка, рожавшая в год по ребенку, отец — сборщик пустых бутылок. Впрочем, струйка голубой крови имеется. В заветной коробке, спрятанной в чулане для сбруи, хранится перстень деда — беспутного отпрыска аристократического семейства, жившего в Австралии на пособие, которое присылали родственники из Англии.

Хертла учит грамоте пастор. В шесть лет его усыновляет, точнее покупает за 500 фунтов, богатая чета Кортни: их единственный ребенок, Рода,— горбунья. Шестнадцати лет он уходит добровольцем на фронт (первая мировая война), спасаясь от домогательств приемной матери, и порывает всякие связи с семьей. После войны он обучается живописи в Париже, моя по ночам посуду в кафе. Аналогичный образ жизни ведет и по возвращении в Сидней. Постепенно его картины привлекают внимание торговцев, богатых коллекционеров, прессы. Он умирает после второй мировой войны — эксцентричный старец, ставший национальной достопримечательностью, отказавшийся от дворянского титула.

Пересказ фабулы может натолкнуть на мысль, что «Вивисектор» — еще один опыт «воспитания чувств», история восхождения мальчика из бедной семьи к вершинам искусства. Такой вывод был бы ошибочным. Да, мы узнаем, что еще совсем маленьким Хертл рисовал в пыли двора и на стенах, читал Библию и энциклопедию. Узнаем о том, какой волшебной притягательностью обладала для него хрустальная люстра в особняке Кортни — сверкающий водопад света. О всевозможных реакциях Даффилда, преимущественно чувственных. Но мы ничего не узнаем о том, как складывалось мировоззрение художника, он остается, по сути, слепым рецептором внешних раздражений и в лучшем случае приходит к одной идее, организующей хаос бытия,— богу. В творчестве Уайта уживаются модернистская обескровленность образа, который в итоге — не более чем иллюстрация идеи, и тщательное описание отдельных душевных состояний, ощущений и восприятий.

Каковы же признаки творческой личности? Разумеется, непохожесть. Мальчиком Хертл наблюдает, как белую курицу с искривленной шеей клюют ее сородичи, и отец объясняет ему: «Оттого, что она не такая, как они». А само имя художника (Уайт любит давать своим персонажам «говорящие» имена и фамилии), искаженное немецкое «Хертель», омонимично английскому «сталкиваться», «наталкиваться с треском на что-нибудь». И уже ребенком Хертл полуосознает, что он «не принадлежит к какой бы то ни было среде,— вот что пугало, хотя и хотелось, чтобы было так».

Даффилд одинок. У него нет друзей, это аутсайдер, сводящий свои отношения с обществом и людьми к прожиточному минимуму. Первая мировая война «сделала его банкротом», и Даффилд ощутил потребность возвратиться на родину, найти человека, с которым он мог бы установить контакт, но контакт «потребительский», возрождающий его творческую потенцию.

В интерпретации творческого процесса Уайтом явственно влияние фрейдизма с мотивами инцеста, а главное, изображением сексуального переживания как важнейшего творческого импульса, причем творческий акт приравнивается к половому, выступает как его продолжение, и даже природа, запечатленная кистью Даффилда, вызывает те же ассоциации. Страсть Даффилда бездушна — она не обращена на реальную женщину и потому, способствуя художественным прозрениям, приводит к гибели и сиднейскую проститутку Нэнс, которая содержит Даффилда в годы безденежья и позирует ему, и греческую миллионершу Геро.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ
ВИВИСЕКТОРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Если Нэнс и Геро остаются далекими от искусства, то третья фея Даффилда, пианистка Кати,– натура, родственная ему. Кати, чудо-ребенок, будущая музыкальная звезда, настолько завладевает помыслами престарелого художника, что теперь саморазрушение грозит уже ему, ибо он готов поставить «эгоцентричную девочку» выше своего призвания.

А в чем же призвание Даффилда?

«Бог-художник

Бог-вивисектор

Бог...» — эти слова написаны Даффилдом на стене дворового нужника (отнюдь не сатирический гротеск, а типично уайтовское помещение в один ряд духовного и низменно-физиологического). Художник — вивисектор, препарирующий своим беспощадным взором живых людей. Но можно ли обвинять его в жестокости? Ведь жесток и бог-вивисектор, верховный демиург, ответственный за все беды мироздания. Умирая (на последних страницах романа Уайт переходит к потоку сознания и ассоциативному словотворчеству), Даффилд произносит название краски индиго — цвет неба, открывшегося ему, когда он лежал на улице после удара, и слово это сливается со словом «бог».

Аналогия «художник — бог» оправдывает творческий волюнтаризм. Правда, на которую претендует искусство Даффилда, освобождена от нравственности. Это — поэтизация разрушения и эротики, утратившей тот смысл здорового жизнеутверждения, противопоставленного механической цивилизации, который вкладывал в эротические описания Д. Г. Лоуренс. На полотнах Даффилда люди существуют «на ином уровне — не патетическом и не трагическом, не моральном и не ...«порнографическом». Они были скорее выражением истины на той пограничной линии, где безобразное и развращенное может стать эстетически приемлемым».

Затронута ли в романе чрезвычайно острая проблема взаимоотношений художника и общества? Скорее, речь идет о противоречиях между искусством и толпой, искусством и пошлостью. На одном полюсе — творческое самосожжение и свободный полет фантазии Даффилда, на другом — бакалейщик Катбуш: «Простая пища, регулярное очищение желудка и свежий воздух. Очень нормальная жизнь». (Предшественников этих антагонистов нетрудно угадать: Леопольд Блум и Стивен Дедалус из джойсовского «Улисса».) Как всегда, Уайт саркастичен, говоря о светских «ценителях» и «ценительницах» искусства. Ретроспективная выставка Даффилда — национальное событие, с выступлением премьер-министра, трансляцией по телевидению и т. д. А толпа, заполнившая картинную галерею, ничего не смыслит в работах художника — важно, что он в моде, его покупают в США, это — капиталовложение. Тем не менее конфликта нет.

Почти век отделяет «Вивисектора» от романа Золя «Творчество». Трагедия Клода, даже учитывая влияние наследственности, как ее понимал Золя,— это в значительной степени конфликт с обществом, с невежеством, косностью, ханжеством буржуа. Конечно, посетители выставки Даффилда несколько отличны от толпы, улюлюкавшей в «Салоне отверженных»,— они давно усвоили товарную ценность искусства, каким бы невероятным оно ни казалось. А сам художник? Не бунтарь, не гражданин, чужеродное тело, впаянное в презираемую, но жизненно необходимую среду. Невозможно решать проблему «художник и общество», исходя из концепции автономности творчества. Парадоксально, но один из австралийских критиков романа о художнике-вивисекторе усмотрел главное его достоинство в том, что он открывает возможность эстетического компромисса между «элитарной» и «массовой культурой»: «погрузиться в вульгарность массы, оставаясь самим собой», трансформировать эту вульгарность в «нечто уникальное и вечное».

■

Томас Кенилли, как и Патрик Уайт, стремится мыслить «вечными» категориями (добро и зло, свобода и ответственность). Разумеется, литературного опыта и мастерства у него куда меньше — это молодой еще писатель, ему тридцать шесть лет, и литературный стаж его укладывается в одно десятилетие. Его проза производит впечатление неустойчивости, и не только из-за композиционной рыхлости, которой страдают романы Кенилли, но и из-за отсутствия прочных, выстраданных философских, социальных позиций.

Имя Кенилли было жадно подхвачено буржуазной критикой, когда он опубликовал свой второй роман «Страх» (1965). Ларчик открывался просто: в романе «Страх», произведении слабом, Кенилли нарисовал карикатуру на австралийского коммуниста — этакое чудовище, патологический, тупоумный догматик, вполне соответствующий стандартам махровой антикоммунистической пропаганды. Продолжай Кенилли в том же духе, вряд ли его сочинения заслуживали бы серьезного обсуждения.

Роман Кенилли «Приведите жаворонков и героев» (1967) получил премию имени известной австралийской писательницы Майлз Франклин. Все обстоятельства его действия, костюмы героев, весь предметный фон уводят нас в колониальное прошлое Австралии. Но автор не желает, чтобы его детище сочли историческим романом. Кенилли не претендует на реконструкцию раннего периода истории Австралии — задача, которую решала Элинор Дарк в трилогии «Земля вне времени», «Натиск времени», «Нет преград». История нужна ему как сцена, одна из бесчисленного множества сцен в театре, где никогда не падает занавес и развертывается все та же драма взаимоотношений человека с другими людьми, самим собой и богом. История — «примерна», у драмы — фатальная предопределенность. С первых страниц книги возникает мотив обреченности чело-

века, иллюзорности его представлений о себе, своих возможностях, своем будущем. Капрал Халлоран идет к Энн Раш. «По всей видимости, он питал иллюзию, что знает, куда идет. Скажем без преувеличения, что не будь любая из его мыслей по этому поводу иллюзией, не было бы никакого повествования». Халлоран и Энн попадают в колонию не по своей воле. Энн — каторжница, «приписанная» в качестве домашней прислуги к жене чиновника. Ирландец Халлоран был арестован на родине за то, что осмелился прийти на собрание, обсуждавшее проект земельной реформы, но каторгу ему заменили службой во флоте.

Кенилли учился в католической семинарии. И хотя он не был посвящен в сан, религиозная проблематика глубоко внедрилась в его творчество. Халлоран не может жениться на Энн — в колонии нет католического священника. Но он два года обучался в доме ирландского епископа и, ссылаясь на какой-то богословский трактат, убеждает свою возлюбленную вступить в тайный брак, освященный только взаимными клятвами. «Моя тайная невеста, невеста во Христе...» Сама биография героя, который должен был стать патером, создает предпосылки для религиозного осмысления жизни. Роман движется в атмосфере католического сознания — взять хотя бы разговоры о грехе и спасении души. Прекрасная плоть у Кенилли обречена в своей красоте, беззащитна в смертности, а страдающая, разрушенная (труп мальчика, умершего от оспы, исполосованная до кости плетью спина каторжника) выписана с такой натуралистической точностью, как язвы на картинах, изображающих католических святых.

Халлоран и Энн погибают на виселице как бунтовщики,— быть может, перед нами все-таки роман о борьбе против тиранического режима?

Кенилли нарисовал омерзительные образы офицеров-тюремщиков: Роули, майора Сабиана, врача Даккера — жестоких и тщеславных, совершавших в согласии с казенной рутиной тягчайшие преступления против человечности. Узнав о заговоре, офицеры устраивают резню, заставляя солдат закалывать безоружных.

Степень причастности Халлорана, образцового солдата, к этим преступлениям возрастает как бы помимо его воли. Но и заговорщиком он становится почти невольно, не превращаясь в сознательного борца против несправедливости. Естественные, подсказанные человеколюбием поступки, которые он совершает, оборачиваются в данных условиях опасными деяниями. Мучительные колебания Халлорана имеют религиозную природу: верный воинской присяге, он чинит несправедливость, но не впадет ли он в грех, изменив ей, сделавшись клятвопреступником? Халлоран соглашается принять участие в заговоре, который организовал заключенный Хирн, клерк и проповедник,— бежать на американском китобойном судне во Францию, где началась революция. Показательно, что Хирн изображен как существо полубезумное, беспринципный в достижении своих целей фанатик, способный на обман и предательство,— «революционер» из того же ряда химер, которыми пугают буржуазного обывателя, что и персонаж «Страха».

Мир жесток, это «железный мир», который сокрушает человека, даже если тот честен и добр; единственный выход: через страдания, через собственную Голгофу — к богу. Перед тем как на его шею набрасывают петлю, Халлоран произносит: «Вручаю себя волнам твоего океана, господи, которым не владеет никто!» И в последний миг, когда голова его раскалывается, в мозгу вспыхивает: «Быть может, я— бог?» Мы видим, что и в романе Уайта «Вивисектор», и у Кенилли финальный, итоговый аккорд жизни героя взят на сходной ноте приобщения к потустороннему.

Кенилли открещивается от истории. Но именно реальная историческая почва, от которой роман все же не оторвался, делает его жизнеспособным. В Халлоране, несмотря на всю богословскую риторику, сохранилось нечто от легендарного неукротимого, независимого, дерзкого ирландского парня, бунтаря и поэта. Ирландский бунтовщик — реальный, а не вымышленный герой австралийской истории. Процент ирландцев среди ссыльных, особенно политических ссыльных, был внушителен. Как говорили некогда, англичанина ссылают за большое преступление, шотландцу достаточно небольшой провинности, а ирландцу не требуется никакой. Ирландцами были и поэт-каторжник Фрэнк Макнамара, и герой баллад бушрейнджер Джек Донахью, бежавший с каторги. Все эти «отчаянные ребята из колоний» незримо выстраиваются за Халлораном. При аресте у него находят черновики стихов, и губернатор бросает их в огонь. Сгорают строки о золотистом куполе неба, сочной зелени лужайки и улыбках «стыдливых внучек, которые приведут к нашей изгороди жаворонков и героев».

В романе Кенилли «Тройное «ура» в честь заступника» (1968) вопросы веры и формальных обязательств составляют уже не только внутренний стержень произведения, но и непосредственное его содержание. В главных ролях — католическое духовенство сегодняшней Австралии. Здесь нет дыхания любви и ирландского романтизма. Кенилли становится суше, переходит на язык бытовой прозы, но вместе с тем его подход к героям человечнее, а трактовка религиозно-моральных проблем выливается в критику католической церкви в Австралии и ее институтов.

«Австралия, должно быть, принадлежит к наиболее материалистическим странам в мире,— пишет историк Ноэл Маклаклен,— в том смысле, что хотя большинство людей и делает внешние уступки христианской религии, истинная степень веры в загробную жизнь любого сорта отчетливо ограничена и наверняка продолжает падать». Од-

---

А. ПЕТРИКОВСКАЯ
ВИВИСЕКТОРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

нако в католических кругах имеется немало сторонников «доброй старой» ортодоксальности. Редактор журнала «Квадрант» поэт Джеймс Маколей видит в религиозном консерватизме залог сохранения непреходящих ценностей, которые, по его убеждению, могут быть только религиозными. Он недоволен политикой Ватикана, вызвавшей «быструю эрозию как политического, так и доктринерского антикоммунизма в католических кругах». Роман Кенилли построен вокруг конфликта между подобными защитниками жесткой авторитарной церковной системы и носителями новых веяний.

...Джеймс Мейтленд — преподаватель церковного колледжа св. Петра в Сиднее. Окончив это учебное заведение, он совершенствовался в богословской науке за рубежом, в Бельгии. Сомнения в непогрешимости церковных установлений и нарушения предписанных правил поведения перемещают Мейтленда из многообещающих едва ли не в разряд еретиков.

Мейтленд — не атеист. Он просто не в состоянии больше верить в традиционного бога всемогущего и «надежного, как Ллойд», и этого достаточно, чтобы его обвинили в крамоле. Еще будучи за границей, Мейтленд опубликовал — без разрешения епископа и под псевдонимом — книгу «Значения бога», где рассказывалось, как власть имущие, монархи и политики, в корыстных интересах интерпретировали идею божественного. В воскресном номере австралийской газеты, рядом с фотографией «Мисс Объединенные консервные заводы» в купальном костюме, появилась рецензия «Бог — не политическая ли это мистификация?». Католическая организация «Рыцари св. Патрика» просит архиепископа, чтобы компетентный богослов разгромил книгу. Выбор падает на Мейтленда, его отказ вызывает недоумение и неудовольствие.

История с богословской книгой получает и чисто мирское продолжение. Гонорар Мейтленд отдает родственнику Джо Квинлану, скромному почтовому служащему. Тот покупает на эти деньги земельный участок, попавшись на рекламную удочку для простаков. Мейтленд вступается за обманутого Джо, и тут развивается одна из самых интересных и острых коллизий романа.

Управляющий компанией не возвращает деньги обманутому Джо Квинлану—он убежден, что виноват не более фабриканта мыла, обещающего сделать красавицей каждую девушку, которая воспользуется его продукцией. Далее выясняется, что в этой фирме, действующей сомнительными методами, служит один из «Рыцарей св. Патрика», а под конец, что акционером предприятия состоит и архиепископская епархия. Мейтленд прибегает к публичному обличению. «Церковь часто критикуют,— начинает он свою проповедь,— за пренебрежение к социальному злу. Конечно, мы иногда пренебрегаем отдельным актом зла, отпуская грехи социальному злу, породившему его...» В глубине души он знает, что редко бывает по-иному, но нужно быть осторожным с клерикалистски настроенной состоятельной паствой. После проповеди Мейтленда ожидает взбучка — ему в категорической форме предлагают придерживаться списка одобренных тем. Социально-экономических материй касаться не стоит: «слишком сложно», да и «страна счастлива». Другое дело — распространяться о средствах массовой информации, угрозе коммунизма, язычестве в искусстве; в соединении с дежурными темами морали и веры этого хватит на всю жизнь. Бросив взгляд на церковную колонку газеты, обыватель должен удостовериться, «что бог, как Юпитер и Марс, как абстрактное искусство, Объединенные нации и банковский процент, не уклонился от избранного пути».

Когда авторство Мейтленда перестает быть секретом, ему предлагают сложить с себя сан. Но вольнодумец не так уж опасен, и наказание смягчают: удаление из семинарии, месяц покаяния в монастыре, запрещение печататься. Глухим средневековьем веет от сцен инквизиторских расследований.

Все, что ненавистно Мейтленду, воплощено в фигуре Костелло — карьериста, позера, мастерски владеющего округлой, всегда уместной фразой, за которой — холодность и бессердечие расчета врага любых посягательств на церковную ортодоксию. Костелло назначается епископом — «тройное «ура» в честь заступника!». В названии романа этот возглас, которым студенты приветствуют новоявленного епископа, звучит иронически.

Критическая струя книги вытекает из сознания автором ответственности человека перед другими людьми как нравственной необходимости. Но в еще большей степени, чем в предыдущем романе, форма несогласия носит индивидуальный характер, поисков коллективных решений нет. Любопытно, что не так давно в Австралии имел место случай, схожий с описанным Кенилли, но и отличный от него. Двадцативосьмилетний отец Денис Корриган, помощник приходского священника, был отстранен от исполнения церковных обязанностей архиепископом Хобарта Гилфордом Янгом. Янг требовал, чтобы молодой священник отказался от участия в антивоенном движении и вышел из хобартского комитета по проведению моратория, которым Корриган руководил. Корриган не подчинился.

В следующем романе, «Уцелевший» (1969), Кенилли потерпел неудачу. Тема — суд совести. Алек Рамзей, занимающий видный пост в администрации провинциального австралийского университета, сорок лет назад оставил на льду умирающего человека — начальника антарктической экспедиции Лиминга. Лиминг был безнадежен — парализован, без сознания. Другой участник экспедиции, врач, сказал Рамзею, что ученый мертв. И он трусливо принял на веру эти слова, хотя в глубине души шевелилось сомнение. Долгие годы, несмотря на оправдывающие его формально обстоятельства, Рамзей мучится от сознания своей вины, которое обостряется до предела, грозя уничтожить «уцелевшего», когда в Антарктике находят останки Лиминга.

Замкнувшись в исследовании психологии Рамзея, Кенилли не сумел подняться до уровня больших морально-этических проблем. Коллизия нарочито осложнена факторами сексуального свойства, психическими комплексами. Нет ни развития характера, ни подлинного разрешения нравственных мук. Рамзей «излечивается»: оставим мертвым хоронить мертвых. Ледовая трагедия низводится почти до фарса. В последнем романе, «Дочь, исполняющая свой долг» (1971), «басне», в которой дочь, наделенная магической силой, превращает родителей в полукорову и полубыка, Кенилли еще дальше отходит от реализма. Отрицая канонические католические взгляды на взаимоотношения полов, но прибегая к религиозной символике, он изображает всевозможные проявления «животности» человека, сексуальной извращенности как естественные и благословенные.

■

В середине XIX века ставилась под сомнение сама возможность создания австралийского романа. Из статьи Фредерика Синнетта, помещенной в 1856 году в журнале «Джорнел оф Острелейше» под названием «Нивы австралийской прозы», мы узнаем, что препятствиями к этому считали новизну страны, отсутствие исторических ассоциаций и таких аксессуаров, как руины, увитые плющом, или подземный ход, который бы позволил герою спастись в критическую минуту. Интересно, что автор статьи видел опасность в другом: «...большинство австралийских повестей слишком австралийские, и вместо человеческой жизни в них нарисованы всего лишь местные «нравы и обычаи». Действующие лица — это не люди, наделенные характерами и страстями, но фигуры из ле, так сконструированные и поставленные в такие позы, чтобы продемонстрировать костюмы страны и эпохи». Человеческий характер — главное в романе, утверждал один из первых австралийских критиков, местный колорит подчинен ему.

Австралийская литература давно завоевала свое место в ряду других. Сегодня мы вспомнили слова Синнетта в иной связи. Наступление на социальный реализм в 60-е годы велось под флагом новаторства, преодоления провинциализма, национальной ограниченности, прямолинейности в интерпретации отношений «человек — общество». Писатели модернистского направления претендовали на глубокое постижение личности. Они внесли немало нового в технику письма. Уайт, как сказала Мина Кэлсорп, обогатил литературу «новыми тканями и измерениями». Но сумели ли «персоналисты» открыть человеческие характеры во всей живости сложного, многогранного, мучительного и все-таки не лишенного надежды социального опыта? Увы, для этого не годится ни вивисектор, как бы искусно он ни владел скальпелем, рассекающим человеческое естество, если общее в людях видится ему в животном, а не в человеческом, ни аутсайдер. Когда же герои интроспективных произведений выходят на какое-то время из своего духовного затворничества, как это было с Джеймсом Мейтлендом в романе Кенилли «Тройное «ура» в честь заступника», когда эти произведения обретают хотя бы отчасти то, что известный австралийский литературовед Артур Филлипс назвал «великой полемической функцией литературы», имея в виду участие в разрешении насущных проблем века,— происходит неожиданное: они приближаются к той самой традиции социального реализма, которой объявили войну.

АЛЕКСАНДР ОБРЕТЕНОВ

К ПРАВДЕ ЖИЗНИ

(К 90-летию со дня рождения Георгия Димитрова)

Георгий Димитров вырос вместе с партией и ее борьбой. Он рос и мужал вместе с нею, с рабочим классом. Вместе с нею он ошибался и учился. Боролся за то, чтобы она восприняла ленинскую мудрость. Он пережил вместе с классом и народом страшные поражения и вместе с ними поднялся из пепелища еще более сильным; он вышел на неравный бой со злейшими врагами человечества, победил вместе с народом и связал свое имя с самой большой победой — строительством социалистического общества на нашей родине.

Он прошел этот путь не только как практический работник партии, но и как мыслящий теоретик, глубоко подготовленный марксист, как необычайно образованный и осведомленный общественный деятель.

Еще при первом знакомстве с трудами Ленина он убедился в истинности его идей и остался до конца верным его последователем.

Ленинизм был воспринят болгарскими коммунистами, Георгием Димитровым не как книжная догма, а как живое, революционное учение, созданное в огне революционной борьбы и предназначенное для революции и победы. У нас он был воспринят не как влияние извне, а как историческая необходимость, возникшая из дальнейшего развития рабочего движения в самый разгар жестоких классовых столкновений после окончания первой мировой войны, вершиной которых было Сентябрьское восстание 1923 года.

В процессе этой борьбы и последующего участия в международном рабочем движении Георгий Димитров вырос в крупного марксиста-ленинца.

В рядах Болгарской коммунистической партии Георгий Димитров в совершенстве усвоил ту единую, целостную концепцию мира и общественного развития, какую представляет собой марксизм-ленинизм. Георгий Димитров глубоко усвоил старую благоевскую мысль, что сила коммунистической партии зависит не столько от количества ее членов, сколько от их марксистско-ленинской подготовки. Необходимо использовать все знания о развитии общества, историческую науку, политическую экономию, философию, привлечь все средства политической пропаганды и агитации, чтобы внести социалистическое сознание в борьбу рабочего класса, чтобы соединить рабочее движение с социализмом.

В эту борьбу за социалистическое сознание Георгий Димитров всегда включал и искусство с его могучей способностью непосредственно влиять на сознание масс, внушать идеи и чувства, воспитывать характер человека.

Неиссякающий интерес Георгия Димитрова к литературе и искусству бесспорно обусловлен особенностями его натуры, его врожденным артистизмом, его непосредственным, живым, личным влечением к миру искусства, его тонким эстетическим вкусом и высокой культурой. Он сам неоднократно говорил о своем очень раннем увлечении искусством.

В его высказываниях, в воспоминаниях его близких и соратников, в архивных материалах, оставшихся после него, можно найти десятки мест, свидетельствующих о его широких интересах, о его громадных познаниях в области мировой классики — от Гомера и Софокла, от Данте и Сервантеса до Шекспира, Гёте и Байрона, до Горького и Маяковского, от Хр. Ботева и Зах. Стоянова до Хр. Смирненского и великих наших современников.

И в наиболее трудные моменты жизни, и во время самой напряженной и ответственной работы он никогда не расставался с художественной литературой.

Этот субъективный стимул его интереса к литературе и искусству, разумеется, очень важен, но он далеко не исчерпывает отношения Георгия Димитрова к сфере художественного творчества.

Марксистская концепция искусства, созданная Д. Благоевым еще в девяностые годы прошлого века, воспитала не одно поколение социалистических борцов. Она бесспорно сыграла большую роль в формировании эстетических взглядов Георгия Димитрова. В речи, произнесенной на собрании в Москве 11 мая 1935 года по случаю одиннадцатой годовщины со дня смерти Благоева, Георгий Димитров назвал себя учеником и соратником Благоева.

Георгий Димитров познакомился с трудами Маркса и Энгельса, Плеханова, Ленина, которые помогли сформировать его взгляды на искусство и культуру. Понимание классового характера культуры, понимание искусства как оружия в классовой борьбе, ленинская мысль о том, что художественное творчество является частью общепартийного, общепролетарского дела, становятся неотделимой частью его коммунистических взглядов.

И, начиная с самых ранних проявлений, нет ни одного момента в его деятельности, когда он бы не интересовался вопросами культуры и искусства — и лично для себя, как высокообразованный и культурный человек, чувствующий неизменную потребность жить максимально насыщенной интеллектуальной и эмоциональной жизнью, и как борец-марксист, как партийный работник, который ведет единую борьбу на всех фронтах и, естественно, не может оставить без внимания такие важные секторы, как идеологическая борьба, художественная деятельность и культурный рост масс.

Георгий Димитров неустанно боролся за просвещение трудящихся. Еще будучи советником общины [1] в Софии, он неоднократно ставил вопрос об обязательном образовании, которое хотя и признавалось законом, но не проводилось ни в стране, ни в Софии. Он настаивал на том, чтобы точно было установлено, какое количество детей остается вне школы, и чтобы были приняты все меры для прохождения ими обязательного курса.

Георгий Димитров, разумеется, не строил себе никаких иллюзий относительно того, что эти требования будут осуществлены при господстве буржуазии. Он очень хорошо знал, что капитализм распространяет просвещение и культуру только в тех рамках, которые необходимы для осуществления его классовых интересов, что он по существу враждебен культуре, образованию и искусству. В статье «По какому пути?», написанной незадолго до Сентябрьского восстания 1923 года, он показывает, что сама сущность буржуазного общества враждебна культуре. «Капитализм,— говорит он,— полностью овладев материальным производством, наложил свою тяжелую руку и на театр, музыку, художественное творчество, на все искусство. Капиталистический принцип — получить максимально возможную прибыль — стал господствующим и в так называемом производстве духовных ценностей и благ».

Очень важен для культурной политики партии и особенно для ее отношения к интеллигенции вывод Георгия Димитрова о судьбе интеллигенции в тогдашней, капиталистической Болгарии.

«Было время,—констатирует он,—когда большинство тружеников в области искусства (художники, артисты, музыканты и прочие) могли считать себя, вследствие особого характера своей работы и перспектив сделать личную карьеру, своего рода аристократами умственного труда и держаться совершенно в стороне от пролетариата, от его борьбы за существование и его освободительного движения».

Они думали даже, что являются «частью господствующего класса, его любимчиками». Это было время, когда они были до мозга костей пропитаны буржуазным индивидуализмом и психологией сверхчеловека.

Это время безвозвратно минуло. Капитализм и святыню искусства превратил в источник доходов, а труженики в области искусства стали эксплуатируемыми пролетариями, объектом капиталистической эксплуатации, умножали доходы капитала и с высот Парнаса низверглись в нищету и грязь суровой действительности.

С глубоким и тонким пониманием Георгий Димитров отмечает, что эта перемена в положении творческой интеллигенции переживается ею самой как трагедия. Дело в том, что люди искусства по самой сущности их труда «выполняют работу не механически, а должны вкладывать в нее чувства, сердце, душу, выявлять свой внутренний мир...». Поэтому, пишет Димитров, кроме материальных лишений они испытывают еще и такие моральные терзания, каких в своей работе не знает обычный работник физического или даже умственного труда.

Они поставлены перед роковым вопросом: «По какому пути?» Георгий Димитров его указывает—это путь единства трудящихся с молотом, серпом и пером, работников материального производства и работников, производящих духовные ценности и блага, путь освобождения всего трудящегося человечества и самого искусства от капитализма.

Задача крайне трудна и сложна. Но она должна быть выполнена — «во имя избавления тысяч страдающих тружеников искусства, во имя спасения самого искусства и торжества великого освободительного дела трудящихся нашей страны».

Подчеркнутая здесь мысль Георгия Димитрова чрезвычайно важна. Он развивает ее впоследствии в других местах и особенно в историческом докладе на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году.

Загнивание капитализма, особенно при фашистском режиме, так глубоко, что оно

[1] Община — самая мелкая административная единица в Болгарии до 1949 г.

проникает в самую сердцевину его идеологии и культуры. Капитализм несет трагедию не только людям культуры и искусства, но и самой культуре. Оторванная от своих здоровых корней — жизненной правды и народной жизни,— эта культура становится фальшивой, предельно реакционной, антигуманной, националистической, шовинистской. Когда Георгий Димитров назвал в Лейпциге фашистских узурпаторов настоящими варварами и дикарями, эти слова были не просто ораторским приемом, за ними крылась глубокая историческая истина, заключающаяся в том, что загнивание капитализма достигло такой фазы, когда отрицается сама культура, само культурное развитие нации, само ее будущее. «Приход фашизма к власти,— говорит в своем докладе на VII конгрессе Коминтерна Георгий Димитров,— это не обыкновенная замена одного буржуазного правительства другим, а смена одной государственной формы классового господства буржуазии — буржуазной демократии другой его формой — открытой террористической диктатурой».

■

После полувековой непримиримой классовой борьбы — стачек, восстаний, всенародного антифашистского сопротивления и самоотверженных боев партизанской революционной армии болгарский народ, слив свое восстание с победоносным шествием Советской Армии, в сентябре 1944 года завоевал окончательную победу над фашизмом и капитализмом.

Девятого сентября 1944 года под руководством партии и лично Георгия Димитрова начался процесс духовного обновления нашей страны, создание новой болгарской культуры, прогрессивной по содержанию и всенародной по охвату.

Георгий Димитров давно и по различным поводам защищал последовательно монистическое марксистско-ленинское понимание целостности и монолитности общественного развития на единых основах, в едином направлении. Социалистическое общество не может строиться на двух различных основах — социализме в экономике и буржуазных, мелкобуржуазных, националистических и тому подобных взглядах в идеологии и духовной жизни.

Это означало, что культурная революция становится неотделимой частью социалистического преобразования жизни, осуществления социалистической революции на нашей родине.

Все та же глубокая забота о повышении сознания и культуры народа не как самоцель, не как абстрактная просветительская деятельность, а как подлинная коммунистическая заинтересованность в привлечении трудящихся непосредственно к управлению чувствуется в десятках высказываний, телеграмм, писем, обращений Георгия Димитрова к различным группам трудящихся и интеллигенции, к крестьянам, к женщинам, к учителям и философам, к научным и библиотечным работникам, ко всем, с кем Георгий Димитров был в контакте в те первые годы нашей социальной и культурной революции.

■

В деле духовного роста народа, творческого освобождения масс, самого широкого усвоения унаследованных от прошлого культурных ценностей, создания и развития новой, социалистической культуры Георгий Димитров мобилизовал силы государственного аппарата и общественных организаций, всей интеллигенции, всех деятелей науки, литературы и искусства, образования, пропаганды и агитации, просвещения, печати.

Особенно велики его заботы о развитии и направленности литературы и искусства. Потому что, по словам самого Димитрова, в системе всех факторов и мероприятий, которые должны поднять нашу страну в области экономической, культурной и военно-политической, искусство во всех его видах представляет собой серьезный и очень важный фактор. «Мы смотрим на искусство,— говорит Георгий Димитров,— не только как на средство достижения высшего наслаждения для человека — разумеется, это необходимо, и мы это учитываем. Мы смотрим на искусство во всех его видах прежде всего как на средство мобилизации моральных, духовных и физических сил нашего народа и его молодежи на творчество, неустанный труд, на неугасающую любовь к родине, на готовность преодолевать трудности, закалять его волю и веру в собственные силы».

Неотразимая преобразующая и воспитательная сила искусства прекрасно выражена Георгием Димитровым в его письме Союзу болгарских писателей в 1945 году, в котором он, изложив прекрасную и глубоко продуманную программу, подчеркивает действенную силу художественной правды и художественной эмоции. «Наш народ,— пишет он,— нуждается в подлинно народной художественной литературе, как в хлебе и воздухе, в такой литературе, которая своей глубокой правдивостью и высокой эмоциональностью будет повышать культурный и идейный уровень...»

Если принять во внимание, что перечисленные в письме задачи отражения героизма новых людей, поставленные перед искусством, являются существенной частью тактических, политических задач нашей партии в тот период, становится совершенно ясно, что Георгий Димитров и в этом случае рассматривает художественное творчество как неотделимую часть общепартийного, общепролетарского, общенародного дела, в самой тесной связи с общими классовыми и политическими задачами.

Следует особо подчеркнуть, что Георгий Димитров определяет актуальные задачи, перед которыми стоят болгарские писатели, художники и другие деятели искусства, всегда исходя из основных закономерностей, специфики и возможностей литературы и искусства как особой сферы духовного творчества, как особой формы общественного сознания. Он нигде не навязывает им ничего чуждого их специфике за счет общих требований и нужд прямой политической пропаганды и агитации, которые являются объектом другого рода деятельности, нигде не сводит художественный образ до простой иллюстрации политических или философских идей и взглядов. Неоднократно останавливается он на особой гносеологической и эстетической природе искусства как художественно-образного творчества — отражения действительности, на его идейно-эмоциональной сущности, его особой коммуникативной способности, его общественной активности, силы воздействия и возможности раскрывать те стороны личной и общественной жизни человека, которые не доступны философии, науке и другим формам общественного сознания. Никакая другая духовная деятельность человека, кроме искусства, не может столь непосредственно показать сущность, облик явлений, человека, характеров, не может так непосредственно, мобилизуя все человеческое существо, внушать идеи, ставить моральные цели, предлагать примеры для подражания.

Использовать огромную действенную силу искусства, его специфическую, неповторимую способность учить, воспитывать, радовать, мобилизовывать, пробуждать творческие силы человека, его стремление к красоте и совершенству, поставить эту силу целиком на службу трудящихся, народа как неотделимую часть общей, чрезвычайно трудной, благородной и гуманной непрестанной работы партии по строительству социализма, сделать искусство, сообразно с его спецификой и многосторонностью, оружием в борьбе — в этом истинный пафос всех высказываний Георгия Димитрова об искусстве и художественном творчестве за четыре с половиной десятилетия его изумительно богатой общественной деятельности.

Народность искусства и культуры является основной проблемой во взглядах Георгия Димитрова. Это понятие Георгий Димитров всегда рассматривал с марксистско-ленинских позиций. Понятие «народ» у Г. Димитрова всегда наполнено конкретно-историческим содержанием.

Подлинная народность литературы и искусства в понимании Георгия Димитрова не исчерпывается неким просветительским народническо-сентиментальным поучением или преклонением перед «народной стихией»; она состоит в неотделимой от революции и необходимой для революции борьбе средствами искусства за рост самосознания народа, за пробуждение народных талантов, за полное раскрытие творческих сил трудящихся.

Новые общественные условия при социализме порождают два широких встречных потока, которые определяют совершенно новый характер народности социалистической культуры и искусства. Это, с одной стороны, слияние художественной деятельности — и по содержанию, и по размаху — с жизнью народа, и, с другой стороны, усвоение народом всех благ культуры и искусства. Оба эти процесса тесно связаны между собой, потому что при коммунизме искусство, будучи самой высокой формой эстетического сознания человека, становится внутренней потребностью целостной, гармонически развитой личности, следовательно, по своей глубочайшей сущности — и как процесс, и как результат творчества—искусство развивается как глубоко народное, в будущем как всенародное, активно действенное, жизненно необходимое, глубоко задевающее все струны души человека явление, достояние всего общества. Георгий Димитров совершил огромную теоретическую и практическую работу, чтобы направить болгарское социалистическое искусство по этому пути.

Нельзя служить своим искусством народу, не зная сущности, исторического смысла, развития и перспектив народной жизни. Нельзя служить общественному прогрессу, социализму, не сделав их своей плотью и кровью. Народность, партийность искусства не могут исчерпываться лишь субъективным желанием и решением художника сделать их для себя руководящим началом. Чтобы они действительно осуществились в художественном творчестве, они должны воплотиться в живых, жизненных, художественно правдивых образах, должны стать сутью произведения, живым духом, который вытекает естественно, органически из самой эстетической ткани произведения. «Революционный писатель не тот, кто только повторяет: «Да здравствует революция!» Революционным писателем может считаться только тот, кто содействует революционизации рабочих масс, мобилизует их на борьбу против врага»,— говорит Георгий Димитров. И поэтому искусство имеет только один, но верный и испытанный путь — претворять живую действительность в живые, правдивые, неотразимо воздействующие художественные образы. «Показывайте людей из плоти и крови»,— продолжает Димитров.

Георгий Димитров неоднократно указывал на необходимость изучения марксизма-ленинизма для писателей и художников, для каждого деятеля культуры. С высоких позиций марксизма-ленинизма мы должны оценивать не только сегодняшнюю историю человечества и современное общество, но также и тот огромный материал, те культурные ценности, которые нам завещали поколения. Потому что это прошлое принадлежит народам и никто не имеет права лишать их его. Все самое ценное, истинно прекрасное и прогрессивное должно стать широким достоянием масс, и только на его основах может развиваться новая, социалистическая культура. Поэтому коммунисты,

заявил Георгий Димитров в докладе на VII конгрессе Коминтерна, интересуются не только настоящим и будущим своих народов, они интересуются и их прошлым. Подлинная народная культура невозможна без культурного наследия, без духовных традиций народов. Георгий Димитров неоднократно, указывая на современную действительность как на животворный источник творчества, подчеркивал огромное значение и богатого народного наследия, славных традиций наших будителей [1], просветителей и деятелей нашего нового, социалистического искусства. Наряду с этим и в ряде выступлений, и живым примером своей деятельности он указывал на огромное, непреходящее значение великих творцов мировой художественной литературы от древности до Возрождения, от Гёте и Байрона до Горького и до наших современников, таких как Барбюс, Роллан, Нексе и другие.

Следует отметить и другую сторону взглядов Георгия Димитрова на взаимоотношения между культурным наследием и народностью. Говоря о практическом усвоении этого наследия, о том, что надо использовать и развивать самое ценное в нем, он имеет в виду в качестве мерила его прогрессивности и ценности именно критерий народности: насколько это творчество в свое время, в своих условиях было фактором прогрессивного развития человечества, в какой мере оно было выразителем стремлений и исторических интересов народа. Именно это делает художественные произведения бессмертными, непреходящими, доступными для всех времен и народов, значимыми и для нас в нашей эпохальной борьбе за коренное преобразование мира.

Эти и ряд других подобных высказываний Георгия Димитрова ценны не только конкретной оценкой творчества того или другого писателя. Они содержат и важные методологические указания для правильного отношения к творчеству писателей прошлого, а также нашего времени. Во взглядах Георгия Димитрова нет и следа какого-то упрощенного надклассового или вульгарно-социологического отношения к деятелям культуры. Он далек, как небо от земли, от стремления оценивать какое-либо произведение или творчество художника в целом, только исходя из его классового происхождения или только по политическим, общественным и другим его взглядам. Разумеется, мировоззрение и вообще взгляды писателя на жизнь — очень важный, а иногда и исключительно важный фактор творчества, потому что они определяют позицию автора по отношению к жизни и обществу, но они не единственный фактор. Искусство, художественное творчество — нечто значительно более сложное, чем прямое иллюстрирование идей и взглядов автора. Мир отражается в сознании художника в свете противоречивых, сложно переплетенных взаимосвязей его душевного склада, его политических, научных, религиозных, моральных, правовых, эстетических взглядов, личных стремлений и черт характера, различных общественных обязательств и пр. Так рождается его эстетическая оценка мира, которая лежит в основе его художественного творчества. Таким образом, может случиться, и часто в прошлом случалось, что общая или главная идейная и социальная направленность произведения или всего творчества противоречила отдельным мировоззренческим, политическим или другим взглядам данного автора.

Георгий Димитров давал и теоретически, и на практике убедительный пример того, что о творчестве надо судить прежде всего в соответствии с мерой его прогрессивности, народности, гуманности, по его объективной роли в общественном движении вперед, по тому положительному богатству идей, эмоций, моральных примеров, идеалов, которое оно предлагает сегодняшнему читателю, по той духовной и моральной опоре, которую оно представляет для нас в нашей сегодняшней борьбе. Так великие произведения прошлого тем главным, что они содержат в себе, служат не только для знакомства с жизнью минувших эпох и людей, а являются и оружием в нашем стремлении изменить к лучшему сегодняшнюю жизнь. Блестящий пример такого отношения к художественному наследству нам дает сам Георгий Димитров, который в своей драматической борьбе против гитлеризма в Лейпциге использовал поэзию Гёте как мощное оружие, служащее победе коммунистических идей.

Все высказывания Георгия Димитрова об искусстве, какой бы темы они ни касались, прямо или косвенно исходят из идеи, что искусство служит и должно служить человечеству, народу, отдельному человеку, делу его освобождения от вериг социального и духовного угнетения, его счастью и развитию. Эти цели искусства, степень осуществления идей гуманизма в конкретном творчестве являются и смыслом его существования, и вернейшим критерием его совершенства.

Истинное искусство измеряется своим гуманизмом. Высокое гуманистическое искусство, по мнению Георгия Димитрова, неразрывно связано с общественными судьбами человека, с историей человечества, с классовой борьбой и в этом смысле — с политикой. Искусство всегда встает на сторону одной из борющихся партий в обществе. Большое, гуманистически-реалистическое искусство пролетариата встает на позиции прогресса, связывает свою судьбу с победой общественной справедливости и демократии, с идеей полного освобождения трудящихся, торжества коммунизма, который является неоспоримо доказанной и единственно осуществимой и реальной формой этого освобождения. Подлинные большие писатели и художники-гуманисты нашего времени или с нами, или являются нашими союзниками. Георгий Димитров выдвигает

[1] Будитель — культурный, национальный и политический деятель в эпоху возрождения Болгарии.

мысль о могучем идейном и деловом союзе всех прогрессивных деятелей культуры, всех, кто тем или иным способом борется за свободу, благоденствие, счастье людей против сил мракобесия, империализма и фашизма.

Сегодня существуют все условия, чтобы искусство слилось с жизнью и делами масс, чтобы оно поднимало их сознание, учило их, вело за собой. Поэтому оно должно быть направлено на самые острые проблемы нашего времени. Искусство не может плестись за событиями, говорит Георгий Димитров в беседе с художниками. Художник должен видеть дальше, указывать горизонты. Искусство — это всегда борьба за новое и в человеке и в жизни. Поэтому оно не должно выдумывать несуществующую действительность, а должно видеть действительность такой, какая она есть, без прикрас. «Старайтесь видеть все вещи такими, какие они есть, а не представлять их себе такими, какими вам хочется их видеть». Но это далеко не значит, что надо быть рабами фактов, что надо впадать в бесперспективность, в отчаяние. Нет, это, по мысли Георгия Димитрова, означает только необходимость быть трезвыми, обладать острым чувством реальности, чтобы ее знать, чтобы суметь бороться за свой идеал как реалисты, а не как праздные мечтатели.

Вся история человеческого общества за последнее столетие и история нашей страны неопровержимо доказывают, что этот идеал имеет сегодня совершенно определенное имя — коммунизм.

На борьбу за этот идеал Георгий Димитров призывает поднять все силы народа, интеллигенции, привлечь все средства искусства. Надо писать и романы, и драмы, и симфонии, и оратории, надо воскрешать боевое и революционное прошлое, а главное — наше героическое настоящее, но надо писать и стихотворения — боевые призывы, надо использовать незаменимые средства юмора, сатиры, карикатуры, очерка. Надо и воспевать, и бичевать, надо и утверждать, и отрицать — воздавая всякому по заслугам.

Но все, что создается — и это Георгий Димитров всегда особо подчеркивает,— должно быть подлинным искусством. Никакая идея, никакая тема не могут искупить бездарное или небрежное исполнение. Идейность и мастерство неотделимы одно от другого, и чем выше идея, тем большим должно быть мастерство. Искусство не может удовлетворяться только декларациями и возгласами: «Да здравствует социализм!» — оно требует образов из плоти и крови, высокого художественного воплощения великих идей нашего времени.

Ничто не было так чуждо Георгию Димитрову, как шаблон, схема, упрощенное мышление. И говоря о правдивом отражении действительности в нашей литературе и искусстве и об их высокой идейности, партийности и народности, он никогда не забывал предостеречь нас от элементарной декларативности, от «идейности», приклеенной, как этикетка, от громогласного декламаторства. Даже в газетной агитации в самом узком смысле этого слова он требовал глубокого изучения жизни, конкретного знания человека, его душевного склада, чувств, стремлений. А тем более — в художественной литературе, в которой образ человека важнее всего.

Как истинный марксист-ленинец, Георгий Димитров всегда оперировал понятиями общество, народ, классы, партия. Но за этими понятиями он всегда видел отдельного, конкретного, живого человека. Конкретная жизнь отдельных групп, отдельных людей всегда более богата, чем мир абстракций и обобщений. Задача искусства и литературы в том и состоит, чтобы, определяя общие закономерности, общую сущность и типичность жизненных явлений, показать их через огромное, осязаемое, неповторимое и неисчерпаемое богатство отдельных лиц, событий, индивидуумов.

Именно поэтому Георгий Димитров не давал готовых формул, как писать, а направлял писателей и художников, чтобы они сами, собственными глазами увидели, собственным сердцем слились с богатствами нашей действительности. Не искусственно сконструированные герои, не идеализированные, выдуманные обстоятельства, а правда жизни. Правда является самым сильным оружием нашего искусства. Правда, воплощенная с высоким художественным мастерством.

■

Уже два десятилетия борьба за социализм и коммунизм на нашей родине продолжается без Димитрова по димитровскому пути. По этому пути развивается неуклонно и наша духовная культура.

«Навечно останется бессмертным,— сказал товарищ Тодор Живков,— имя великого сына болгарского рабочего класса и болгарского народа, генерального секретаря Партии болгарских коммунистов и Коммунистического Интернационала, создателя Отечественного фронта, стратега победы революции Девятого сентября, руководителя, начертавшего линию социалистического строительства в Болгарии, который уверенно повел нас к первым победам,— имя и образ нашего незабвенного вождя и учителя Георгия Димитрова!»

Перевод с болгарского С. ПАРХОМОВСКОЙ

Заметки на полях

О МАТРАЦАХ, ЯИЧКЕ И СВЯЩЕННЫХ ПРИНЦИПАХ

Физики на Западе по-прежнему озабочены поисками «сумасшедшей идеи», которая озарила бы им путь вперед, художники уже не озабочены. Нашли. Вполне сумасшедшую. И открывающую новые пути. В феврале прошлого года оксфордский Музей современного искусства предоставил помещение для выставки с таинственным названием «POPA at Moma». POPA расшифровывается Pioneers of Part Art («Пионеры соучастного искусства»). Двое авторов из пяти (Дэвид Медолла и Джон Далгер), прибыв в залы с небольшим запозданием, тотчас же забрали свой экспонат, так как посетители уже успели привести его в негодное состояние.

Менее чем через полгода администрация лондонской галереи Тейта закрыла выставку работ американского художника Роберта Морриса всего через пять дней после ее открытия. Здесь к предыдущей причине (разрушение экспозиции) добавилась все возраставшая опасность увечий для посетителей.

Факты эти, однако, не свидетельствуют ни о малочисленности английской полиции, ни об утере ею бдительности и боеспособности. Буйство любителей искусства входило в программу и являлось плодом эстетических исканий большой группы теоретиков и художников.

Обычное «закрытое», или «законченное», произведение искусства, установили они, является оскорбительным вызовом священному принципу равенства и демократии. Человек перед таким произведением остается пассивным созерцателем, вынужденным мириться с авторской манерой и трактовкой темы. Надо же, чтобы он мог вносить свой вклад в произведение, становился соавтором. Как? На этот вопрос и дает ответ «соучастное искусство».

Посетителям выставки Роберта Морриса предлагалось тащить по металлическим поверхностям прикрепленные к веревкам железобетонные блоки и листы железа. Были там и приспособления для ходьбы по проволоке, и бревно, крутившееся под ногами, вращающиеся платформы для проверки ловкости и чувства равновесия, наклонные плоскости, чтобы взбираться наверх, туннель, даже печная труба, которую надо было «преодолевать», правда, без метлы...

Против «соучастия» зрителя в творчестве художника в общем-то не выступал ни один из эстетиков прошлого. Восприятие искусства — серьезная духовная работа, в чем-то аналогичная той, которую проделал автор произведения. Но, как видим, в данном случае речь идет совсем не о духовном соучастии, а о соучастии мышц, связок и сухожилий. Почему именно им отдается предпочтение? «Полное использование всех возможностей тела помогает нам более уверенно ощущать свое существование как физическую реальность»,— поясняется в проспекте выставки.

Что и говорить, в условиях современной технической цивилизации жизнь порой становится настолько нелепой, что действительно человек перестает доверять глазам и слуху. Ему хочется время от времени ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности своего существования. Так что «соучастное искусство» взяло на себя вполне гуманную миссию. Посетители выставок проявляют в этом отношении необъяснимую неблаго-

дарность, калеча экспонаты. Впрочем, так ли уж необъяснимую? В печати появляются материалы, в которых многое растолковывается вполне убедительно. Эдвард Льюси-Смит, например, в статье «Новая пошлость?» (журнал «Энкаунтер») пишет:

«Посетители Тейта, включившись соучастниками в игру, проявили довольно много жестокости и безрассудства. Но в конце концов ведь их снабдили механизмами, идеально подходящими для возбуждения именно таких инстинктов... Каждый посетитель мужского пола, достигший призывного возраста и знакомый с тяготами воинской повинности и службы гражданской обороны, немедленно ощутил в открывшемся ему зрелище призыв к разрушению. Не хватало только, кажется, криков сержантов и орудийного грохота, однако скрежет металлических листов с успехом заменял отсутствие таковых...»

Что ж, ради утверждения «священных принципов равенства и демократии» стоит пожертвовать некоторым количеством бетона, жести и прочих строительных материалов, да вот беда — оказывается, демократия и равенство таскaнием железобетонных блоков и балансированием на проволоке достигаются не совсем полные. На место «аристократов духа» тут выдвигаются аристократы бицепсов. Автор статьи резонно отмечает:

«Шедеврами Национальной галереи можно наслаждаться и в девятнадцать, и в девяносто лет... Только исключительно самоуверенный и хорошо сохранившийся сорокалетний человек может по-настоящему, что называется «на полную катушку», участвовать в замысле Морриса».

Однако представителей нового направления искусства подобным аргументом не смутить. Для тех, кому шедевры Роберта Морриса грозят инфарктом или грыжей, они создали более легкие жанры. Не столь давно Комиссия по делам искусства Великобритании организовала на газоне перед зданием Серпентайн-гэлери в Кенсингтон-гарденс пробный показ экспонатов выставки скульптуры «Блоу ап 71». Английские наследники Праксителя и Родена создали богатую коллекцию огромных надувных труб и матрацев. Ценители искусства могли при этом не только полюбоваться экспонатами, но и полягать их, вскарабкаться на них, посидеть верхом, попрыгать там всласть. Выставка имела поистине сногсшибательный успех. За пять дней на произведениях повалялось более 25 тысяч леди и джентльменов самого различного возраста, здоровья и вероисповедания, являя тем самым торжество священных принципов равенства и демократии.

Но, может быть, леди и джентльмены взбирались на матрацы, не преследуя столь далеко идущие цели? Ведь они обычно ничуть не менее охотно посещают комнаты смеха, лабиринты, американские горы, карусели и прочие аттракционы. Может быть, они и на газон шли не ради искусства, а просто развлечься, поиграть?..

В былые, менее просвещенные времена такое допущение, наверное, показалось бы оскорбительным. Но было бы опрометчивым ожидать подобной реакции от сторонников «соучастного искусства».

— Да,— говорят они.— Конечно. Именно поиграть. Это-то и доказывает, что наши листы железа и надувные трубы являют собой искусство. Высокое и бескорыстное...

Тут вам станет очевидным, что «соучастное искусство» — не баловство, не шутка художника, а вполне законное дитя современной эстетики. Дитя, у которого есть вполне приличные теоретические метрики и род которого восходит чуть ли не к Шиллеру. Обратимся снова к статье Эдварда Льюси-Смита.

«Игре и игровому моменту отводилось место почти во всех теориях творчества вплоть до традиционных. И все же игровой импульс никогда не рассматривался как доминирующий даже теми, кого привлекало бергсоновское понятие «жизненный порыв». Произведение искусства определялось в основном по его характерному тяготению к своего рода «запредельному» нечто, и именно это тяготение определяло отличие искусства изящного от искусства прикладного.

В современном обществе... идея игры резко выдвинулась на первое место. Когда мы играем, мы реализуем свои фантазии, уходящие корнями в область бессознательного. Произведение искусства дает возможность зрителю реализовать игровой импульс и потому рассматривается теорией как особого рода терапия... Она дает возможность зрителю-соучастнику освободиться от ощущения недовольства и подавленности, возникающего оттого, что человек в современном обществе неизбежно находится в конфликте с социальным окружением...»

Что ж, ситуация складывается очень поучительная. Прямо хоть бери ее темой семинара для тех, кто до сих пор не осознал важность отвлеченных теоретических дискуссий. Практику «соучастного искусства» высмеять не так уж трудно, но, когда мы доберемся до его теоретических основ, смешками отделаться вряд ли удастся. Основы эти вполне респектабельны и даже чем-то симпатичны. Между игрой и искусством существует неоспоримое многостороннее сходство.

И то и другое не преследует каких бы то ни было утилитарно-практических целей. И то и другое основывается на «свободной игре воображения», «вольном полете фан-

тазии». И то и другое не подвержено внешней необходимости, несет людям радость, наслаждение, свободу. И игра, и искусство могут брать на себя определенные «терапевтические» функции, снимая чувство отчужденности, подавленности, угнетенности... Чем не достойные для художника цели, спрашивается? Мода на игру в западных странах растет на глазах. На выставке «Кинетическое искусство» в Хейвард-гэлери посетителям предлагалось установить «игровые отношения с технологией». Одна из целей выставки игрушек —

> «продемонстрировать, насколько трудно стало в настоящее время провести различие между произведением искусства и игрушкой».

Однако если признать игровую природу художественного творчества и восприятия, то не будет никаких оснований выводить за пределы искусства конструкции Роберта Морриса. И наше неприятие их выглядит просто как проявление косности, ретроградства, боязни смелых, непривычных форм. И Аполлинера ведь не принимали, и над Ван Гогом смеялись.

Но чего ради мы должны признавать эту игровую природу? Сходство игры и искусства в общем-то чисто внешнее. По своей специфической социальной функции они отличаются принципиально, в корне. Игра — даже тогда, когда она коллективная,— была и остается формой «самообслуживания», формой тренировки ума, чувств, тела, выработки навыков, привычек, сноровки. Развлекательная функция игры тоже адресуется самому играющему. Игра, конечно, как и все в человеческой жизни, связана и с познанием и с идеологией, но сама по себе не является ни тем, ни другим.

Искусство же все лежит в сфере познания, в сфере мировоззрения. В театре актер тоже «играет», но играет не для себя, а для других. Все его действия имеют особый смысл, подчинены цели передачи зрителям своего понимания изображаемого характера, отношения к нему, эстетической оценки его. Даже прикладное искусство и дизайн лишь в той мере являются искусством, в какой несут в себе осмысленное и целеустремленное (автором это может и не осознаваться, но это ничего не меняет) выражение отношения к тем или иным явлениям; в той мере, в какой практически полезные предметы способны выражать духовно-ценностные суждения.

Игрушка вполне может стать произведением искусства, но не в своей игровой функции, а в своей внешностной, образной выразительности. Баюкая куклу, созданную талантливым художником и достойную считаться не ширпотребом, а произведением искусства, ребенок не потребляет ее художественной ценности, точно так же, как использование унитаза, сконструированного талантливым дизайнером, не становится приобщением к искусству. Искусство — явление духовное, оно и рождается и потребляется только в сознании.

Так что соучастие зрителя (или слушателя, читателя) тоже может выражаться лишь в сфере духовной, в сознании. И вовсе не всякий зритель покорно заглатывает любую «наживку», которую ему подсунет автор. Духовно и умственно развитый зритель не только думает вместе с художником, сочувствует ему, сопереживает с ним, он и спорит, и сомневается, и порой борется, отрицает эстетическую идею, выражаемую в произведении автора. Это работа не менее напряженная, чем перетаскивание железобетонных плит, не говоря уж о кувыркании на надувных матрацах. Никакое другое соучастие художника и зрителя не требуется. Я не очень верю в перспективность и прогрессивность начинаний театральных режиссеров, пытающихся включить зрителя в действия, происходящие на сцене. «Соучастное искусство» противоречит одному из важнейших законов искусства — закону «остранения», запрещающему художнику при самом правдивом изображении разрушать границу между фактом жизни и фактом искусства.

Для чего же понадобилось теоретикам «соучастного искусства» забывать азы эстетики, затемнять вопрос об отличиях идеологии от развлечения, физкультуры (которые вполне хороши на своем месте!)?

Некоторый свет на этот вопрос проливает наблюдение, сделанное Э. Льюси-Смитом:

> «Странно еще и то, что, хотя авангардистское искусство (и у нас, как и повсюду) сейчас более чем когда-либо имеет тенденцию считать себя в состоянии войны с устоями общества и его институтами, соотношение игры и искусства как один к одному становится также закономерным убеждением и тезисом в среде политиков и чиновников-администраторов. Язык скрывает эту идентичность точек зрения: к тому, что художник авангарда называет «игрой», политик применяет термин «использование досуга».

Действительно, если ниспровергатели устоев и хранители их образуют слаженный дуэт, это несколько настораживает. Когда правящая верхушка не в силах уже подыскать для потребителей хоть сколько-нибудь привлекательный идеологический товар, самое верное — вообще увести людей подальше от идеологии. Ну, а почему

на щит при этом взят принцип соучастия? В статье «Новая пошлость?» и этому дано очень резонное объяснение:

> «В торговле, точнее, в торговле полуфабрикатами, так называемое «соучастие», по терминологии художников, давно уже было известно под названием «добавьте яичко»... Было обнаружено, что домашняя хозяйка, покупая уже готовую смесь, скажем, для кекса, испытывает некоторое недоверие к качеству покупки... Учитывая это, в инструкции советуется ей до того, как начать выпечку кекса, добавить в купленную смесь еще один ингредиент, совершенно натуральный продукт, а именно — сырое яйцо. Такой минимальный кулинарный штрих успокаивает совесть хозяйки...»

Ну вот, все и стало вроде бы на свое место. И приблизительно ясно, что такое «соучастное искусство», для чего оно, почему оно. Ясно и то, что новое облачение для старой пошлости, как назвал Э. Льюси-Смит рекламируемую сейчас в западном изобразительном искусстве «власть игры», не в силах прикрыть эту самую пошлость и что сколько ни добавляй к матрацу яичек, он все-таки останется всего-навсего матрацем, место которого в спальне или на пляже, а не в Эрмитаже и не в Лувре.

АНДРЕЙ НУИКИН

ПОЧЕМУ ОНИ ПИШУТ...

Говоря о современной швейцарской литературе, чаще всего имеют в виду М. Фриша, Ф. Дюрренматта, О. Штейгера, чьи книги у нас неоднократно переводились. Но в Швейцарии, как известно, пишут не только по-немецки, но еще и по-французски, и по-итальянски, и по-ретороманski. А много ли мы знаем об этих ответвлениях швейцарского литературного процесса? Взять, к примеру, французскую Швейцарию, или Романдию, как ее часто называют сами швейцарцы. Существует ли еще романдская литература, озаренная некогда отблесками мировой славы Ж.-Ж. Руссо, Ж. де Сталь, Б. Констана, или же она окончательно превратилась в провинцию Парижа? Какие проблемы волнуют швейцарских литераторов, пишущих на французском языке?

Известное представление об этом дает анкета, опубликованная недавно на страницах лозаннской «Газетт литтерер». Редактор этой газеты Франк Жоттеран (уволенный из «Лозаннской газеты» за слишком левые взгляды) попросил литераторов романдских кантонов ответить на единственный вопрос: «Почему я пишу?» Большинство ответов, среди которых есть и страстные исповеди, и серьезные раздумья, и игривые, претендующие на оригинальность заявления, отмечено каким-то смутным ощущением вины — может быть потому, что слишком незначительными выглядят иногда творческие муки швейцарских писателей в сравнении с противоречиями, которые разрывают современный мир.

Всего в газете выступили 22 автора (их ответы потом были изданы отдельной книгой, снабженной предисловием составителя — Ф. Жоттерана). И хотя это далеко не вся романдская литература, форум получился все же достаточно представительный, позволяющий судить о нынешнем состоянии швейцарской литературы на французском языке, о некоторых глубинных процессах, в ней происходящих.

Современная литература французской Швейцарии уже мало походит на ту вышколенную кальвинистскими доктринами, страдающую общественной и стилистической «застенчивостью» словесность, какой она была до недавнего времени. В некогда едином, за редкими исключениями, литературном потоке заметно определились контуры расслоения, четче оформились противоречия и резко обострилась борьба направлений. Наряду с писателями, традиционно тяготеющими к морализаторству и воспроизведению особенностей местного уклада жизни, наряду с мастерами поэтизации микромира, воссоздания внутренних переживаний отдельной личности появились художники с высоким зарядом социального критицизма, наделенные обостренным чувством ответственности.

Естественно, в ответах писателей на анкету Ф. Жоттерана не могла не найти отражение пестрота литературной панорамы современной Романдии. Но ответы столь разных писателей, собранные под одной обложкой, все же подтверждают справедливость высказывания женевского критика А. Берхтольда, заметившего, что у большинства романдских писателей анализ сопровождается сознанием собственного бессилия и беспомощности, неприспособленности к реальной жизни, печальным и чудесным заменителем которой для них является жизнь внутренняя. Оторванность от общественной жизни, одиночество, камерность, погруженность во внутренний мир, самовыражение, сведение творческого процесса к сублимации подавленных желаний — все это настойчиво дает о себе знать в высказываниях многих писателей и поэтов. Приведем некоторые из них.

«Как негры танцуют, как львы совокупляются, как волки воют от голода, так и мы выкрикиваем слова, вскрываем себе вены со словами на устах. Это сильнее нас. Книга — это гидра, свившая гнездо в нашем мозгу и пожирающая нас целиком, до последней капли крови... Я пишу, чтобы изрыгнуть себя такой, какая я есть... Ни один акт не разумен, если он не рожден из глубины наших самых потаенных желаний» (Гризелидис Реаль).

«Писать — значит освобождаться от своего «я», от страшных, неповторимых глубин подсознания; это значит также делиться ими со всеми людьми, нашими братьями, и делать это без всяких прикрас» (Клод Обер).

«...литературное творчество...— это что-то рожденное в безумии, в выспрашивании самого себя, в растерянности перед миром, который угнетает тебя всеми способами...» (Морис Шаппа).

Отдельные авторы (например, долгое время живущий в Париже Жорж Борго) пользуются приемами самовыражения, отдавая себе отчет в том, что им, по существу, нечего выразить. Так, каждая книга для Борго — это возможность

«выпустить на поверхность еще несколько пузырей и водяных жучков, которые скрываются в недрах подсознания».

Он упивается мнимой свободой выбора, богатством возможностей, но прежде всего возможностью игнорировать ответственность перед людьми за свои писания. Только этим, пожалуй, можно объяснить пассаж, включающий в себя ответ на вопрос анкеты.

«В сравнении с благородными причинами творчества, которые столь часто провозглашались значительными писателями нашего века, мои не более чем легкомысленны. Я не провозглашаю истин; мне их никто не открывал. Я не смотритель маяка, на который в бурю ориентируются корабли. Я барахтаюсь в неспокойном море вместе со своим потайным фонарем. Я дерзок и труслив... Я излучаю крошечный свет от спички, зажженной в задымленном литературном кабаре. По-моему, только тот поэт, кто в силу своей субъективности работает «на вечность», кто отринул психологию, ясность, кто черпает из глубин бессознательного, кто отказался от анализа и освободил нас от логики...»

Трудно понять, чего здесь больше — дерзкой бравады или циничной убежденности. Во всяком случае, Борго верит, что у него ничуть не меньше прав на «самовыражение», чем у всех остальных.

Некоторые писатели видят в литературном творчестве один из способов самоутверждения перед лицом враждебного человеку антагонистического мира, возможность выжить, вынести тяготы бытия. Об этом уделе многих буржуазных гуманистов хорошо сказала писательница Коринна Бий:

«Разве могла бы я жить вне творчества?

Я бы не вынесла счастья, я бы не вынесла страданий. Творчество — это лекарство от всего, что невыносимо... Только моя работа дает мне ощущение равновесия, необходимую опору, которую не могли мне дать ни общественная жизнь, ни религия, ни приключения, ни даже материнство. Вот почему литературное творчество остается для меня делом жизни. Я пишу, чтобы не умереть».

Ей вторит писатель, критик, эссеист Жак Шессе, один из основателей аполитичного ежегодника «Экритюр», автор нашумевшей в Швейцарии и Франции книги «Карабас» (1971):

«Я пишу, потому что боюсь смерти. Своим творчеством я борюсь со страхом смерти, со смертью».

Есть среди ответивших на вопрос анкеты и такие, кто начинал с общественной активности, но разочаровался в ней и теперь пишет, чтобы утолить «голод по абсолютному», создать видимость интенсивной жизни. К ним относятся молодой поэт Гастон Шерпийо и поэт старшего поколения Жан Кютта, который в годы фашизма основал во французской Швейцарии прогрессивное издательство «Ворота Франции». Однако с тех пор общественная позиция Кютта изменилась в сторону абстрактного гуманизма. Боевой дух угас: «Моя политика — это поэтика». О характере эволюции, проделанной Кютта, по его словам, «справа налево», можно судить хотя бы по следующему высказыванию:

«Я всегда утверждал, что наряду с обычной сексуальностью есть еще сексуальность духа. Творить, по-моему, это крутить любовь с миром. В результате рождаются стихи... Поэзия всегда была только спазмом до крайности обостренного духа».

Не следует, однако, думать, что романдские писатели заняты исключительно фиксацией своих внутренних переживаний или безобидным оригинальничанием. Большин-

ство из них внутренне не приемлет тенденций буржуазного развития, не скрывает чувства неудовлетворенности действительностью, но в их критицизме есть что-то от запоздалого романтического бунта. Часто они ищут социальную и этическую опору в прошлом, в патриархальной старине, или же проторенными романтическими тропинками бегут в природу, в безлюдье, надеясь здесь обрести утраченный вселенский порядок. Они в меньшей степени интересуются поисками новой ориентации, которыми заняты писатели немецкоязычных кантонов. Романдские литераторы в целом бережнее обходятся с традициями и свое недоверие к политике буржуазного государства часто демонстрируют отсутствием интереса к ней.

Однако «возвращение» к природе, бегство от сложности человеческих отношений, от запутанной системы общественных связей, требующих постоянных компромиссов с собственной совестью, вряд ли могут заменить художнику ту живительную атмосферу борьбы за человека в обществе, в которой только и возможно подлинное искусство.

Это хорошо понимают так называемые «ангажированные» писатели и поэты, в ответах которых предпринята серьезная попытка связать индивидуальные мотивы творчества с запросами общества, нащупать сложную диалектику «вечного» и актуального. Они ощущают живые связи с общественным процессом и хотят оказывать на него воздействие.

> «Моя жизнь поэта связывает меня с миром, а не с абстракциями. Поэзия вправе давать обеты. Обязуюсь присоединять свой голос к голосам тех, кто встает на защиту справедливости и свободы везде, где они подвергаются угрозе, и бороться за них так долго, как это понадобится» (Александр Вуазар).
>
> «Я хочу писать книги столь же субъективные, что и первые мои романы, но быть в такой мере связанным со своей эпохой, чтобы в конце жизненного пути была видна только эта связь» (Роже-Луи Жюно).
>
> «Я всегда рассматривала себя как отражение (одно из отражений) той социальной группы, к которой я принадлежу... У меня никогда не было ощущения, что я живу в пустыне... Я не могу писать что угодно. Существует срочный заказ. Время торопит, и мне просто некогда воспевать яблони в цвету и полную луну, которая и в самом деле меня волнует и тревожит. Повседневные проблемы не терпят отлагательства...» (Анн Кюнео).
>
> «Когда я пишу, я остаюсь один на один с моим пером и чистым листом бумаги, и мне страшно, потому что со всех сторон и в самых разнообразных формах я ощущаю гнет власти денег и тех ценностей, которые эта власть насаждает... Но все же я пишу в липком, грохочущем мраке, потому что чувствую, как во мне все сильнее клокочет вулкан истины, вулкан извергающихся слов, бунта, неприятия, по мере того как я проникаю, благодаря своей профессии, в механизм социальной, экономической, культурной реальности...» (Ришар Гарзаролли).

Такие писатели остро чувствуют несвободу художника в «свободном мире», не принимают антигуманных тенденций «общества потребления», подвергают его резкой критике — и в то же время сомневаются в действенности литературы, не верят в эффективность активной политической борьбы. Даже поэт А. Вуазар, в творчестве которого явственно слышны гражданские, политические мотивы, повторяет известное высказывание, что дело писателя писать, а не вмешиваться в политику. Старое в Швейцарии пока еще сильно. Цепкие традиции держат многих, кто уже разуверился в перспективах одной из самых благополучных модификаций буржуазного общества, но в силу инерции не решается примкнуть к борьбе на стороне подлинно прогрессивных исторических сил. Однако налицо и другое — заметно усилившееся в последние годы нарастание социально-критического потенциала романдской литературы.

Правда, на волне этого процесса выступают, особенно в последние годы, и иные явления. В ответах на анкету — и, разумеется, в творчестве — некоторых писателей младшего поколения слышатся отголоски модных на Западе теорий о гибели традиционной литературы, о наступлении эры массового «индустриального фольклора» и т. п.

> «Пишут везде и всюду. Литература разлетелась на тысячи осколков. Книга — самый благородный из них, потому что самый древний. Лозунг, листовка, афиша, булла, подпись к рисунку, рекламный щит, надпись на стене, магнитофонная лента, торжественная речь, проповедь, заметка, объявление. Никогда так много не говорили и не писали. Никогда так мало не слушали. Литература делается всеми для никого (или для всех, что одно и то же)» (Клод Фрошо).

Нельзя сказать, чтобы К. Фрошо был в восторге от такого рода «литературы», он пишет о ней скорее с сожалением. Но он ничего не в состоянии ей противопоставить, он воспринимает ее как нечто неизбежное, неотвратимое, с чем бесполезно бороться. А Жан Вюйёмье, автор романа «Черный занавес» (1970), встретившего благоприятные критические отклики в швейцарской и французской прессе, вообще сомневается, оправдано ли существование литературы (и шире — культуры) перед лицом человеческих страданий. Раз попытки сеять сомнения и тревогу — тоже способ приспособления, а нонконформизм, особенно его доходные формы,— оборотная сторона все

той же буржуазности, то не лучше ли просто молчать? — отвечает он вопросом на вопрос анкеты. Иными словами: Вюйёмье и иже с ним просто не знают, в чем и как может проявиться социальная функция литературы в условиях современной Швейцарии. А раз так, то остается либо отрицать полезность литературы, либо бороться против «устарелого» типа мышления, против грамматики — за «новый язык» и «новую реальность».

Надо сказать, однако, что сторонников подобных теорий в Романдии немного, их доводы — скорее дань веяниям, долетающим из Франции, Западной Германии и из-за океана, чем результат внутренней убежденности. Боязнь провинциализма, желание не отстать от моды всегда сопровождали развитие швейцарской литературы, но никогда не получали сколько-нибудь серьезного значения. То же, по-видимому, происходит и сейчас.

Обозревая калейдоскопическую пестроту мнений и точек зрения, высказанных в анкете, Ф. Жоттеран склонен восхищаться игрой творческих сил и разнообразием направлений в романдской литературе наших дней. Но заявлениями и манифестами, даже самыми оригинальными, сыт, как говорится, не будешь. Для восхищения не хватает пока главного — по-настоящему интересных, значительных произведений, которые привлекли бы к себе внимание широкого европейского и мирового читателя. Романдские писатели заняты исследованиями локальных проблем и пока робко выходят на перекрестки идейной борьбы, в глобальных масштабах охватившей современный мир. Однако внутренние сдвиги, происходящие сейчас в литературе французской Швейцарии, позволяют надеяться, что такие книги скоро появятся.

В. СЕДЕЛЬНИК

КАК ПОВЫСИТЬ ИНТЕРЕС К ЛИТЕРАТУРЕ?

Отношения писатель-издатель-книга-читатель — тема, не новая для дискуссий и писательских форумов во многих западных странах. Эти проблемы, столь острые и актуальные для развитых капиталистических стран, должны бы казаться несколько преждевременными для такой страны, как Турция, однако они там существуют — хотя и в иной форме — и не менее остро волнуют турецкую общественность.

В прошлом году стамбульский журнал «Еди тепе», отметив сокращение спроса на книгу вообще и недостаточные тиражи «хороших» книг, обратился к двадцати четырем турецким литераторам с вопросом: «Какими мерами можно повысить интерес к литературе у нас в стране?»

Писатели, принявшие участие в анкете, прежде всего пытались уточнить само понятие «хорошие книги».

> «Когда вы говорите о «хороших» книгах, вы, очевидно, имеете в виду абстрактные произведения, по языку и содержанию мало понятные народу»,— пишет, например, известный прозаик Кемаль Бильбашар.

А если так, то, по мнению многих участников анкеты, «повышать интерес» к такой литературе невозможно и вряд ли нужно. Более того, некоторые литераторы видят прямую связь между засилием модного на протяжении многих лет модернистского течения «Второе новое» и падением общего интереса к литературе.

> «Второе новое» — поэтическое течение, которое осталось без читателя»,— утверждает Эмин Оздемир.
>
> «Отчуждение читателей — следствие «умничанья» писателей»,— поддерживает его поэт и романист Аттила Ильхан.
>
> «Бессмысленные стихи, абстрактное искусство, литература подсознания... снижают спрос на книгу»,— присоединяется к ним поэт, переводчик и критик Талят Саит Хальман.

Неслучайно реалистическая литература занимает в последнее время все большее место среди других течений и тенденций современной турецкой литературы:

> «Некоторые молодые писатели, еще недавно работавшие в рамках абстракционизма, литературного течения, известного под названием «Второе новое», поняли его обманчивость и перешли в «реалистическую веру». Это очень отрадное явление»,— с удовлетворением отмечает Аттила Ильхан.
>
> «Реалистические произведения печатаются большими тиражами и хорошо расходятся»,— считает Кемаль Бильбашар.

Присуждение литературных национальных премий за 1971 год подтвердило, что предпочтение отдается произведениям, реалистически отражающим жизнь. Так как одной из самых насущных проблем Турции является в настоящее время положение крестьян и вопрос об аграрной реформе, особое внимание было уделено произведениям

на деревенскую тематику. Наряду с уже давно известными мастерами «сельской» прозы, такими как Яшар Кемаль, Факир Байкурт и др., зазвучали имена более молодых писателей — Бекира Йылдыза, Османа Шахина.

Стремясь приблизиться к народу и писать доступным ему языком, некоторые писатели стали злоупотреблять диалектными словами, непонятными основной читающей массе.

«Приходится непрерывно пользоваться толковым словарем,— отмечает писательница и критик Нермин Менеменджиоглу.— Чрезмерное увлечение диалектизмами стало почти нормой в произведениях о народе, и это не может не вызвать дополнительных трудностей в отношениях между читателями и писателями».

Показательно, например, что после выхода в свет сборника рассказов Османа Шахина «Красный парус» (получившего, кстати, премию радио и телевидения за лучшие рассказы 1971 года), журнал «Еди тепе» опубликовал материал следующего содержания:

«Я с удовольствием прочел «Красный парус»,— писал поэт Рюшен Хаккы.— Но я все время спотыкался на неизвестных мне словах. Выписав эти слова, я узнал у Османа Шахина их значение и составил маленький словарь, который и предлагаю вашему вниманию».

Турция — страна очень низкого процента грамотности. Поэтому трудно сейчас говорить о прямом воздействии писателей на широкие массы народа. Речь скорее может идти о создании произведений о народе. Писатели понимают, что без принятия коренных мер положение в стране и литературе не изменится:

«Вероятно, можно предпринять какие-то шаги к тому, чтобы повысить в нашей стране интерес к литературе... Но ни один из них в отдельности не решит проблемы. Пока не изменится общественная структура, положение будет оставаться таким же». (Азиз Несин)

«Если общественное устройство не изменится коренным образом, не изменится и положение в литературе». (Бурхан Арпад)

«Нужно, чтобы произошли перемены в социальном и экономическом устройстве общества». (Омер Фарук Топрак)

Осознание необходимости социальных перемен обязывает писателя к определенному усовершенствованию, готовности к завтрашнему дню, пониманию ответственности перед читателем и перед страной. Турецкие писатели отдают себе в этом отчет:

«Надо, чтобы писатели прежде всего ответили на вопросы: «Что мы хотим дать? Что мы даем читателю? Что мы можем дать?» — говорит новеллист Аднан Озъялчинер.

«К какому обществу я принадлежу? Какие проблемы толкают меня к борьбе? Могу ли я что-нибудь изменить, если ухожу в себя, как черепаха в панцирь?» — размышляет поэт Суад Ташер.

Почти из всех ответов на анкету явствует, что писатели готовы на сближение с читателем, но односторонние усилия не могут принести желаемого результата:

«Если не воспитывать читателя, то положение писателя можно считать безнадежным. А в Турции,— отмечает поэт и драматург Селяхаттин Бату,— часто даже те, кто считается интеллигентами, не интересуются литературой. Врачи, юристы, инженеры не считают чтение серьезным занятием».

Впрочем, часть вины за охлаждение читателя к художественной литературе некоторые писатели берут на себя. Мнение таких писателей выражает Эмин Оздемир:

«За последние десять лет интерес читателя переместился с художественной литературы в область литературы социально-политической. А роман, новелла или стихи стали чем-то вроде десерта. Ничего не поделаешь...

Но писатели все же не ищут возможного подхода к читателю... Они не задают себе вопроса: «Для кого я написал?»

Если уж говорить о том, что писатели Турции делают пока не все возможное, чтобы установить контакт с читателем, необходимо сказать о трудностях, которые мешают им в этом.

Сетуя на отсутствие читателя, писатели Турции предъявляют претензии к школе:

«Интерес к литературе должен воспитываться в школьном возрасте. Наши предки говорили: дерево выбирает направление, будучи саженцем». (З. Селимоглу)

«В средней школе «литература» не справляется со своей миссией». (С. Бату)

«Необходимо улучшить подготовку и систему распространения школьных учебников». (Б. Арпад)

«Пока что в школе учащиеся приобретают только отвращение к литературе. В школьных учебниках всего несколько имен современных писателей. Учебники скорее похожи на «кладбище литературы». (Э. Оздемир)

«Надо улучшить преподавание литературы в школах». (Халиль Уйсал)

Важное место занимает вопрос о гонорарах. Они настолько ничтожны, что за исключением двух-трех писателей, которые практически уже стали классиками, таких как Азиз Несин, Кемаль Тахир, в Турции нет писателей-профессионалов.

«Надо обеспечить такой уровень жизни литераторов, чтобы они могли себе позволить быть профессионалами»,— говорит Бурхан Арпад.

«Писательский труд не считается профессией,— констатирует поэт Али Пюскюллюоглу,— литераторы сейчас находятся в положении человека, потерявшего свое дело.»

Положение писателей во многом зависит от издателей:

«Литература стала делом коммерческим. Отношения литератор-издатель, литератор-читатель, читатель-книга строятся теперь по правилам торговли. С помощью рекламы и торговли самые низкопробные книги могут найти читателя». (А. Пюскюллюоглу)

«Издательское дело сосредоточено в руках крупного капитала. Чтобы получить прибыль, издатели стараются выпускать книги в нескольких томах, в дорогих суперобложках и т. д. Учитель, учащийся, рабочий, крестьянин или совсем не покупают такие книги, или испытывают финансовые затруднения, приобретая их». (А. Озъялчинер)

В последние годы на страницах литературных журналов «Варлык», «Пашрус» и др. неоднократно появлялись статьи, в которых отмечался недостаточный уровень литературной критики в Турции и подчеркивалась ее важная роль в развитии национальной литературы. Об этом же говорили писатели, принявшие участие в анкете «Еди тепе»:

«Надо уделять больше внимания литературным исследованиям, знакомить читателя с выдающимися произведениями и прививать любовь к ним». (С. Бату)

«Одна из причин того, что художественная литература отошла на второй план,— отсутствие литературной критики высокого уровня». (Ахмед Кёксаль)

«Критик должен наставлять, воспитывать, развивать читателя. Это у наших критиков пока еще не получается». (Э. Оздемир)

Многие писатели считают даже, что именно критика должна построить мост между читателями и писателями, который так необходим.

За последние десять лет изменились и турецкие писатели, и турецкие читатели, поэтому будем надеяться, что их совместными усилиями этот мост начнет строиться.

В. ФЕОНОВА

Публицистика

М. ТУРОВСКАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОНИ

Только что вышедший у нас роман Эла Моргана называется «Великий человек» (изд. «Искусство». М., 1971 г.). Его героя, Герба Фуллера, нет в живых: он разбился в автомобильной катастрофе. Эду Харрису предстоит стать преемником «великого американца» на телевидении.

Прием сам по себе не нов: готовя мемориальную передачу о Гербе Фуллере, Эд Харрис попутно выясняет всю его подноготную. Сюжет тоже не нов: славный малый, любимец публики на поверку оказывается подонком.

Не то чтобы он родился прохвостом или даже сделал карьеру благодаря этому. Но по мере того как он продвигается по пути «великого человека», само телевидение все более делает его подонком. А по мере того как он становится все хуже, дела его на экране идут все лучше, пока Эда Харриса не призывают увенчать легенду о «папаше Фуллере» мемориальной передачей и тем увековечить ложь в умах миллионов зрителей.

Если бы книжка просто описывала нравы американского телевидения, то и тогда она была бы интересна и занимательна для читателей.

Но на самом деле роман представляет интерес еще с одной стороны: он показывает некоторые фундаментальные особенности телевидения как средства массовой коммуникации в его отношениях с буржуазным обществом.

Едва ли автор ставил это своею целью: его интересовали люди и социальные отношения. Между тем в эпоху научно-технической революции, когда новая техника вмешивается в исконно человеческие области бытия, было бы опрометчиво не задуматься о возможностях и опасностях, которые она в себе таит.

На Западе, где насыщенность телевизорами приближается к полной, где значительная доля бюджета человеческого времени отдана домашнему экрану, где выросли уже первые «телевизионные поколения», о новом средстве массовой коммуникации написаны многие тома теоретических трудов. Роман Эла Моргана, не претендуя на теорию, дает довольно точную зарисовку практического положения дел и может служить своего рода документом.

Экран делает из никому не известного морячка, обладающего долей непосредственности, обаяния и искренности, чтобы произнести импровизированную проповедь, и долей цинизма, чтобы в дальнейшем разбавлять проповеди сальными шуточками, достопримечательность сначала местного, а потом и общенационального масштаба. Но Герб Фуллер — частный случай гораздо более общих закономерностей: феномена телевидения в западном мире. И если «великий американец» условно может быть назван героем романа, то телевидение — его главное «действующее лицо».

Телевидение выступает в книге Эла Моргана как персонаж отрицательный. Как нередко это бывает, отрицательным делают его вроде бы хорошие, вроде бы добрые свойства, дарованные ему при рождении.

Маленькое отступление в историю.

«На наших глазах нарождается искусство, которое *не приемлет*, как бы даже само разоблачает фальшь. Точность, документальность, подлинность лежат здесь в самом его основании, составляют как бы исходный пункт всей его эстетики. «Абсолютный слух на правду» — вот что от природы получило телевидение. Право же, оно родилось в рубашке!» — так писал в своей лирической книжке «Телевидение и мы» В. Саппак.

Слова «документальность», «подлинность» и «правда» здесь почти синонимы.

Книжка увидела свет в 1963 году, а между тем уже в 1957 году в США была сделана знаменитым Элиа Казаном по сценарию знаменитого Бадда Шульберга картина «Лицо в толпе».

«Но вот что ново, вот что дается только телевидением: здесь объектом эстетическо-

го восприятия становится не «образ», а сам человек, без преображающего художественного начала, без грима»,— писал Саппак. Между тем «документализм» и «правда» разошлись в фильме на самую далекую дистанцию, а «человек без грима» превратился во всеамериканский общенациональный и небезопасный миф.

Практика американского телевидения — самого могущественного и самого коммерциализированного — уже показала в то время, какие вполне реальные опасности заключает в себе видимая подлинность телевизионного изображения и как она переходит в свою противоположность.

Я вспоминаю картину Шульберга и Казана не только потому, что она осталась в числе лучших реалистических фильмов американского кино, но оттого, что она очертила контуры грядущего зла. Сюжет ее может служить наглядной моделью для понимания нового средства коммуникации в обществе, которое социологи называют «массовым», или «потребительским». Недаром она стала прообразом для тех, кто хочет рассказать о кулисах американского телевидения — о том, как соотносится человек на экране с человеком за кадром.

Так, история Герба Фуллера, восстановленная его преемником, повторяет в сниженном варианте судьбу Лоунсома Родса, этого классического мифа «великого американца», созданного индустрией развлечений.

Лоунсом Родс — бродяжка, дремлющий в обнимку со своей гитарой в углу провинциальной каталажки и задержанный за нарушение общественного порядка, случайно становится объектом передачи «Лицо в толпе» на маленькой местной станции в Арканзасе.

«Чье лицо? Может быть, ваше, может быть, ваше, а может быть, и ваше, потому что в каждом лице есть что-то привлекательное. Сегодня Марция Джеффрис ищет новое лицо в толпе. Сейчас она ведет репортаж из тюрьмы округа Томагаук».

Жизнь врасплох — идеал телевидения, мечта голубого экрана!

Бродяжка Родс, которому Марция сама придумала имя «Лоунсом» («одинокий»), как впоследствии Герб Фуллер, оказывается по-своему личностью. Они оба циничны, дерзки, откровенны и обладают талантом быть «душой компании»; а главное — Родс, как и Фуллер, пока он еще никто, свободный человек. Ему нечего терять, а приобрести он может... миллионы телезрителей.

Вот в этом-то пункте, где «специфика» телевидения учтена и исчерпана до дна, начинается история величия и падения голубого экрана.

Несколько цифр: в 1946 году в США было меньше 17 тысяч телевизоров, через пять лет — больше 10 миллионов. Уже в 1960 году на страну было 57 миллионов телевизионных установок. Эти данные приводит Ф. Даттон в своей недавно изданной книге «Смена источников власти».

В 1968 году Америка располагала 84 миллионами телевизоров. Из дитяти, обладающего от природы хорошими задатками, вырос деспот.

Итак, речь идет о Лоунсоме Родсе, оказавшемся на поверку негодяем; о честной Марции и о грязном политикане генерале Хейнсворте, которому нужен Родс, чтобы выбирать и проваливать президентов. Речь идет о Гербе Фуллере, о «великом человеке», созданном электронной трубкой.

Крошечная, но универсальная клеточка всей громадной империи телевидения: Лоунсом Родс, а за ним и Герб Фуллер нравятся, потому что они таковы, как все — вы, я, он, она, они. «Секрет Фуллера очень прост. Он — заурядная личность. И вместе с тем он — король. Он — Его величество Заурядность».

Некогда кинематограф создал систему «звезд», и само слово «звезда» обозначило расстояние от повседневной действительности до кинематографической мечты. Ящик телевизора доставил мечту на дом, свел с небес на землю, усадил «звезду» за чайный стол, максимально приблизил к тому, что принято называть «простым человеком».

Штамп простого парня с добрым сердцем и дерзким языком — всеобщий извечно утешительный штамп. Отметим существенно новое: для телезрителя он не вымышленное, а реально существующее лицо. Стоило Родсу пригласить обывателей городка в насмешку над шерифом тащить к нему бродячих собак, как шериф оказался буквально в осаде.

Так Родс впервые познал свою власть над душами, а электронная трубка обнаружила свое самое опасное свойство: способность непосредственно и прямо «манипулировать» сознанием.

Дальнейшая карьера этого героя — модель социальной структуры, неумолимо превращающей его из местной достопримечательности в национальное достояние, пока он не достигает уготованной ему роли «делателя президентов» и кандидата в министры. Фуллер, впрочем, не выходит в сферу политики; он остается «великим американцем» в сфере нравственности, морали и развлечения.

Но попутно с этим развертывается другая драма — драма самого телевидения: «отчуждение» реальной личности в «образе» личности и дедокументализация документа.

Экран, воспроизводя жизнь, типизирует и укрупняет ее. «Телевидение непомерно преувеличивает все, что попадает на экран»,— замечает американский профессор Хайакава.

Бывший беспечный бродяга на следующей ступеньке *изображает* беспечного бродягу.

«Звезды» оказываются *телевизионно талантливыми*, как может быть человек одарен артистически, поэтически, музыкально, художественно. Они стихийно и интуитивно открывают для себя те таинственные законы электронной трубки, над которыми бьется нынче так много умов.

Дальше вступает в силу специализация в условиях разделения труда: свободный бродяга начинает совершенствовать свой природный теледар.

Еще у О'Генри есть печальный рассказ о

том, как весельчак и остряк, ставший профессиональным юмористом, превращается в желчного мизантропа.

Так как телевизионный талант Родса и Фуллера есть прежде всего талант внутренней свободы, вплоть до цинизма, то по мере утраты реальной свободы им приходится все более цинично имитировать ее на экране. «Человек без грима» постепенно прочерчивает гримом те свои черты, которые импонируют публике, и угол между подлинностью изображения и истиной непрерывно возрастает в своем значении.

Оказывается, камера не только терпит фальшь — она ее провоцирует, превращая личность в товар, укрупняя и тем отчуждая ее «телегеничные» свойства.

Так, однажды отведав от древа познания самого себя, телевидение стало творить «образы» людей, событий, идей — мифы, которые являются непременной принадлежностью современной «массовой культуры», детища современных «массовых средств».

■

В 1970 году американский журнал «Сатердей ревью» провел дискуссию под девизом «Наступающий век монополии новостей», желая выяснить: «Может ли печатное слово спасти свободное общество?»

«Многим печатное слово кажется независимой автономной силой, которая не чье-то мнение отражает, а сама вырабатывает его,— заметила социолог Элизабет Нейман.— Пресса была создана как инструмент личного освобождения от «абсолютного правительства», а сегодня мы склонны спрашивать себя, как освободить индивидуума от духовного деспотизма массовых коммуникаций».

Не объемлет ли в данном случае понятие «массовые коммуникации» все виды их — старые и новые, включая сюда книгу, журнал, газету, радио, кино, телевидение на равных правах? И не все ли равно в конечном счете, было ли передано сообщение об убийстве Кеннеди по телевидению или через газету? Не является ли содержание сообщения столь доминирующим над средством, что речь может идти лишь о количественном приросте, который меняет общий баланс коммуникаций в жизни общества, но ничего не меняет качественно?

Иными словами — могла ли печать создать феномен Лоунсома Родса и Герба Фуллера?

Обратимся к свидетельствам практиков.

Герберт Брукер, президент Американского общества издателей газет, озабоченный спасением «свободного общества», констатирует:

«Бесспорно, мир стал сложнее, чем когда-либо... Но дело не только в деталях, которые мы в нем упускаем, а в основном новом феномене, в том факте, что новые массовые коммуникации не только дают отчет о мире, но и существенно изменяют мир в этом процессе... Дело в фундаментальном обстоятельстве: хотя мы, по существу, получаем одну и ту же информацию от газеты, радио, журнала и Уолтера Кронкайта — различные журналистские «инструменты» оказывают существенно различное воздействие на нас, если даже мы этого не замечаем...

Студенты чувствуют себя более вовлеченными в мир... Когда молодежь просто читала отчеты о войнах в газете, она не очень интересовалась тем, что находится за пределами студгородка. Газеты давали ощущение дистанции: все это где-то далеко. Теперь все наоборот».

Термин «вовлеченность», без которого не обходится теперь ни одна статья о телевидении, принадлежит уже достаточно широко известному у нас «пророку телевизионной эры» Маршаллу Маклюэну.

Тут же Брукер приводит циничную поправку «Уолл-стрит джорнал» к этой самой «вовлеченности»: «Если вы чувствуете эмоциональное возбуждение от бунтов и пожаров по телевидению, выключите его, выйдите на воздух и совершите прогулку по собственному кварталу. Вы сделаете успокоительное открытие, что вас лично это не касается».

И, однако ж, история Лоунсома Родса и Герба Фуллера в чем-то существенном в свою очередь поправляет эту успокоительную поправку.

«Теперь Лоунсом Родс просто популярен,— говорит генерал Хейнсворт.— Но он мог бы стать влиятельной силой, мог бы формировать общественное мнение, стать национальным достоянием, священным для нашей страны, как памятник Вашингтону...

Нам нужен популярный символ... своего рода рождественская елка, на которую мы и будем вешать наши идеи! Ну, а телевидение — величайшее средство убеждения масс».

Телевидение настолько влиятельное средство убеждения масс, что герой голубого экрана, почти не преувеличивая, имеет право сказать о себе: «В конце концов, я не просто эстрадный артист. Я влияю на массы, я формирую общественное мнение. Я — это сила... сила».

Легко понять, что на этом общенациональном уровне Родс или Фуллер давно уже стал человеком в гриме, изображающим «человека без грима». Увы, не что иное, как подлинность телевизионного изображения сыграла эту злую шутку, и его исходное и главное свойство — превращать человека как такового в объект эстетического восприятия — создало миф «великого американца».

Научно-техническая революция современности поставила человечество перед множеством сложных проблем, в том числе перед одной из сложнейших — проблемой новых, всепроникающих массовых коммуникаций, в первую очередь — телевидения.

Новый электронный проповедник и педагог? Мефистофель в образе электронной трубки? Кино с доставкой на дом? Газета в лицах? Или новый Франкенштейн, выпущен-

---

М. ТУРОВСКАЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОНИ

ный на волю и уже не подвластный своему создателю, как это однажды случилось с расщеплением атомного ядра?

Массовые коммуникации и их отношения с массой кажутся столь важными потому, что вторгаются буквально во все области общественного организма, будь то развлечение, быт, мораль, образование, экономика, политика. И еще оттого, что они вторгаются в те области сознания, которые долгое время носили более или менее стабильный и традиционный характер.

Речь идет о «тотальном» и трудно учитываемом воздействии на массовую психологию, какое оказывает соединенная мощь кино, радио, телевидения в условиях государства, подобного Англии или США, к тому же обладающего полной насыщенностью электронными коммуникациями.

История телевизионного «великого американца» могла бы показаться не более как литературным приемом, кинематографической метафорой, если бы наблюдения практиков не делали ее моделью, а может быть, простым сколком реальной действительности.

«В дни надвигающегося кризиса и опасности, как говорит генерал, кто может лучше меня сплотить народ, воодушевить его и объединить вокруг правительства? Если мы протащим сенатора, а я знаю, что мы это сделаем, он будет обязан этим мне... Министр по вопросам морального состояния нации!»

Лоунсому Родсу, по замыслу авторов, не суждено было стать министром морального состояния — та же Марция Джеффрис, которая некогда «открыла» его в тюрьме округа Томагаук, использовала тот же прием и включила эфир, когда «великий человек» не подозревал, что его видят, и был самим собой. Документальность снова сомкнулась с истиной, и кумир был развенчан.

Здесь есть доля желаемого и доля возможного, ибо скандалы и разоблачения время от времени должны вносить разнообразие в зрительские «будни» — они его и вносят. Впрочем, фирма «Лоунсом Родс энтерпрайзерс» на этом не кончается — она просто подыскивает нового кандидата на место «великого человека», как это впоследствии сделает компания «Амальгамейтид» с вакантным местом Герба Фуллера.

Между тем в 1968 году популярная теле- и кинозвезда Рональд Риган был действительно избран губернатором штата Калифорния и даже претендовал на пост президента США.

Между тем диалог Никсон — Кеннеди обнаружил эффективность рекламы личности с помощью телевидения и дал повод Маклюэну создать один из постулатов своей теории, по которой личности лидеров делятся на телегеничные (Кеннеди) и радиофоничные (Никсон).

Между тем практика, как это подчас бывает, опровергла Маклюэна, и Никсон впоследствии, когда специалисты по рекламе и телевидению нашли ему подходящий «образ», оказался столь же «телегеничен», как Кеннеди.

Джо Макиннес в книге, озаглавленной «Как продавался президент», пишет: «Ничего удивительного, что деятели политики и рекламы «открыли» друг друга. Выяснив, что граждане не столько избирают кандидата, сколько дают себя подкупить ценой психологического наблюдения над ним, те и другие стали работать вместе».

Впрочем, систему подкупа ценой «психологического наблюдения» открыли не только в Америке.

В Англии «тори тоже пользуются услугами профессиональных агентов по рекламе во время и в интервалах между выборами, а лейбористы имеют добровольную группу, состоящую из специалистов по рекламе и отношениям с общественностью»,— свидетельствует Берт Бекер («Марксизм тудей»).

Полчаса телевизионного времени в период предвыборной кампании стоят национальному кандидату в США 100 тысяч долларов, а местному политику 6—8 тысяч за минуту, свидетельствует Фред Френдли. Огромная цена телевизионного времени — лучшее доказательство того, что оно стало политической силой.

Брукер утверждает, что прежняя практика пресс-конференций, когда хорошо информированные журналисты могли загнать кандидата или даже самого президента в угол и заставить его высказаться по тем или иным конфликтным вопросам, ныне, с монополией телевидения, превратилась в хорошо срежиссированное шоу, где журналисты выполняют роль актеров-статистов, а президент — протагониста. «Не только президент, но и сенаторы и губернаторы перед выборами рекламируются телевидением, как мыло...» В 1968 году будущий республиканский президент просто купил телевизионное время, чтобы, минуя систему интервью, обратиться непосредственно к каждому избирателю. Он предложил публике (вернее, массе) не столько свою программу, сколько свою личность, точнее, тот ее «образ», который специалисты по рекламе отработали, учтя неудачный опыт диалога с Кеннеди (кстати, совокупный «образ» братьев Кеннеди тоже играл свою роль в их популярности). Можно ли в этом случае чистого репортажа, когда телевидение отнюдь не претендует на роль искусства, а является лишь «средством» передачи определенной информации, утверждать безразличие или хотя бы второстепенность этого «средства»? Или само средство содержательно по отношению к сообщению?

■

О Маршалле Маклюэне у нас немало уже писали, и его концепции, объясняющие всю историю человечества развитием средств массовой коммуникации, подвергались всесторонней и разнообразной критике как у нас, так и в Америке.

«Какое бы влияние средства коммуникаций ни оказывали на структуру общества, они есть сопровождающие, а не причинные факторы»,— замечает Кеннет Боулдинг,

профессор экономики Мичиганского университета.

Джордж Элиот, писатель и профессор английской филологии, критикует своего коллегу Маклюэна с позиций этики и морали:

«Электронный земной рай его прозрений — это всемирная деревня немой бездумности, пародия на гармонию и мир, потому что возможности дисгармонии и конфликта отсечены хирургическим путем. Он хочет — и хочет, чтобы мы хотели,— передачи большинства функций нашего мозга электронным машинам. Я понимаю, даже при моем устарелом, «нерасширенном» сознании, что быть человеческим существом иногда трудно, что это имеет свои неудобства. Но во всяком случае, это интересно, в этом есть разнообразие.

Я за то, чтобы продолжать быть людьми».

Форма пророчеств и афоризмов, избранная канадским профессором, создает одинаково благодарную почву как для неограниченного культа, так и для абсолютной критики.

Между тем реальной заслугой «канадской школы», начало которой положил предшественник Маклюэна Гарольд Иннис, несомненно, является глобальная постановка вопроса о массовых коммуникациях.

Что до самого Маршалла Маклюэна, то со времен своей первой книги «Механическая невеста» он совершил порядочную эволюцию. Для тех, кто хотел бы понять феномен «массовой культуры», «Механическая невеста» дает неоценимый материал. Феномен этот гораздо шире того, что мы привыкли понимать под этим термином, носящим почти всегда отрицательную окраску уцененной культуры. На самом деле, «массовая культура» есть неизбежное порождение массовых коммуникаций, а не уцененная культура данного общества.

В книге «Механическая невеста» Маклюэн рассматривает рекламу, дайджест и прочие низкие «жанры», которые искусствоведение по традиции не включало в понятие культуры,— и это само по себе достаточное открытие. Тогда Маклюэн остро ощущал угрожающие тенденции тотального «омассовления» и опасности монополии на средства коммуникаций: «Свобода слушать в мире, где все средства информации — газеты и радио — сосредоточены в руках незначительного меньшинства,— есть свобода поступать, как все, или молчать».

Признание свободы «поступать, как все» истинной свободой и приятие электронной нирваны — постепенный процесс в его книгах, содержащих немало острых наблюдений, если только делать поправку на «приведение ad absurdum», которое он часто применяет как способ рассуждения и еще чаще — как литературный прием.

Маклюэну свойственно подчас поддаваться гипнозу пророческой миссии, которой облекло его общество, и абсолютизировать наблюдения, которые содержат в себе зерно истины. Его критикам свойственно поддаваться тому же самому гипнозу и подвергать критике то, что становится очевидно, если только «демистифицировать» и подвергнуть самой простейшей расшифровке популярный и провокационный жанр пророчества.

К таким положениям «маклюэнизма», в частности, принадлежит знаменитый афоризм: «Сообщением является само средство».

В этом пункте я позволю себе не согласиться с Ю. Каграмановым (см. «Иностранную литературу» № 1 за 1972 г.), который, как многие другие, невольно поддавшись на провокацию Маклюэна, называет этот афоризм «парадоксальным», «абсурдным» и «нелепым». Сам Маклюэн ввиду критики внес в него некоторую реалистическую поправочку, признав кое-какое значение и за содержанием сообщения. Каграманов прав — уступка несущественная. Между тем в форме парадокса содержится наблюдение существенное и напрашивающееся само собой.

То, что в любой другой области жизни кажется тривиальным, в области «массовых средств» выступило как парадокс. Едва ли кто-нибудь станет утверждать, что перелет на ТУ-104 мог бы вызвать к жизни радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву». Результат тот же, «содержание» — разное, недаром «самолет» и «путешествие» противоположны даже по этимологии самих слов. С появлением самолета путешествие перешло в сферу досуга. Едва ли кто-нибудь соберется сейчас в командировку по туристской тропе или в кибитке.

Таким образом, если в учебниках математики Некто по-прежнему отправляется из пункта А в пункт В, то *содержание* этой формулы меняется в зависимости от средств сообщения.

Можно спорить о содержании и о воздействии той или иной книги, той или иной телепрограммы. Но *факт* изобретения книгопечатания, сделавший книгу общедоступной, как и *факт* изобретения телевидения, существеннее в истории человечества любой отдельно взятой книги и любой самой важной программы.

Собственно, речь идет о «способе производства» в индустрии информации и развлечения, а он, как известно, является первичным по отношению к товару.

Научно-техническая революция вторглась едва ли не во все сферы социальной действительности, а с ней и сознания. Такова реальность, и в свете этого афоризм «сообщением является само средство» может быть признан демагогическим и сенсационным скорее по форме, нежели по существу.

На этом я кончаю небольшой экскурс «в сторону Маклюэна» и возвращаюсь к свидетельствам практиков.

■

На жаргоне работников британского телевидения дискуссии на экране называются не

М. ТУРОВСКАЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОНИ

«спорами», не «обменом мыслями», а «говорящими головами».

Итак, снова человек без преображающего художественного начала, человек без грима.

Конечно, традиции английского и американского телевидения неодинаковы. Быть может, высоколобый термин «говорящие головы» и не привился бы на американской почве. Быть может, Лоунсом Родс и тем более Герб Фуллер с его сальными шуточками, ввернутыми в проповедь, и не оказались бы столь же «телегеничны» в условиях Би-би-си.

Разумеется, и американское и в особенности английское телевидение знает блестящих политических комментаторов, и тонких ценителей искусства, и замечательных артистов. Но телевизионным «великим американцем» оказывается «простой человек» с тем минимумом интеллекта, который он не стыдится выставлять напоказ. Родовое сходство Лоунсома Родса и Герба Фуллера не случайно.

Дело тут не только в «дурном вкусе» публики, но и в фундаментальном свойстве телевидения: на экране интереснее не *что* говорится, а *кто* говорит, и, естественно, непосредственный Родс или Фуллер оказывается в выигрыше перед самым эрудированным профессором.

Один из ведущих телеобозревателей Би-би-си Робин Дей, без всякой связи с проблемой Родса — Фуллера, пишет: «Нет сомнения, что современные коммуникации, став более технически развитыми по методу, снизили уровень интеллектуального качества и рационального содержания... Цветное телевидение, делая изображение еще более живым и тем усиливая его, продвигает этот обратный процесс еще дальше. Чудеса коммуникации в электронный век возвращают нас к примитивному языку картинок каменного века».

Повышение уровня техники, по наблюдениям американских и английских практиков, оказывается обратно пропорционально интеллектуальному уровню, то есть уровню содержания. Так, «средство» самым недвусмысленным образом влияет на «содержание».

Это обстоятельство небезразлично к роли телевидения в формировании общественного сознания.

«Телевидение — не только мощное средство коммуникации, но и *грубое* средство, которое стремится воздействовать больше на чувства, чем на интеллект,— отмечает Робин Дей.— Для телевизионного журнализма это означает опасную и растущую сосредоточенность не на мысли, а на действии (обычно насильственном и кровавом), не на темах, а на событиях, не на объяснениях, а на потрясениях, не на идеях, а на личностях».

«Телевидение транслирует не столько изображение и звук, сколько эмоции»,— формулирует Брукер.

Пожалуй, «эффект эмоций» — самое существенное наблюдение, которое было сделано одновременно многими практиками и теоретиками самой мощной империи телевидения — американской и английской.

Эта фундаментальная особенность телевидения влечет очень существенные и вполне реальные последствия.

«Сама природа телевидения создает особые соблазны... Порок сенсационности и поверхностности — постоянное искушение телевидения»,— говорит Робин Дей, проработавший 10 лет на Би-би-си — иначе говоря, не в коммерческой, а в государственной сети английского телевидения. Даже при традиционной британской установке на некоторую высоколобость и «объективность» Би-би-си постоянно испытывает давление конкуренции коммерческой сети с ее ориентацией на самого широкого зрителя. Еще в большей степени это относится к телевидению в США.

Таким образом, «порок сенсационности» — производное от «эффекта эмоций», присущего камере, с одной стороны, и эксплуатации его системой — с другой.

«Все что угодно может быть сказано при условии, что это может быть сказано с выгодой»,— свидетельствует Реймонд Уильямс. Он относит это наблюдение, в частности, к истории «первой телевизионной войны» — войны во Вьетнаме.

О «первой телевизионной войне» немало уже написано, но я позволю себе очень вкратце вернуться к некоторым общеизвестным ее аспектам, ибо она лучше всего демонстрирует неожиданности, которые таит камера.

«Спрос телевидения на сенсацию и насилие — его естественная и универсальная характерная черта,— пишет Робин Дей.— Американская система возбуждает и удовлетворяет этот спрос». Но возбуждая и удовлетворяя этот спрос, основанный на «эффекте эмоций», система иногда оказывается перед лицом непредвиденных последствий. Последствия эти могут быть двоякого рода. «Первая телевизионная война» показала, что непосредственность изображения событий заключает в себе больше правды, чем можно предусмотреть заранее.

Первоначально было запланировано серией передач вызвать у «простого американца» сочувствие к «нашим парням», умирающим и сражающимся во Вьетнаме, и создать благоприятное общественное мнение.

Но для нации, давно не видевшей своими глазами ужасов настоящей войны, почти постоянное присутствие этих ужасов в комнате в какой-то момент оказалось катализатором антивоенных настроений.

Постепенно сквозь действие более грубого «эффекта эмоций» проступило, как обертон, то, что можно приблизительно назвать «эффектом невидимки»,— то непредусмотренное, что зритель замечает в силу приближенности к нему телевизионного экрана (киноэкран дистанцирован по «правилам игры») и что даже для самого репортера часто бывает «психологическим невидимкой».

Таким «психологическим невидимкой» был в детективном рассказе Честертона убийца-почтальон, которого все видели, но никто «не видал».

Интимность отношений зрителя с телеэкраном таит в себе коварство: «психологиче-

ским невидимкой» может оказаться все что угодно: нюанс в манере поведения оратора, его прическа, какой-нибудь зевака на втором плане происшествия, случайно попавший в кадр, и т. д.

Таким «психологическим невидимкой» во вьетнамской хронике оказался вьетнамский народ — женщины, дети, безоружные пленные.

Противник в военной хронике — всегда «психологический невидимка»: он не вызывает сочувствия. Но эта война шла не на американской земле и не угрожала жизни зрителя.

Постепенно сквозь ежедневную порцию ужасов проступил вопрос — а за что, собственно, умирают наши парни? В кого они превращаются? Что они делают?

В отношении значительного числа зрителей к вьетнамской хронике произошел перелом.

Таков — в самом грубом виде, конечно,— парадоксально сработавший механизм, сделавший электронную трубку в какой-то момент обличительницей грязной войны.

Именно телевидение создало самое широкое общественное мнение вокруг войны во Вьетнаме, негритянских выступлений, студенческих волнений...

С другой стороны, ничто не фальсифицирует действительность так, как документальность телепередачи, ибо документальность эта создает у зрителя иллюзию неопровержимой достоверности. Эта двойственность телевизионного репортажа содержит опасность фальсификации даже самой действительности для нужд телевидения. Это крайний случай «дедокументализации документа», но и он не исключен.

Спрос на сенсацию влечет иногда не только вмешательство в дела телевидения, но и обратное вмешательство телевидения в дела житейские.

«Гордое кредо телевидения звучит — «видеть, как это происходит». Но видеть не обязательно значит понимать» (Дей). «То, что кажется правдой прямого репортажа, неизбежно деформируется. То, что кажется видимой и несомненной правдой, не всегда и не обязательно правда... Пресса больше могла сказать о жестокостях полиции в Чикаго в 1963 году, чем телевидение, но публика ей не поверила» (Брукер).

Телевидение часто называют «инкубатором насилия». Известно, что присутствие камеры автоматически повышает температуру при разгоне демонстраций, в момент анархического, стихийного протеста или полицейских репрессий. Известны случаи, когда убийца совершал преступление лишь для того, чтобы предстать перед миллионами телезрителей, а в знаменитом по своей чудовищности «деле Тейт» Сьюзен Аткинс показала на следствии, что именно телевизионный репортаж придал убийцам так много веса в собственных глазах, что за первым преступлением последовало второе.

Случается и так, что продюсер приглашает людей для документальной съемки вечеринки и оплачивает им время, квартиру, наркотики...

Таким образом, отношения «средства» и «сообщения» в иных случаях парадоксальным образом меняются местами, и жизнь испытывает давление электронного луча.

Конечно, и печать — газета и даже книга — нередко оказывала воздействие на реальность. Когда Диккенс написал «Давида Копперфильда», он обратил внимание общества на детские приюты. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть разницу: телевидение подчас само провоцирует и продуцирует собственное содержание.

Молодое поколение американцев вынянчено телевизионной нянькой, и это один из новых и важных «источников власти». Об этом свидетельствует со всей категоричностью советник братьев Кеннеди Ф. Даттон в уже упомянутой мной книге «Смена источников власти»: «Нельзя ни понять новое поколение, ни вступить с ним в контакты, если не принять во внимание внутреннее «соучастие» и те невыразимые на словах уровни личности, которые созданы телевидением...»

■

Три фактора делают новые средства массовой коммуникации столь влиятельными манипуляторами общественного сознания на Западе.

1. Непосредственная изобразительность, которая не требует специального кода и тем самым делает их наиболее общедоступными (радио — на уровне языковой общности, телевидение и кино — на глобальном уровне). Это относится к их собственной специфике.

2. Небывало широкое распространение при ограниченности общего фонда времени в эфире. Такова их природа как технических средств.

3. Универсальность электронных средств коммуникации по сравнению с печатью. Она зависит от ограниченности «фонда времени», с одной стороны, и способа владения ими — с другой.

Соотношение этих трех факторов, отличающих электронные средства, определяет их реальное место в высокоразвитых странах Запада. Оно составляет постоянный предмет дискуссий, ибо рост влияния телевидения на социальное сознание становится очевидным и, по мнению одних специалистов, угрожающим, по мнению других — обнадеживающим фактом.

«...Телевидение — средство коммуникации, которое может быть употреблено и во имя зла и во имя добра. Мышьяком можно травить сорняки, а можно отравить жену. Так и телевидение можно использовать как орудие тирании и пропаганды либо как орудие демократических свобод и свободной дискуссии»,— пишет Робин Дей.

Американец Брукер смотрит на вещи пессимистичнее: «Еще в 1840 году Карлайль сказал: «Литература — тоже наш парла-

мент». Но если печать есть средство выражения демократии, то не несет ли с собой телевидение ее смерть? Телевидение скорее тоталитарно, чем демократично, по природе». В данном случае это не пустая фраза. Число печатных станков практически неограниченно, но число телевизионных каналов, если даже оно достигает максимальной цифры, всегда ограниченно. Уже сейчас в эфире начинается теснота. Брукер приводит цифры: число газет в США упало с 2600 на 92 миллиона населения в 1910 году до 1750 на более чем двухсотмиллионное население теперь. Это практически означает гораздо больший удельный вес голоса каждой из газет. Какова же тогда широта охвата каждого из 12 каналов американского телевидения?

«Скудный общественный фонд» телевизионного времени при широте охвата и небывалой мощи его воздействия автоматически делает его жертвой монополизации. А монополизация — трестовская ли (США), государственная (Франция) — делает возможной монополизацию общественного сознания на определенном статистическом уровне: его ценностных ориентаций, его политических мнений и эстетических вкусов. «Общество потребителей» создано в такой же мере огромным бизнесом по производству рекламы, как и бизнесом по производству самих товаров. Почти любая фирма затрачивает сейчас на рекламу такие же средства, как на создание самого товара.

Эта опасность заставляет самих практиков электронных коммуникаций искать выхода.

Американские кинематографисты сделали недавно картину, которая этим летом у нас на фестивале была показана под названием «Холодным взором». Картина эта полудокументальный-полуигровой аргумент в споре о том, что же такое телевидение (такой спор, по-видимому, снятый репортажно, включен в экранное действие). Те, кто делает ежедневную порцию телевизионных развлечений, тоже хотят осознать свое место в мире, они хотят участвовать в реальной жизни, а не быть поставщиками духовных наркотиков.

В каком-то смысле герой этого фильма — телевизионный репортер и журналист — анти-«великий американец». Он хочет поставить свою камеру, свои способности и свой интеллект на службу прогрессивным движениям современности.

Ему хочется рассказать о бескорыстном поступке таксиста, вернувшего владельцу большую сумму денег; взять серию интервью, чтобы разобраться всерьез в требованиях негров; поднять проблему трущоб и помочь сыну простой работницы. Все это кажется ему достойным не только «объективного» репортажа, но и прямого человеческого вмешательства.

Но редактор не понимает, зачем вытаскивать к микрофону какого-то недостаточно сенсационного таксиста, негры не верят, что белый интервьюер способен и действительно хочет вникнуть в их проблемы, а история с трущобным мальчиком кончается трагически. Репортер становится любовником его матери, мальчик убегает из дому, и в поисках его — пройдя сквозь сумятицу политической демонстрации (прекрасные истинно телевизионные съемки), объехав на машине весь город,— журналист и его подруга в конце концов погибают в автомобильной катастрофе.

Заключительный кадр фильма рифмуется с началом: к месту аварии спешит машина телехроники. Смерть, катастрофа и есть то самое «действие», потенциальная сенсация, отвечающая «эффекту эмоции», которого требовали от героя.

Так телевизионный журналист, выезжавший в начале фильма на такую же аварию и попытавшийся победить проклятие отчуждения массовых коммуникаций, превратить их в орудие познания и улучшения жизни (лечить мышьяком вместо того, чтобы травить им, по выражению Робина Дея), сам становится предметом сенсации, отчуждается в своей личной судьбе и возвращается в кругооборот телевидения, ничего в нем не изменив...

Таков пока неутешительный итог «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» практиков тех новых средств массовой коммуникации, которым предназначалось — предназначается и сейчас теоретиками — будущее новых «просветителей».

Однако история телевидения все еще только начинается...

ЭРНЁ ГОНДОШ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ТЕКСТОМ

Вступление и перевод с венгерского Е. МАЛЫХИНОЙ

В издательстве «Кошут» (Будапешт, 1971) вышел интересный сборник. Он составлен из получивших наибольший резонанс произведений венгерской художественной публицистики и очерковой социографической литературы за истекший год. Называется сборник «Глазами писателя — 1970 год».

Эта книга — как снятие пробы. Она — лишь малая часть того мощного потока произведений социографического характера, который хлынул сейчас в венгерской литературе. Патриотизм, взволнованное отношение писателя к судьбам своей родины, может найти различное воплощение, но, если за ним не стоит серьезное, подлинное **знание** жизни, даже самые возвышенные идеалы вырождаются в пустые, трескучие фразы, не вдохновляющие никого. В свое время венгерская литература — по крайней мере, часть ее — не избежала этой болезни, переболела ею, затем, боясь рецидива, метнулась было в другую крайность, что, конечно, также не свидетельствовало еще о здоровье. Однако ко второй половине шестидесятых годов взбудораженное море начало входить в естественные берега. Тогда-то и возродилась столь характерная для прогрессивной венгерской литературы еще в период между двумя войнами тяга к познанию, **исследованию** страны. На этот раз речь шла о новом «открытии Венгрии», сегодняшней, строящей социализм,— и не отвлеченно-обобщенном, а конкретном, детальном, скрупулезном, по-хозяйски дотошном, когда становится явственно различимой и общественно значимой жизнь каждого отдельного социального организма (сельхозкооператива, завода, школы, административного района), жизнь отдельного человека и той или иной социальной группы. Прошло уже три-четыре года, может быть, пять лет с тех пор, как венгерские писатели массово устремились в «жизнь», по зову собственной души, откликнувшись на этот ответственный «социальный заказ», но поток талантливой социографической литературы не только не оскудевает, а лишь набирает силу.

Сборник открывается очерком Йожефа Дарваша «От прежнего «открытия Венгрии» к новому ее познанию», который является как бы вступлением, увертюрой и теоретическим комментарием ко всему содержанию книги. Автор дает в нем глубокий анализ истоков, истории, традиций и нынешнего состояния социографической литературы, столь популярной в Венгрии, содержания и назначения этой литературы как в прошлом, так и сегодня.

И это «сегодня» Венгрии — в частности, прожитый ею 1970 год — воссоздается на страницах сборника в самых реальных чертах. Здесь сколько статей, столько различных ракурсов, манер, почерков — за каждой действительно **глаз писателя,** всегда по-своему видящего мир. С глубоко лирической (при всей ее насыщенности фактами) зарисовкой Л. Мештерхази «Город мой, Будапешт» весьма непринужденно уживается ироническая миниатюра Т. Череша «Нынешняя уборочная» или заставляющий вспомнить документальные киноленты очерк «Ленин в Тисафюреде» с его «крупным планом» — портретами и судьбами крестьян Тисафюреда — и широкой панорамной съемкой — историей создания и становления сельхозкооператива имени Ленина, достигнутого им ныне высокого уровня жизни.

Не все в этом сборнике равноценнс по художественным качествам, по глубине мысли, но в целом получилась удивительно емкая книга, откровенно и страстно рассказывающая о многих событиях и проблемах, которые волновали венгров, заставляли их размышлять и спорить еще совсем недавно. Живет в этой книге память о страшном наводнении, постигшем Венгрию в самом начале весны 70-го года, и о мужестве одетых в солдатские шинели венгерских юношей, быстро и организованно ликвидировавших его последствия; звучат заключительные аккорды бурных дискуссий о патриотизме, национализме, прошедших широко и напряженно на страницах венгерской прессы; вновь оказывается предметом общественного рассмотрения жизнь крестьянства, процессы, происходившие в венгерской деревне в течение минувшего полувека и особенно после 1945 года; настойчиво обращаются авторы к серьезнейшей теме дня — впрочем, дня, в еще большей степени завтрашнего, нежели сегодняшнего,— взаимной связи поколений и взаимных их обязательств друг перед другом, перед страной, перед историей. И уже из самой этой темы естественно возникает пристальный интерес к духовному миру, условиям жизни, проблемам культурного, интеллектуального, эстетического воспитания подрастающего поколения. В сборнике этой последней теме посвящено сразу несколько работ, что вполне точно отражает то постоянное и глубокое внимание, которое уделяет ей венгерская публицистика вообще.

Одна из таких работ — любопытное исследование, проведенное писателем Э. Гондошем в старших классах будапештских гимназий,— публикуется ниже.

Начать заметки о восприятии читателями художественного очерка Дёрдя Балинта[1] с мыслей, позаимствованных у Балинта-эссеиста, конечно, весьма эффектно. Тем не менее мы цитируем его не ради эффекта, а потому, что никто не выразил эти мысли лучше и убедительней, чем он. В эссе «Кафе «Слоновая кость» Балинт пишет: «Вопросом взаимосвязи писателя и читателя, которая, как и всякая связь между людьми, таинственно сложна, по-настоящему занимались немногие». Призыв, заключенный в этих словах, актуален и поныне, хотя кое-какие сдвиги в этой области уже имеются. Между тем Балинт сделал попытку и охарактеризовать эту «таинственную» связь. Разбирая однотомник стихотворений Ади[2], изданный в «Атенеуме», он замечает: «Печаль воскресения» и «Воспоминание об одной летней ночи» столь же неотторжимо принадлежат мне, как первый в моей жизни поцелуй, первая радость или двадцать седьмая печаль. Стихотворения Ади случились со мной, они случились для меня, это я случился в них, они особенно, неповторимо мои». Это страстное признание говорит о глубочайшем отождествлении Балинта-читателя со стихами Ади, с его творчеством вообще. Оно является также красноречивым свидетельством существования интимной, сугубо личной связи между произведением и читателем. «Стихотворение Ади «Кровь и золото» во мне не таково, каким оно стало для моего соседа, мое «Кровь и золото» чуть-чуть иное, чем-то отличается от всех других...»

Такой демонстративный отказ от фетишизации произведения в пору еще живого позитивизма и в то же время — спаянность с ним в условиях, когда господствовала мода на культуриторизм, означали, что Балинт занял подлинно революционную позицию. Однако, если рассматривать эти высказывания Балинта с точки зрения их социологического, социопсихологического содержания, придется признать, что они еще и сегодня не вошли во всеобщий обиход, что и сегодня они тревожат, будоражат мысль, побуждая к деятельности. Подтолкнули они и меня на некоторые исследования.

Метод и текст

Для экспериментального изучения вариантов индивидуального подхода к произведению литературы мы сочли наиболее удобными старшие классы гимназии. На пороге получения аттестата зрелости гимназисты уже не дети, но при этом особо восприимчивы к воздействию искусства и легко соединимы в группы. В течение десяти лет они регулярно знакомятся с литературой, но не могут еще быть отнесены к категории завзятых, «штатных» читателей. Их возраст, положение и предписанный им учебным планом материал в области литературы примерно одинаковы, следовательно, в некотором смысле они представляют собой однородную группу.

Итак, мы остановились на трех будапештских гимназиях, находящихся в разных районах города, и выбрали в каждой по одному выпускному классу, где педагогам приходится работать и в более благоприятных и в менее благоприятных условиях. Затем, заручившись всякого рода разрешениями, добившись полного понимания со стороны преподавателей литературы и их поддержки, мы предложили учащимся написать сочинение, вернее, изложить свои мысли по поводу очерка Балинта «Беспечная жизнь», текст которого приводится ниже:

[1] Дёрдь Балинт (1906—1943) — писатель и публицист, выдающийся критик-марксист. *(Здесь и далее примечания переводчика).*

[2] Эндре Ади (1877 — 1919) — крупнейший поэт, провозвестник революций 1918—1919 годов.

«Сколько забот с такой большой квартирой!» — услышал я за спиной голос дамы. Это было в автобусе. Я не обернулся, не взглянул на говорившую: поверил и так, что забот у нее хватает. А потом мне вдруг вспомнилась Мария Хунта с Пожоньского проспекта.

Каждый вечер на пороге одной из лавчонок Пожоньского проспекта перед спущенной на ночь дверной решеткой прохожий может увидеть нечто закутанное в большой платок и напоминающее громоздкий нескладный узел. Темно-серый, бесформенный, неподвижный. Это и есть Мария Хунта. Она пребывает там всегда — ясно ли, дождливо ли, ветрено... Там же посиживает она и днем, чуть приподняв закутанную в платок голову; на сморщенном лице тогда видны боязливо моргающие воспаленные красные глазки. Пожертвовав пару филлеров, прохожий может услышать и ее слабый, будто заржавленный голос: она невнятно бормочет что-то о милосердном боге. Марии Хунте семьдесят пять лет, и ей недоступны тяжкие заботы дамы, проживающей в большой квартире, ни даже мои, хотя у меня жилье совсем крохотное. Она давно уже не ведает таких забот. Дело в том, что Мария Хунта *не проживает*.

В первый момент это звучит несколько странно. Как-то само собой предполагается, что где-нибудь *проживают* все, на крайний случай хотя бы в ночлежном доме. Где-то проживать полагается, более того, приличествует. Давайте спросим кого угодно, понимающего в этом деле толк, и мы получим только один ответ: каковы бы ни были обстоятельства, но каждый порядочный человек непременно где-нибудь проживает. Особенно если это человек городской. А тем более — почтенного возраста. Семьдесят пять лет считается возрастом почтенным. Впрочем, как все на свете, и это относительно. Кто не проживает нигде, тот и возраста почтенного иметь не может. Вот почему составить суждение о Марии Хунте чрезвычайно трудно. Просто ума не приложишь, в какую рубрику ее занести. Бродягой назвать ее нельзя, поскольку она всегда сидит на одном и том же месте. Попрошайкой тоже не назовешь, ибо она никогда и ни у кого ничего не просит, только принимает брошенную ей мелочь. И в довершение всего — нигде не проживает!

Человеку, вздумавшему поинтересоваться ее семейным положением, не слишком облегчат многотрудную работу по научной классификации ее невнятные, односложные ответы. Мария Хунта — не жена, не вдова, не мать и не бабушка. Когда-то, одно-два десятилетия назад, была она, помнится ей, сестра. Только давно уж они померли, все трое — и ее сестра, и два брата. Когда-то живы были и родители, но их обоих вот уже семьдесят лет как унесла холера. Марию Хунту взял на воспитание ночной сторож. А потом началась для нее рабочая пора. В течение полувека Мария Хунта была трудящимся членом общества. Решающее в истории Европы пятидесятилетие она провела на кухнях и в чуланах для прислуги. На это пятидесятилетие приходится рождение и бурное развитие телефонной связи, автомобиля, самолета, кино и радио, равно как и расцвет капитализма, потом начало империализма, возникновение новых движений после мировой войны. Мария Хунта *уже* вовсю чистила и мыла посуду, когда Йокаи[1] *еще* вовсю писал свои романы. Она пережила декаданс конца века, импрессионизм, экспрессионизм и наконец неообъективизм. С последними годами ее деятельности совпали формирование современного направления в архитектуре, расцвет современного, рационального квартирного строительства. Обо всем этом она, как ни странно, ровным счетом ничего не знала.

К началу тридцатых годов Мария Хунта состарилась, она уже не подходила на должность прислуги. По странной забывчивости за всю свою полувековую деятельность она не удосужилась обзавестись состоянием. И жестоко расплатилась затем за столь вопиющее легкомыслие. Старый Джон Д. Рокфеллер, даром что на два десятка лет старше Марии Хунты, находится по сравнению с ней во много лучшем положении, ибо он-то всю жизнь был бережлив, не покладая рук копил нефтезаводы, один к одному,— так что на старости лет ему не пришлось испытывать нужду. Тогда как недальновидная Мария Хунта последние годы поддерживала свое жалкое существование случайным приработком, а ночи коротала в ночлежном доме. Правда, за всю свою жизнь она никогда-то и не имела собственного жилья, но положение, в каком она оказалась теперь, даже для нее означает крайнее падение. Следовательно, рассматривая жизнь Марии Хунты в исторической перспективе, мы со спокойной совестью можем назвать тридцатые годы эпохой упадка. (Что лишний раз доказывает, насколько все в мире относительно. Для современной архитектуры, например, та же самая эпоха была безусловно временем расцвета.) Итак, Мария Хунта все более и более остро ощутила на себе, как принято говорить, гнет экономической депрессии, вследствие чего вот уж год как она нигде не проживает.

Нынешняя ее жизнь, таким образом, может быть охарактеризована как крайне однообразная. Говорить по отношению к ней о перемене обстановки не приходится. Место, где она спит, место ее работы и даже место прогулок полностью совпадают. Целый год она не раздева-

[1] Йокаи Мор — популярнейший венгерский романист прошлого века, собрание сочинений которого достигает ста томов.

ЭРНЁ ГОНДОШ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ТЕКСТОМ

лась, не разувалась, ибо в дверной нише упомянутой лавчонки не имеется ванной комнаты. Примерно столько же времени она не ложилась, пребывая все это время исключительно в стоячем или сидячем положении. Но одно, во всяком случае, очевидно: живет она совершенно беззаботно. Так что тот, кого вконец измучили заботы, связанные с большой, хорошо отапливаемой квартирой, пусть поспешит на Пожоньский проспект и поменяется с нею».

Наш выбор нуждается в обосновании. Почему для своего эксперимента мы взяли очерк именно Дёрдя Балинта? Его творчество в гимназиях не изучается. В четвертом, последнем[1], классе гимназии из его современников упоминают только Аттилу Йожефа и Радноти, да и то походя. Ответим сразу: мы остановили на нем свой выбор именно поэтому. На сей раз нас интересовало ничем не опосредствованное впечатление от встречи произведения и читателя. Мы хотели, чтобы ни биографические данные, ни иные сведения, которые могли быть использованы для оценки, не помешали непосредственности этой встречи. Поэтому мы сообщили название очерка, но имя автора, как информацию, выходящую за рамки самого произведения, не раскрыли. Произведение должно было быть коротким, чтобы учащиеся справились с ним в течение одного учебного часа, но не стихотворное — поскольку стихи представляют собой форму значительно более сложную. Не хотелось нам давать и новеллу, чтобы узко понятое «содержание» — сюжет — не отвлекло и не увело мысли в сторону. Следовательно, оставались очерки или миниатюры-зарисовки, что уже значительно сузило круг выбора. При этом необходимо было произведение подчеркнуто *иронической* окраски, чтобы как можно отчетливей проявилась способность испытуемых уловить его подтекст,— естественно, мы обратились к творчеству Балинта. На зарисовке же «Беспечная жизнь» мы остановились потому, что наряду с эстетической восприимчивостью и подготовленностью гимназистов хотели уяснить себе также их чуткость к социальной проблематике.

В начале урока литературы учащимся была роздана миниатюра Балинта в размноженном на машинке виде. Преподаватель литературы в каждом классе сделал короткое вступление, в котором своими словами изложил следующее:

1. Предстоящая работа до некоторой степени необычна. Гимназисты познакомятся с произведением автора, которого они до сих пор не изучали. Поэтому те, кто угадал или знает имя автора, могут назвать его, но это необязательно.

2. Хорошо, если будет указано, когда примерно могло быть написано это произведение, но не беда, если датировка окажется ошибочной.

3. Текст следует прочитать. Затем прочитать его вновь, подчеркивая слова и выражения, которые представляются наиболее важными.

4. После этого каждый изложит — в *произвольной* форме — то, что он думает по поводу прочитанного. Не беда, если размышления окажутся не вполне последовательными.

5. Произведение должно быть кратко охарактеризовано: каково оно, что собой представляет? Имеет ли в глазах пишущего какую-либо ценность? Какую именно? Есть ли критические замечания по тексту?

Чтобы заинтересовать учащихся, преподаватели по нашей просьбе обещали за умные, содержательные работы выставить соответствующие оценки.

Когда произведение было написано и кто его автор?

Во всех трех классах задание вызвало интерес и выполнено было успешно. Впрочем, определение «успешно» относится по существу только к самому глаголу «выполнено», то есть к тому, что эксперимент формально проведен по всем правилам. Вместе с тем, хотя учащиеся сделали весьма много точных и справедливых наблюдений, а некоторые работы свидетельствуют о значительной литературной восприимчивости их авторов, общий итог (литературной осведомленности, способности и подготовленности к художественному восприятию восемнадцатилетних гимназистов, стоящих на пороге получения аттестата зрелости) говорит о слишком большой разнице в уровне, что несомненно требует внимания и даже вызывает тревогу.

Из трех классов мы получили 92 более или менее пространные работы — одни авторы уложились в пять строк, другие написали до трех тетрадных страниц. Форма изложения также очень разнообразна: от немногословных прямых ответов на поставленные вопросы, отделенных точками, до небольших «эссе». Оценивая работы, мы, естественно, принимали во внимание не стилистические тонкости изложения, однако невозможно было не заметить — и это мы можем принять за первый итог нашего эксперимента,— что правильное суждение о произведении обычно отличалось и большей аналитичностью, дифференцированностью мысли.

Каждый литературный текст, как известно, несет в себе разнообразную информацию. Эта информация — особенно когда речь идет о художественном произведении — поступает к читателю по многочисленным каналам, от простейшего *непосредственного* сообщения до сложного многоголосого воздействия формы. Нам хотелось прежде всего узнать, слышат ли учащиеся самую элементарную, *непосредственную* информацию, содержащуюся в предложенном им очерке Балинта, то есть лежащие на поверхности свидетельства времени на-

[1] В Венгрии существует общеобразовательная восьмилетняя школа, а сверх того — для тех, кто уже окончил восьмилетку,— четырехклассная гимназия.

писания «Беспечной жизни». Мое поколение безошибочно относит эту зарисовку к литературным документам тридцатых годов. Но и сегодняшняя молодежь, умеющая смотреть открытыми глазами, находит в ней вполне достаточно данных для определения времени ее создания. И все же чуть ли не половина учащихся, а именно 44 из 92, сочла, что «Беспечная жизнь» написана после второй мировой войны: «Написано, вероятно, около 1950 года». «Пятидесятые годы...» «В конце сороковых — начале пятидесятых годов». «В 1960—1965 годы...» «После освобождения...» и т. д. Правда, шестеро из этих сорока четырех хитроумно разбивают произведение на две части: «Обрамление (первый абзац и последняя фраза) написано в пятидесятые годы, само же произведение навеяно воспоминаниями из прошлого». Один автор даже выразил мнение, что пассажиры автобуса олицетворяют собой нынешние благоприятные условия жизни, рассказ же о Марии Хунте — проклятое прошлое.

Тех, кто считает, что «Беспечная жизнь» написана после освобождения, то есть после 1945 года, можно разделить по крайней мере на три группы. Одни увидели в очерке изображение нищеты во время войны, другие явно усмотрели в нем намек на трудности начала пятидесятых годов, а некоторые — тему человеческой неприкаянности и заброшенности стариков, что, по их мнению, актуально и сегодня, так как примеры этого приходилось наблюдать и им самим.

Здесь мы должны остановиться и разграничить наши возражения, ибо не можем же мы осуждать читателя, который самым естественным образом подпал под обобщающее воздействие острой зарисовки Балинта. В самом деле, «Беспечная жизнь» рисует не единичное и не частное явление — кое-что в ней обращено и к нам, ее ирония бередит и наши души. Тем самым она звучит в унисон с голосами многих выдающихся творцов нынешней литературы. Но при этом в «Беспечной жизни» внятно говорится о времени ее написания. Поэтому нельзя не удивляться тому, что почти половина испытуемых попросту не обратила внимания на направляющие фразы текста. Во многих случаях поверхностность чтения может быть установлена совершенно конкретно. Авторы нескольких работ, например, спутали «решающее в истории Европы пятидесятилетие» с «пятидесятыми годами» столетия — отсюда ошибочная датировка произведения. Дважды упомянутые «тридцатые годы» начисто ускользнули от их внимания. (Изучение возвращенных нам экземпляров текста также показало, что большая часть учащихся не сочла существенным упоминания тридцатых годов — не подчеркнула их.) Но в очерке имеются и другие ориентиры. В двух отличных работах говорится о том, что мировая война упоминается в тексте без порядкового числительного, следовательно, зарисовка могла быть создана только до второй мировой войны. Заставляет задуматься тот факт, что определение времени написания, требующее помимо внимательного чтения самой минимальной способности логически мыслить, половине учащихся не удалось.

Двое из девяноста двух предположительно назвали автором Дёрдя Балинта, но еще двадцать два человека заподозрили авторство Лайоша Надя,[1] и мы — как ни странно это звучит — признали их догадку правильной. У этих писателей много общих черт, и учащиеся, называя автором зарисовки Лайоша Надя, близки к истине по существу — во всяком случае, их ошибка не столь значительна в сравнении с верностью хода мысли. «Социографический характер плюс ирония» — такую формулировку, в том или другом виде, дали несколько человек, а один вспомнил даже социографическую повесть Л. Надя «Кишкунхалом», считая ее произведением, родственным по духу «Беспечной жизни». В ряде работ авторами «Беспечной жизни» названы Андор Габор, Каринти, Йожеф Лендел, Эркень, Мора[2]. Двое упомянули Фейеша,[3] что не столь уж удивительно, если иметь в виду, что и Фейеш жестко вычерчивает жизнь своих героев. Наконец — упоминаю об этом для веселой разрядки — в работе, которая, между прочим, правильно относит создание произведения к тридцатым годам, автор полагает, что это «какое-нибудь из ранних произведений Молдовы».[4]

«...критика одной жизни...»

Основная художественная атмосфера «Беспечной жизни» — ирония, которую оттеняет самоирония, а кое-где сменяет злой сарказм. Отсюда и характер первичной классификации: работы делятся на две большие группы, в первую попадают сочинения авторов, почувствовавших этот иронический, самоиронический, сатирический колорит текста, во вторую же — те, авторы которых этой атмосферы не заметили. В трех классах оказалось всего 16 учеников, которые вообще не заметили иронии в зарисовке Балинта. Но их так мало, лишь потому, что все работы, в которых хотя бы упоминается слово *ирония*, либо *сатира*,

[1] Лайош Надь (1887—1954) — писатель и журналист; его рассказы, очерки, повести 30-х годов (в том числе и «Кишкунхалом») создали острый реалистический портрет современного ему венгерского общества.

[2] Андор Габор (1884—1953) — писатель, эссеист, публицист, яркий представитель социалистического крыла в литературе 30 — 40-х годов; Фридеш Каринти (1887—1938) — поэт, писатель-юморист, литературный критик; Йожеф Лендел (род в 1896 г.) — писатель остросоциальной тематики; Иштван Эркень (род. в 1912 г.) — писатель-сатирик; Ференц Мора (1879—1934) — писатель-реалист, автор нескольких исторических романов, большого числа рассказов и повестей для детей и юношества.

[3] Эндре Фейеш (род. в 1923 г.) — современный писатель-прозаик.

[4] Дёрдь Молдова — современный писатель, родившийся в 1934 г.

ЭРНЁ ГОНДОШ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ТЕКСТОМ

либо *насмешка* и им подобные, мы механически изымали из этой группы.

Что уловили из «Беспечной жизни» Балинта те, у кого нет слуха на иронию? Процитируем некоторые работы: «Это краткое изложение жизни беззаботно живущей женщины... Беззаботность следует понимать не буквально, а в том смысле, что ей не о чем было заботиться...»

«В этом произведении писатель прослеживает жизненный путь Марии Хунты. Через нее он показывает большие перемены в нашей эпохе, войну и восстановление страны. Описывает все просто, понятно даже для какого-нибудь малограмотного».

«Писатель хочет выразить в своем произведении, что заботы могут быть только у тех, кто что-то имеет. Хотя, по-моему, бедность сама по себе большая забота». Убедительным примером того, какие трудности для понимания создает недостаток восприимчивости к иронии, может послужить следующая фраза из того же сочинения: «Может быть, она жила беспечно при всей своей бедности потому, что у нее не было никаких потребностей, ничто ее не интересовало».

«...не человек, просто узел,— читаем в другой работе. — Как это могло случиться?.. Вероятно, она не имела особых способностей. Но все-таки... Неужели не было у нее друзей, которые бы посочувствовали?»

Таких спонтанных «каринтиад»[1] встречается в этих работах немало: «Писатель дает целую панораму всех слоев тогдашнего общества». «...он хотел сказать, что и после освобождения жили очень-очень бедные люди, а в то же время и такие, у кого большие квартиры».

«Не думаю, чтобы сегодня существовали совершенно покинутые пожилые люди и без жилья. Теперь о таких заботится государство».

«Таких, как Мария Хунта, много было и есть. Одну и я знаю. Она живет в нашем доме. И утром, и днем, и вечером она стоит на лестничной площадке — все стоит и ни с кем не разговаривает Мне почему-то кажется, что она ждет и ждет кого-то...» Юношу, чье воображение взволновала зарисовка Балинта, явно растревожила резкость балинтовой интонации. Но он тут же и успокаивает себя с успехом, достойным взрослого конформиста: «Фраза «пусть с нею поменчется» излишняя. Мария Хунта все равно не смогла бы стать другой. Не могла бы привыкнуть, что она где-то проживает».

«Достоинство произведения в том, что в нем хорошо показано... как в прежние времена жили люди и как они довольствовались даже малым. А женщина, едущая в автобусе, показывает, как изменились условия жизни. На место прежних забот пришли новые... И еще достоинство, что здесь показано развитие с начала века, правда, довольно в общей форме».

Среди тех, кто принял зарисовку за схематическое произведение пятидесятых годов, наиболее мировоззренческий характер носит следующий отрывок из работы: «Сюжет взят из сороковых годов, написано в пятидесятые годы. Удачно обрамление, которое относится к настоящему, но оттеняет собою кусок прошлого, небольшую зарисовку эпохи. Великолепное противопоставление прошлого и настоящего!!! Писать критические замечания не хочу. Пусть уж другие... Ассоциация, пожалуй, такая: довольствуйся тем, что есть. А если недоволен, оглянись назад и ужаснись; словом, радуйся тому, что имеешь».

«Мария Хунта, которая прожила 75 лет, ни с кем, собственно, не была никак связана. В ее жизни происходили великие события, а она даже знать о них не знала. Всю жизнь прожила среди людей — одна. И даже к вещам не имела никакого отношения...»

«По-моему, это критика одной жизни... По-моему, писателю не удалось добиться своей цели (если, правда, его цель в этом), чтобы мы пожалели эту несчастную женщину. Мне совершенно не понравилось».

«Старики, о которых никто уже не заботится, живут в полной заброшенности. За это следует призывать к ответственности общество... Написано слишком пространно, все это можно было изложить гораздо короче. В рассказе много лишнего».

«Тема произведения очень хорошая. Обрамление мне не нравится. Вся эта поездка в автобусе и идея насчет обмена».

«Мне понравилось, потому что, как мне кажется, он очень реалистично пишет про тогдашнее время. И, в общем, по существу».

Как видим, одним авторам процитированных работ «Беспечная жизнь» нравится, другим — не нравится. Однако эти заявления стоят немного, да и относятся не к произведению, а к той или иной плоской выжимке из него. Чего стоит похвала «простому языку», если выясняется, что пишущий и понимает-то из того, что читает, лишь самое простое, простейшее? Недоразумения, возникающие от неумения слышать, весьма поучительны. В самом деле, откуда берет наш молодой читатель, что прежде люди «довольствовались малым»? И где в этом произведении находит он точку опоры для такого суждения? Нужно ли лучшее доказательство тому, что читатели в значительной мере вычитывают в произведении собственные же мысли? Следующий раздел даст дальнейшие убедительные примеры для подтверждения этих выводов, к которым уже не раз приходили исследователи массовых коммуникаций.

Ирония, но в чей адрес?

Если из 92 работ мы изымем упомянутые 16, авторы которых писали в состоянии наивного неведения, остается внушительное большинство — 76 работ. Соотношение неплохое, вправе порадоваться читатель.

[1] Имеется в виду характерная для юмора Фридеша Каринти черта — внешне серьезное изложение банального хода мыслей обывателя.

Венгерское искусство в Москве

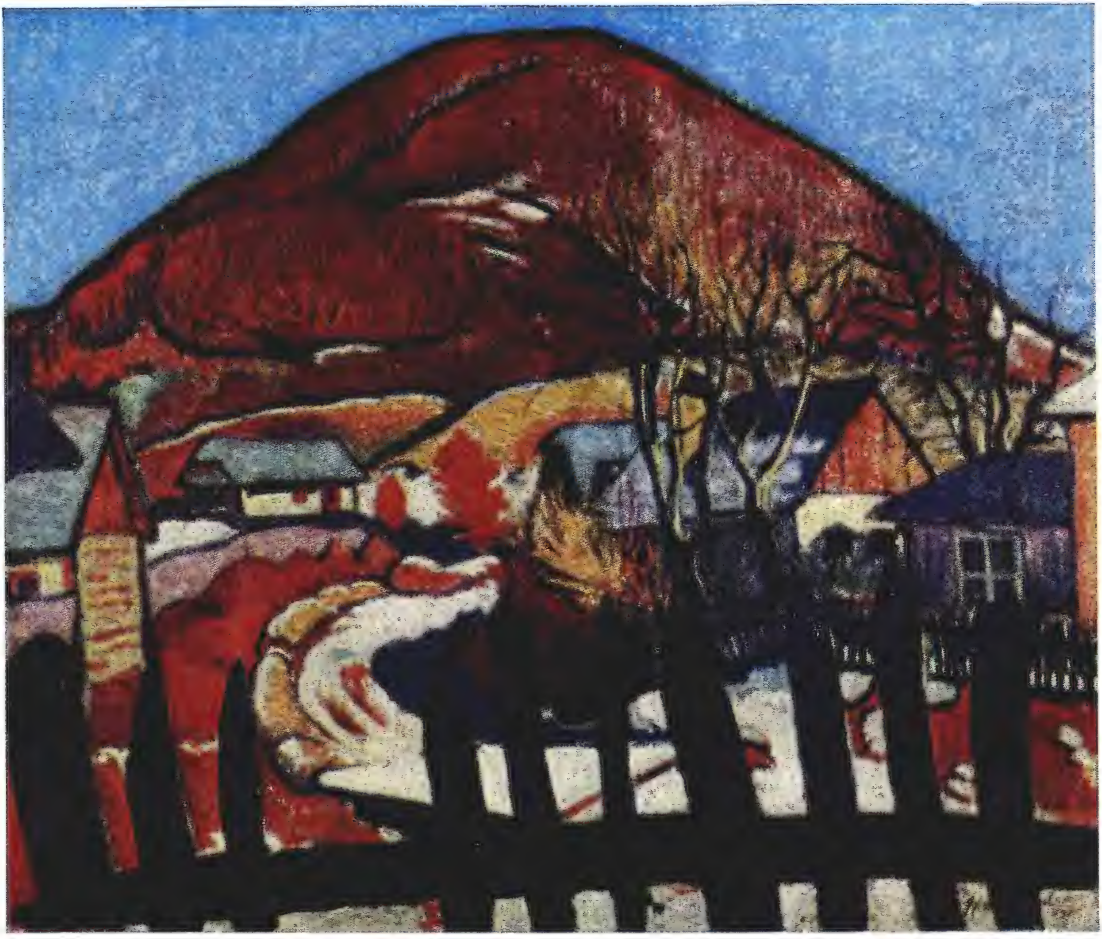
Михай Мункачи. Камера смертников. 1869—1872 гг.

Ижак Перлмуттер. Два возраста. (Дата неизвестна)

Йожеф Риппль Ронаи. Мой отец с дядей Пьяченом. 1907 г.

Адольф Феньеш. Брат с сестрой. 1906 г.

Дьюла Деркович. Вдоль железной дороги. 1932 г.



Шандор Зиффер. Пейзаж с забором. 1910 г.

Ене Пайж Гозбель. Автопортрет с голубями. 1931 г.

Дьёрдь Кохан. Женщины и времена. 1949 г.

Я вынужден его огорчить: к первым 16 нам придется прибавить еще 27 — работы, авторы которых уловили, правда, юмор, иронию, насмешку, но понятия не имеют, что же делать с этим дальше. и еще несколько работ, ошибочно толкующих объект иронии.

Все три группы вместе составляют 68 процентов. «В последней фразе я ощущаю вроде как насмешку,— пишет девушка.— Она не подходит к концовке такого рассказа». Как же прочитала «Беспечную жизнь», что уловила из нее эта девушка, если настолько «неподходящим» считает конец рассказа? Некоторые авторы даже защищают от Балинта Марию Хунту: «Писатель высмеивает печальную судьбу несчастной Марии Хунты». В другой работе отчетливо вырисовываются двойственные чувства, которые вызвала в ее авторе зарисовка Балинта. «Ужасно ироническое произведение»,— пишет он, употребив столь уместное здесь словосочетание, а затем продолжает так: «Писатель — мне кажется — немножко жалеет Марию Хунту, ведь он не проходит равнодушно мимо, а пишет о ней... Но в то же время он презирает ее, не считает за человека». Самая возможность и так понять зарисовку Балинта ошеломляет. К тому же эта работа — не единственная. «По-моему,— читаем в следующем сочинении,— писатель все-таки ближе к Марии Хунте. Но в то же время и осуждает... Она по собственной вине, а не по вине других людей дошла до такой жизни». Какая система человеческих ценностей, влияние какой среды, какой опыт стоит за подобными высказываниями?

В части работ наблюдается какая-то непонятная — не могу подобрать выражения лучше — «социальная тугоухость». «Странная женщина Мария Хунта: у нее ни жилья, ни родственников, ни работы. Она просто прозябает. Ее необыкновенная нищета поражает, но не вызывает сострадания, ведь живет она беззаботно. Мария Хунта понятия не имеет о техническом прогрессе и вообще о том, как развивается мир. Это почти смешно. Всю жизнь она провела на кухне, и ничто не производит на нее впечатления». Это написала девушка, а вот что пишет юноша: «Обыденными, несколько ироническими средствами — о Марии Хунте. Особой ценности произведение не представляет. Мария Хунта — незаметное существо, одна из многих, обиженных судьбой. Она всегда останется фигурой побочной...» И этот юный «Übermensch»[1] к тому же еще критикует писателя «слева»: «Произведение не носит революционного характера. Оно не требует ни уничтожения бедности, ни вообще каких-либо перемен». Другой юноша тоже почувствовал насмешку, более того, он детально разбирает ее проявления — но что понял он в прочитанном, если пришел к следующему выводу: «Автор правильно пишет: это физическое тело просто-напросто узел, тюк какой-то. Мария Хунта счастлива, поскольку лишена разума. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит царствие небесное»?

Если, рассматривая предыдущую группу работ, мы недоумевали, как ускользнули от внимания их авторов существенные элементы произведения, а в то же время они «вычитали» из него детали, в нем отсутствующие — например, «восстановление страны», до которого Балинт, увы, не дожил,— то в первой группе тех, кто уловил иронию, поражает ложное, как правило, представление о содержании и адресате иронии.

«Горькое... какое-то «пештское» настроение»

29 учащихся в основном правильно поняли и почувствовали произведение Балинта. Из 92 — 29. Много ли это? Мало? Не знаю. Хорошо было бы провести сопоставимые обследования, чтобы объективно оценить полученный нами результат. Я не буду ждать таких сопоставлений и не стремлюсь прослыть человеком сугубо объективным: я решительно полагаю, что тех, кто понял предложенное им произведение всерьез, недостаточно. Если бы их не было вообще, я, вероятно, сказал бы в полной растерянности: что ж, значит, очерк Балинта ничего не говорит людям их поколения. Однако эти 29 юношей и девушек существуют. Они выдержали неожиданное испытание с таким успехом, что нас «спокойно» могут беспокоить остальные 63 участника эксперимента.

Итак, 29 учащихся в принципе правильно поняли «Беспечную жизнь» Балинта. Впрочем, выделим из их числа еще тех, кто правильно понял лишь основную формулу, то есть тех, которые, уловив, что речь идет не просто о жизни одной женщины, и чувствуя, что писатель на стороне бедных и его возмущают «заботы» владелицы большой квартиры, сводят все-таки содержание зарисовки только к этому противоречию. Для характеристики процитируем одно такое сочинение: «Писатель размышляет о заботах состоятельной дамы, проживающей в большой, хорошо натопленной квартире, и ему вспоминается Мария Хунта, у которой подобных забот нет...»

Остаются в результате все же 20 молодых людей, чьи сочинения мы можем читать с глубокой, чистой радостью, которые действительно слышат слово писателя, и не только слово, самый текст, но и его мелодию. По содержащимся в их работах рассуждениям, ходу мысли и доказательств, по их настроению и, наконец, эпитетам чувствуется, что они воспринимают произведение литературы критически-осмысленно. Будь у меня возможность, я привел бы здесь их все. Но такой возможности нет, поэтому, выделив характерные и важные мысли в каждой работе, я скомпоновал из них своего рода монтаж, получив как бы

---

[1] Сверхчеловек *(нем.)*.

ЭРНЕ ГОНДОШ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ТЕКСТОМ

цельное сочинение. Выражения, встречающиеся часто, я выделяю и повторением их, и фразы разных авторов отделяю отточиями. Итак:

«Очерк «Беспечная жизнь» создан в тридцатые годы, его мог написать Лайош Надь... О времени написания говорят не только конкретные указания, но и самое настроение вещи. Горькое, немножко пессимистическое, какое-то «пештское» настроение. Почти стыдишься собственного нормально обставленного жилья... Начинается очерк с жалоб некой состоятельной особы, в конце этот зачин обыгрывается вновь... Мысль очерка выражается уже в названии и в построенной на противопоставлениях форме. Богатая дама и нищенка... но суть не в том, что написано словами... Подлинную ценность «Беспечной жизни» придает как бы между строк таящееся предупреждение: люди, оглядимся вокруг себя! Какие кричащие противоречия повсюду... Автор маленькой зарисовки описывает положение Марии Хунты бесстрастно, внешне равнодушно: темно-серая; бесформенная; неподвижная; красные воспаленные глазки; семьдесят пять лет; нигде не проживает. А получается так, словно бьет тебя деревянным молотком по голове. Самое потрясающее в очерке — его ирония. Начинаешь читать фразу и расплываешься до ушей, а потом вдруг улыбка кривится и превращается в горькую гримасу: ведь смеяться над этим невозможно, эта жизнь чудовищна... Рассказ заставляет задуматься, он вызывает невеселую, горькую улыбку... «Беспечную жизнь» нельзя определить как какое-то жалостью продиктованное произведение... Его стиль, с виду объективный, часто скрывает в себе злую насмешку. Это тоже заставляет думать о Лайоше Наде, для многих произведений которого характерен такой же стиль (например, рассказ «Январь»). Именно «объективность» и придает ему эту горькую насмешливость. И здесь, как в рассказах Л. Надя, грустные обстоятельства жизни Марии Хунты перечисляются под видом «научной систематизации»... Для произведений Лайоша Надя характерно сухое, неприукрашенное изложение фактов. У него нет субъективных замечаний, и все же мы чувствуем позицию писателя, его недовольство, более того, его стремление пробудить протест против жестокости общества его времени... Его сжатые фразы, объективные свидетельства — это критика времени, общества... С виду писатель принимает факты такими, как они есть, в действительности же побуждает к протесту против такого сушествования, как у Марии Хунты. Он ей сочувствует... Стиль очерка объективный, на вид бесстрастный... Писатель рассматривает Марию Хунту как какой-нибудь предмет, но сухие факты, чувства и их отсутствие придают произведению иронию и трагизм...

Как средство передачи иронии характерна, например, фраза: «Дело в том, что Мария Хунта *не проживает*». Этот глагол так не употребляется. Поэтому он звучит иронически... Или: «...она, как ни странно, ровным счетом ничего не знала» ни об архитектуре, ни о «современном, рациональном» строительстве квартир... А Мария Хунта и Рокфеллер... Интересного эффекта добивается писатель необычными словосочетаниями, например: «Где-то проживать полагается, более того, приличествует». И вся эта «беспечная» жизнь вообще... Писатель ухватывается за какое-нибудь слово и до тех пор вертит, крутит его, покуда из него не получается что-то такое, от чего волосы встают дыбом. Простая перестановка глаголов, ситуации: Мария Хунта, которая «не удосужилась обзавестись состоянием», и Рокфеллер, который «всю жизнь был бережлив, не покладая рук копил нефтезаводы, один к одному» — а какая в конце концов выявляется за всем этим действительность!..

Очерк «Беспечная жизнь» мне нравится. Обычно на такие темы пишут иначе, не в ироническом тоне... Мне очень понравился этот рассказ, его ирония производит большое впечатление на читателей... На такую тему иначе и не напишешь. Горькое ощущение жизни, которое стоит за ней, не допускает иного стиля... Положение Марии Хунты столь печально, что описать его в достаточно печальном тоне просто невозможно. Вот почему писатель рассказывает о нем с этой горькой иронией... если бы он написал иначе, произведение стало бы «душераздирающим» и убило бы тему. А так — получилось реалистично и потрясает и заставляет задуматься».

Развивать литературный вкус не только нужно, но и можно. Чтобы все мы больше верили в это, приведу в заключение еще несколько строк из одной работы, которая отражает сугубо интимную минуту преодоления вкусовой антипатии. Одна девушка, считающая, что писатель «потрясающе» описал жизнь Марии Хунты, в самом конце работы пишет следующие строки: «Считаю совершенно абсурдным, что автор сравнивает это «существо» с Рокфеллером, с миллионером... Но, пожалуй, такое противопоставление говорит само за себя. Все-таки получилось очень выразительно».

Тип восприятия и структура произведения

Наш опыт — надеемся, что это заявление не слишком смело, — подтвердил мысль Дёрдя Балинта о живущих в сознании читателя и отличных друг от друга вариантах художественного произведения. По изученным девяноста двум работам мы вправе предположить девяносто два восприятия произведения Балинта. Различие восприятий коренится, естественно, в различии «восприемников». В труде «Особенности моей эстетики» Дёрдь Лукач также говорит, что за различным подходом к произведению стоят различия индивидуальностей. Читатель согласно своей индивидуальности, определяемой как врожденными, так и благоприобретенными свойствами, а также занимаемым в жизни общества местом, «избирает» для себя из всей полноты объективно

данного произведения свой, лично им воссозданный его образ. «Идя далее, скажем, что именно Предыстория воспреемника определяет, какой именно слой произведения воздействует на него наиболее непосредственно...» — пишет Лукач. В материалах нашего эксперимента мы храним обширную информацию, которая помогает до определенной степени распознать «Предысторию» читателя, и в дальнейших исследованиях попытаемся вывести некоторые соотношения между определенными типами читателей и определенными типами восприятия. Однако начать следует с попытки сгруппировать находящиеся в нашем распоряжении работы.

Относительно несложная задача — отделить друг от друга работы, отражающие (в любой степени) понимание или непонимание произведений, то есть адекватное и неадекватное его восприятие. Мы уже отмечали, что часть учащихся — независимо от того, уловили они или не уловили иронические полутона «Беспечной жизни» Балинта,— пришла к выводу, что писатель «критикует» несчастную нищенку. Одобряют они эту усмотренную ими «критику» или нет — они ошибаются. Имея в виду эту группу, мы не можем говорить хотя бы об ограниченном понимании произведения. Процент адекватного восприятия — в зависимости от того, строго или мягко подходим мы к представленным работам,— колеблется между цифрами 18 и 22. В отличие от этой группы почти половина учащихся произведение поняла — правда, на самом элементарном уровне. Речь идет о тех, кто прочитал «Беспечную жизнь» как описание трагедии старой нищей женщины, причем некоторые даже уловили иронию или сарказм. Однако подчеркиваем: это лишь первая ступень понимания, еще очень примитивная. Из этих сочинений отчетливо видно, что в глазах их авторов «Беспечная жизнь» Балинта — просто сообщение на грустную тему на уровне газетной информации. Художественного богатства, многообразия интонации они не чувствуют.

Почти треть от общего числа — работы, в которых внимание переносится с Марии Хунты на писателя, его позицию, его отношение, проявляющееся в способе изложения. Эта группа также может быть разделена на две части: в первую попадут сочинения тех, кто суть произведения видит в обрисовке неодолимой пропасти между «владелицей большой квартиры» и Марией Хунтой, ее судьбой; во вторую — те, авторы которых видят ключ к позиции писателя в так называемом «обрамлении». «Это не просто сочувствие»,— замечает один из них и обращает внимание на иронический тон автора по отношению к «даме». Все эти работы представляют собой среднюю ступень на пути к постижению произведения искусства, к полному охвату его эстетического содержания. Ведь очевидно, что понять художественную силу «Беспечной жизни» невозможно, не почувствовав, помимо гневного сарказма, выплеснувшегося в «обрамлении», также иронию, которая пронизывает весь текст от начала и до конца. Я уже говорил о двух десятках работ, в которых мы увидели эту *высшую ступень* понимания и, «смонтировав» их вместе, продемонстрировали содержащиеся в них верные мысли.

Если мы присмотримся к полученным результатам, то обнаружим, что группировка происходит вокруг основных узловых моментов подлинной структуры произведения. Ведь центральным героем «Беспечной жизни», пусть с оговорками, является действительно Мария Хунта, а несколько фраз в начале очерка, написанных от первого лица, и последняя фраза, вновь возвращающая нас к началу,— это и в самом деле важный структурный ход. Так же, как настойчивые иронические полутона, которыми создается своеобразная «объективность» изложения,— важнейшие строительные материалы данной прозаической структуры.

В шестидесятые годы анализ художественного произведения как определенной структуры получил новый акцент. Мода на структурализм — лишь одна из причин этого. Главным же и решающим фактором оказалась четко проявившаяся потребность нашего литературоведения, нашей культурной жизни и даже, если хотите, нашего образа мыслей видеть вещи такими, каковы они есть, рассматривать их в максимальном приближении, не удовлетворяясь просто «содержанием» литературного произведения или значительностью поднятой в нем темы. Однако структуральный анализ явлений искусства ставит почти бесконечные задачи, забираясь даже в языковую микроструктуру литературного текста,— поэтому из бесчисленных «плоскостей», «поверхностей» и «массивов» создаются подчас такие непроходимые дебри, что реконструировать здание произведения становится делом поистине титаническим. Похоже на то, что литературоведу и критику к моменту синтеза пора бы вынимать из дальнего ящика чувство меры и отшлифованные на других произведениях опыт и вкус, чтобы уже «свободно» возводить разобранное в исследовательском энтузиазме здание. И вот тут изучение восприятия читателями литературного произведения может принести конкретную пользу. Ибо, как мы видели, различные типы восприятия органически формируются вокруг узловых моментов структуры произведения, а следовательно, могут помочь и в соизмерении их относительного веса.

Вместо заключения

Полагалось бы, кратко все суммировав, сделать соответствующее заключение и «извлечь уроки». Я не буду делать этого по двум причинам. Выводы частью можно сделать, просто опираясь на изложенное, частью же они уже были сделаны попутно.

Это еще лишь начало большой работы. Дальнейшее изучение должно выявить степень начитанности тех же самых учащихся, а также круг их чтения, предпочитаемые ими произведения — тогда мы сможем, надеюсь, прийти к осмыслению типических разновидностей вкуса. Впрочем, в виде некоего аванса мы можем коснуться здесь одной темы, без обязательного аналитического и доказательного аппарата, просто на основании впечатлений. Это — вопрос обучения литературе. Прежде всего: достижимо ли, чтобы все или хотя бы все обладатели аттестата зрелости, были ценителями литературы, понимали ее? И не очевидно ли, что подобно тому, как музыку, цвет и форму люди воспринимают неодинаково, точно так же может быть различным и восприятие литературы, художественных ее особенностей? Быть может, собственный мой оптимизм по отношению к возможностям педагогики не будет посрамлен, если я все же сделаю допущение, что существуют на свете и «цветослепые» читатели, не различающие толком краски литературного произведения, дальтоники. Но даже если это так, то процентные соотношения, установленные нами на основании работы с тремя выпускными классами будапештских гимназий, конечно, не связаны прямо с естественной одаренностью и природными способностями испытуемых. Куда больше в этих процентах отразились недостатки самих методов и принципов обучения литературе. При этом я имею в виду не столько различия в методике преподавания отдельных педагогов, хотя и этот фактор, естественно, играет немалую роль, сколько постановку у нас преподавания литературы вообще.

Н. ПОЛЯКОВА

ВЕНГЕРСКОЕ ИСКУССТВО В МОСКВЕ

Одним из приметных событий художественной жизни Москвы стала в минувшем году выставка «Изобразительное искусство Венгрии за тысячу лет», состоявшаяся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Большой раздел экспозиции был посвящен живописи нашего века, где фигурировали имена самых значительных художников Венгрии, уже завершивших свой творческий путь.

Основоположником нового реалистического венгерского искусства по праву считают всемирно известного живописца второй половины XIX века Михая Мункачи. Идеи борьбы за национальную свободу вдохновляли творчество этого выдающегося мастера критического реализма (на цветной вклейке репродуцирована его картина «Камера смертников»). Острый психологизм, эмоциональное напряжение, выраженные не только развитием действия, но главным образом средствами колорита,— отличительные черты его художественной манеры.

Прямыми продолжателями традиций Мункачи в конце XIX и первой половине XX века стали художники альфёльдской школы. Альфёльд — обширная венгерская равнина, одно из красивейших мест страны. Здесь очень прочны народные традиции быта и искусства венгерских крестьян. Во второй половине XIX века сюда стали съезжаться художники, образовав первые творческие группы в Солноке, Кочкемете, Ходмезёвашархее. Главной темой картин стала жизнь альфёльдских крестьян и природа окрестностей. Яркостью и верностью типов, сочной красочностью привлекают к себе полотна Ижака Перлмуттера («Два возраста») и Адольфа Фенъеша («Брат с сестрой»). Острым политическим пафосом проникнута графика и живопись Дьюлы Деркови́ча, наиболее известного работами тридцатых годов нашего века, в творчестве которого отчетливо проявляются признаки искусства социалистического реализма. К образу рабочего, его жизни и труду, темам социальной борьбы обращается этот художник («Вдоль железной дороги»). Поисками монументальной обобщенности образа и предельной идейной емкости отмечены полотна мастера альфёльдской школы Дьёрдя Кохана, по-новому использующего возможности цвета. Основоположником живописного декоративизма в Венгрии был Йожеф Рипль Ронаи, живший долгое время в Париже и испытавший воздействие французского постимпрессионизма («Мой отец с дядей Пьячеком»).

Независимо от принадлежности к тому или иному художественному направлению цветовая насыщенность, декоративность свойственны многим произведениям современных венгерских мастеров: Шандора Зиффера («Пейзаж с забором»), Ене Пайжа Гозбеля («Автопортрет с голубями»), Вильмоша Аба Новака («Ярмарка в Чисереде»), что, видимо, заложено в самой природе национального искусства, сохраняющего живыми славные традиции древности.

Наши гости

ВСЯ ЖИЗНЬ — БОРЬБА

(Нгуен Конг Хоан, Кхыонг Хыу Зунг, Нгуен Хай Чынг, Хыу Май — в «Иностранной литературе»)

У нас в гостях — четверо писателей, посвятивших свой талант и все силы борьбе за освобождение своего народа, героического, многострадального, но полного оптимизма и веры в будущее.

Нгуен Конг Хоан представляет старшее поколение вьетнамских писателей. Советский читатель впервые познакомился с его творчеством в 1956 году, когда увидели свет на русском языке некоторые из его рассказов. В 1960 году в Москве вышел сборник рассказов Нгуен Конг Хоана «Женщина — слабое создание».

Имя Нгуен Конг Хоана появляется в литературе Вьетнама в начале 20-х годов. Передовая интеллигенция в то время искала пути выхода своей страны из отсталости и кабалы. Ломались старые представления об отношениях между людьми, рушились тысячелетние традиции общественного устройства. Глубокие социальные изменения в феодальном обществе, контакты с Европой создавали во Вьетнаме почву для новой, революционной философии, вольнолюбивых идей. Страна тянулась к свету, ее древняя самобытная культура, живо сочетаясь с новыми веяниями, пыталась выпрямиться во весь рост, заявить о себе. Ожесточенная борьба старого и нового, естественно, порождала идейные шатания среди интеллигенции.

В эти вот сложные годы и начал писать Нгуен Конг Хоан. Он нашел себя как мастер короткого рассказа. Вышедшая в 1935 году книга его рассказов «Актер Ты Бень» вызвала горячую дискуссию в литературных кругах страны: чистое искусство или искусство для жизни? В ходе дискуссии четко определилась группа сторонников критического реализма, положившая начало целому направлению в национальной литературе. Сборник рассказов и дискуссия сделали Нгуен Конг Хоана одним из самых известных писателей Вьетнама.

В 30-е годы Нгуен Конг Хоан переходит от критики действительности колониального Вьетнама к утверждению в литературе нового героя, несущего идеалы революции. За 50 лет творческой деятельности он создал более 300 рассказов и несколько романов.

— Над чем вы работаете сейчас? — спрашиваем мы писателя.

— Когда мне пошел седьмой десяток, я решил заняться мемуарами. Вот результат этих трудов.— Он показывает книгу, на белой бумажной обложке которой написано: «Моя писательская жизнь».— Однако главная тема, над которой работают все наши писатели, — это тема войны. Лично я сейчас интересуюсь проблемой психологии человека на войне. Темой одного из новых своих романов я избрал жизнь солдат особых подразделений марионеточной сайгонской армии — «коммандос», которых американцы превращают в механизмы для убийства, уничтожая в них все человеческое.

Освещая актуальные вопросы, полезно иногда обращаться к истории. Совсем недавно я закончил повесть о трудной судьбе одной молодой женщины, о ее пути к революционной борьбе. Действие происходит в 30-е годы в одном из крупных городов Вьетнама, в условиях, имеющих много общего с обстановкой в городах Южного Вьетнама наших дней. Я попытался отразить жизнь такого города со всеми его болезнями и пороками, жизнь простых людей, безысходность обитателей городского дна, деятельность революционеров в годы становления нашей компартии.

— Повесть уже напечатана?

— Она закончена, и появление ее ожидается в 1972 году.

Другой представитель старшего поколения вьетнамских литераторов, принявший участие в нашей беседе,— поэт Кхыонг Хыу Зунг. Его детство и юность прошли в провинции Куангнам близ города Дананга в Южном Вьетнаме. Воздухом родных лесов и гор наполнены стихи Кхыонг Хыу Зунга. Писать он начал в 30-е годы, годы становления современной вьетнамской литературы. Позже революция привела поэта в ряды армии Вьетминя. С винтовкой в руках он прошел всю войну. В этой войне погиб один из двух его сыновей. Второй сын сражается сейчас против агрессоров в Южном Вьетнаме.

После окончания войны Сопротивления Кхыонг Хыу Зунг остался в Северном Вьетнаме, но в стихах его постоянно звучит тоска по родным местам, ненависть к оккупантам, радость за успехи Народных вооруженных сил освобождения Южного Вьетнама.

Обычно стихи его коротки, лаконичны. По форме они напоминают традиционные вьетнамские четверостишья. Многие из стихов Кхыонг Хыу Зунга написаны под впечатлением тех редких весточек, которые он получает от сына из Южного Вьетнама. Целый цикл его стихотворений называется «Авторучка отца и винтовка сына».

— Здоровье и возраст уже не позволяют мне вместе с сыном сражаться за освобождение родного края, и я пытаюсь принимать участие в этой борьбе своими стихами. Поэт всегда должен быть неразрывно связан с теми, о ком он пишет и для кого он пишет.

Третий гость — Нгуен Хай Чынг — тоже поэт. Ему сейчас 50 лет. Не сразу вошел он в литературу. Сначала Нгуен Хай Чынг решил посвятить себя живописи и получил соответствующее образование. Он рисовал и лишь иногда писал стихи. Горячий патриотизм привел его в ряды бойцов революции.

— В тяжелых походах во время войны Сопротивления я окончательно понял, что настоящее мое призвание — поэзия. В стихах мне удавалось гораздо полнее выразить свои чувства, а большого художника из меня все равно бы не получилось.

После Женевских соглашений 1954 года поэт, как и многие другие бойцы Сопротивления, уже не вернулся в Южный Вьетнам. Он пишет о людях Вьетнама, об их мужестве и стойкости, о борьбе за счастье своей страны. Последние его сборники стихов — «Люблю родной язык» (1963) и «Цветы земли» (1970). Нгуен Хай Чынг работает и в прозе. Скоро, например, выйдет в свет его роман «Не станем на колени», в основу которого положена история народного восстания в Южном Вьетнаме в 1960 году.

— Я очень взволнован своей встречей с Советским Союзом,— говорит Нгуен Хай Чынг.— Когда мне было шестнадцать лет, я впервые узнал о вашей стране, о Ленине, и с тех пор увидеть родину Октября стало мечтой моей жизни. Теперь эта мечта осуществилась. На Красной площади я написал стихотворение, посвященное великому вождю.

Самый молодой из четверых — Хыу Май. Он родился в 1927 году в Северном Вьетнаме и принадлежит к среднему поколению литераторов, которое заявило о себе в тяжелые годы войны Сопротивления.

Прежде чем стать писателем, Хыу Май прошел по трудным дорогам войны, участвовал в крупных сражениях и в малых боях. Он и сейчас тесно связан с армией, работая в журнале «Литература и искусство армии». Хыу Май известен в основном как писатель-очеркист.

Герой его произведений — человек смелый, волевой, для которого освобождение своей страны стало священной целью жизни. С такими людьми Хыу Май знакомит читателя, в частности, в сборнике рассказов и очерков «Впереди — фронт» (1966), в романе «Последняя высота».

— Какое из своих произведений последних двух-трех лет вы считаете для себя главным? — спросили мы у Хыу Мая.

— Все посвящено одной большой теме, и для меня очень трудно выделить что-то самое главное. Недавно я закончил работу над сборником очерков «Узкая полоска земли» о героях Южного Вьетнама, которые живут и сражаются в одном из самых горячих районов — между семнадца-

ой параллелью и городом Хюэ. Американцы прозвали этот район «котлом».

Но, пожалуй, главная моя работа последних лет — это работа над сборником исторических очерков, которые являются также и своего рода биографией Во Нгуен Зиапа, человека интереснейшей судьбы, талантливого полководца, ныне министра обороны ДРВ. Жизнь его тесно связана с историей революционной борьбы нашего народа. Процесс работы над книгой часто носил характер интервью, которые я брал у Во Нгуен Зиапа. Книга охватывает период с дореволюционных лет до наших дней. Три тома уже увидели свет: «Вышедший из народа», «Незабываемые дни» и «Воспоминания о Дьен-бьен-фу». Скоро выйдет и четвертый том.

Вьетнамский воин, — продолжает Хыу Лай,— отправляясь в поход через горы и джунгли, несет в своем вещевом мешке 35 килограммов самого необходимого снаряжения. И всегда в этом мешке находится место для книг, в том числе и для книг советских авторов. Но не только книги о войне составляют духовную пищу солдата. Мы по мере возможности переводим лучшие произведения иностранных авторов и развиваем свою социалистическую литературу, сочетая национальные традиции с достижениями передовой литературы других стран. Во Вьетнаме, где происходит борьба двух миров, особенно остро встает проблема борьбы двух идеологий. Южный Вьетнам сейчас заполнен литературой, которая воспевает «американский образ жизни». Задача писателей Вьетнама — противопоставить этому потоку писанины свою литературу. При этом важно и содержание, и количество.

Заканчивая этот отчет о встрече с четырьмя вьетнамскими писателями, мы хотели бы привести несколько цифр. В 1971 году одно лишь издательство «Литература» выпустило 65 книг различных названий общим тиражом 619 тысяч экземпляров, в том числе 25 произведений вьетнамских прозаиков, 12 сборников стихов, 7 произведений литературной критики, 2 пьесы, 5 исследований по национальной культуре, 14 переводов книг иностранных авторов.

АЛЕКСАНДР МИНЕЕВ

Среди книг

Издано в СССР

НЕ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ

Современная художественная литература за рубежом. Информационный сборник. Москва, «Книга», №№ 1—6, 1971.

Проблема информации, ее обработки и систематизации — одна из самых острых в наш век научно-технической революции. Проблема эта, как мы убеждаемся, затрагивает не только точные науки, технику, прикладные области знания, но и гуманитарные, общественные дисциплины. Сегодня уже ясно, что своевременная информация должна охватывать и область художественной литературы, критики, литературоведения, искусствознания.

Поистине, необходим лоцман в необозримом море литературной продукции: по данным ЮНЕСКО, в год в мире появляется до полумиллиона книжных названий. Для нас особенно важно ориентироваться в этой книжной продукции: ведь наша страна уверенно стоит на первом месте в мире по переводу художественной литературы.

В Постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» особо подчеркнута большая роль критико-библиографической работы. В свете этого понятно значение сборника «Современная художественная литература за рубежом», издаваемого Всесоюзной Государственной библиотекой иностранной литературы. Сборник, на страницах которого уже отрецензировано более 5000 книг, был основан летом 1961 года и вступил уже во второе десятилетие своего существования.

Издание это во многом уникальное, аналогичного которому нет ни в одной стране. Например, в таких широко известных литературно-критических изданиях, как «Нью-Йорк таймс бук ревью» и «Нью-Йорк ревью оф букс» (США), «Букс энд букмен», «Букселлер» (Англия) иностранная литература, выходящая не на английском языке, рецензируется лишь после перевода.

Думается, что редакция поступила верно, не пойдя по пути простого аннотирования и реферирования выходящих книг,— ведь речь идет о художественной литературе, о произведении искусства, когда немыслима некая «нейтральная» манера изложения. В подавляющем большинстве довольно емких микрорецензий, из которых состоит сборник, дана квалифицированная идеологическая и эстетическая оценка. И как правило, это первая на русском языке рецензия на новую иностранную книгу.

О целенаправленности отбора в сборнике, позволяющего проследить некоторые общие, глубинные особенности литературной панорамы за рубежом, свидетельствуют и отдельные специальные номера. Полезен, например, номер, посвященный теоретическим литературоведческим работам, в котором освещались «театр абсурда», новый роман, вопросы классического наследия, истоки модернизма и т. д. (№ 4, 1965), номер, материалы которого были связаны со знаменательной датой — двадцатилетием разгрома фашизма (№3, 1965). Но особенно интересен и богат по материалу номер, приуроченный к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (№ 1, 1970). Он не только дает убедительное представление о разнообразии зарубежной ленинианы, но и показывает все возрастающее воздействие ленинских идей на современную литературу. Среди отрецензированных материалов — труды литературоведов и свидетельства ме-

муаристов, разыскания историков и стихи, рассказы и романы.

В простых и непритязательных воспоминаниях ветерана болгарского революционного движения Сотира Черкезова содержатся ценные подробности его встреч с В. И. Лениным в 1918—1920 годах. Лондонское издательство «Лоуренс и Уишарт» публикует сборник «Ленин о литературе и искусстве». Октябрю, России, Ленину посвящает сборник стихов венгерская поэтесса Жени Варнаи. «Мечта о Советской Германии» — так называется сборник рассказов революционных немецких писателей 20—30-х годов (Б. Брехта, Л. Ренна, А. Зегерс, Ф. К. Вайскопфа и др.), изданный в ГДР в 1968 году.

В воспоминаниях Альфреда Куреллы «На пути к Ленину» оживает одна из ярких страниц интернациональной дружбы революционной Германии и революционной России. О глубоком влиянии Октября на выдающегося индийского прозаика Прем Чанда рассказывает литературовед Ш. Пандея на страницах делийского журнала «Алочна». В «Автобиографии» (1968) Уильяма Дюбуа показано, каким значительным фактором были поездки «в страну Ленина» для старейшего деятеля негритянского национально-освободительного движения, ставшего коммунистом. Силу воздействия социалистических идей на литературу США в послекризисное десятилетие демонстрирует сборник статей под редакцией Д. Мэддена «Пролетарские писатели тридцатых годов».

Удачен и нов по материалу последний, «военный» номер, вышедший к двадцатипятилетию разгрома фашистской Германии. Он свидетельствует о том, что тема второй мировой войны, осмысление ее причин и уроков по-прежнему волнует писателей и критиков многих стран, как непосредственных очевидцев и участников событий, так и литераторов младшего поколения.

Очень полно представлена в номере литература, освещающая эпизоды антифашистского Сопротивления в самых разных странах — в Австрии и Франции, Польше и Болгарии, Чехословакии и Югославии, Греции и Голландии. Эти книги вновь переносят нас в атмосферу героического подполья и подвигов партизан, они еще раз напоминают о том, как в самые черные дни Европы Советский Союз служил для миллионов борцов источником надежды и веры в победу. Знаменательно, что в рецензируемых книгах писателей социалистических стран, посвященных войне, у Веселина Андреева и Ежи Путрамента, Тибора Череша и Миху Драгомира тема борьбы с коричневой чумой обретала историческую перспективу: в этих странах в ходе антигитлеровской войны закладывались основы и новой общественно-политической системы.

По-иному решается тема второй мировой войны в творчестве писателей капиталистических стран, прежде всего американских, начиная с конца 40-х годов, с романов Джонса, Мейлера, и кончая последними книгами Воннегута и Майрера. Они несут острую социальную критику, рисуя нравы американской военщины, жестокость армейской машины, несовпадение целей антифашистской борьбы со своекорыстными планами правящих кругов США в период второй мировой войны.

В этом номере, представляющем, подчеркнем, несомненный историко-литературный интерес, можно прочесть полезные обзоры о неофашистской литературе в ФРГ, об апологии колониализма в романах Жана Лартеги, об американском романе, посвященном войне во Вьетнаме, читатель найдет здесь и много другого материала, малоизвестного или впервые вводимого в обиход.

Полезны и некоторые регулярные тематические подборки внутри отдельных номеров, например, раздел «Драматургия, театр и театроведение»; в одном из последних номеров (№ 4, 1971) дается весьма емкая картина состояния драматургического искусства за рубежом, особенно в Англии и США. На наш взгляд, тематические номера, подборки материалов и жанр обзоров в полной мере отвечают целям сборника.

Отрадно, что за десять с лишним лет тираж сборника «Современная художественная литература за рубежом» увеличился во много раз, что номера его расходятся, что он явно перерос служебные, вспомогательные рамки и имеет свой, весьма широкий, читательский адресат. Некоторые его разделы — хроника литературной жизни за рубежом, аннотация статей и книг,— может быть, еще не сложились. Но общее направление сборника в нынешнем виде безусловно верное. Хотелось бы только наладить, наконец, его регулярный выход, сделать его ежемесячником, сохраняющим данный объем и имеющим подписку. Кстати, запоздание с выходом мешает сборнику быть тем, во имя чего он создан,— оперативным изданием.

Теперь, когда по решению ЮНЕСКО 1972 год объявлен годом книги, особенно остро ощущается роль этого издания как пропагандиста зарубежной художественной литературы.

Б. ГИЛЕНСОН

ПЕЧАЛЬ ПОЭТА

Ли Цин-чжао. Строфы из граненой яшмы. Перевод с китайского, вступительная статья и примечания М. Басманова. Москва, «Художественная литература», 1970. 79 стр.

Есть женская поэзия в самом высоком смысле. Поэзия женского сердца. Надо ли напоминать имена? Они известны. Переводчик М. Басманов, которого мы давно знаем по его переводам из Синь Ци-цзи и других китайских поэтов, добавил к ним еще одно имя, достойное быть вписанным в славный ряд... «Припомнилось мне: в тихий час заката / Мы за плетнем восточным / Пьем вино... / Еще поныне в рукавах халата / Таится запах сорванных когда-то / Цветов, которых нет уже давно. / Какой измерить мерою стра-

даньe! / А ветер западный / Рвет штору на окне... / Ты желтой хризантемы увяданье / Увидеть мог бы, заглянув ко мне». Ли Цин-чжао творила в Китае первой половины XII века.

Дочь ученого-литератора и образованнейшей женщины своего времени, Ли Цин-чжао родилась в 1084 г. в Цзинани на востоке Китая. У нее была счастливая юность, отразившая в стихах нарочитые свои печали. Была и счастливая молодость с поэтической славой. Настоящая печаль в жизнь и стихи Ли Цин-чжао пришла тогда, когда цзиньские войска чжурчжэней вторглись в сунский Китай и в 1127 году захватили столицу его Кайфын. Начались скитания поэтессы по югу Китая, вначале с мужем, а затем, после смерти его в 1129 году, и в одиночестве. Было много написано, но сохранилось стихотворений пятьдесят, о которых можно утверждать, что они принадлежат Ли Цин-чжао.

Собственные несчастья Ли Цин-чжао неотделимы от горестной судьбы ее народа, ввергнутого в бедствия жестокими захватчиками чжурчжэнями и своекорыстным сунским двором. В грусти ее и тоске есть отзвук общей народной боли.

«Но лодке утлой непосилен груз / Меня не покидающей тоски. / От берега отчалю — и, боюсь, / Тотчас же окажусь на дне реки... «Грустно мне так и тревожно, / А отчего — я не знаю»... «Тоска на мгновенье хотя бы / Оставить меня не желает. / С бровей прогоню ее — / Злая, / Шипы свои / В сердце вонзает»... «Осени краски легли / На небо и облака. / Гостьей незваной ко мне / Чаще приходит тоска». Тоска от вынужденной разлуки с родной стороной: «Где ты, край, мне навеки милый?.. / Нам в разлуке жить суждено. / Нет, забыть я тебя не в силах, / Не поможет тут и вино!»... «И теперь в чужедальнем краю / Новый год я встречаю одна. / Непонятно, когда же могла / Побелить мне виски седина!..» Одна в чужедальнем краю, потерявшая любимого мужа, в разлуке с домом и в вечной разлуке с другом, завершившей непрерывную цепь разлук! Их было достаточно в неспокойной ее жизни: «Лежу одна, печальная, в постели, / До третьей стражи — дождик за стеной. / За каплей капля / Проникает в душу, / За каплей капля / Проникает в душу./ Мне больше не по силам / Шум их слушать / И ночь в разлуке / Коротать одной».

Весна и осень давно, задолго до Ли Цин-чжао, опоэтизированы в китайской литературе. Но Ли Цин-чжао чувствует и предчувствует весну с особой женской остротой: «Ни цветочка нигде не видно, / Но я знаю: весна в пути. / Ветер западный — так обидно! / Холодам не дает уйти». Ради весны готова забыть она о своих больших и малых печалях: «Слабый луч. Ветерок несмелый./ То вступает весна на порог./ Я весеннее платье надела, / На душе ни забот, ни тревог». Уход же весны или конец осени усиливают трагизм тревог поэта, может быть, еще и потому, что так усугубляется печаль разлуки с домом и другом. «Вот и снова уходит весна: / Лепестки под дождем облетают./ И опять я на башне одна»... «Немного пусть, / Но все же дни короче./ По всем приметам / Осень на исходе. / Как Чжун-сюань, тем больше я страдаю,/ Чем дальше мысли горестные бродят.»

«Я не пила еще за хризантемы,/ Что у плетня восточного желтеют». Те самые хризантемы, что росли у восточной ограды сада поэта Тао Юань-мина, цветы мэйхуа, рождающиеся ранней весной на ветках без листьев, деревья и травы, цикады и птицы, дожди и ветры, туманы и тучи, восходы и закаты, солнце и луна наполняют стихи Ли Цин-чжао и живут в них равноправно с поэтом. Печаль же Ли Цин-чжао светла. Она рождает в сердце ту ответную грусть, которая заставляет еще сильнее ценить жизнь. В печали Ли Цин-чжао нет безнадежности, в ней содержится затаившаяся радость собственных воспоминаний и человеческих возможностей в этом мире прекрасной природы.

Таков поэт, представленный нам переводчиком. До нас в основном дошли произведения Ли Цин-чжао в жанре «цы» — стихотворения с неравными строками и меньшей, если можно так выразиться, грамматической и смысловой определенностью, чем классические стихотворения жанра «ши». Отсюда и другие трудности в переводе, кстати сказать, почти не нажившем еще традиции. М. Басманов стоит в самом начале этой будущей традиции. Переводы М. Басманова поэтичны и ясны. Переводчик сумел понять и прочувствовать и с нежностью выразить нелегкий и не сразу раскрывающийся читателю текст, требующий для проникновения в его суть основательных знаний китаиста.

М. Басманов достигает в переводах «цы» смысловой верности. Его переводы поддаются сверке со сложным для восприятия нынешнего китайца оригиналом. Они вызывают доверие читателя. «Гладь озерную расколов, / Ветер волны нагнал без числа, / И едва уловим / Запах редких цветов,— / Это поздняя осень пришла»... «До чего же глубок этот двор! / Не измерить его глуби-

ны»... Мы, право же, верим в то, что приблизительно так (кто же возьмет на себя смелость поручиться, что точно так, да и бывает ли точно так?) сказала Ли Цин-чжао и можем подтвердить это китайским текстом. Переводчику удались концовки стихотворений: «И сумерки. И дождик без конца. / И мокрые качели у крыльца»... «Небо, вещи вокруг меня — те же,/ Только радость приходит все реже»... «Мне лучше в стороне, / Вдали от всех, / За занавеской слышать / Чей-то смех!»...

От переводчика «цы» требуется высокая изобретательность (которая отличает М. Басманова), но и оберегание себя от излишнего увлечения ею. М. Басманов порой недостаточно аскетичен в выборе эпитетов для заполнения пустот. «...Где предрассветная дымка / Тает над сонной волной»... «Свеча курится пряным ароматом, / Пугливую отбрасывая тень»... «Вижу снова простор голубой,/ Над беседкою тихий закат»... Мы бы остереглись «сонной волны», «пугливой тени» и тем более «тихого заката», на наш взгляд, нарушающего образный строй китайского поэта, строго «вещественный», враждебный беспредметности. Но это не упрек, а скорее размышление: не надо забывать, что между переводчиком и рецензентом стоит иероглиф, тянущий за собою вереницу образов и, значит, подвластный (до известной степени, конечно) субъективному восприятию.

Итак, работа М. Басманова открыла нашему читателю замечательного поэта, познакомила нас с душою доброй и одинокой, подготовила нас и к выводам вступительной статьи переводчика: «Неподдельность чувств, глубокий лиризм и музыкальность в сочетании с живым, образным языком и совершенством формы — вот то главное, что определило жизненность и популярность поэзии Ли Цин-чжао... Издание на русском языке «Строф из граненой яшмы» положит начало знакомству советского читателя еще с одной поэтессой, удивительно целомудренной и возвышенной в своей любви к природе и людям». Как автор вступительной статьи, М. Басманов порадовал по существу первым в нашей ученой и учебной литературе компетентным словом о Ли Цин-чжао. Лаконичную эту статью, содержащую анализ тонкой и в то же время народной лирики Ли Цин-чжао, с пользой для себя прочитает и просто тот, кто любит настоящую поэзию, и студент, которому положено познакомиться с духовной жизнью китайского общества XII столетия.

«Если судить по дошедшим до нас произведениям Ли Цин-чжао, то со всей очевидностью можно сказать: музе ее не были присущи гражданский пафос и полемический пыл таких поэтов южно-сунского Китая, как Синь Ци-цзи и Лу Ю. Свой протест против преступной бездеятельности и раболепия правящей верхушки Южно-Сунской династии, погрязшей в чревоугодничестве и разврате, в интригах и борьбе за власть в те дни, когда враг занес над страною меч, она выражала по-своему, средствами наиболее для нее доступными и, возможно, не менее действенными». Чтобы убедиться в справедливости суждений М. Басманова, достаточно прочитать переведенные им стихотворения Ли Цин-чжао.

Легко сказать — «прочитать». Эта маленькая книжка, выпущенная тиражом в десять тысяч экземпляров, сразу же стала недоступной редкостью. Ее стоит переиздать.

Л. ЭЙДЛИН

Издано за рубежом

ПУШКА РАБОЧЕГО БРАТСТВА

Jean-Pierre Chabrol. Le Canon Fraternité. Paris, Gallimard, 1970.

Роман Жана-Пьера Шаброля «Пушка братства», вышедший к столетию Парижской коммуны,— свидетельство наблюдающегося в последние годы возрождения французского исторического романа. Здесь получили дальнейшее развитие идейные и художественные принципы, положенные в основу его книги о восстании камизаров «Божьи безумцы». Оба романа написаны в форме дневников участников исторических событий, оба произведения строго документированы. Но если в «Божьих безумцах» документация отнесена к концу книги, то в «Пушке братства» она органически вплетается в текст. Связано это, в частности, с более сложным, новаторским построением романа.

Как это присуще произведениям исторического жанра, точка зрения участника событий соотносится с точкой зрения современной. В романе Шаброля прием этот обнажается и становится одним из главных принципов структуры. Перед читателем — дневник Флорана Растеля молодого крестьянина, приехавшего в Париж, когда к столице подступали пруссаки. Дневник начат 15 августа 1870 и закончен 28 мая 1871 года. Вторично Растель возвращается к своему дневнику в 1914 году, последние заметки относятся к 1936—1939 годам, ко времени гражданской войны в Испании.

В записях 1914 года вводится информационный, зачастую документальный материал, он расширяет и уточняет сведения, которыми располагал рядовой участник Коммуны. И главное: высказывается точка зрения сложившегося, умудренного жизненным опытом революционера.

Современная оценка, глубокое осмысление исторического прошлого, мостик к настоящему — главное в записях конца 30-х годов. Совет Бисмарка министру иностран-

ных дел в правительстве Тьера Жюлю Фавру «Теперь, когда у вас есть армия, спровоцируйте восстание, чтобы его подавить!» комментируется следующим образом: «Ужасающее по тем временам, это предложение выглядит ныне совершенно закономерным, традиционным». За рассуждениями 1914 года о начавшейся войне следует призыв: «Долой фашизм!» После драматического рассказа о последнем заседании Коммуны стоят многозначащие слова: «Октябрь 1917 года».

Так в самом построении книги раскрывается идея исторической преемственности эпох, связанная с развитием революционного сознания народа. ,

Роман Шаброля — это прежде всего рассказ о «пушке братства». Юная Марта, подруга Флорана Растеля, организует сбор медных су, чтобы у рабочих была своя пушка для обороны Парижа. а затем и для дела революции. Рабочие отлили пушку прямо из монет. Она принадлежит Бельвилю, пролетарскому кварталу Парижа. «Бельвиль удерживает пушку братства тысячами невидимых цепких пальцев; это его пушка, его мощный голос, сила предместья». А в конце романа, когда в Бельвиле падает последняя баррикада и пушка бьет картечью по версальцам, она воспринимается как символ непобежденной Коммуны: «Коммуна и пушка братства — одно и то же». История пушки начинается под звуки «Карманьолы», песни революции XVIII века, и завершается в 1919 году. Переданная Тьером Бисмарку, пушка хранилась в военном музее в Берлине. Спартаковцы, когда у них кончались боеприпасы, перелили пушку на пули: полвека спустя она встала таким образом на защиту Берлинской коммуны.

Роман Шаброля — это история рабочего Бельвиля в дни войны и революции. В центре произведения находится простой люд предместья. Это и безымянные парижане, чьи голоса только доносятся до нас, и эпизодические персонажи, и действующие лица первого плана.

Главные герои романа — Марта и воспитавший Флорана дядя, старый революционер, участник событий 1848 года, политический ссыльный, которого все зовут Предком. Каждый персонаж представляет как бы различные этапы народного сознания.

Старик — воплощение революционного прошлого народа. Он был «нигде и повсюду», он был «никем и знал всех». Предок говорит об ошибках Коммуны, не взявшей в свои руки банк, проявлявшей милосердие к версальцам. Ему ясен конечный исход событий, и вместе с другими коммунарами он идет на расстрел. На нем заканчивается страница истории, с Мартой открывается новая.

Образ Марты — один из самых ярких в романе. Читатель отчетливо представляет себе смуглую разбитную девчонку, слышит ее насмешливую речь, видит ее то с Флораном, то в толпе, наконец в бою, с красным знаменем в руках. Именно она преграждает путь солдатам, которые по приказу Тьера хотели овладеть пушкой братства. «Баррикада выросла сама собой. Марта не произносила речей. Да и что она могла бы сказать? «Эта пушка — ваша, ее отлили из ваших медных грошей». Каждый бельвилец думает только об этом. Разве Марта главарь? Эта девушка, похожая на статуэтку из почерневшего дерева,— олицетворение предместья». Так совершенно естественно образ Марты вырастает до символа.

В отличие от судьбы Предка, судьба Марты остается неизвестной. Никто не знает, погибла она на баррикадах или спаслась, расстреляна или отправлена в Новую Каледонию. Но когда уже в 30-е годы Флорану кажется, что он узнал Марту на фотографии, где снята баррикада на улицах Барселоны, становится ясно: Марта — революционное будущее народа.

Роман Шаброля — это история Парижской коммуны. История возникает в той мере, в какой она оказывается в поле зрения Флорана Растеля, жителя Бельвиля. Горизонт тем самым несколько сужается, но повествованию придается удивительная органичность. И может быть, поэтому именно здесь наиболее отчетливо выступает народная точка зрения на Коммуну, ее руководителей. В книге идет речь о таких деятелях Коммуны, как Варлен и Риго, Делеклюз и Валлес, но прежде всего о Флурансе и Ранвье, ибо они — делегаты от Бельвиля. Образ Флуранса, руководителя мятежа против турок на Крите, участника восстания в Бельвиле в феврале 1870 года и попытки захватить власть в Париже в октябре, в романе столь же колоритен, сколь и в жизни. Сила Флуранса заключается в прямой связи с народом, который освободил его из тюрьмы и выбрал в члены Коммуны. Флуранс гибнет во время неудачного наступления на Версаль, но до конца романа проходит тема «мстителей за Флуранса», самых стойких солдат революции.

Коммуна в изображеиии Шаброля — законная власть народа (в дневнике Флорана Растеля особо подчеркивается, что выборы, проведенные 26 марта, были наиболее представительными). В противовес литераторам-гошистам Шаброль утверждает: Коммуна не анархия, а революционный порядок. В записях 1914 года отмечается: «Это общепризнанно: несмотря на отсутствие полицейских, в городе поддерживался образцовый порядок».

Диалектика романа заключается, в частности, в том, что иарод очень тонко чувствует, когда сила Коммуны переходит в ее слабость, когда формальное соблюдение законности оборачивается то боязнью передать иароду деньги, ему принадлежащие, то милосердием по отношению к палачам Коммуны. На собраниях, народных сходках раздаются самые различные голоса: говорят прудонисты, бланкисты, анархисты, говорят люди, в политике искушенные, и

люди, от нее далекие. Но в сумятице этой есть внутренняя логика. Бельвильцы едины в осуждении нерешительности Коммуны, всего, что может привести к падению народной власти. В последних числах мая Флоран Растель заносит в дневник: «Народ показался мне непобедимым» И это, пожалуй, основной вывод автора книги, за плечами которого — опыт антифашистского Сопротивления.

Роман значителен и по мыслям, в нем заложенным, и по своим художественным достоинствам. На рубеже 70-х годов стали совершенно очевидны не только сильные, но и уязвимые стороны произведений столь популярного документального жанра. С одной стороны, давала себя знать определенная скованность документом; с другой — что представляет главную опасность,— тенденциозный порой отбор документов приводил к искажению исторического процесса. Ведя разговор с народной, во всей ее сложности и противоречиях, точки зрения, Шаброль счастливо избежал этих опасностей. Писатель непосредственно обращается к документу лишь там, где это необходимо по художественной логике произведения; как правило, документ словно бы уходит в подтекст, составляя незримую, но прочную основу книги. Вместе с тем документальные материалы, тщательно отобранные, раскрывающие преемственность революционного движения, оттеняют заложенную в романе идею непреоборимого исторического развития.

Ф. НАРКИРЬЕР

БОЛЬШАЯ ЗАБОТА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Ерих Кош. Досије Храбак. Београд, «Просвета», 1971.

Две книги видного сербского прозаика Эриха Коша вышли почти одновременно в двух центральных издательствах Белграда. Повесть «Досье Храбака» — около полугода печаталась она в журнале «Савременик» — и сборник его эссе «Почему бы и нет?», которые тоже были раньше опубликованы в периодической печати. Кончаешь читать одну и другую книги, и долго еще отдается в тебе взволнованностью, размышлениями как будто спокойный голос рассказчика. Долго еще слышишь и то, что приключилось с его героями, и то, что носится в воздухе, которым они дышат.

Кош — романист, новеллист, автор тонких психологических повествований, иногда лиричных, иногда оттененных и горьковатой иронией. Его же перу принадлежат и произведения остросатирического жанра. В том числе известная советскому читателю повесть «Большой Мак», получившая одну из высших литературных наград на его родине.

Кош — редкий из югославских писателей старшего поколения, всматривающийся непосредственно в сегодняшний день страны. И при этом — взглядом человека, для которого социальное, нравственное ядро идеалов далеких лет борьбы остается и поныне главным. Заинтересовался ли Кош оттенками во взаимоотношениях двух сегодняшних белградских семей, или психологией скромной вдовы участника давних сражений, или бытом тех, кто победил и по-разному зажил после победы,— в первую очередь важны ему судьбы трудовых людей, их прошлое и будущее. Угрозу их существованию Кош видит в вирусах мещанства.

Далеко не беспристрастно изучает Кош разновидности упомянутых вирусов, способность их менять свое обличье в зависимости от общественного климата, способность неприметно проникнуть в здоровую клетку общества, утвердиться в ней, начать множиться и шириться опухолью.

Среди героев Коша встречаешь разных людей. Одни увлеченно мастерят, обучают, пишут, страдают, любят, дружат, спорят. Других гонит друг от друга суетность раздраженных самолюбий, властолюбие.

Встречаешь здесь и таких людей: на первый взгляд они совсем не зловредны, они умеют и привлечь сердца. Они только сверхчувствительны к удаче и, подобно подсолнечнику, всегда поворачиваются лицом к светилу благополучия. Именно это свойство заставляет их нередко отвернуться от правды, от справедливости, от человечности, от вчерашних друзей, от себя самих — вчерашних. Они умеют играть роль сверхправедных, эти обыватели, но они же при перемене ветра начинают ратовать за поблажки собственной и не только собственной совести, собственным маленьким притворствам, маленьким расчетливостям.

Бывает, Кош не может не дать волю своей гражданской страсти коммуниста, участника освободительной борьбы с первых ее дней и в едких, энергичных, остроумных памфлетах. В одном из них — он озаглавлен «Почему бы и нет?» и дал свое название всей книге публицистических выступлений писателя — Кош показал, чем оборачиваются в жизни его героев вот эти «маленькие поблажки» — приобретательству, национальной предубежденности, вольностям в части общественной морали, посягательствам мещанина на некоторые важные принципы общества.

Сатирическая повесть «Досье Храбака», как и более ранняя повесть «Снег и лед», сродни этому памфлету. Но и первая, и вторая — произведения прозы, и развиваются они по всем правилам реалистического повествования. Они и между собой связаны. Один из героев Коша, ветеран освободительной войны, человек действительно заслуженный, из тех, кого народ не случайно поднял на высшие ступени административной лестницы, генеральный директор Плечаш, занимает центральное место в книге «Снег и лед». Вокруг него же развивается действие в повести «Досье Храбака». Сам

он почти не появляется на ее страницах, но речь в ней идет о том, как усердствует бюрократ, пользуясь его доверчивостью, стараясь, притершись к нему, пробраться поближе к рулям и благам.

Югославские читатели, когда знакомятся с теми, кто разворачивает свою кипучую деятельность в последней книге Коша, знает уже по книге «Снег и лед» не только директора Плечаша, но и тех особей из пробирающихся к благам, что играют в интеллигенцию, в сливки общества, в особую касту. Именно играют — провинциально-спесивые, суетливо увивающиеся вокруг очередных знаменитостей, надменно рассуждающие о культуре, об образованности, о высоких чувствах и вместе с тем равнодушные, невежественные и злобные.

В повести «Снег и лед» фантазия Коша неожиданно в апрельский день покрывает города и села родного края нетающими сугробами вновь наступившего ледникового периода. Все леденеет. В учреждения, в дома, в души проникает холод. Оттого ли, что и температура общественной жизни в этой воображаемой писателем картине подверглась изменениям, или оттого, что мерила человеческой ценности изменились, но герой Коша перестает быть всемогущим начальством. И тут перед ним захлопываются двери всех, кто лишь недавно с превеликой пользой для себя выставлял напоказ дружбу с ним. Двери всей этой льстящей, суетящейся мошкары, которой он дал облепить себя в послевоенные годы. Теперь бывший герой Освобождения, бывший генеральный директор — лишний. От мертвящей стужи ему — загнанному, одинокому — помогает спастись тот, кем он в суматохе успеха и славы пренебрегал. Помогает соратник по былым сражениям, оставшийся скромным работягой. В нем-то сохранились нормальные человеческие чувства — совестливость, сострадание, верность. А в Плечаше?

На последних страницах книги Кош сообщает читателю: весь ужас этого холода, этого одиночества, этой волчьей жизни только на минуту привиделся директору Плечашу. Привиделся, когда он, спеша к тем самым «облепившим его», не прочь был отделаться начальственными отговорками от скромного соратника. А его рассеянный взгляд невольно задержался на бушующей за окном нежданной апрельской вьюге.

Озабоченно прозвучали в этой книге размышления рассказчика и самого Плечаша о потребности в укреплении человеческой общности. Заботой наполнена эта книга и страстным предупреждением Плечашу. Его собственным — Плечаша — предупреждением самому себе.

После повести «Снег и лед» вышло несколько сборников рассказов Коша. Потом роман «Сети» — печальный, как бы напоенный горячим воздухом адриатического приморья, куда решил бежать от засасывающей сутолоки жизни, может быть и от чувства ответственности за жизнь, еще один герой Коша, опять-таки ветеран, человек заслуженный, но... наивно возмечтавший о покое. Однако и в этом тихом уголке писатель разглядел, как неотвратимо настигает действительность этого, не привыкшего оставаться равнодушным, человека, как она заставляет опять волноваться, опять втягивает в свои сети — трудная, сложная, неизбежная.

В повести «Досье Храбака» Кош возвращается к сатире. На сей раз на переднем плане у него мещане — администрирующие, энергичные, убежденные, что простые человеки только для того и созданы, чтобы быть фишками в их игре, быть заслонами, когда им нужно защищаться, быть ступеньками, когда им вздумается взбираться вверх. Это об их деятельности было сказано: «Из всех восторгов самый противный восторг административный».

С протокольной последовательностью излагает Кош историю рядового белградского мастерового Храбака, как будто ничем не примечательного водопроводчика учреждения, затеявшего перестройку фундамента своего здания. Мастерская Храбака — в подвале. Таких незаметных работяг, как он, много. Он и остался бы незамеченным, ежели бы по какой-то причине не вздумал добиваться встречи с самим генеральным директором, с Плечашем. Личной встречи! И — не по чину заупорствовал! А когда «маленький человек» не желает сообщать самой секретарше, самому заму причину столь настойчивых домогательств, он начинает вызывать подозрения. Не с жалобой ли? На кого? Когда «маленького человека» не останавливают строжайшие приказания не отвлекать вышестоящего от важных дел, когда его не останавливают вызовы в особые кабинеты, задабривания, предупреждения, угрозы — тут уж бюрократ поеживается от опасений (за себя, конечно) и вспоминает о (своем, конечно) престиже! Кто таков этот «маленький человек», чтоб настаивать подобным образом?!

Так уж водится в произведениях сатирических: события, поступки, обстановка в этой повести соответственно сгущены. Доказать, что ничего не подозревающий Храбак — преступник, становится делом чести опасающихся за свои теплые места ретивых службистов. В них ведь всегда рядом с твердостью живет и мелкая пугливость. Они не могут допустить нарушения иерархии. Им уже не до Храбака. Им нужно каждодневно доказывать Плечашу и его соратникам, как они дальновидны, как всегда правы, как необходимы. Они доведут до абсурда любую идею, только бы воспользоваться видимостью сегодняшнего успеха.

Кошу чрезвычайно важно доскональнейше проследить, какие именно соображения, какие страсти, чьи страсти сыграли во всем этом свою роль.

Но, пожалуй, еще больше писателю важно проследить, как верность себе, своему чувству долга заставляет Храбака все упорней

рваться к цели, чтоб сообщить нечто жизненно важное, одинаково важное для них обоих — для генерального директора и для водопроводчика.

Только здесь, у финиша (встреча, хоть и нечаянная, все-таки состоялась), «маленький человек» вдруг вырастает на глазах у читателя. Точно так же, как и невзрачный соратник из «Снега и льда». Только здесь, к финишу, согласно правилам сюжета, пружина которого к концу (надо признаться) несколько ослабевает, читатель узнает, что именно Храбак, простоватый, грубоватый, участвовал когда-то вместе с Плечашем в освобождении столицы; и именно чувство ответственности заставляло его преодолевать все препятствия, хотя он и догадывался, какой вред себе же этим причиняет. Прорывался же Храбак, чтобы напомнить директору о невзорвавшейся бомбе, которая все эти годы пролежала в перестраиваемом ныне фундаменте здания. Только им двоим известно, где она залегла, эта сброшенная некогда фашистами бомба, и как она опасна. К ней катастрофически приближаются переустроители.

Все в этой сатирической повести действуют согласно своим характерам, но, как и требует того жанр, сконденсированно, гротескно. Захваченные административным восторгом чиновники торопятся завершить очередной хитроумный план. Рассеянно слушающий предупреждения слесаря, директор так и не успевает пробурчать привычные отговорки погруженного в текучку деятеля. Они гибнут вместе. А рассказчик — он воспроизводит эту историю при помощи «Досье Храбака», чтоб снова напомнить Плечашам и Храбакам, их соратникам, их искренним единомышленникам о том, чем угрожает им расторопный, исполненный как будто рвения бюрократ-службист.

Рассказчик — он беспощадно точен, он напряженно сдержан, его мужественному таланту далеко не чужд и Джонатан Свифт, и наш Гоголь. Лишь иногда он кажется чуть рационалистичным и жестковатым. Но каждая страница этой книги говорит о силе его любви к родной стране, к лучшим ее сыновьям, к делу их жизни. И его, Коша, жизни.

ИДА РАДВОЛИНА

ВО ИМЯ ЗЕМЛИ КИПРА

Элли Пеониду. Хома тис Кипру. Никозия, 1971. (На греческом языке.)

Открывая новый поэтический сборник Пеониду «Земля Кипра», сразу же обращаешь внимание на то, что слово «Кипр» присутствует не только в названии книги, но и во всех названиях первого цикла: «Земля Кипра», «Сосна Кипра», «Виноград Кипра», «Смоковница Кипра», «Кипарис Кипра», «Мирт Кипра», «Море Кипра» и т. д. Чем вызвано это настойчивое повторение?

Поэтические миниатюры, открывающие сборник,— не просто зарисовки с натуры. Все они связаны друг с другом общим настроением, явственным авторским ощущением того, что природа Кипра, как и его люди, несет на себе печать исторической судьбы острова. «Венецианские стены, арабские письмена, безвестные могилы» — следы нашествий, давних и недавних, вписываются в кипрский пейзаж отнюдь не безболезненно. Поиск своего лица, своего характера, своих национальных корней, направляющий усилия людей:

мы копали тебя,
мы долбили тебя по крупице
в надежде найти себя.

(«Земля Кипра») [1]

как бы переносится и на мир природы. Поэтому сосна Кипра представляется поэтессе героической участницей многовекового похода, передающей из поколения в поколение «эстафету достоинства», жажду свободы и правды.

Сосна моя, сосенка Кипра,
ты — словно его душа
в поисках истины, которая ускользает
вот уже много веков.

(«Сосна Кипра»)

Красота Кипра таит в себе немало горечи: музы нередко соседствуют здесь с тенью смерти, в ветвях цветущего лимонного дерева поэтессе видятся два лика — невесты и богини мщения Эринии, стройные пики кипарисов — «молчаливый протест против стрижки мечты». Природа словно разделяет страдания людей «в мучительные времена», она же воплощает в себе их упорный труд. В янтарной ягоде кипрского винограда Пеониду ощущает «покой виноградной лозы», покой, обретенный после трудного прохождения сквозь пласты белой бесплодной земли. Это — еще одна сторона красоты, красоты природы и людей, красоты не дарованной, а завоеванной.

«Земля Кипра» — книга раздумий, свободная, однако, от рассуждений и умозритель-

[1] Здесь и далее перевод стихов принадлежит автору рецензии.

ных заключений. Беглые, точно положенные штрихи, тонкая метонимия — и вот стихотворение, обещавшее быть пейзажным, получает неожиданный заряд эмоций и отчетливый исторический фон. Прошлое и настоящее Кипра просвечиваются в каждой детали; недаром поэтесса подчеркивает: это «земля Кипра», «сосна Кипра», «виноград Кипра», вглядитесь в них, вглядитесь в себя.

Взгляд вокруг и взгляд внутрь — в суть явлений, в их смысл, в их связи с человеческими судьбами — неразделимы. Размышлениям о превратностях и сложностях человеческой жизни сопутствует постоянное сознание ответственности за нее, сознание ее больших возможностей в пределах «кратких дней». Интересный ракурс получает эта тема в стихотворении «Плач Афродиты над мертвым Адонисом». Ценность недолговечной человеческой жизни, которая для бессмертной Афродиты столь же быстротечна и незначительна, как для человека — жизнь насекомого, постепенно переосмысливается, возрастает. Теплота чувств, непроклонность воли, радость мечты и свершений — открытие этих ценностей человеческой жизни и невозможность приобщиться к ним вызывают у Афродиты слезы, «горькие, как у Человека».

Если в предыдущих сборниках Элли Пеониду «Ладонь, раскрытая солнцу» (1964) и «Часы Никозии» (1967)[1] было немало стихотворений, непосредственно откликавшихся на конкретные события (гибель Ламбракиса и Гримау, трагедия Паломареса, война во Вьетнаме и т. д.), то в новом сборнике таких стихотворений нет. В центре внимания — несколько проблем. И главная проблема — позиция человека, позиция поэта в нынешних суровых и сложных условиях кипрской действительности.

«Мы когда-то сражались»,— говорит Пеониду. Сражались за свободу Кипра, за его независимость. Но эта цель не вполне еще достигнута, независимость Кипра подвергается постоянной угрозе, поэтому успокаиваться нельзя, нельзя довольствоваться воздвижением памятников, важно не утратить дух свободолюбия и непреклонную решимость, не забывать, что земля Кипра — родная земля, а «не предмет купли и продажи».

Между тем многие черты настоящего внушают поэтессе тревогу. «Нейлоновая цивилизация, отдающая запахом виски», изменяет не только кипрский пейзаж, она извращает многие духовные ценности, оседает в душах апатией и инертностью — бездушная, «призрачная» цивилизация «без скелета и плоти», настраивающая ритм жизни на «скользящую монотонность», притупляющая совесть, которую «заодно с поэзией загоняют на полку с хрустальными вазами».

Я задыхаюсь
в приступе гнева, в приливе поэзии...—

говорит Пеониду в «Ответе на письмо заключенного поэта»,—

Должна же на что-нибудь сгодиться
поэзия.
Пусть встанет с бумаги, пусть выйдет
на улицы...

Эти строки напоминают миниатюру из предыдущего сборника «Часы Никозии», где поэзия предстает в облике девушки «с патронташем у пояса».

Итак, взгляд на творческую миссию поэта остался прежним, но выражение его приобрело особую этическую заостренность. Образ греческого поэта-борца, томящегося в заточении,— символ верности долгу, символ гражданской и творческой активности — не только достойный пример, но и укор совести.

Заключающее сборник стихотворение «К Тезею» содержит аллегорический призыв избавиться от мифического чудовища Минотавра, сжечь алтарь дельфийской прорицательницы-пифии и взять свою судьбу в свои руки. Для кипрских читателей, получивших сборник «Земля Кипра», эта аллегория ясна, а призыв преодолеть все испытания и отстоять национальную самостоятельность Кипра — весьма актуален.

С. ИЛЬИНСКАЯ

[1] Рецензия на эти сборники Э. Пеониду была опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1968 г.

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ЧЕЛОВЕК СЛУЧАЙНОСТЕЙ» АЙРИС МЕРДОК

В Англии издательство «Чатто энд Уиндус» выпустило четырнадцатый роман Айрис Мердок. Мнение о том, что романы А. Мердок часто бывают похожи на шахматную игру, пишет обозреватель «Таймс литерари саплмент», отнюдь не оригинально. В последнем романе «Человек случайностей» перед читателем возникает ряд неизбежных и непредотвратимых столкновений, огромное разнообразие возможных комбинаций. Писательница дразнит как своих героев, так и читателей ложными надеждами. Но вдруг разрешает конфликт совсем иначе, чем можно было бы предположить. А. Мердок ставит под вопрос причинность человеческого поведения. Случай противостоит любой логической системе и возникает он в ее романе вследствие того, что события подчинены таинственным и сверхъестественным силам. Эти силы и определяют судьбу человека, но, так как намерения их для нас непостижимы, это выглядит как все та же случайность.

«Для героев А. Мердок,— пишет рецензент «Таймс литерари саплмент»,— все в жизни в конце концов чистая случайность, категорического императива больше не существует, поскольку нет бога, который является его источником». Следовательно, «если вы не можете

Известная английская актриса Ванесса Редгрейв сыграла недавно роль Марии Стюарт в фильме «Мария, королева Шотландская», который получил высокую оценку критики и зрителей.

(Газета «Крисчен сайенс монитор»)

точно рассчитать, что получится, совершенно не важно, как вы действуете»,— говорит один из персонажей книги. Однако к концу романа он так же, как и все остальные герои, пожалуй, за исключением «случайного» человека, выполняет предписанную ему судьбой роль. Мердок, как пишет обозреватель «Таймс литерари сапплмент», дразнит нас возможностью свободной воли только для того, чтобы ввести своих героев в предписанный судьбой ход событий, который она преподносит как неизбежность. Искусные комбинации событий составляют в последнем романе А. Мердок очень сложный и запутанный сюжет, оказывающийся на самом деле все той же игрой.

В романе читатель, как всегда, встречается с «необычными» героями А. Мердок. Типичным для нее персонажем является Остин Гибсон Грей, красивый мужчина средних лет, неотразимый для многих женщин, может быть, потому, что он убеждает их в том, что он — «жертва неудач». Остин приписывает свои неудачи старшему брату Мэтью, который «случайно» в детстве повредил ему руку, более того, Остин убедил себя, что его первая жена утопилась после любовной связи с его братом. Мэтью возвращается в Лондон после длительной службы на Дальнем Востоке главным образом для того, чтобы помириться с братом. Остин оставил свою вторую жену Дорину, лишился работы, Мэтью находит его без гроша в кармане, ожесточенного, живущего с «амазонкой» Митци.

Другим совершенно «мердоковским» персонажем является Дорина. Полная неприспособленность Дорины к жизни, ее беспомощность превратились в проблему для окружающих. Ею занята чета «уютных», но во все вмешивающихся Тисборнов; заботится о ней красивый, очень добродетельный сын Остина — Гарт; о ней беспокоится молодой американский ученый Людвиг.

Сначала создается впечатление, что бескорыстная готовность Мэтью прийти на помощь любой «случайной» жертве может преодолеть фатальность судьбы. Когда Остин сбил ребенка, Мэтью спас его от тюрьмы, когда Остина шантажируют и он находится на грани убийства своего мучителя, Мэтью дает ложные показания полиции, обеляющие брата; когда Дорина, поняв, что ее сестра Мэвис любит Мэтью, убегает от нее и узнает, что Остин живет с Митци, Мэтью дает ей приют. Когда Людвиг сталкивается с неспособностью любимой им девушки понять его дилемму: жениться ли на ней или вернуться в Америку и сесть в тюрьму за отказ сражаться во Вьетнаме — Мэтью поддерживает его мужественное решение, его отказ идти на несправедливую войну. Однако именно Мэтью является в романе катализатором трагических происшествий: он отклоняет любовь долго ждавшей его женщины, он неожиданно выходит из «игры» — и в результате две попытки к самоубийству и трагическая смерть.

Но «поток путаницы» в романе А. Мердок имеет вполне определенную цель — показать пустоту и злобу, взаимное непонимание и пороки английского общества 60-х годов. «За всей этой неразберихой, за кажущейся небрежной многословностью повествования,— пишет автор рецензии,— за обилием эмоциональных стереотипов вдруг появляется автор, обладающий острым философским умом».

НА БЕРЕГУ КЛАЙДА

Трое рабочих судоверфей — Дэнни Шилдс, Джок Макгрори и Джимми Эффлек — стали героями нового романа Джорджа Блейка «Кораблестроители». Действие романа происходит в порту на берегу Клайда в трудное для героев время экономического кризиса, когда все они лишились работы. «Это были тяжелейшие годы депрессии, когда рабочие стояли в очереди длиной в добрую милю за нищенским пособием, когда корабли ржавели в доках, а спрос на рабочую силу равнялся нулю»,— пишет рецензент газеты «Морнинг стар» Эдди Вудс. И тем не менее герои романа находят в себе силы не только не опускаться, оставаясь самими собой, но и активно выступать за свои права.

Хотя описываемые события и принадлежат прошлому, пишет рецензент, книга Джорджа Блейка вполне своевременна и актуальна.

АРГЕНТИНА

РОМАН ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

В издательстве «Диаспора» (Буэнос-Айрес) вышел роман Рауля Ларры «Я, Андресито Артигас». Сложная политическая ситуация в стране, грозящая репрессиями прогрессивным деятелям культуры, видимо, объясняет обращение писателя, пишущего на современные темы, к жанру исторического романа.

Сюжет развертывается на фоне освободительной борьбы, которую вел в начале XIX века в Южной Америке генерал Хосе Артигас — ныне национальный герой уругвайцев и аргентинцев — против Испании, а затем против захватившей власть в Буэнос-Айресе военной хунты. Главный герой произведения — боец армии Артигаса, простой индеец Андресито, взявший фамилию своего командира.

Уругвайский еженедельник «Марча» отмечает успех произведения Рауля Ларры, обращая особое внимание на достоверность изображения переломного момента в истории стран бассейна Ла-Платы и взволнованный, эмоциональный тон повествования. Несомненно также, что успех роману «Я, Андресито Артигас» обеспечили поднятые в нем проблемы борьбы против внешней и внутренней реакции, тревожащие современную Аргентину.

БОЛГАРИЯ

НАРОД ПИШЕТ КНИГУ О ГЕОРГИИ ДИМИТРОВЕ

В начале этого года газета «Отечествен фронт» обратилась к читателям с просьбой поделиться воспоминаниями о личных встречах и беседах с Георгием Димитровым, своими раздумьями о его выступлениях и статьях, рассказать о том, что в личности Димитрова произвело на них наиболее сильное впечатление, прислать фотографии, хранящиеся в семейных альбомах.

Эти материалы составят сборник «Народ пишет книгу о Георгии Димитрове». Под таким заголовком газета в течение более чем трех месяцев регулярно публикует многочисленные письма и фотографии, полученные в ответ на ее призыв со всех концов страны. Среди тех, кто прислал письма и статьи,— партийные и государственные деятели, которые работали по нескольку лет с Георгием Димитровым, ветераны революционной борьбы, один из участников Октябрьской революции — Йордан Шумков, дочь болгарского ополченца, участника боев на Шипке Петко Налбантова, писатель Камен Калчев, простые болгарские труженики, которым довелось хоть раз встретиться с великим революционером и на всю жизнь сохранить в памяти неизгладимое впечатление от этой встречи. Много откликов пришло также из Советского Союза и Германской Демократической Республики, где «Правда», «Известия» и «Берлинер цайтунг» сообщили об инициативе болгарской газеты.

С любовью и восхищением пишут читатели о государственной мудрости и человечности Георгия Димитрова.

«Он производил впечатление,— пишет Здравко Митовский,— человека, рожденного для того, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Было очевидно, что смысл его жизни в осуществлении великого идеала — коммунизма... В то же время авторитет Георгия Димитрова основывался не только на воспоминании о титанической борьбе, которую он вел с фашизмом на Лейпцигском процессе, борьбе, имевшей международное значение и уже тогда получившей всеобщее признание. Авторитет Димитрова определялся той силой, которая исходила от него при непосредственном общении с ним, тем впечатлением, которое он производил своими человеческими качествами и своей правдивостью. И в конечном итоге — уважением к этому человеку за его беспредельную преданность делу, которому он служил».

«Обаятельная личность Георгия Димитрова,— пишет кандидат в члены Политбюро ЦК БКП и заместитель председателя Государственного совета НРБ Пеко Таков,— была чудесным сплавом всего самого лучшего и сильного, что породил болгарский революционный дух,— мудрости и человечности, безграничной преданности народу и яростной ненависти к его врагам, революционной смелости и доблести, патриотизма и интернационализма».

Другая книга — «Георгий Димитров в воспоминаниях журналистов»,— как говорится в рецензиях, напечатанных в газете «Работническо дело», раскрывает яркую страницу в жизни великого болгарского революционера. Авторы сборника, среди которых известные болгарские и зарубежные журналисты разных поколений, кому довелось встречаться с Г. Димитровым, рассказывают о работе Георгия Димитрова в центральной партийной печати Болгарии, в подпольной радиостанции «Христо Ботев», передачи которой вдохновляли болгарский народ на борьбу против фашизма, о его помощи журналистам в их стремлении быть по-настоящему полезными строительству социализма в родной стране.

Сам талантливый журналист-публицист, Георгий Димитров прекрасно умел использовать печать как искусное оружие в борьбе партии в годы подполья и во время Лейпцигского процесса и как руководитель народно-демократического государства.

Книга, написанная журналистами, еще раз доказывает, что слово Димитрова имело и имеет покоряющую силу, что он говорил и писал языком народа, языком революционера. Она свидетельствует о большой дружбе Георгия Димитрова с журналистами, о том внимании, которое он уделял созданию журналистики в новой Болгарии.

ВЕНГРИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА «КРИТИКА»

Литературоведческий журнал «Критика», предназначавшийся ранее в основном для специалистов, расширил ныне свой диапазон и стал «культурно-политическим и критическим журналом», который призван освещать события в области литературы, кино, театра, изобразительного и прикладного искусства, музыки, радио и телевидения. На страницах журнала будут находить отражение и вопросы культурной жизни зарубежных стран, в первую очередь социалистических.

Такое расширение диапазона журнала продиктовано заботой прежде всего о рядовом читателе, о формировании его вкуса, о необходимости серьезного разбора произведений искусства, роль которого в жизни общества с каждым днем возрастает.

В «Приветствии к читателю», которым открывался первый номер журнала, указывалось, что «журнал будет стремиться к последовательному утверждению гуманистических идеалов искусства социалистического реализма, как основному и ведущему методу нашей эпохи».

Особый интерес представляют опубликованные в журнале воспоминания о Петере Вереше первого секретаря Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии Яноша Кадара.

«Петер Вереш несомненно принадлежит к выдающимся людям и выдающимся художникам нашего времени,— пишет Кадар.— Я был постоянным его читателем... однако не считаю вправе оценивать его творчество, это задача критиков и литературоведов. Я хочу рассказать о нем, как о человеке-борце».

С теплотой вспоминает товарищ Кадар, как впервые (это было в 1936 году) встретился с Петером Верешем в Будапеште, в Клубе металлистов, где собирались в ту пору находящиеся на нелегальном положении коммунисты, левые социал-демократы, крестьянские писатели радикального направления, такие как Ференц Эрдеи, Йожеф Дарваш и другие.

«...Общественную деятельность Петера Вереша я считаю очень своевременной. Мы живем, работаем и боремся в такой период строительства социализма, когда все важнее становится идейная ангажированность, социалистический гуманизм как черты характера, поведения. Эти качества были присущи Верешу с самых молодых лет, уже в то время, когда, упорно сопротивляясь контрреволюционному режиму 20-х годов, он разделял участь бедного крестьянства и земельных рабочих. Именно эти качества привели его к участию в рабочем движении, и они же помогли ему стать писателем: он прошел суровую школу жизни, и у него было что сказать людям о своем классе, о народе, стране, о мире. Перо стало для него оруднем, средством служения самым высоким целям».

С особой задушевностью пишет Янош Кадар о глубокой человечности Петера Вереша. Как настоящий революционер, говорит автор, он понимал, что «идеальных» людей нет и задачи общественного преобразования предстоит осуществлять с людьми обыкновенными, отсюда его умение видеть в них прежде всего хорошее. Он находил общий язык с самыми разными людьми, многому учился у них и многому учил их. И в этом отношении жизнь Петера Вереша являет собой пример подлинного гуманиста и демократа.

ГАБОН

«КУДА ТЫ ИДЕШЬ, КУМБА?»

Так называется художественный фильм, съемки которого закончились в небольшой африканской стране Габон. По форме он напоминает традиционные африканские сказки, герои которых обычно странствуют по миру и познают жизнь. Однако главный герой фильма «Куда ты идешь, Кумба?» (его играет габонский актер Дамас Доиг) ходит по деревням в поисках заработка, чтобы собрать денег на приданое сестре.

Фильм состоит из тринадцати связанных друг с другом новелл на современные темы. Главной темой этих новелл являются отношения между племенами — ведь 650 тысяч жителей Габона говорят более чем на сорока языках. Эта тема была предложена Габонским национальным комитетом по народному воспитанию, а поставили фильм французские режиссеры Ален Феррари и Симон Оже.

Рецензент журнала «Жён Африк» пишет, что, «несмотря на высокий профессиональный уровень этого кинопроизведения, оно по своей общественной значимости уступает подлинно национальному кино Африки, наиболее совершенным образцом которого является «Мандат» Сембена Усмана. Сделанный французскими режиссерами по программе государственной помощи Франции развивающимся странам, «Куда ты идешь, Кумба?» оказался лишенным критического подхода к изображаемой действительности. Этот критический подход несомненно появится в тех произведениях, которые будут созданы кинематографистами самого Габона».

Рецензент подчеркивает, что в Габоне уже растут национальные кадры. Это Пьер Мари Н'Доиг, снявший свой первый короткометражный фильм; Луи Мебале, принимавший участие в создании «Куда ты идешь, Кумба?», а до этого сделавший собственную небольшую ленту «Доброй ночи, Бальтазар»; Филипп Мури, заканчиваю-

Кадр из фильма «Куда ты идешь, Кумба?».

(Журнал «Жён Африк»)

щий работу над фильмом «Тамтамы замолчали».

Фильм «Куда ты идешь, Кумба?» будет показан в Габоне и еще шести странах: Береге Слоновой Кости, Заире, Конго, Верхней Вольте, Мадагаскаре и Сенегале. Поэтому его появление на экранах будет, несмотря на все его недостатки, крупным событием в культурной жизни Африки.

ГДР

РОМАН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Но я не хочу становиться министром»,— этими словами Давида Грота, главного героя, начинается роман Германа Канта «Импрессум» («Выходные данные»), недавно выпущенный издательством «Рюттен унд Лёнинг».

Проделав большой путь — от посыльного до журналиста, а затем редактора крупного иллюстрированного журнала,— показавший незаурядные способности и умение работать, Грот пугается неожиданного повышения. Предложение стать министром заставляет его о многом задуматься, многое вспомнить. В форме рассказа от первого лица Кант дает историю жизни Грота—с детства в маленьком северном городе Ратцебурге до момента, когда происходит действие романа. Жизненный путь главного героя писатель тесно связывает с жизнью и развитием Германской Демократической Республики. Читатель видит Грота и глазами его жены Франциски. Это не только цепь воспоминаний и отдельных размышлений — и Грот и Франциска как бы пересматривают свою жизнь, ищут в ней подлинного, высокого смысла. Обычный рабочий день в большом журнале, все время вторгающийся в мысли и воспоминания, становится своеобразным экзаменом: так ли живет Давид Грот, так ли живет Франциска и окружающие их люди, все ли они делают, что могут?

Ютта Гофман в роли главной героини фильма «Третий». *(Еженедельник «Зонтаг»)*

Газета «Берлинер цайтунг» называет новое произведение Германа Канта «романом о большой ответственности». «Этот роман — не приятная, спокойная книга для чтения,— пишет рецензент.— Она заставляет читателя серьезно думать и глубоко переживать прочитанное». Сравнивая «Импрессум» с романом «Актовый зал» (см. «ИЛ» №№ 1—3, 1968), рецензент газеты «Нойес Дойчланд» Клаус Шюлер называет его более зрелым произведением. Он отмечает «мастерство раскрытия темы и очень удачную композицию романа».

Об этом новом романе будут много спорить, но уже сейчас ясно одно — он обогатил немецкую литературу.

МАРГИТ ФЛИССЕР ИЩЕТ СЧАСТЬЯ

Фильмом «об искусстве любить и об искусстве жить» называет газета «Нойес Дойчланд» новый фильм ДЕФА «Третий». Сценарий написан Гюнтером Рюккером по рассказу Эберхардта Паница «Под деревьями дважды идет дождь». Это фильм о женщине-математике, матери двух детей, с не очень удавшейся личной жизнью. Фильм прослеживает жизнь Маргит Флиссер с 17-летнего возраста. Выросшая без родителей, Маргит сама построила свою жизнь, получила образование, стала ученым. Два неудачных замужества, однако, оставили в ее душе глубокую горечь. Интересная работа, дети не спасают молодую женщину от чувства горького одиночества. Фильм рисует ее встречу с человеком, которого она полюбила и с которым хочет связать свою жизнь. Будет ли она счастлива? Как сложится ее дальнейшая жизнь? Эти вопросы фильм оставляет без ответа.

«Я люблю так называемые открытые концовки в своих фильмах,— сказал режиссер фильма Эгон Гюнтер в беседе с корреспондентом еженедельника «Зонтаг».— Я никогда не знаю, как их завершить, действие их как бы приостанавливается, чтобы затем возобновиться уже за пределами фильма. В фильме «Третий» Маргит после многочисленных пре-

пятствий и недоразумений выходит замуж за своего избранника. Дальнейшее я предоставляю зрителю: я всегда стараюсь дать ему возможность поразмыслить над судьбой героев, над сюжетом, который он увидел на экране.

Главное, что меня интересует,— тема современности.

Фильм «Третий» полностью посвящен проблемам современности, вопросам любви, счастья, связи человека с жизнью общества. Должен отметить, что актриса Ютта Гофман как нельзя лучше подошла к роли главной героини».

Пресса ГДР называет фильм «Третий» одним из лучших фильмов последних лет.

ФРГ

КНИГА ЭРИКИ РУНГЕ О ГДР

Франкфуртское издательство «Зуркамп» выпустило очередную книгу репортажей известной журналистки Эрики Рунге «Поездка в Росток ГДР». При подготовке книги писательница использовала тот же метод записи на магнитофонную пленку, который принес успех ее предыдущим сборникам — «Ботропские протоколы» и «Женщины».

«В течение трех недель летом 1970 года,— пишет рецензент еженедельника «Ди цайт»,— писательница проводила опрос всех слоев населения в округе Росток. Самые разные люди, представители самых разных профессий рассказывали о своей работе и жизни. Получилось нечто вроде среза социальной пирамиды. Срез этот... достаточно полон и богат информацией, чтобы читатель наглядно мог увидеть радикальные перемены в жизни ГДР».

«Росток по этим записям предстает перед нами как чрезвычайно удачный образец социалистических преобразований... Все учатся, все стремятся к непрерывному совершенствованию, все, благодаря социализму, надеются на успех. Каждый видит перед собой перспективу».

«Ди цайт» отмечает, что западногерманский читатель испытывает большую потребность в книгах о ГДР, но эта потребность мало удовлетворяется. Поэтому появление сборника Эрики Рунге, по мнению еженедельника, надо всячески приветствовать.

ГРЕЦИЯ

НОВЫЕ КНИГИ ЯННИСА РИЦОСА

Пять лет творчество выдающегося греческого поэта Янниса Рицоса было окружено у него на родине стеной молчания. Три цикла его стихотворений — «Камни», «Повторения», «Решетка», написанные в 1968—1969 гг. в концлагере на острове Лерос и в ссылке на острове Самос,— впервые увидели свет во Франции, в двуязычном издании Галлимара (1970). Сейчас их готовит к изданию афинское издательство «Кедрос». Одновременно со сборником стихотворений Рицоса греческие читатели получат его новую поэму «Елена», посвященную сестре поэта, умершей в 1970 году.

Последние вышедшие в Греции книги Рицоса — поэма «Орест» и второй цикл «Свидетельств» — были изданы в канун переворота, в 1966 году. До этого в Греции вышло 40 книг Рицоса, среди них «Эпитафии», «Песнь моей сестре», «Весенняя симфония», «Лунная соната», «Прощание», «Мертвый дом», «Свидетельства», «Филоктет», «Греция», а также переводы Блока, Маяковского, Хикмета, Эренбурга и других.

ДАНИЯ

«ВЕРНЕР ХОЛЬГЕРСЕН» — ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА

Сатирическая музыкальная пьеса Эрика Кнудсена «Вернер Хольгерсен» (или «Авантюра в датской политике», как называет ее сам автор), показанная недавно телевидением Дании, вызвала бурные дебаты в датской прессе. Но, в сущности, спорят только об одном: действительно ли прообразом Хольгерсена послужил известный датский политик Эрхард Якобсен? В том, что жесточайшему высмеиванию подверглась социал-демократическая партия Дании, никто не сомневается.

Именно этот вопрос «Действительно ли?..» задал корреспондент газеты «Актуэльт» исполнителю главной роли спектакля Полю Рейхардту. Вот что тот ответил: «Кого на самом деле имел в виду Эрик Кнудсен, когда писал пьесу,— об этом лучше спросить у него самого. Я же считаю, что Хольгерсен — это лишь пример сравнительно нового явления в датской политике. Что же касается пьесы, то я не назвал бы ее политической в строгом смысле этого слова. Это скорее сатира на определенный политический тип, хорошо знакомый всем нам».

Гораздо определеннее высказывается о спектакле рецензент газеты «Политикен»: «Пьеса Э. Кнудсена — это «история болезни» датской социал-демократии, жестокая карикатура на тех политических деятелей, которые давно утратили всякие идеалы, заключив выгодную сделку с капиталом и забыв всякие теории. Народ для них — это лишь голоса в очередной предвыборной кампании, для получения которых (а значит, и для победы на выборах) все средства хороши. Кнудсен разоблачает благополучных демократических политиков всех вместе взятых и каждого в отдельности».

Спектакль начинается со смерти главного героя, но традиционный телевизионный калейдоскоп подробно знакомит зрителей со «славно прожитой» жизнью покойного. Трогательные строки некролога, составленного вдовой Хольгерсена, дополняют картину, и уж совсем полной делают ее цитаты из речей Хольгерсена, которые по очереди используют его отпрыски, хотя сын в своих по-

Сцена из спектакля «Вернер Хольгерсен».

(Газета «Ланд ог фольк»)

литических симпатиях следует по стопам отца, а дочь явно тяготеет к ультралевым.

Острую политическую направленность пьесы особенно наглядно подчеркивает газета «Ланд ог фольк». «Пьеса бьет по всему, что мешает спасти маленькую Данию от гибельного для нее участия в Общем рынке»,— говорится в газете.

Вернеру Хольгерсену не удалось стать ни премьер-министром, ни председателем партии, но, несмотря на это, его карьера политического деятеля — это сплошной триумфальный марш от кампании по продаже датского сыра за границей до предвыборной кампании, с программой поддержки НАТО и Общего рынка.

Политические деятели типа Хольгерсена подобны мыльным пузырям — одни лопаются, другие еще держатся на водной поверхности. То, что не удалось Хольгерсену - старшему, вполне может осуществить Хольгерсен-младший. Как поется в спектакле: «Дайте ему шанс! Гип-гип-ура! Все идет хорошо! Еще старый сказочник Андерсен говорил: «Все, что делает отец,— правильно».

«Высменная Хольгерсенов,— заключает «Ланд ог фольк»,— пьеса высмеивает ту Данию, которая гораздо больше обеспокоена ценами на сельскохозяйственные продукты, чем собственным культурным и социальным положением».

ЕГИПЕТ

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ ТАХИ ХУСЕЙНА

Журнал «Аль-Мактаба» сообщает об интервью, которое старейший египетский писатель и критик Таха Хусейн дал представителям прессы. В нем он сообщил, в частности, что закончил писать главы третьей части своей автобиографической трилогии «Дни». (Первые две части «Дней», опубликованные в 30-х годах, переведены на многие языки мира, в том числе на русский). Новые главы книги были опубликованы в арабских журналах. Затем, неожиданно для автора, они вышли в Ливане отдельной книгой под названием «Мемуары Тахи Хусейна». Писатель сказал, что он намерен собрать все главы третьей части и передать их египетскому издательству «Дар аль-Маариф» для напечатания в исправленном и дополненном виде.

ИНДИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛЬВИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Индиан ПЕН» сообщает, что в городе Ратламе (штат Мадхья-Прадеш) состоялась конференция писателей Мальвы, как традиционно именуется область в западной части штата Мадхья-Прадеш, культурным и политическим центром которой является город Уджайн. Население этой области говорит на мальви, который до недавнего времени принято было рассматривать как диалект раджастхани; ныне мальви стремится утвердиться в качестве самостоятельного языка.

Литературная традиция на мальви восходит к концу XVIII в. Основным видом литературы на мальви начиная со второй половины XIX в. становится драматургия — музыкально-драматические произведения типа народных мистерий, написанные на темы и сюжеты богатейшего фольклора этой области. С подъемом национально-освободительного движения на мальви зарождается социальная драма. Широко представлена поэзия на мальви. Большой отряд ее составляют поэты-песенники. Созданы первые прозаические произведения — рассказы и романы. Значительное место в мальвийской литературе занимают переводы с других индийских языков, прежде всего с хинди. Большинство мальвийских писателей и поэтов с одинаковой легкостью используют и мальви, и хинди.

Конференцию мальвийских писателей открыл известный поэт хинди Рамдхари Синх Динкар. Работой конференции на правах ее председателя руководил выдающийся поэт хинди Шивмангал Синх Суман. Делегаты конференции тепло поздравили известного филолога, зачинателя прозы на мальви д-ра Чинтамани Упадхьяня по случаю его 50-летия.

ТРИУМФ АКТРИСЫ

Калькуттский театр «Бохурупи» пользуется в Бенгалии заслуженной любовью. На его сцене оживают столь знакомые каждому индийцу герои национальной классики. С неизменным успехом идут здесь такие популярные пьесы Тагора, как «Красные олеандры», «Четыре главы», «Король темной комнаты», и ряд других. В последние годы коллектив все чаще уделяет внимание современной национальной драматургии — произведениям Бадала Сиркара и Нитиша Сена, в которых авторы пытаются решать сложные проблемы взаимоотношений в современном индийском обществе.

Таков и новый спектакль «Апороджита» по пьесе Нитиша Сена. Критика оценивает его как лучшую постановку театра на сегодняшний день и, в первую очередь, как лучшую работу одаренной актрисы Трипти Митра, которая является и единственным исполнителем.

Действие пьесы происходит в гостиной, у телефона. Героиня ведет монолог, поверяя аудитории свои мысли, делясь с ней своими переживаниями. В ходе повествования, прерываемого лишь телефонными звонками, актриса не только создает многогранный и глубокий образ героини, но сама исполняет и роли всех тех, кто причастен к сюжету, раскрывая постепенно суть драмы. Диапазон выразительности актрисы огромен, свидетельствует рецензент журнала «Линк» Ашиз Барман. Великолепная игра и талантливая режиссура Трипти Митра обусловили, по мнению критика, успех этого несколько необычного для Индии спектакля одного актера.

Трипти Митра в сцене из спектакля.
(Журнал «Линк»)

ИРАК

РОМАНЫ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает журнал «Ас-Сакафа аль-джадида», иракский писатель Исмаил Фатх Исмаил опубликовал роман под названием «Светящиеся топи». Это второй роман молодого писателя, выступающего главным образом в жанре новеллы.

Герой «Светящихся топей» — школьный учитель. По словам обозревателя журнала, для романа характерен поэтический стиль и точный, лаконичный язык.

«Ас-Сакафа аль-джадида» сообщает также о выходе в свет первого романа молодого новеллиста Хиндыра Абд аль-Амира под названием «Для Гильгамеша нет надежды». Герой романа — выходец из буржуазных слоев, пытающийся определить свое место в жизни.

«АРАБЫ В РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Как сообщает журнал «Аль-Мактаба», иракский литературовед Джалиль Камаль ад-Дин подготовил к печати две книги: «Исследования по современной советской литературе» и «Арабы в русской и советской литературе». Материал для этих книг молодой ученый собрал в Советском Союзе во время своих занятий в аспирантуре Московского университета, где он недавно с успехом защитил кандидатскую диссертацию на тему «Романтизм в русской революционно - демократической и в арабской критике».

ИТАЛИЯ

В ЦЕНТРЕ ДИСКУССИИ — ПОВЕСТЬ «КОНТЕКСТ»

На страницах газеты «Унита» разгорелась дискуссия, посвященная повести «Контекст» известного сицилийского писателя Леонардо Шаши.

«Контекст» по форме — иронический, пародийный детектив с элементами гротеска. Однако под развлекательной, шутливой формой скрыты многие важные для Сицилии и всей Италии проблемы, главная из них — опасность заговора крайних правых сил, их связь с полицией и преступным миром. Первой жертвой этого заговора становится полицейский инспектор Рогас, ведущий расследование цепи загадочных убийств. Литературный критик газеты «Унита» Микеле Раго в своей рецензии ограничился пересказом занимательного сюжета и чисто литературным анализом повести. Что стоит за «Контекстом», каково политическое звучание этой книги, было прояснено в ходе последовавшей за этой рецензией на страницах газеты дискуссии.

Вслед за Раго на книгу Шаши откликнулись руководящие деятели ИКП на Сицилии: Наполеоне Колайянни, Эмануэле Макалузо, художник Ренато Гуттузо, тоже сицилиец, а также ученый и публицист профессор Лючио Ломбардо-Радиче. Отдавая должное мастерству писателя и актуальности поднятых в книге проблем, все участники этой дискуссии подчеркивают, что при анализе произведения нельзя ограничиваться лишь его литературной стороной, и справедливо упрекают критика Раго в том, что он «обошел молчанием то обстоятельство, что последняя книга сицилийского писателя имеет свое определенное идеологическое и политическое значение, без учета которого она не может быть понята и ей не может быть дана справедливая оценка».

О необходимости рассмотрения повести Шаши именно

в идеологическом плане пишет также в рецензии в журнале «Ринашита» критик Марио Спинелла. Проф. Радиче в своей статье «Новые формы старой болезни» указывает, что «Контекст» — «симптом и отражение весьма опасной и разоружающей идеологии среди интеллигенции не только Италии и уж, конечно, не только Сицилии, а всей капиталистической Западной Европы». Радиче пишет, что книга Шаши является по существу пораженческой: автор примиряется с существующим порядком вещей, один из его героев, писатель Кузан, говорит о невозможности продолжать борьбу, «открыть окна», «вымести вон все старье и всю грязь». Фигурирующая в повести «Интернациональная революционная партия», по мысли автора, интегрирована обществом потребления и тоже входит в общий «контекст» политической жизни, а ее руководители предпочитают, чтобы в стране не происходило никаких потрясений, боятся революции, не возражают, чтобы в кресле начальника полиции оставался сидеть представитель буржуазии. Они вовсе не желают докапываться, кто виновник двух происшедших убийств (главы этой партии и инспектора Рогаса), а также и всех предыдущих преступлений, опасаясь вызвать в стране взрыв гнева и возмущения.

Обо всем этом, правда, в повести говорится на самых последних страницах и как бы мелком, но — как подчеркивают авторы статей — именно эти глубоко ошибочные, отражающие настроения неверия и разочарования пассажи и составляют кредо автора. «Последняя повесть Шаши фактически посеяла лишь скептицизм и неверие, показав деформированную картину той социальной и политической действительности, в которой мы ведем нашу работу; она низвела происходящее ныне политическое столкновение к запутанной игре разных сил и таким образом объективно содействовала — о намерениях автора никто не собирается судить — попыткам дискредитировать политику коммунистов и левого лагеря»,— пишет Макалузо. Авторы статей приходят к выводу о необходимости — о которой столь ярко свидетельствует появление книги Шаши — уделять в работе коммунистов, особенно на Сицилии, больше внимания контактам с прогрессивными деятелями культуры, не боясь открытой полемики, вовремя указывать им на их идеологические ошибки и заблуждения.

Питер О'Тул — Дон Кихот и Джеймс Коко — Санчо Панса.

(Газета «Унита»)

ЭКРАНИЗАЦИЯ «ДОН КИХОТА»

В Риме начались съемки фильма «Человек из Ламанчи» — новой экранизации бессмертного романа Сервантеса. Однако драматургической первоосновой очередного кинобоевика явится, собственно говоря, не столько сам роман, сколько текст музыкальной комедии «Человек из Ламанчи», которая уже пять лет не сходит с театральных подмостков на Бродвее.

Ставит фильм американский режиссер Артур Хиллер, известность которому принесли чисто развлекательные ленты, пользующиеся популярностью в Америке — «Апартаменты в «Плазе», «Время войны, время любви», «Провинциал в Нью-Йорке», а особенно нашумевшая недавно мелодрама «Любовная история».

В фильме снимаются «звезды» первой величины — Софи Лорен играет двойную роль: Альдонсы и Дульсинеи, Питер О'Тул — три роли: Сервантеса, Дон Кихота и Алонсо Киханы. В роли Санчо Пансы — известный американский комик Джеймс Коко. Фильм будет сниматься в Италии — в павильонах «Диночитта» (комплексе киностудий продюсера Дино Де Лаурентиса, который называют в Риме «городком Дино»), а натурные съемки будут вестись в окрестностях итальянской столицы. Главный оператор фильма — один из лучших итальянских кинооператоров Джузеппе Ротуно. Съемки предполагается завершить летом 1972 года.

ЛИВАН

«ДНЕВНИК ЖЕНЩИНЫ-ЛЕЖЕБОКИ»

Так называется новый роман ливанской писательницы Лейлы Баальбаки, который, как сообщает журнал «Аль-Адиб», скоро выйдет в Бейруте.

В основу романа положены дневниковые записи, которые писательница вела в период творческого «затишья» после опубликования известных романов «Я живу» и «На корабле любви к луне», имевших большой успех в арабских странах.

ПОЛЬША

ГОД БРОНЕВСКОГО

В Польше в связи с десятой годовщиной со дня смерти выдающегося польского поэта Владислава Броневского 1972 год объявлен «годом Броневского».

В Плоцке, где родился поэт, ему будет установлен памятник, дар рабочего класса Силезии и Домбровского угольного бассейна, свидетельство глубокого уважения к поэту, творчество которого тесно связано с борьбой пролетариата за социальную справедливость и создание новой, социалистической Польши. Будет также выпущена юбилейная медаль, проведены многочисленные литературные вечера.

Броневский при жизни говорил о себе, что его поэзия сразу ощущала «нехватку кислорода», если лишалась массового слушателя, поэт привык к массовой аудитории и никогда в ней не обманывался, его встречали повсюду как своего поэта, поэта-трибуна, который выражал чувства и мечты многих людей.

В статье Богдана Дроздовского, напечатанной в газете «Трибуна люду», говорится, что Броневский был настоящим поэтом-трибуном и что его стихи стали неотъемлемой частью духовной жизни народа.

«Броневский владел словом,— пишет Дроздовский,— так, как владеет ланцетом первоклассный хирург... Он трактовал поэзию не как нечто предназначенное для избранных, а как общественное деяние. Он говорил: когда между поэтом и его читателем или слушателем наступает взаимопонимание, поэт может считать, что он добился совершенства, что он и его муза выполнили свою миссию».

«ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ НОЧИ»

Молодой режиссер Анджей Жулавский поставил фильм «Третья часть ночи». В основу фильма легли рассказы Мирослава Жулавского, отца режиссера, известного польского писателя, который в годы войны работал в институте Вейгеля, где создавалась противотифозная вакцина для немецкой армии. Справка о работе в институте охраняла поляков от угона на работы в Германию.

Этот фильм, по словам рецензента «Жиче Варшавы» Станислава Гжелецкого,— попытка молодого человека осмыслить опыт отца, полученный за годы войны и оккупации. Фильм является своеобразной исповедью, автор старается передать зрителю свои ощущения и переживания. Внешние события в нем — только повод для размышлений о трагедии народа и о моральных проблемах. Фильм вызвал большой интерес зрителей и критики.

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ

Польское издательство «Оссолинеум» выпустило «Энциклопедию книговедения» — первое издание такого рода в стране. В ней 2874 страницы. Как пишет рецензент «Жиче литерацке», уже сам факт ее выхода встречен очень положительно, тем более что она появилась на свет, когда во всем мире отмечается Год книги. Это событие совпадает со 150-летием самого издательства.

В «Энциклопедии» содержатся материалы, касающиеся истории книги, возникновения библиотек, письменности, техники книгопечатания, иллюстраций и иллюстраторов.

РУМЫНИЯ

СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ ГОРОДА БУХАРЕСТА

Важным событием в литературной жизни Румынии в нынешнем году явилось

Малгожата Браунек в роли Хелены и Марты в фильме «Третья часть ночи».

(Журнал «Кино»)

создание Ассоциации писателей города Бухареста (в Румынии помимо Союза писателей СРР существуют писательские ассоциации в Клуже, Брашове, Яссах и других крупных городах страны).

Общее собрание писателей, на котором было претворено в жизнь положение устава Союза писателей Румынии о создании Ассоциации писателей столицы, проходило в малом зале Дворца Республики. В работе приняли участие около 500 прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и литературоведов столицы.

Собрание открыл академик Захария Станку, председатель Союза писателей Румынии, он отметил, что за последние годы в Румынии создано много крупных литературных произведений, отражающих вдохновенный труд румынского народа по построению социалистического общества, по подъему Румынии на новую ступень прогресса и цивилизации. Касаясь возможностей и перспектив, которые открывает перед бухарестскими писателями Ассоциация, объединяющая большую группу представителей современной румынской литературы, академик Захария Станку отметил, что задача Ассоциации — еще больше упрочить контакт писателей и читателей, приблизить литературу к жизни с целью правдивого высокохудожественного отображения социалистической действительности Румынии.

Вновь избранный Секретарь Ассоциации писателей города Бухареста Джордже Маковеску выступил с речью, которую еженедельник «Лучафэрул» опубликовал на первой полосе под заголовком «Престиж румынской культуры».

«В деятельности Ассоциации писателей Бухареста,— подчеркнул Дж. Маковеску,— должен господствовать дух коллегиальности, уважения человеческого и писательского достоинства, ответственности коммунистов. Мы обязаны работать так, чтобы были отметены всякие мелочные недоразумения, ибо мы все — коммунисты и некоммунисты — придерживаемся того мнения, что своим трудом мы должны служить нашему народу и земле, на которой мы родились, Коммунистической партии Румынии, которая нами руководит, руководила и всегда будет руководить, чтобы стать теми, кем мы все желаем быть: опорой этой страны...»

США

«ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ В ДОЛИНЕ ГЛЕН ЗЕЛЕНОЙ»

Американская критика почти единодушно признала новый роман известного американского писателя, поэта и критика Роберта Пенна Уоррена «Встречай меня в долине Глен зеленой» его лучшей книгой после «Всей королевской рати» и значительным событием в жизни американской литературы последних лет. «Я ожидал прочесть прекрасный традиционный роман о Юге, действие которого разворачивается в сельской местности, пережить накал страстей — и действительно нашел все это в великолепной книге Уоррена»,— пишет в американской газете «Интериэшнл геральд трибюн» Дж. Боурайт.

Действие романа происходит в 50-е годы в южном штате Теннесси, на уединенной ферме. Здесь, в долине, героиня романа Кэсси Ситтвуд встречает свою судьбу — неизвестно откуда появившегося в этих краях молодого сицилийца Анжело Пассето. Кэсси одиноко жила на ферме, ухаживая за своим мужем, который много лет лежал разбитый параличом.

Уоррен рассказывает о любви Кэсси, любви-прозрении, пробуждающей ее к настоящей жизни. Но для Анжело дом Кэсси — только вынужденное пристанище, чужая и непонятная жизнь в нем гнетет его, эта жизнь для него — лишь ожидание чего-то иного, настоящего. Кэсси чувствует его стремление уйти и сама помогает ему в этом. Однако после разрыва с Анжело она уже не может жить по-прежнему и в порыве отчаяния убивает своего мужа. Подозрение в убийстве, естественно, падает на Анжело, для судей и присяжных он — человек чужой и уже поэтому виноватый, и пощады ему ждать неоткуда. Во время суда Кэсси признается в своем преступлении, но ей никто не верит. Внешняя сентиментальность сюжета, по мнению критики, не помешала Уоррену создать значительное художественное произведение, соединить в нем лиризм в описании любви Кэсси и элегический конец романа с обычными для творчества Уоррена философскими размышлениями. Сатира в романе обращена против тех, кто, подобно судье Гилфорту, стремится жить в стороне от страстей, заботясь лишь о респектабельности и укрепленки своей власти.

По мнению известного американского критика Джона Олдриджа, «Уоррен не только реалистически изобразил американский Юг, но ему удалось создать характеры настолько страстные, что они представляются даже более елизаветинскими, чем современными».

«БЫТЬ МОЛОДОЙ, ТАЛАНТЛИВОЙ И ЧЕРНОЙ»

Так словами известной американской писательницы Лорейн Хэнсберри называется телевизионная постановка о ее жизни. По своему жанру она, по мнению рецензента американской газеты «Кристен сайенс монитор», может быть названа литературным чтением: театром документа и пьесой одновременно.

Текст этого спектакля написал муж Лорейн Хэнсберри — Роберт Немирофф, со-

Руби Ди в роли Лорейн Хэнсберри.

(Журнал «Лайф»)

ставив его из ее писем, дневников и отрывков из пьес. В 1969 году спектакль с успехом шел на Бродвее. Сейчас он переработан для телевидения. Он получил высокую оценку американской критики. Рецензент журнала «Лайф» пишет, что сегодня Лорейн Хэнсберри стала для американцев символом утраченных надежд. Она умерла в 1965 году в возрасте 34 лет, и вся ее жизнь и творчество были проникнуты верой в то, что мир можно изменить ненасильственным путем, разрешив наряду с другими проблемами и расовую проблему в США.

Критика назвала постановку «поэмой для телекамеры длиной в девяносто минут».

Игра Руби Ди, исполняющей роль Хэнсберри, настолько убедительна, пишет рецензент «Лайф», в строках ее пьес и дневников звучит такая вера в будущее, что трудно поверить, что Хэнсберри уже нет и вместе с ней умерла надежда.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

Французская прогрессивная общественность отметила 25-летие со дня смерти Жан-Ришара Блока, известного писателя, публициста, общественного деятеля.

Высокое гражданское мужество, присущее Блоку, особенно сказалось в годы второй мировой войны. Он был свидетелем защиты на процессе депутатов-коммунистов. В дни гитлеровского нашествия он ушел в подполье, участвовал в прессе Сопротивления, а потом переехал в Советский Союз и до конца войны систематически обращался к своим соотечественникам по московскому радио.

Издательство «Эдисьон сосиаль» готовит «Избранные сочинения» Жан-Ришара Блока (в серии «Классики народа»). Литературовед Жан Альбертини, составитель и комментатор этого издания, выступил со статьей памяти Ж.-Р. Блока в «Юманите».

«Жан-Ришар Блок,— говорится в заключение статьи,— один из первых среди тех интеллигентов, которые — как Поль Вайян-Кутюрье, как Анри Барбюс, как более близкий к нам по времени Пьер Куртад,— были в одно и то же время крупными художниками и выдающимися публицистами и никогда не отделяли мысли от действия. Вот уже четверть века, как он нас покинул, но его мысль, его творчество, его пример живут в нас и постоянно направляют нас в нашей борьбе».

НОВЫЙ РОМАН НАТАЛИ САРРОТ

Издательство Галлимара выпустило в свет роман «Вы слышите их?» известной французской писательницы, представительницы «нового романа» Натали Саррот. Это самый впечатляющий, са-

мый удавшийся роман Натали Саррот, пишет Морис Надо в «Кензен литтерер». По мнению Ани Виллоро («Леттр франсэз»), в этом произведении с наибольшей силой воплощено особое представление о романе, свойственное Натали Саррот. Андре Дальмас («Кензен литтерер») считает, что роман «Вы слышите их?», безусловно, глубже предшествующих книг писательницы.

В этой книге, «сделанной из ничего»,— пишет Морис Надо, романистка вынуждает нас внимательно всматриваться в, казалось бы, незначительные детали, а по существу подводит нас к проблемам семейных и социальных отношений, к тому, что соединяет и разделяет поколения. Как и всегда, в романе Саррот не следует искать четко выраженной фабулы.

Критики выделяют из ткани романа стержневую сцену, вокруг которой композиционно строится все произведение. И в этой, наиболее «событийной» сцене событий, как таковых, нет.

После ужина небольшая группа переходит в гостиную, друг хозяина дома берет с камина старинную индейскую статуэтку и ставит ее на столик, чтобы рассмотреть поближе. Равнодушные к красоте изображенного в камне животного, дети-подростки вежливо прощаются и поднимаются к себе наверх. В салоне слышен их смех. Смех становится все громче, он начинает раздражать оставшегося с гостем отца.

Этот реальный, конкретный эпизод, к которому неоднократно мысленно возвращается отец, постоянно окрашивается в романе в различные тона в зависимости от того, как воспринимает смех детей хозяин дома. Сцена в гостиной проходит перед читателями, каждый раз как бы освещенная каким-то иным светом, зависящим от настроения отца. Смех детей, который сначала представляется отцу жизнерадостным и беззаботным, позднее кажется ему уже почти издевательским, убийственным, святотатственным. Над чем они смеются? Над родителями, над искусством, над самой цивилизацией, принявшей в свое лоно этих хиппи, этих поджигателей, этих разрушителей всех ценностей? Их смех как бы приветствует конец мира, готового рухнуть.

В воображении отца семейства развертывается целый фильм, состоящий из сцен со своими персонажами, интригами, развязками и бесконечными продолжениями. Морис Надо видит в нем отражение не только воображения героя, но и его подсознания. По его мнению, глубина изображения внутреннего мира человека в этом романе делает Натали Саррот продолжательницей Достоевского.

Литературный обозреватель еженедельника «Экспресс» Матье Галей отмечает, что в этом романе Саррот очень своеобразно откликнулась на проблему конфликта поколений, который стал для Франции особенно острым после студенческих волнений мая 1968 года.

«НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ»

Режиссер Жак Дерей снял фильм «Немного солнца в холодной воде» по одноименному роману Франсуазы Саган (см. «ИЛ» № 3, 1972 г.) Для участия в фильме постановщик пригласил «непризнанных звезд». Намеренно «омолодив» героев, он взял на главные роли двух совсем юных актеров — Клодин Оже и Марка Пореля, которые, по его словам, обладают непосредственностью и простотой, что делает их игру более правдивой, чем игра иных кинозвезд.

Клодин Оже в роли Натали и Марк Порель в роли Жиля.
(Журнал «Синемонд»)

Авторы этого номера

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ — JERZY BROSZKIEWICZ (род. в 1922 г.).

Польский писатель, драматург, публицист. Учился в Львовской консерватории; в 1945 г. дебютировал как музыкальный критик, был главным редактором журнала «Музыка» («Muzyki»).

Его первый роман «Ожидание» («Oczekiwanie»), написанный в 1943 г., вышел в свет спустя три года после окончания войны и в 1948 г. получил литературную премию Краковской земли. Затем вышла повесть «Чужие люди» («Obcy ludzie», 1948) и книга «Образ любви», посвященная Фредерику Шопену («Kształt miłości»), за которую Е. Брошкевич в 1951 г. был удостоен Государственной премии. С середины 50-х годов писатель много внимания уделяет театру и драматургии (им написано около 20 пьес, не считая пьес для телевидения и радио); с 1959 г. по настоящее время он — литературный руководитель «Народного театра» в Новой Гуте, в 1960 г. за драматургическую деятельность был награжден премией Металлургического комбината Новой Гуты имени Ленина.

Произведения Е. Брошкевича издавались во многих странах мира. На русский и другие языки народов СССР переведены «Образ любви» и книги для юношества. На советской сцене идут пьесы «Я, в Польше рожденный», «Конец книги шестой» (о Копернике).

В этом номере мы начинаем публиковать в журнальном варианте его новый роман «Долго и счастливо» («Długo i szczęśliwie»), за который писатель в 1971 году был награжден Премией польских профсоюзов. Полностью роман выйдет в свет в издательстве «Прогресс».

■

ЯСУНАРИ КАВАБАТА (1899—1972).

Один из крупнейших японских писателей, лауреат Нобелевской премии, присужденной ему в 1968 г. «за писательское мастерство, с которым Кавабата выражает сущность японского восприятия жизни и образа мышления». Творчество Кабавата, выделяясь своей приверженностью к традициям классической национальной литературы, считается наиболее «японским» во всей современной японской литературе.

К наиболее известным произведениям писателя относятся повести «Танцовщица из Идзу» (1926), «Снежная страна» (над этой повестью, принесшей ему мировую известность, писатель работал с 1935 по 1947 г.), «Тысячекрылый журавль» (1949), романы «Голоса гор» (1954) и «Киото» (1962).

Книги Ясунари Кавабата переведены на многие языки мира. На русском в серии «Мастера современной прозы» вышел однотомник его произведений, в который вошли лучшие повести, новеллы. эссе.

В нашем журнале (№ 8, 1971) о творчестве писателя см. статью Т. Григорьевой «Читая Кавабата Ясунари».

Рассказ «Голос бамбука, цветок персика» был напечатан в японском журнале «Тюо корон» (№ 12, 1970).

Когда верстался этот номер, из Японии пришла весть о трагической гибели Ясунари Кавабата.

■

КОБО АБЭ (род. в 1924 г.).

Известный японский писатель — романист, новеллист и драматург. Окончил медицинский факультет Токийского университета. За повесть «Стена» (1951) был удостоен премии Акутагава. Советским читателям творчество Кобо Абэ знакомо по опубликованным в «Иностранной литературе» романам: «Женщина в песках» (№ 5, 1966), «Чужое лицо» (№ 12, 1967), «Сожженная карта» (№№ 8—10, 1969). На русский язык переведены также его романы в жанре научной фантастики — «Четвертый ледниковый период», «Совсем как человек» и несколько рассказов.

Перу Кобо Абэ принадлежат пьесы: «Охота на рабов» (1955), «Призраки среди нас» (1958), «Крепость» (1962), «Друзья» (1967), «Человек, превратившийся в палку» (1969) и др.

Рассказ «Детская» был опубликован в японском журнале «Синтё» (№ 4, 1968).

■

УНО КОИТИРО (род. в 1934 г.).

Японский писатель. В 1959 г. окончил литературный факультет Токийского университета. Литературная известность пришла к нему после опубликования рассказа «Бог китов», получившего премию Акутагава. Этот рассказ взят нами из журнала «Бунгэй сюндзю».

■

АНТАЛ ГИДАШ — HIDAS ANTAL (род. в 1899 г.).

Венгерский поэт, романист, эссеист, переводчик, лауреат премии Кошута. Его первый сборник стихов «На земле контрреволюции» («Az allenforradalom földjén») вышел в 1925 г. Имя А. Гидаша давно известно в нашей стране, его стихи выходили на русском языке отдельными сборниками («Сад моей тетушки», «Улица Жасмина»), печатались в журналах и газетах. На русский переведены также романы А. Гидаша «Господин Фицек», «Мартон и его друзья», «Другая музыка нужна», книга «Шандор Петефи». Многие произведения русской и украинской поэзии переведены А. Гидашем на венгерский язык.

Публикуемые в этом номере стихи взяты из сборников последних лет.

■

АЛЕКСАНДР ОБРЕТЕНОВ (род. в 1903 г.).

Видный болгарский искусствовед, член-корреспондент Болгарской Академии наук, профессор, автор книг — «Борьба за социалистическое искусство» (1950), «Искусство и современность» (1960), «Культурная революция в Болгарии» (1968) и др.

Статья Александра Обретенова, печатающаяся под названием «К правде жизни», представляет собой сокращенный перевод предисловия к сборнику «Георгий Димитров о литературе, искусстве и культуре» (издательство Болгарской Коммунистической партии, София, 1971).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 7/IV 1972 г. А 02931. Подписано к печати 6/V 1972 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2). + 2 вкл. Уч.-изд. л. 27,65. Зак. 1115.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394